

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛЬСКИЕ ПОВЕСТИ

I



БИБЛИОТЕКА ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Ю. Н. ВЕРЧЕНКО

В. Ф. ГРИНЕНКО

В. С. СТОЛБОВ

МАКСИМ ТАНК

Н. С. ТИХОНОВ

Ю. В. ТОРСУЕВ

В. А. ХОРЕВ

Е. Э. ЦЫБЕНКО



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1974

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛЬСКИЕ ПОВЕСТИ

В ДВУХ
ТОМАХ

I

Перевод с польского



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1974

С (Пол)
С56

Составителя
В. Борисов и В. Хорев
Предисловие и справки об авторах
В. Хорева

Оформление художника
В. Медведева

© Издательство
«Художественная литература», 1974 г.

С $\frac{70304-166}{028(01)-74}$ 151—74

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1974 году Народной Польше исполняется тридцать лет. Для литературы тридцать лет — пора творческой зрелости, время подведения некоторых итогов. И такие итоги уже подводились польской критикой. При этом отмечались не только достижения, но и недостатки, высказывались пожелания. Одно из неизменных пожеланий — создать Главную, или Великую книгу, которая бы отразила во всей полноте свершившиеся за эти годы перемены в жизни общества и общественном сознании, в которой актуальные проблемы были бы облечены в плоть и кровь конкретно-исторического изображения. Такой книги, написанной о человеке и для человека, пронизанной светом социалистического гуманизма, ждут читатели. Их ожидания, возможно, исполнятся в недалеком будущем, ибо появление такой книги подготовлено всем развитием многогранной, богатой талантами современной литературы. Уже есть современные произведения, приближающиеся к очерченному идеалу. И даже если польские писатели пока не создали «главной» книги, названные черты определяют облик современной польской прозы в целом. Мечта о Великой книге реализуется в совокупности многих талантливых произведений, верных неприглаженной правде жизни, ставящих своей целью борьбу за победу социалистических отношений в Польше.

В повести, одном из ведущих прозаических жанров, отразилась вся послевоенная история Польши, отразились проблемы, общие для всей литературы, проявилось стилевое разнообразие. Это и повесть репортажно-очерковая, и повесть психологическая, героическая, лирическая, философско-историческая...

Широки и тематические горизонты польской повести. Она изображает человеческие судьбы в годы войны (из публикуемых в настоящем сборнике повести З. Налковской, В. Залевского, В. Жукровского, Р. Братного), прослеживает связь недавнего прошлого военных лет с современной жизнью (К. Брандыс, К. Филипович), показывает ломку консервативного крестьянского сознания под напором новой действительности (Ю. Кавалец, Э. Брыль) и жизнь рабочего класса (Г. Мординек); в поле ее зрения — проблемы современной молодежи (С. Дыгат, Е. С. Ставинский) и отдаленные, но поучительные исторические события (Я. Бохенский).

Разнообразные по темам, по художественным средствам, повести объединяет стремление писателей ответить на вопросы, волнующие современного человека. Как и любой другой жанр, повесть следует за жизнью, меняется, отвечая запросам времени. Но какие бы новые задачи не возникали перед писателями, вот уже тридцать лет непреходящей остается в польской литературе тема войны и гитлеровской оккупации Польши. Повесть рассказывает о разгроме буржуазно-помещичьей Польши в сентябре 1939 года, фашистском терроре и героической борьбе патриотов, об освобождении страны Советской Армией и частями Войска Польского.

Существует много причин обращения писателей разных поколений к эпохе военных лет. Никогда так полно, как в те суровые годы, не проявлялась нравственная сущность человека. Остродраматические и трагические ситуации того времени являются готовой основой художественного конфликта.

Но главное, конечно, в другом. Годы войны и оккупации были для Польши национальной трагедией: погибли миллионы поляков, почти четверть населения. Гитлеровцы разграбили национальные богатства страны, уничтожили многие культурные ценности, на территории Польши создали страшные фабрики смерти — лагеря Освенцим и Майданек. Насущной общественной потребностью была продиктована задача — осмыслить трагические уроки истории, рассказать о пережитом нацией в «эпоху печей».

Большинство польских писателей были непосредственными свидетелями и участниками событий войны и оккупации. Они были узниками фашизма в застенках гестапо и концлагерях, боролись с ним в рядах антифашистского Сопротивления, в вооруженных силах антигитлеровской коалиции. И те, кто не был брошен в тюрьмы и лагеря, кому не довелось с оружием в руках сражаться с гитлеровцами, также лицом к лицу столкну-

лись с фашизмом. «Наша литература о войне, — заметил писатель-коммунист, бывший узник Освенцима, Тадеуш Голуй, — в высшей степени объективна: ее создатели не штудировали «Майн Кампф», а знакомились с этой книгой на практике».

Свидетельствуют об этом и биографии тех писателей, чьи произведения вошли в настоящее издание.

Выброшенная гитлеровцами из своего дома, Зофья Налковская зарабатывала на хлеб, продавая сигареты в табачной лавке. В разоренной Варшаве, под ежедневной угрозой смерти, она создает замечательный документ человеческого разума и стойкости — «Дневник военных лет» (изданный посмертно в 1970 году), активно участвует в нелегальной культурной работе. После Варшавского восстания 1944 года писательница вынуждена скрываться от ареста в деревне.

Узником концлагерей Заксенхаузен и Дахау был в 1939 — 1945 годах Густав Морцинек. В сентябре 1939 года воевали с фашистами Корнель Филипович, Войцех Жукровский, Ежи Стефан Ставинский. Филипович бежал из германского плена, вошел в подпольную коммунистическую группу «Народная Польша», был схвачен гестапо и до конца войны находился в концлагерях. Ставинский и Роман Братный были в отрядах Армии Крайовой (АК)¹. Как и Витольд Залевский, они сражались на баррикадах Варшавского восстания и после его разгрома оказались в лагерях для военнопленных. Жукровский также был в АК, затем вступил в ряды Войска Польского, с которым дошел до Берлина. Станислав Дыгат, имевший французское подданство, попал в лагерь для интернированных иностранцев в Германии, а затем, как и Казимеж Брандыс, как Жукровский, Братный, Залевский и многие другие, принимал деятельное участие в подпольной культурной жизни страны.

У истоков послевоенной антифашистской литературы стоит книга Налковской «Медальоны» (1945), одно из первых в Польше произведений о годах гитлеровского кошмара, новаторское по глубине и характеру раскрытия оккупационной темы.

Налковская участвовала в работе Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений в Польше. Она присутствовала на допросах обвиняемых, их жертв и свидетелей. Цикл «Медальоны» стал художественным выражением гневного возмущения писательницы гитлеровскими злодеяниями.

¹ В рядах АК, подчинявшейся эмигрантскому правительству в Лондоне, было немало истинных патриотов.

Налковская понимала огромные трудности, связанные с рассказом о небывалых в истории человечества преступлениях, считала необходимым появление новой литературы, которая поведаст миру правду о «годах презрения». «Как после первой мировой войны, так и сейчас, — писала она в 1947 году, — общество требует от писателей новой литературы, обусловленной войной и ее последствиями, способной охватить и переработать огромный запас тематического сырья, из которого может родиться шедевр. Но, кажется, что сегодня, как и тогда, литература не полностью ответит на эти требования».

«Не полностью» — потому что Налковская, как и другие художники слова, видела разрыв между потрясающими человеческими муками и писательскими возможностями. «Слово наше отступает перед названием этих ужасных деяний, мысль мертвоет, перо застывает в руке», — писал в 1945 году поэт Юлиан Пшибось.

Налковская искала в «Медальонах» новые, незатупленные художественные средства, чтобы выразить беспредельность человеческих страданий в годы оккупации. И такие средства были ею найдены.

Эту, по определению автора, «скромную книжечку» отличает сдержанный, объективный тон повествования, как бы основанный на древнем эпическом принципе — «без гнева и пристрастия». Налковская исходила из убеждения, что читателя в большей мере, чем авторский комментарий, взволнуют «голые», страшные по своей сути факты, внешние бесстрастные свидетельства жертв насилия, от лица которых ведется рассказ. Любая авторская оценка, по замыслу писательницы, исказила бы представление о ситуации, когда привычные нормы жизни были отброшены.

Эмоциональная сдержанность характерна и для заключения книги. Конечно, автор не отказывается от моральной оценки описанного. Он ставит перед читателем главный вопрос: как могло случиться, что «люди людям уготовили эту судьбу»? «Если мы мысленно попытаемся представить себе ту огромную фабрику смерти, которая все это время — независимо от того, где проходили военные действия, — гнездилась на территории Польши, то, кроме ужаса, самым сильным из охвативших нас чувств будет, пожалуй, удивление». «Удивление» — казалось бы, столь нейтральное слово — с огромной силой передает авторскую мысль об античеловечности фашизма, заставляет читателя задуматься над глубиной той пропасти, в которую гитлеризм пытался сбросить человечество.

Интересные аналогии документальной прозы Налковской мы находим в новейшей зарубежной литературе. По таким же законам подачи фактов в «обнаженном» виде построены, например, получившее широкую известность произведение американского писателя Трумена Капоте «Обыкновенное убийство» или роман француза Роберта Мерля «Смерть — мое ремесло», тематически близкий книге Налковской. Но если Мерль попытался в своем романе, основываясь на дневниках коменданта Освенцима Рудольфа Хесса, проанализировать психику преступника, движущие им мотивы, то для Налковской не столь важен характер отдельно взятого преступника, который может оказаться садистом и чело-веконенавистником (в «Медальонах», впрочем, есть и такие персонажи). Гораздо более существенна для нее проблема так называемого «порядочного немца». Профессор Шпаннер (в книге есть глава под таким названием) считал себя ученым, а на самом деле он был рьяным исполнителем бесчеловечных приказов и даже их инициатором. По собственному почину он разработал метод варки мыла из трупов пленных и превратил научную лабораторию в фабрику по производству «человеческого» мыла. У Налковской речь идет вовсе не о каком-то исключительном факте. Вот что писал, например, крупнейший польский филолог, узник Заксенхаузена С. Пигонь об «интеллектуалистах в черных мундирах»: «Над конструированием лагерных крематориев и газовых камер ломали головы инженеры и техники. Врачи, якобы по имя науки, ставили на живых людях варварские опыты по определению границ выносливости человеческого организма. Исследователи, изобретатели, жрецы науки впряглись в машину уничтожения и зачастую охотно прикладывали руку к максимальному увеличению ее эффективности и изощренности».

Налковскую особенно тревожило деморализующее, растлевающее влияние фашизма. Преступления Шпаннера не вызвали осуждения его ученых коллег: один готов был его оправдать наличием соответствующего приказа, другой ссылался на намерение принести выгоду государству.

Безучастие, с которым повествуют о своих переживаниях в «Медальонах» очевидцы и даже жертвы фашистских преступлений, — также одно из последствий мрачной эпохи. Фашизм не только сеял смерть: он заражал ею души. Созданный им кошмарный мир тлетворно воздействовал на человеческую личность, деформировал прежние представления о моральных ценностях и критериях.

Период войны и оккупации дал и примеры невиданного мужества и героизма, запечатленного, например, в произведениях И. Неверли, Е. Путрамента, В. Жукровского. Налковская не касалась этой стороны оккупационной действительности. В «Медальонах», как и в рассказах и повестях Тадеуша Боровского, Ярослав Ивашкевича, Адольфа Рудницкого того времени, главное — изображение духовной трагедии людей, ввергнутых на дно современного ада.

Теме «порядочного немца» посвящена и повесть Филиповича «Сад господина Ничке», написанная спустя двадцать лет после «Медальонов». У Филиповича эта тема актуализирована, перенесена в наши дни, раскрыта в новом, неожиданном повороте: вчерашний палач — нынешний «порядочный» обыватель.

Скромно живущий на своей вилле в одном из западногерманских городков пожилой господин ведет спокойное, размеренное существование, ценит чистоту и порядок, в меру интересуется делами семьи, поселившейся в другом городе. Люди его не интересуют, его страсть — это сад, любовно выращенные помидоры, фасоль, салат и особенно цветы. Чувствительный и сентиментальный господин Ничке охотно возится с внучкой, поигрывает на скрипке, возмущается, узнав, что кто-то убил дрозда. Но в налаженное, никому не мешающее существование заурядного немецкого обывателя вмешивается некий Герстенбауэр, который сообщает в суд о том, что Ничке — бывший комендант концлагеря Лангевизен, оберштурмфюрер СС Ничке.

Письмо Герстенбауэра не доказывает вины Ничке. Но обнажается источник внутреннего читательского недоверия к герою, возникающего при описании деловитой суетни Ничке в саду. Автор обращается к воображению и ассоциациям читателя, предоставляя ему вынести свой суд. И детали из жизни добропорядочного обывателя предстают теперь в новом свете. Ухоженный сад господина Ничке вызывает в памяти цветники в Освенциме, украшавшие дома эсэсовцев, а его рассуждения о том, что труд — это «благоденствие, освобождающее и возвышающее человека», — кощунственную надпись над воротами Освенцима: «Arbeit macht frei» («Труд делает свободным»). Зловещий смысл приобретают повседневные мелочи благополучного существования Ничке — мотыга, грядки с помидорами, помятая клумба с цветами. В лагере оберштурмфюрер Ничке тоже питал страсти к помидорам и цветам; он затоптал насмерть двух узников, укравших помидоры, избил мотыгой и пристрелил заключенного, сделавшего два шага по клумбе.

Расследование прекращено ввиду отсутствия доказательств. Ничке возвращается к своим цветам. Но читатель убежден, что если это и не тот Ничке, о котором писал Герстенбауэр, то, во всяком случае, такой же преступник.

Здесь, как и в других своих повестях (или, по определению писателя, микророманах), Филипович не прибегает к морализаторству, дидактике, авторскому комментарию. («Автору, чтобы изволновать читателей, незачем волноваться самому. Вполне достаточно, если он знает, как это сделать», — писал Филипович.) Компактность и незавершенность сюжета, лаконизм и многозначность деталей, отсутствие многословных характеристик и списаний, подчеркнутая роль ситуации и диалога в повестях Филиповича, невозмутимая интонация повествования заставляют читателя самого осмысливать и оценивать героев и события, соотносить их со своим жизненным опытом, со своим миропониманием. Скрытое под маской существо духовной жизни героев проявляется либо в минуту откровенности перед самим собой, либо в неожиданных столкновениях, когда события выбивают человека из привычной колеи.

Ничке страшен не только своим прошлым, но и настоящим. Филипович показал гибкость психики мещанина, умеющего приспособиться к любым условиям существования и оправдать любое свое поведение. Обыватель способен не только к преступлению, но и к самооправданию. Прошлое для Ничке — глупый сон, «не что иное, как туман или дым». В своих собственных глазах он всего лишь любитель цветов и птиц, заботливый дед капризной внучки. Значительность художественных обобщений Филиповича (которые делают его «микророман» не только психологическим, но и политическим), глубина предпринятого им психологического анализа подтверждается фактами из жизни. Бегство в мир, порожденный собственной фантазией, характерно для многих нацистских преступников после войны. Так, например, прокурор ПНР Ежи Савицкий говорил в 1948 году в речи на процессе гитлеровского преступника Бюлера: «...Бюлер не лжет, когда утверждает: «Я не помню, чтобы то, о чем шла речь во время процесса, осуществлялось под моим руководством». Он действительно не лжет, когда говорит: «Я не припоминаю этих фактов...» Бюлера, который совершил все, о чем гласит обвинительное заключение, уже нет, ибо он самолично вынес этому Бюлеру смертный приговор. Он умертвил его в собственном воображении...»

Филипович раскрывает глубину опасности, связанной с девальвацией гуманистических и моральных ценностей, позволяю-

щей благоденствовать подобным Ничке, тем, кто мечтает о возрождении фашистской системы. Ничке, так дорожающий своим садом, не случайно разрешает полковнику бундесвера, к которому испытывает «нечто вроде симпатии, если не благодарности», проложить через свой участок кабель военного значения. Это еще одна символическая деталь, как бы связывающая недавнее прошлое с милитаристскими стремлениями западногерманских реваншистов.

Показ врага изнутри, разоблачение его подлого цинизма служит, по убеждению Филиповича, выполнению главной задачи социалистического искусства — «формированию человека, его морального, культурного, эмоционального облика, всего того, что определит характер будущего общества». «Осознание зла, — считает писатель, — это уже отчасти форма защиты от него. Я бы хотел особенно подчеркнуть свое убеждение: в моем понимании литература по сути своей является союзником социализма... Чем больше литература будет говорить о человеке, тем больше выиграет от этого идея».

Моральное опустошение личности под гнетом фашизма, сдвиги нравственных устоев под влиянием террора, страха, жажды выжить любой ценой, отмеченные уже в «Медальонах» Налковской, стали объектом внимания и других писателей. О них говорится в повести Р. Братного «Загонщик». При этом герой повести (в отличие от ряда героев Налковской или Боровского) хоть и заражен скепсисом и неверием, все же сохраняет человеческое достоинство, борется с собою и в конце концов исцеляется от страшной болезни безразличия и равнодушия к чужому несчастью, болезни, которую стремился привить человечеству фашизм.

Братным изображен представитель того «трагического поколения», к которому принадлежит сам автор. Характер и направленность творчества художников этого поколения во многом определили выпавшие на его долю испытания масштаба античных трагедий. «Есть ли у литературы возможность выразить такой период, в котором каждый шаг — трагедия?» — спрашивал Братный. Такие возможности он пытается отыскать в своих многочисленных рассказах, повестях, романах.

Герой «Загонщика», уцелев в огне Варшавского восстания, в котором погибли его товарищи по оружию и любимая девушка, скрывается в деревне, одержимый одной идеей — выжить. Спрятаться от немцев, от всего мира, от своих собственных воспоминаний и переживаний. Ни во что не вмешиваться, ни

по что и никому не верить. Прежние представления о морали, порядочности, совести кажутся герою отжившими. Он уверяет себя, что никогда больше не отзовется в нем человеческая струна — так извращен, лжив, опошлен окружающий его мир. Но приходит час испытания, время ответственного экзамена на звание поляка и человека. И герой выдерживает его: невзирая на опасность, он укрывает в стогах сена группу евреев.

Напряженность действия достигает высшей точки в сцене охоты гитлеровцев на беззащитных людей. Сцена написана с кинематографической выразительностью и пластичностью (не случайно по повести был снят фильм). Рассказчик ограничивается точной передачей быстротечных событий, не анализируя своего восприятия их. Вынужденный участвовать в охоте загонщиком, он застигнут врасплох, раздавлен неожиданностью случившегося и с точностью кинокамеры фиксирует ход облавы. Этим достигается психологическая достоверность образа, подчеркивается невыразимый трагизм ситуации. «Загонщиком» владеет одна только мысль: расстреливаемые могут подумать, что он их предал. И эта мысль — важная деталь в обрисовке образа. Броская деталь — вообще одно из любимых изобразительных средств Братного, стремящегося, по его словам, к «лаконичному драматизму». В трагическом финале повести взгляд героя падает на румяные яблоки: «Они были страшнее всего. Лишь теперь перед наглым, бесстыдным лицом жизни я осознал, что се нет. Эти яблоки жили. Разная разность жила». Возмущение «жизнью» яблока — отлично передает состояние души героя, переживающего горечь утраты, думающего о погибших людях.

Основная направленность произведения — утверждение верности подлинно гуманным этическим нормам, прочность этих норм в подлинно человеческом мире.

Воплощением этого мира является в повести Братного советский сержант Помыванцев. В столкновениях со смертью на полях войны не зачерствело сердце советского солдата. Для него участие к людям, лишенным собственного крова и надежды, бескорыстная забота о несчастной больной женщине — так же естественны, как и ратное дело.

Повествуя о человеке и войне, польские прозаики зачастую обращаются к изображению остродраматических событий, ситуаций «решающего выбора», исключительных обстоятельств, таких, пользуясь словами Достоевского, «редких мгновений», когда «человеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль».

В ответственный, кризисный момент принятия решения рисует своего героя Витольд Залевский в повести «Раненый в лесу». Трое партизан во главе с подхорунжим Кораллом оставлены в роще с двумя тяжелоранеными и должны дожидаться помощи. Но укрытие ненадежно, слишком близко к дороге, вокруг шныряют жандармы, прочесывая лес, а помощь не приходит. Один из партизан дезертирует. Коралл, герой повести, ранен в руку. Недалеко, всего в тридцати километрах, находится его родной дом. В поисках воды герой далеко уходит от лагеря. «Если идти все время в этом направлении, то до ночи можно добраться», — рисуется ему возможный выход из положения. В затуманенном болью мозгу возникают картины родного дома, лихорадочно пульсирует мысль, выискивая оправдание для побега.

Рассказ ведет автор, но во всем повествовании явственно проглядывают представления, круг впечатлений и наблюдений, интонации, характерные для героя. В кульминационную сцену вплетено изложение предшествующих событий, которые как бы разворачиваются в его мыслях. События эти трагичны: разгром отряда, трусость командира, беспамятство тяжело раненного поручика-связного, прибывшего с важным приказом, дезертирство бойцов и т. п. Они берегут сознание Коралла и мотивируют его колебания. Внутренний же диалог, который герой ведет сам с собой, помогает раскрыть его нравственные терзания. Во внутренней речи Коралла нельзя не заметить отзвука знаменитой финальной сцены романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», когда Роберт Джордан решает, как прожить последние минуты. Драматическая коллизия у Хемингуэя глубже, а размышления героя органичнее вплавлены в авторский текст. Но и в повести Залевского до минимума сокращена дистанция между автором и героем. Это позволяет показать сокровенный мир героя изнутри, передать его напряжение и боль. Орывочные, нескладные фразы, чересполосица видимых картин, воспоминаний и предположений, быстрая смена настроений — все это раскрывает трудную борьбу героя за торжество мужества, долга, верности самому себе, своему боевому прошлому. Пересилив себя, Коралл возвращается. В нем вызревает твердое убеждение: «Все надо брать на себя. Или взять на себя все, или все предать... Нужно брать на себя все...»

Если у Залевского исследуется становление характера в правдоподобных, но как бы заданных, литературно сконструированных обстоятельствах, то произведения Войцеха Жукровского основаны, как правило, на подлинных исторических событиях.

Успех книг писателя определяют достоверность, неустанное внимание к простым людям, выраставшим на полях сражений в героев.

Это в полной мере относится к повести «Направление — Берлин». Она рассказывает об одном из значительных эпизодов второй мировой войны — форсировании Одры советскими и польскими войсками, о «польском пути на Берлин», по выражению Жукровского, пути, увенчанном победой, «большей по своим последствиям для жизни нации, чем битва под Грюнвальдом».

Обстоятельства участия польских частей в сражении на Одре, реконструируемые в повести, очерчивают ее сюжетные рамки. На художественном облике повести отразилось и то, что она писалась как киноповесть (режиссер Е. Пассендорфер поставил по ней одноименный фильм): монументальные батальные сцены перебиваются в ней жанровыми эпизодами. Но не сами факты военной истории, достоверные картины военных действий выдвинуты на передний план. Без ложного пафоса и риторики, в скупой, близкой к документальной, манере раскрывает писатель характеры и судьбы своих героев, которых ненависть к фашизму, патриотизм и гражданский долг привели в ряды победоносного Войска Польского. Коллективное усилие народа, люди, которые делали историю, делали ее просто, без громких слов, не считая свой опасный труд чем-то выдающимся, — в центре внимания писателя. «Обыденная» героичность и человечность — отличительные черты персонажей повести — как польских, так и советских солдат.

Значительная тема повести — польско-советское воинское братство, прошедшее испытания огнем и железом: «Когда солдаты бьются против общего врага, они становятся друг другу ближе, чем родные братья».

Изображение героической борьбы народного Войска Польского бок о бок с Советской Армией, омытого кровью боевого братства советского и польского народов придают небольшой повести Жукровского масштабность, эпическую широту, актуальное политическое звучание.

Уходящие десятилетия не стирают воспоминаний о драматизме военного времени. Отношение к событиям тридцатилетней давности в значительной мере определяет облик современной польской прозы. В 60-е годы происходит новое оживление писательского интереса к периоду войны.

В прозе последнего пятнадцатилетия появилось немало произведений о войне, в которых писатели стремятся добиться как можно большей суровости и беспощадности изображения. Для польских, как и для советских писателей, говоря словами К. Си-

монова: «Война все равно оставалась человеческой трагедией от своего первого и до своего последнего дня, и в дни поражений, и в дни побед. Она все равно оставалась противостественным состоянием для каждого человека, не потерявшего людской облик». Психологически драматичное изображение героических поступков в таких повестях советских писателей о войне, как «Звезда» Эм. Казакевича, повестях В. Быкова и Ю. Бондарева, «А зори здесь тихие...» Б. Васильева и многих других, характерно и для произведений на военную тему Р. Братного, В. Залевского, В. Жукровского и других польских писателей.

Тема войны вторгается и в произведения, посвященные современности, помогая проследить влияние прошлого на настоящее. Картины минувших лет в них переплетаются с изображением событий сегодняшних дней. К их числу относится и получившая большую известность (особенно после ее экранизации В. Хасом) повесть Казимежа Брандыса «Как быть любимой».

В повести отразились многие черты, характерные для польской литературы последнего пятнадцатилетия: тенденция к философско-обобщенной трактовке проблемы: личность — общество — история, стремление максимально всесторонне и как можно ярче раскрыть нравственно-психологический мир человека.

«Я всегда защищал ценность человеческой личности, стремясь отделить индивидуальные намерения своих героев от того, что им неумолимо навязывалось самим ходом исторического развития», — писал К. Брандыс. Соглашаясь с мнением критики, определившей «постоянную доминанту» его творчества: «личность — история», он говорит: «...Я принадлежу к тому поколению, которому приходилось жить что называется «по большому счету». Я имею в виду людей, сформировавшихся в период между двумя войнами, под постоянной угрозой фашистской экспансии, людей, чья жизнь в значительно большей, чем у их предшественников, степени зависела от общих судеб человечества».

В остром, беспощадном свете истории проявляется нравственная сущность героини повести «Как быть любимой», укрытая даже от нее самой. Конфликт между субъективными намерениями и объективной логикой исторической ситуации, разрыв между истинным духовным «я» и тем, которое воспринимают окружающие, писатель раскрывает, прослеживая процесс размышлений героини о своем прошлом и настоящем. Повесть по-

строена как внутренний монолог героини, летящей в самолете из Варшавы в Париж (лишь изредка перебиваемый коротким диалогом с соседом-попутчиком). Мысль героини обращается к разным всплывающим в памяти эпизодам ее жизни. Минувшие события, независимо от их давности, сосуществуют в сознании одновременно, накладываются друг на друга. Привычная последовательность фабулы уступает место последовательности ассоциаций. Ассоциации не случайны, психологически мотивированы. Дорожные впечатления, наблюдения над стюардессой «с фарфоровым личиком», над пассажиром в соседнем кресле — служат толчками, вызывающими цепь воспоминаний. Героиня, актриса Польского радио, слышит в эфире свой голос — это склоняет ее к размышлениям о завоеванной популярности; брошенное соседом замечание о женщинах, проживших годы оккупации «на своем посту», вызывает сопоставление с собственным горьким жизненным опытом.

Слово «пленка» появляется в связи с воспоминанием о конкретном событии — конкурсе на радио: «Ваша пленка вне конкуренции, наконец-то человеческий голос». Но тут же возникают далеко идущие ассоциации, слово приобретает символическое значение: «Моя пленка... хотелось бы послушать ее, я не все помню из того, что говорила в жизни...»

Размытая временем «запись на пленке» жизни героини и воспроизводится в повести. Она обращает нас к уже знакомой по произведениям, упоминавшимся ранее, проблеме «выбора», морального решения, часто определяющего всю последующую жизнь. Накануне войны героиня готовилась выступить на сцене в роли Офелии. Все предвещало большой успех. Но генеральную репетицию прервал налет фашистских самолетов, Варшаву оккупируют гитлеровцы, партнера героини по сцене, Гамлета, разыскивает гестапо, подозревая в нем деятеля Сопротивления.

Ради любимого, но не любящего ее человека, пять лет героиня подвергается смертельной опасности и унижениям, выступает на немецкой сцене. Окончание войны не приносит избавления. За «сотрудничество» с оккупантами ее осуждают коллеги, а самоубийство спившегося, опустившегося морально Гамлета, оказавшегося к тому же вовсе не героем Сопротивления, окончательно перечеркнуло «тринадцать лет безумия», принесенных в жертву любви и долгу. Напрасна ли жертва, подвиг, обернувшийся страданием? Ответ, ненавязчиво утверждающий силу и достоинство человека, заключен в раздумье героини: «Я не могла предусмотреть всего, что случится, но свой долг я выпол-

нила. Я спасала его... Моя настоящая судьба заключена не в том, что со мной происходит, а в том, какой я стану».

Драматизм, высекаемый из столкновения индивидуальной морали с объективной действительностью, характерен для многих произведений послевоенной польской литературы (роман Е. Анджеевского «Пепел и алмаз», драмы Л. Кручковского «Первый день свободы» и «Смерть губернатора», трилогия Я. Ивашкевича «Хвала и слава» и др.). Разными средствами их авторы утверждают ценность человеческой личности, показывая, что человек «должен искать свое место в жизни, добиваться мудрого и подчас трудного согласия с ней» (Л. Кручковский).

Прием внутреннего монолога выдвигает на первый план в повести Брандыса личность повествователя и сосредоточивает на ней внимание читателя. Лейтмотив «внутренней пленки»: страдание — подвиг. Это стержень разветвленных, неупорядоченных ассоциаций, которые в сумме создают выразительный психологический портрет героини. Ассоциативность внутреннего монолога — одно из искусных и действенных средств активизации мышления читателя, его фантазии, его соучастия в судьбе героини. Автор устраняется из повести, не комментируя происходящих событий. Дистанции между героиней и читателем нет. Писатель доверяет читательскому воображению, его способности по разбросанной в тексте информации восстановить потенциально существующую фабулу, вынести свое суждение о судьбе женщины, потерпевшей крушение в столкновении с историей, но величественной в своей трагедии, сохранившей моральную стойкость, веру в жизнь, в служение людям.

Техника внутреннего монолога была разработана еще в реалистической прозе XIX века и в современной литературе получила широкое распространение. Вряд ли правы критики, которые пытались внутренний монолог у К. Брандыса вывести из экзистенциалистской литературы, в частности — из творчества А. Камю, связывая под этим углом зрения повесть «Как быть любимой» с «потокосом сознания» в «Падении». Внутренняя речь у Брандыса передает — что характерно для реалистических произведений — обусловленное обстоятельствами состояние психики героя и никак не связана со встречающимся в модернистской литературе демонстративным отказом автора вслед за героем от познания объективного смысла явлений. Важно и то, что у Брандыса история, мрачное время оккупации ломает жизнь героини, трагедия которой вовсе не была predetermined. У Камю же оккупация, как замечает советский исследователь С. Великовский, — «лишь мощный катализатор, во-

чению обнаруживающий зло, от века заложенное в человеческой истории».

Внутренний монолог в повести «Как быть любимой» отражает реально существующий мир, жизненные обстоятельства и конфликты, наложившие отпечаток на духовный облик героини. Он подчинен задаче реалистического изображения, сторонником которого считает себя писатель. «Под словом «беллетристика», — говорил Брандыс, — я понимаю литературу, которая изображает жизнь в образах, адекватных реальной действительности. Только такая реалистическая литература и способна тронуть меня, только ее я и считаю истинно художественной литературой... Передать всю сложную, скрытую от поверхностного взгляда правду с помощью самых, казалось бы, повседневных жизненных ситуаций, деталей — это труднейшая вещь в искусстве и потому крайне редкая. В нашем XX веке она в полной мере удалась, пожалуй, лишь двум великим художникам — Чехову и Чаплину... Такой реальный, вещественный характер творческого воображения мне гораздо ближе, чем всякая субъективная метафористика...»

Правда, в некоторых произведениях 60-х годов писатель отступает от этих своих принципов, склоняясь к умозрительному решению морально-психологических конфликтов (например, в повести «Способ существования» (1963). Но в повести «Как быть любимой» глубоко исследуется и психологический микромир героини, и формирующие его социально-исторические факторы.

Вместе с героиней повести Брандыса читатель подходит к ответу на вопрос, заключенный в ее заглавии: человеку недостаточно для счастья внутреннего ощущения собственной правоты, ему всегда необходимы поддержка, признание, по крайней мере, внимание со стороны других людей. «Самое худшее, когда тобой никто не интересуется», — замечает героиня.

Любовь и заслуженное признание приходят к ней тогда, когда она этого не ожидает. Каждую неделю звучит по радио ее задушевный голос. В нем слышится трудный жизненный опыт, любовь к людям, желание служить им своим искусством. Он проникает в сердца людей, вызывая ответную волну теплоты и уважения, которая, в свою очередь, помогает героине обрести душевное равновесие.

В созданном Брандысом на основе повести киносценарии есть фраза, которая еще более проясняет идею автора. Репортер берет интервью у популярной радиогороини и спрашивает ее, что передать читателям и слушателям. «Напишите, — отвечает она, — что они мне очень нужны. Что я не смогла бы уже жить без них».

Чтобы быть любимым — надо любить людей, жить среди них и для них.

«Каждый писатель мечтает, чтобы рожденные им образы, герои, созданные им романы пережили его если не на сто лет, то на десять или хотя бы на один год. И, наверное, переживут, если автор вложит в них хотя бы частицу своего сердца... И я стремился вложить в своих героев эту частицу». Эти слова принадлежат известному польскому писателю Густаву Морцинеку, посвятившему свое творчество Силезии, жизни шахтеров этого края. Прошло десять лет со дня смерти «певца Силезии», как называет Морцинека польская критика, а книги его по-прежнему пользуются любовью читателей. Одним из первых в Народной Польше Морцинек обратился к ответственной и сложной теме труда, жизни рабочего класса (роман «Пласт Иоанны», 1950 г. и др.).

Надо отметить, что в польской литературе отсутствовали достаточно крепкие традиции в освоении этой темы, что начало 50-х годов принесло наряду с достижениями и неудачные попытки в этом направлении; многие польские писатели плохо знали быт и психологию рабочей среды. Эта тема и сегодня — предмет озабоченного внимания и беспокойства польской критики.

Морцинек, может быть, как никто другой, был подготовлен к тому, чтобы писать о шахтерах. Вся его жизнь прошла среди силезских горняков, он вышел из рабочей семьи и в молодости работал на шахте. На одной из силезских шахт в первые годы после войны происходит и действие повести «Виктория». В основе повести история спасения шахты от затопления, которой сопутствует (как это часто бывает у Морцинека — большого знатока силезского фольклора) легенда о «злом духе» шахты. Самоотверженные усилия инженера Киярчика и шахтеров побеждают силы стихии и развеивают миф о «немецком» злом духе, оберегающем шахту от поляков.

Но писателя интересуют не сами спасательные работы (хотя они показаны достаточно детально), а человеческий, нравственный смысл описываемого. Шахтеров «Виктории» — и коренных жителей, чьи деды и прадеды трудились на шахте, и пришельцев с разных сторон Польши — спланивает труд; их личные, семейные, повседневные дела определяются заботой о шахте. От них зависит ее будущее, и это, в свою очередь, формирует их поведение, определяет их жизнь.

Сдвиги в человеческой психологии, явившиеся результатом перемен, которые принесла победа народного строя, привлекают внимание писателей, пишущих о польской деревне. Эту тему

прекрасно представляют повести двух писателей, получивших в последние годы признание читателей и критики: Юлиана Кавальца — «К земле приписанный» и Эрнеста Брылля — «Тетка».

Крестьянский сын, родившийся и выросший в деревне, Кавалец хорошо знает образ мышления, заботы и нужды своих героев. «Кто же больше, чем он, мог затронуть мое воображение, — говорит писатель о герое-крестьянине, — кто же другой мог стать моим литературным любимцем; тем более что это близкий мне человек — брат, сосед, знакомый и незнакомый по фамилии...» Ведущая тема творчества Кавальца — изменения в жизни деревни, крестьянском сознании и привычках, нелегкий процесс раскрепощения крестьян от «власти земли», от уродливых собственнических навыков.

Трудно, порой трагично складываются судьбы людей, для которых 1945 год, начало новой жизни в Польше, наступил слишком поздно. Они обречены и в этой новой жизни нести с собой «узелок с грязным бельем прошлого». Два убийства, совершенные крестьянином Войцехом Трепой (повесть «К земле приписанный»), разделены тридцатью годами, но их причина коренится в волчьих законах довоенной деревни: «Доля многих поколений готовила его к двум преступлениям». В молодости Трепа убил жениха сестры, который, не получив за нее в приданое клочка земли, бросил беременную женщину. Опасение быть разоблаченным толкнуло Трепу спустя годы на второе убийство.

Эти преступления становятся предметом смятенных раздумий прокурора Анджея Табора, от лица которого ведется повествование. Сам выходец из деревни, он хорошо помнит, как и его семью держал в тисках земельный голод, и ему пришлось в детстве пасти гусей и уток, молотить цепом, носить огромные «на вырост» сапоги. Табору ясны мотивы поступков Трепы, он понимает, какую роковую роль сыграли в них нечеловеческие социальные условия. «И я, прожив до пятнадцати лет в тех же условиях, что и Войцех Трепа, мог совершить преступление, и меня могли толкнуть на это условия жизни моей и моей деревни, — размышляет прокурор. — Я понял, что если бы год 1945 не перевернул всю мою жизнь, то могло статься, я разделил бы судьбу обвиняемого».

Ю. Кавальца волнуют и судьбы «опоздавших» к новой жизни, таких, как Трепа, и судьбы тех, кому история дала возможность существования, достойного человека. Прокурор, получивший образование в Народной Польше, сделавший неслыханную прежде для крестьянского сына карьеру, женившийся на дочери профес-

сора; тоже «приписан» к земле. Но его «приписанность» — не рабская привязанность к собственному клочку земли, а осознание прочной связи с крестьянством, из которого он вышел. Чтобы по-настоящему понять и оценить сегодняшний день, новому поколению надо хорошо помнить горький опыт отцов: «Нельзя сбросить с себя груз прошлого, как сбрасывают тяжелый мешок с зерном — заученным движением плеча вниз и немного в сторону; я должен еще владеть за собой прошлое — и свое, и обвиняемого Войцеха Трепы, и прошлое всех деревень; и если я не хочу потерять к себе уважение, следует не только владеть за собой это прошлое, но и стараться понять его — ведь там коренилось преступление Войцеха Трепы...»

Повесть Кавальца отличается неторопливый, в духе крестьянской речи, темп повествования, многочисленные ритмические повторы отдельных фраз, содержащих важные, по замыслу автора, суждения и сведения, отсутствие хронологической последовательности в изложении событий. Некоторые критики усматривали в стиле писателя влияние У. Фолкнера. Однако сам автор указывал на другие источники своей стилистической манеры: «Мне казалось, — говорил он, — что мой ритм отражает ритм земли... Я старался уловить элегический тон, напевность, присущие крестьянской речи и песне».

Действительно, применяемые писателем художественные средства гармонируют с предметом изображения, служат созданию выразительной реалистической картины. «Я считаю себя сторонником реализма в литературе, — писал Кавалец в 1966 году, отвечая на анкету советского журнала «Иностранная литература», — и поэтому стараюсь, чтобы мой литературный замысел зарождался на земле, а не на небесах, чтобы он имел реальную основу в конкретной жизни... Соответственно форма должна служить содержанию».

Верен в своей прозе теме польской деревни и Брыль, писатель среднего поколения, успешно выступающий также как поэт и драматург. В основе его «деревенских» повестей и рассказов лежат тоже непосредственные жизненные впечатления: войну и первые послевоенные годы писатель провел в деревне. «Из деревни, — писал Брыль, — происходит герой, который, по моему, может и должен стать героем современной литературы». Для этого героя характерно «хозяйственное, активное отношение к миру. И в нем, как в фокусе, скрещиваются судьбы нашего народа».

Читатель заметит сходство между повестями Кавальца и Брыля. И тут и там события излагаются не непосредственно

автором, а через восприятие одного из героев. Следствием этого является смешение настоящего времени и ретроспекции, субъективность в оценках поступков персонажей, недосказанность отдельных сюжетных линий — в расчете на активное участие читателя в поисках правды о времени и героях. Этим достигается и концентрация внимания на одной проблеме, на одном персонаже. Но если повесть Кавальца по форме — исповедь героя-прокурора, размышляющего о жизни обвиняемого и своей, то у Брылля рассказ ведется как бы сторонним наблюдателем. Его связывают с главными действующими лицами личные, родственные отношения, помогающие ярче осветить многие поступки и обстоятельства. Он не комментирует, а излагает факты в произвольной последовательности, так как их воспринимает. Брыль придает особое значение такой манере рассказа: «Я всегда излагал события через призму опыта и взглядов рассказчика. Он видел, слушал и описывал, вникал в рассказы и реакции других. У него был свой, субъективный тон, что допускало милую сердцу неоднозначность в обрисовке персонажей».

О прозе Брылля трудно говорить «описывает», «изображает», «показывает». Всего этого писатель как раз не делает. Он скорее исследует, складывая по кусочкам мозаику психологического портрета героев, восстанавливая подлинный облик минувших событий. Камерность повестей Брылля кажущаяся. В психологическо-аналитической повести, какой является «Тетка», писатель затронул большую и сложную тему — ход послевоенной земельной реформы в польской деревне. Он не стремится к созданию эпического полотна, широкой социальной панорамы. Воспроизводя время революционной ломки старых отношений через индивидуальные людские судьбы, характеры, решения, действия, Брыль рисует крупным планом ситуации зачастую необычные, парадоксальные, показывает анахронизм мышления и чувств класса собственников, уходящего с исторической сцены, и вместе с тем — рождение новой модели патриотизма, появление общественного деятеля новой формации.

Необычность ситуации, представленной в повести, заключается в том, что крестьяне, получившие в результате реформы долгожданную землю, не решаются взять ее. Веками воспитывалось в них убеждение в неприкосновенности помещичьей собственности. «Красный помещик» Бачевский выдает им дарственные на свою бывшую землю, не имевшие никакого юридического значения, но в глазах крестьян законные, ибо, по их мнению, как «законный наследник, он имел право отдавать

то, что ему принадлежало. Никто — даже если слухи о скором падении власти коммунистов подтвердились бы — не смог бы отменить эти дарственные».

Раскол общества в переломные годы происходит не только по социально-классовой линии. Бывший помещик Бачевский стал сержантом Войска Польского, сторонником народной власти, погиб от бандитской пули. Его сестра Эмилия, старая хозяйка Бачева, «Тетка» — воплощение «классических» шляхетских пороков: высокомерия, деспотизма, эгоизма, ограниченности. Она пытается бороться за сохранение своего исключительного положения в деревне: лишившись земли, за фамильные драгоценности скупает крестьянскую землю, чтобы чувствовать себя хозяйкой, иметь над деревней «моральную власть», которая «представлялась ей самой важной». Привязанность к брату побуждает «Тетку» истолковывать его действия в защиту крестьян как позволительную для представителя древнего рода шляхетскую фанатерию, подобную его женитьбе на «мужичке». Лишь тогда, когда иллюзия, за которую она цеплялась, рассеялась, «Тетка» признала себя побежденной, но поражения пережить не смогла, ибо не видела для себя места в новой, непонятной жизни.

Психологический портрет героини дан без каких бы то ни было упрощений. Как человек, фанатически одержимый одной, пусть ложной, идеей, она не может не внушать окружающим страха и даже уважения. Повесть передает весь диапазон ее переживаний и страданий. Рассказчик жалеет ее, не скупится на теплоту и сочувствие в изображении ее одинокой старости. Но это не мешает читателю отчетливо понимать: то, во что верит, чем живет Эмилия Бачевская, — обречено на умирание.

В основе творчества Брылля, как и других передовых художников слова, лежит убеждение в познавательной и воспитательной роли литературы, в обязанности писателя быть выразителем общественного сознания народа. Этому, по словам Брылля, учит польская национальная литературная традиция, лучшие произведения польской литературы, в которых писатель «борется за дело, которое является болью его души».

Чувство гражданской ответственности, понимание того, что правдивая, откровенная и смелая литература может и призвана воздействовать на формирование идейного и нравственного облика человека, объединяет польских писателей, участвующих в деле построения социализма. Писатели все решительнее обращаются к действительности наших дней, исследуют моральные проблемы и конфликты, взятые из современной жизни.

«Литература делится на хорошую и плохую. Хорошая открывает современникам истину о людях и мире, плохая — с триумфом открывает давно открытые истины». Так формулирует свое понимание роли литературы Станислав Дыгат. Ведущая нравственно-философская тема его творчества, на первый взгляд не очевидная, прикрытая иронико-сатирическим изображением, — утверждение достоинства человека, преодолевающего иллюзорные представления о действительности, формирующего себя как личность.

Действительность в прозе Дыгата обычно передается через восприятие героя — повествователя. На первый план выступают заботы, стремления и надежды «заурядных», обыкновенных людей, обладающих, однако, незаурядной наблюдательностью и чувством юмора. Писатель вкладывает в уста героев многие свои размышления и наблюдения, как правило, окрашенные иронией. Это создает своеобразный, неповторимый сплав лиризма, иронии и самоиронии, который является отличительной чертой стиля писателя.

В сборнике «Размышления во время бритья» Дыгат приводит слова вольноопределяющегося Марека из книги Гашека: «Человеку хочется быть гигантом, а на самом деле он дерьмо». Один из польских критиков полагает, что эти слова можно поставить эпиграфом к прозе Дыгата. Утверждение это поверхностно и несправедливо. Дыгат против пессимистической концепции действительности: «Внушение отвращения к жизни, к самой идее жизни, людям, у которых столько забот и хлопот, кажется мне по меньшей мере бестактным». Смех и «нотка меланхолии и грусти» помогают писателю выявить то мелочное, недостойное, что есть в человеке, что мешает ему быть человеком.

Это относится и к герою повести «Диснейленд» Мареку Аренсу. Марек стремится ответить на вопрос: кто он, за кого и за что несет ответственность, стремится определить свои координаты в окружающем мире. Вопросы о смысле своей жизни, о «способе бытия» неумолимо врываются в его сознание, и это создает из него личность.

Герой ищет настоящей любви, в которой для него заключены подлинные нравственные ценности и которая позволила бы ему выбраться из сложившейся «схемы жизни». История поисков Марekom своего призрачного идеала гротескна, несмотря на все жизненное правдоподобие обстоятельств и богатство реалистических деталей. Об этом предупреждает и название произведения «диснейленд» — по имени известного американского режиссера

и художника Уолта Диснея, автора популярных рисованных фильмов-сказок. «Страна Диснея» — страна нереальных представлений о жизни и сказочных мечтаний Марека, нарисованная им самим.

Повесть блещет стремительным, почти драматургическим диалогом. В ней много смешных сцен, комических фигур, дающих в целом яркое сатирическое изображение примитивно-«спортивной» и снобистско-«художественной» среды, окружающей героя. Забавно пародирует, например, Дыгат «спортивный» способ восприятия музыки и суждений о ней в сцене концерта в филармонии, о котором герой рассказывает в стиле репортажа со стадиона. В ироническом плане — опять-таки не исключающем авторской симпатии — даны тренер Ксенжак с его бесконечными прожектками реорганизации спорта, наивная, но добрая Дорота с ее жаргоном, деспотичная и манерная Агнешка — «злой гений» Марека.

«Сказка — ложь, да в ней намек». В сказке о погоне Марека за призрачным идеалом счастья, однажды мелькнувшим перед ним на костюмированном балу в образе Йовиты, даже не намек, а утверждение необходимости чистоты отношений между людьми, настоящей любви, верной дружбы, по которым так тоскует герой. «Эта подкупающая грусть о справедливости, такая благородная, такая кристально чистая, по-особому окрашивает «Диснейленд», — писал о книге Дыгата Ярослав Ивашкевич.

У повести неожиданный и грустный конец, но ее звучание все-таки оптимистично. Завершающий книгу бунт героя против пошлости (пусть смешной и по-детски наивный) свидетельствует об осознании им бесплодности пассивного созерцания, о понимании необходимости активного включения в жизнь.

«Оптимистической будет та литература, — говорил Дыгат в одном из интервью, — которая утверждает жизнь. Утверждение жизни является одним из обязательных условий реализации большой идеи. Например, строительства социализма в нашей стране».

У Марека много общего с героем повести Ежи Стефана Ставинского «Пингвин», девятнадцатилетним студентом Анджеем. И тот и другой, терзаясь разладом между своими юношески наивными представлениями о себе, людях и реальным миром человеческих отношений, становятся в конце концов на трудный путь духовного возмужания, преодоления своей слабости и робости. Анджей вступает в борьбу с окружением во имя чистой любви и доверительно рассказывает свою историю читателю.

В повести Ставинского затронута актуальная не только в Польше проблема молодого поколения. Какая она, молодежь сегодняшнего дня, помнит ли она славное и трагическое прошлое отцов и старших братьев, есть ли у нее идейные и нравственные убеждения, способна ли она на высокие чувства, романтический порыв? Ответ Ставинского полемичен по отношению к тем писателям, которые в своих произведениях рисовали молодых бездельников, вечно брюзжащих «Гамлетов карманного формата» (по выражению одного из критиков), студнеобразных безвольных личностей или аморальных суперменов блатного пошиба. Ставинский показывает другого героя — презирающего цинизм и пошлость, нежно влюбленного, робкого и застенчивого, но, когда надо, решительного и мужественного.

Герой повести, как и его сверстники, плохо представляет себе минувшее. Он усвоил модный среди части молодежи снижительно-пренебрежительный тон по отношению к «предкам». Но в глубине души он завидует их героической биографии, тому времени, когда, по его понятию, легко можно было стать героем, завоевать признание любимой: «Они с матерью вместе были в подполье: воин-герой, подвергавшийся опасности, девушки любили героев, раз-два, стрельба, смерть поджидает за каждым углом, любовь приходит сама, патриотическая любовь, наспех, на ходу, между тайной переправой гранат и комендантским часом, завтра мы, может быть, погибнем...» Ему даже кажется, что только тогда человек мог проявить себя. Героической полосой польской истории как бы поверяются сегодняшние представления о благородстве, порядочности, мужественности.

Произведения Ставинского точно передают реальные обстоятельства действия, конкретные приметы времени. В «Пингвине» ему удалось показать образ жизни, типичные заботы типичной польской семьи рядовых служащих, нарисовать колоритные сценки из жизни Варшавы 60-х годов. Достоверность повести подчеркивает ее язык — современная разговорная речь миллионов — со множеством сокращений, словечек и выражений, еще не зафиксированных в толковых словарях. Это и молодежный жаргон, и насмешливо-ироническая манера разговора, которые не только отлично характеризуют Пингвина и его сверстников, но и проникают в язык представителей разных поколений.

Динамичное повествование, скупые, но выразительные средства, применяемые для обрисовки характеров, внимание к предметной детали в «Пингвине» могут навести читателя на мысль о влиянии кинематографа на прозу Ставинского. Он,

действительно, тесно связан с кино. По его повестям и рассказам снято немало кинофильмов. Несколько фильмов поставил он сам, в том числе по повести «Пингвин». Ставинский придает большое значение кино как массовому искусству: «Современную книгу, даже очень хорошую, прочтет несколько десятков или — в случае исключительного успеха — несколько сотен тысяч людей. Фильм, даже очень слабый, смотрят миллионы». Но это не значит, что он недооценивает литературу. «Литература, — пишет Ставинский, — с ее новыми поисками в области формы, при всех потерях, связанных с наступлением кино, остается по-прежнему основным элементом нравственного и эстетического воспитания общества».

Такое понимание роли и возможности литературы характерно для авторов многих произведений, подчас весьма различных по тематике и художественным средствам. На историческом материале построил свою книгу «Божественный Юлий» Яцек Бохенский. К ее автору применима характеристика, данная в повести историку Корнелию Непоту: «В описании он на первый план выдвигал этическое содержание истории. Это интересовало его прежде всего».

Книгу Бохенского (ее подзаголовок — «Записки антиквара») по жанру можно, пожалуй, определить как историческую повесть-эссе. Жанр этот критика связывает с «интеллектуально-рефлексивным» направлением в польской прозе. На современном или историческом материале писатели рассматривают те или иные морально-философские вопросы: о соотношении этики и политики, о свободе и необходимости, исторической и социальной обусловленности человеческих действий и возможностей личности и т. д. Освоение этой проблематики вызвало оживление и расцвет различных форм философско-аналитической прозы — эссе, дневник, беллетризованный репортаж, заметки писателя и т. д. (В качестве примера можно назвать известный советскому читателю роман-эссе Тадеуша Брезы «Бронзовые врата»). Для «художественной эссеистики» — произведений, срастающихся с эссе, характерны подчеркнутая роль размышляющего вместе с читателем автора-повествователя, ограничение изображения действительности в пользу ее истолкования.

Повесть «Божественный Юлий» имеет мало общего с традиционной исторической повестью. Писатель отказался от фабулы и хронологической последовательности в изложении. Это связано с замыслом книги — не просто рассказать об эпохе Юлия Цезаря, а показать, «что сделал Цезарь, чтобы стать богом», проследить пути и средства достижения Цезарем верховной власти. «Важ-

ны, — говорит рассказчик, — прежде всего факты и логические связи между ними, а не их последовательность. Поэтому может, например, случиться, что антиквар вначале сообщит о чьей-то смерти и лишь потом, когда появится надобность, расскажет о рождении».

Историю борьбы Цезаря за власть реконструирует и комментирует эрудит-антиквар, обладающий ироническим складом ума. Такой рассказчик-интерпретатор представляемых фактов живо и непринужденно беседует с читателем, делится с ним своими наблюдениями, сомнениями и предположениями.

Образ Цезаря, полководца, императора, верховного жреца, издавна привлекал внимание сотен историков и писателей от древних хронистов и до наших дней, от В. Шекспира до Бертольда Брехта (роман «Дела господина Юлия Цезаря»).

Идейный замысел Б. Брехта такой же, как и у Я. Бохенского. Брехт писал о своей книге: «Не ищите в ней описания героических подвигов в духе древних, но если вы станете читать с открытыми глазами, то, может быть, обнаружите кое-что о том, как устанавливаются диктатуры и основываются империи». Брехт, развенчивая миф о «демократичности» римского правителя, обнажает экономическую основу «деяний» Цезаря, показывает его как эксплуататора, стяжателя и спекулянта. (Его «хроника» доведена до консульства Цезаря — до того момента, с которого начинается повесть Бохенского.) Бохенского же интересует политическая карьера и морально-психологический облик диктатора.

Четыре главы повести демонстрируют методы, с помощью которых Цезарь устанавливал неограниченную власть, создавал вокруг себя «божественный ореол»: «жестокость», «милость», «любовь», «ненависть».

Идеальный правитель, мудрый вождь, наблюдательный психолог, знаток человеческих характеров, превосходный стилист, преданный любовник Клеопатры, красавец мужчина, увенчанный лавровым венком... Тьма блестящих качеств, создавших легенду о Юлии Цезаре. Всего этого не скрывает от читателя антиквар. Но он показывает и обратную сторону «божественного» лика: насилие и шантаж, предательство и ложь, сводничество и разврат, наконец — отсутствие каких-либо идейных побуждений.

Один за другим осыпаются листья из лаврового венка великого Цезаря. Сияющий нимб скрывает, оказывается, циничного и грязного политического интригана, моральное ничтожество, «лысого бабника». «Антиквар» описывает методы, применяемые

Цезарем при порабощении Галлии: уничтожение селений, истребление целых племен, опустошение колоссальных территорий. В гражданской войне за власть в республике политика массовых убийств сменяется политикой массовых помилований. В ход идут демагогия, подкуп, игра на настроениях толпы. Рассказчик умело сопоставляет Цезаря с видными людьми эпохи, показывает, как расправлялся с ними диктатор, как ломались их непрочные принципы под напором честолюбия Цезаря. Перерождается в оппортуниста противник диктатуры Цицерон, идет на примирение с Цезарем моралист Катулл.

Единственный, кто не принял милостей Цезаря — Марк Порций Катон, неподкупный чудак, негиббемый фанатик, который после поражения Помпея кончает самоубийством. История взаимоотношений Цезаря и Катона — это история морального поражения Божественного. Своей смертью Катон претендует на бессмертие, и Цезарь оказывается бессильным помешать легенде «улицы» о справедливом Катоне. И «улица» права. В конечном итоге дело даже не в Катоне. Просто народ осудил Цезаря.

Только народ движущая и созидательная сила истории — подчеркивает Бохенский. Демагогией, подкупам, вероломством, провокациями порой удастся оглупить, деморализовать простых людей, использовать их в своих целях. Но редко даже таким умелым политикам и демагогам, как Цезарь, удастся сделать народ ширмой для своих темных делишек. В повести Бохенского, согласно исторической правде (республика изжила себя, объективный ход истории был «за Цезаря»), нет сил, способных противостоять Диктатору. Единственным молчаливым судьей его деяний постоянно был народ, «маленькие» люди, загадочные и подчас пугающие даже Божественного.

Повесть Бохенского, которая прочно базируется на историческом знании, далека от того — вопреки толкованиям некоторых критиков, — чтобы стать чем-то вроде многозначной притчи. Его Цезарь — это только Гай Юлий Цезарь, историческая личность, представитель своей эпохи, общества, класса. Но, конечно, история возвышения Цезаря, рассказанная «антикваром», дает читательскому уму обильную пищу для размышлений о природе антинародной власти. «В книге Бохенского, — как замечает Я. Ивашкевич, — нет навязчивых аналогий с сегодняшним днем, нет плоских параллелей — схематических соответствий между фигурами римской истории и вчерашними или сегодняшними политическими величинами. Но в каждой фразе «Божественного Юлия» чувствуется, что Бохенский думает о нас...»

Проза Народной Польши многогранна, она характеризуется широкими интеллектуальными горизонтами, новизной и яркостью художественного выражения. Это относится и к рассмотренным нами повестям. При всей своей «короткометражности» они вбирают в себя массу жизненного материала, ставят актуальные, волнующие читателя проблемы прошлого и настоящего. Многим из них присуща эпическая широта, и здесь подошло бы определение, которое дал своим повестям Филипович, — «микророман», то есть произведение небольшого объема, повесть, которая взяла, однако, от романа присущий ему объем жизненных отношений без обстоятельности повествования, характерной для романа.

В каждой из повестей запечатлены явления значительные, характерные для изображаемого писателем времени. А в целом они дают широкую панораму польской жизни.

В. Хорев

СОВРЕМЕННЫЕ
ПОЛЬСКИЕ
ПОВЕСТИ

МЕДАЛЬОНЫ

Люди людям уготовили эту судьбу.

ПРОФЕССОР ШПАННЕР

1

В это утро мы снова пришли туда. День был майский, ясный, прохладный. С моря дул свежий ветер, напоминая о чем-то давным-давно забытом. За деревьями широкой асфальтированной аллеи виднелась высокая стена, отгораживающая огромный двор. На этот раз мы уже знали, что нам предстоит увидеть.

Нас сопровождали двое пожилых мужчин. Они пришли, потому что были коллегами Шпаннера — и оба врачи, профессора, ученые. Один высокий и седой, с худощавым и породистым лицом, другой тоже крупный, но толстый и неуклюжий. Его полное добродушное лицо казалось озабоченным.

Одеты они были почти одинаково и иначе, чем мы, так, как одеваются в провинции, — оба в черных, длинных, добротных демисезонных пальто, в мягких черных шляпах.

В углу двора, чуть на отшибе, стоял скромный нештукатуренный кирпичный домик, ничем неприметный корпус огромного Анатомического института.

Сначала мы спустились в просторный полутемный подвал. Освещенные наклонно падающим сверху из окон лучами света мертвецы лежали здесь точно так же, как и вчера. Их нагие светло-кремовые молодые,

словно высеченные из мрамора, тела хорошо сохранились, хотя много месяцев ждали той минуты, когда наконец не будут больше нужны.

Они лежали в длинных цементных бассейнах, как в саркофагах с открытыми крышками, ряд за рядом, один за другим. Руки у покойников были вытянуты вдоль тела, а не сложены на груди, как того требует погребальный обряд. Головы отрезаны от торсов так ровно, будто и в самом деле были из камня. В одном из таких саркофагов на самом верху, на груди мертвецов, все так же лежал запомнившийся нам «моряк», без головы, прекрасно сложенный, мощный, как гладиатор, юноша.

На груди его виднелась татуировка — контуры парохода. И на очертаниях двух труб слова напрасной веры: *«С нами бог»*.

Мы обошли все наполненные трупами бассейны, и оба немца шли с нами рядом и тоже смотрели. Оба они были медиками и лучше нас понимали, что все это значит. Для нужд Анатомического института при университете с лихвой хватило бы четырнадцати трупов. Тут их насчитывалось триста пятьдесят.

Два чана были доверху наполнены отрезанными от тел и обритыми наголо головами. Они лежали как попало, как насыпанная в подпол картошка: одни на боку, словно покаясь на подушке, другие лицом вниз, третьи на затылке. Желтоватые и гладкие, ровненько отрезанные от шеи, словно каменные, они тоже великолепно законсервировались.

В одном из таких чанов в углу лицом вверх лежала голова юноши, почти мальчика, при жизни ему могло быть лет восемнадцать, не больше. Чуть раскосые темные глаза его были лишь чуть прикрыты веками. На полных губах такого же кремового цвета, как и лицо, застыла скорбная, страдальческая улыбка. Ровные, резко очерченные брови словно в недоумении были чуть приподняты вверх к вискам. Оказавшись в этой странной, недоступной для человеческого понимания ситуации, он словно бы ждал, какой окончательный приговор вынесет ему судьба.

Дальше опять шли бассейны с мертвецами, а за ними опять большие чаны, и в них разрезанные пополам, изрубленные на части человеческие тела, с кото-

рых сняли кожу. Женские трупы лежали в отдельном бассейне, их было немного.

В подвале виднелось еще несколько пустых, недавно сделанных бассейнов без крышек. Очевидно, столь необходимый живым запас мертвецов был признан недостаточным и его намеревались пополнить.

Вместе с коллегами Шпаннера из подвала мы направились в красный домик и там на остывшей топке увидели огромный котел, наполненный жидким месивом. Один из присутствующих, должно быть, уже бывавший здесь прежде, поднял крышку и кочергой вытащил из котла вываренный человеческий торс со снятой кожей, с него стекала жидкость.

В двух других котлах ничего не было, но неподалеку, на полках застекленного шкафа, рядами стояли тщательно прокипяченные черепа и берцовые кости.

Мы увидели также ящик с аккуратными стопками тонких пластов отделенной от жира человеческой кожи. На полке — банки с каустиком, сбоку — вмонтированный в стену котел, и большая печь — в ней сжигали кости и прочие отходы.

И, наконец, на высоком столе — куски мыла, белевого и шершавого, и несколько металлических формочек тоже со следами засохшего мыла.

На этот раз мы не стали подниматься на чердак, чтобы взглянуть на возвышавшуюся посреди пола гору черепов и костей. Мы лишь постояли минуту во дворе там, где виднелись остовы металлических печей, примерно, того же образца, что в крематории, и всевозможные трубы и провода, словом, все, что осталось от трех сгоревших строений. Красный домик тоже уже два раза поджигали, но оба раза пожар был вовремя замечен и погашен.

Мы вышли на улицу вместе с коллегами Шпаннера, но они тут же отделились от нас и ушли в сопровождении каких-то лиц.

Комиссии дает показания худой и бледный молодой человек с яркими голубыми глазами. Его привели на допрос из тюрьмы, и он никак не может взять в толк, чего от него хотят.

Он говорит серьезно и грустно, взвешивая каждое слово. Говорит по-польски, но с акцентом, чуть грасируя.

Родом он из Гданьска, учился в начальной школе, потом кончил еще шесть классов, был харцером¹, получил аттестат, пошел в армию добровольцем. Попал в плен, но бежал. Чистил на улице снег, работал на военном заводе. Оттуда он тоже сбежал. Вернулся в Гданьск.

Когда отца посадили в концлагерь, на квартире у матери поселился немец. Этот немец и устроил его на работу в Анатомический институт. Так он попал к профессору Шпаннеру.

Профессор Шпаннер писал книгу по анатомии и взял его к себе препарировать трупы. В университете профессор Шпаннер читал курс лекций о препарировании трупов, готовил к изданию книгу, собирал для нее материал. Вместе с ним работал его заместитель профессор Вольман, но писал ли он тоже какую-нибудь книгу, заключенный не знает...

Под мыловарню корпус этот был приспособлен в 1943 году. Шпаннер сразу же позаботился о специальной машине, отделяющей мясо и жир от костей. Из костей должны были изготавливать скелеты. В 1944 году профессор Шпаннер велел студентам собирать отдельно трупный жир. Каждый вечер после окончания занятий, когда студенты уходили, рабочие собирали миски с жиром. Были там миски с жилами и с мясом. Мясо выбрасывали или сжигали. Но горожане стали жаловаться в полицию, уж очень сильный стоял смрад, тогда профессор приказал топить печи ночью.

Студентам велели тщательно снимать с трупов кожу, потом также аккуратно отделять жир и, наконец, — мускулы от костей. О том, как все это делать, можно было справиться в учебнике.

Рабочие счищали сало с мисок и хранили его всю зиму, а когда студенты выезжали на каникулы, за пять-шесть дней перерабатывали его на мыло.

Профессор Шпаннер собирал и человеческую кожу. Вместе со старшим прозектором фон Бергеном они

¹ Харцеры — члены молодежной организации, созданной в 1910 году.

должны были ее обработать, а потом она шла на всякие поделки.

— Старший прозектор фон Берген мой непосредственный начальник. Заместителем профессора Шпаннера был доктор Вольман. Профессор Шпаннер был штатский, но добровольно вызвался работать в СС.

Где теперь доктор Шпаннер, заключенный не знает.

— Шпаннер уехал отсюда в январе тысяча девятьсот сорок пятого года. Когда уезжал, велел нам перерабатывать собранный за семестр жир, продолжать варить мыло, содержать в порядке трупы, содержать в чистоте помещение, чтобы все у нас выглядело прилично. Про рецепт он ничего не сказал, может, он про него и забыл. Говорил, что вернется, но только больше не приехал. Почту мы пересылали ему в Галле на Заале, в Анатомический институт.

Молодой человек сидит на стуле у стены, лицом к свету. Он весь на виду — в своем усердии и размышлениях, в своем стремлении рассказать все без утайки, ничего не упустив. Он один, а нас человек десять — члены комиссии, местные власти, судьи. Чрезмерное его усердие иногда приводит к тому, что становится непонятно, о чем речь.

— О каком рецепте вы говорите?

— Этот рецепт висел у нас на стене. Рецепт на изготовление мыла. Ассистентка привезла его откуда-то из деревни и переписала. Фамилия ее Койтек. Технический работник. Она тоже уехала в Берлин. Кроме рецепта, на стене висела еще памятка, ее составил Берген. В памятке указывалось, как очищать кости от мяса для изготовления скелетов. Но с костями ничего не вышло, они раскрошились. То ли температура была слишком высокая, то ли раствор чересчур крепкий, — жалуется он на неполадки. — Зато с мылом все шло нормально. Только один раз получился брак. Вот эта последняя порция, она лежит на столе в цеху.

Мыло всегда изготавливали в цеху. Руководил работами сам доктор Шпаннер и старший прозектор фон Берген. Они всегда вместе ездили за трупами. Ездил ли он с ними? Да. Ездил два раза. И еще раз он ездил в Гданьск, в тюрьму.

— Поначалу трупы привозили из сумасшедшего дома, но потом их стало не хватать. Тогда Шпаннер разослал разным бургомистрам письма, писал, чтобы покойников не зарывали в землю, что за трупами приедут из института. Мертвецов привозили отовсюду, из лагеря в Штутгофе, привозили казненных из Кенигсберга, из Эльблонга, со всего Поморья. А когда в гданьской тюрьме построили гильотину, трупов было хоть отбавляй...

Чаще всего среди мертвецов попадались поляки. Но как-то раз привезли и немцев, военных, их казнили в тюрьме, во время торжества, а потом четыре или пять трупов русских, у них были русские фамилии.

Трупы фон Берген чаще всего привозил ночью.

— Что это было за торжество?

— Освящение гильотины. Доктор Шпаннер получил приглашение, гостей было много. Шеф захватил с собой старшего прозектора фон Бергена и меня. Зачем он взял меня, не знаю, ведь меня не приглашали. Гости шли и шли, многие приехали на машинах. Все собрались в зале. Но нас туда не пустили, велели ждать. Перед этим мы осмотрели гильотину и виселицу. Как раз в этот день казнили четырех немцев. Гильотину освящал пастор.

Одного из немцев ввели при мне. Руки у него были за спиной в наручниках. Он стоял босой, полуголый, в одних брюках, и ноги у него были черные.

За большим фиолетовым занавесом была еще комната, там сидел прокурор. Старший прозектор потом разговаривал и с палачом, и нам обо всем рассказал. А мы слышали речь прокурора, потом грохот, это двигали что-то тяжелое, и топот — будто кто-то бежал. И вдруг лязг железа. Палач доложил, что приговор приведен в исполнение. И мимо нас в открытых гробах вынесли четыре трупа.

Был ли пастор на торжестве, я не знаю. Но говорили, что один из военных — пастор.

За одну только поездку фон Берген с Вольманом привезли из этой тюрьмы сто трупов.

Но потом Шпаннер стал отказываться от безголовых, и растрелянных он тоже не брал, слишком много было с ними возни, и они здорово воняли. Как-то

привезли немца без головы. И нога у него была сломана и прострелена. Всё сразу. А у трупов из сумасшедшего дома головы были на месте.

Шпаннер всегда любил запастись трупы впрок. Ну а потом, когда их стало меньше, в дело пошли любые, даже без головы.

Вот этот безголовый моряк из гданьской тюрьмы. Трупы разрезали пополам, потому что целиком они в котел не помещались.

Один человек может дать килограммов пять жира. Жир хранился в цеху, в каменном бассейне.

— Сколько его было?

Он долго думает, старается ответить как можно точнее.

— Центнера полтора.

Но тут же добавляет:

— А в последний раз оказалось меньше. Когда началось отступление, жира было, пожалуй, с центнер, не больше.

О производстве мыла никто не должен был знать. Шпаннер не велел говорить об этом даже студентам. Но они у нас бывали, один увидел и, как водится, сказал другому. А как-то раз в цех позвали четырех студентов, и они помогали нам варить мыло. Но обычно к производству допускались только шеф, старший прозектор, я и двое немцев, рабочих. Готовое мыло забирал Шпаннер, он им и распоряжался.

— Да, да, готовое мыло. Когда его сваришь, оно мягкое и должно немного остыть. А потом его режут на куски... Шпаннер запирает мыло на ключ. Там было не только мыло, там же стояла и машина. А заходить туда имели право только мы — пять человек. У нас хранился свой ключ.

— Почему все это скрывали?

Теперь он размышляет чуть дольше, стремясь ответить пообстоятельнее.

— Может быть, Шпаннер боялся, — раздумывает он вслух. — Если бы в городе об этом узнали, были бы неприятности.

Кажется, что и он где-то там, «за фиолетовым занавесом». И что с этим делать — неизвестно.

Наконец кто-то не выдержал:

— Неужели вам никто не говорил, что варить мыло из человеческого жира — преступление?

— Этого мне никто никогда не говорил, — отвечает он искренне.

И все же слова эти заставили его задуматься. На дальнейшие вопросы он отвечает не сразу, но с прежней готовностью.

— А как же, приезжали и в институт и к Шпаннеру. Приезжали профессора Клотц и Шмидт, приезжал Россман. Как-то раз в институт гигиены приехали министр здравоохранения и министр просвещения, а однажды побывал у нас и гаулейтер Форстер. Принимал их ректор Медицинской академии профессор Гроссман. Некоторые приезжали, когда этого дома еще не было. Они заходили только в анатомичку, чтобы узнать, как идут дела, чего не хватает. И хотя цех работал, мыло денька через четыре-пять прятали. Видели они мыло или нет, сказать не могу, может, и видели. И во время ревизии рецепт всегда висел на стене. Они его читали и, наверное, понимали, что здесь готовят.

— Да, шеф поручил мне вместе с рабочими варить мыло. Почему мне? Не знаю. Про Шпаннера я тоже думал, что тут дело нечисто. А то с чего бы он стал вдруг запира́ть мыло на ключ. Если б он хотел писать о мыле книжку, то не велел бы нам молчать. Сам ли он додумался варить из отходов мыло? Наверное, сам, приказа такого не было, а то зачем бы ему самому заботиться о рецепте...

Все это высказывается очень предположительно.

— Студенты? Как все, так и они. Вначале все мы боялись этим мылом мыться. Чувствовали отвращение. Может, оттого, что оно плохо пахло. Шпаннер все время думал над тем, как отбить этот запах. Писал на химические заводы, просил, чтобы прислали ароматические масла, но все равно мыло это было какое-то не такое.

— Да, дома я об этом рассказывал. Бывало, только подумаю, что этим можно мыться, меня трясет, даже один мой сослуживец это заметил. И мама тоже этим мылом брезговала, но оно хорошо мылилось и пошло на стирку. Понемногу и я привык, ведь продукция была качественная...

На его худом, бледном лице появляется снисходительная улыбка.

— Известное дело, немцы, они из всего могут сделать конфетку...

3

Во второй половине дня мы снова вызвали на допрос коллег доктора Шпаннера. Разговор велся в привычной для них обстановке, в пустой приемной одного из больничных зданий.

На допрос их вызывали по одному. Но и тот и другой заявили, что ничего не знали о существовании укрытой в одном из больничных зданий мыловарни. Сегодня утром они увидели ее в первый раз, и зрелище это произвело на них тяжелое впечатление.

И тот и другой заявили, что профессору Шпаннеру было лет сорок, не больше, и в области патанатомии он считался большой научной величиной. О его моральных качествах они ничего определенного сказать не могли: знакомы с ним были недавно, встречались редко, знали только, что он член национал-социалистской партии.

Во время допроса и тот и другой сидели поодаль от нас с одинаково растерянными лицами. Сидели все в тех же неизменных черных пальто, придерживая на коленях черные шляпы.

Оба отвечали на вопросы с готовностью, но взвешивая каждое слово. Оба учитывали все — Гданьск в ту майскую пору был еще наводнен немцами, по улицам шли бесконечные колонны военнопленных, немки бросали им из окон цветы. Но власти в городе были польские, а в гарнизоне стояли советские войска.

Однако на вопрос, могли ли они, зная Шпаннера по его научной деятельности, допустить, что он способен варить из людей мыло, они ответили поразному. Первый профессор — худой и высокий, с тонкими чертами лица, после долгих размышлений заявил:

— Да, я вполне допускаю, что Шпаннер мог выполнить такой приказ. Ведь всем известно, что у него было партийное взыскание.

Второй — грузный и добродушный, с младенчески розовой кожей и обвисшими щеками, тоже долго размышлял и наконец, все взвесив, ответил по совести:

— Да, я это вполне допускаю. С жирами у нас тогда было очень плохо. Экономическое положение в стране тяжелое. Во имя процветания государства он мог пойти на это.

ДИО

— С чего начать? — на минуту она задумывается. — Сама не знаю.

Она седая и, пожалуй, даже красивая, полная, с мягкими плавными движениями. Лицо у нее очень усталое. Она пережила такое, чему никто бы не поверил. Она и сама бы не поверила, если бы не знала, что это было.

Она ни от кого ничего не требует. Ей хочется только, чтобы люди были к ней чуть добрее, ведь она сама прошла через многое, и дети у нее погибли в лагерях. Правда, известия об их смерти она не получила. Но уже давным-давно она ничего о них не знает.

Сын до сих пор не вернулся домой. Но друзья его, все, кто возвратился, говорят, что ничего о нем не слышали. А дочь...

Об этом говорить еще тяжелее, так тяжело, что большие серые кроткие глаза тотчас же заволакиваются слезами. Слезы появляются сами собой, не прошенные, и незаметно исчезают, так и не скатившись по щеке.

О муже она тоже ничего не знает. В последний раз люди видели его в лагере, в Прушкове. Но он, человек немолодой, свое прожил. Немолодой, хоть и моложе ее на три года.

Она осталась совсем одна, и люди должны бы понимать это. Старики, которые знали ее в прежние годы, относятся к ней душевно. А молодые... Молодым она только помеха.

— С чего начать? — повторяет она, и глаза у нее сами закрываются от усталости. — В Равенсбрюке они нас, конечно, мучали. Глумились, как могли. И уко-

лами донимали, и опыты разные делали. Вскрывали раны. И все их доктора, интеллигентные люди. Но только пробыли мы там недолго — всего три недели. Оттуда нас перевели в другой лагерь, на военный завод.

— И дочку тоже, а как же. Мы везде были вместе. С той самой минуты, как нас арестовали. Только когда мы возвращались домой, ее задержали. Ее и еще несколько девочек. Всего человек десять...

Она говорит приглушенным голосом, и слова сами слетают с ее губ, частые и грустные. Все время вспоминает о дочери. Дочь была доброй, была красивой, была способной. Учила детей, состояла в организации. И сын тоже. Вечно они за него беспокоились. Он часто возвращался домой ночью, намного позже комендантского часа. Бросит в стекло горсть песка, они спустят вниз веревку, а он по ней лезет в окно, чтобы дворник ни о чем не догадался. Она всегда боялась, что в конце концов кто-нибудь его выследит и все откроется.

Его тоже взяли, но не вместе с ними, а во время восстания. Последнюю открытку он прислал родным в декабре. Он знал, что мать и сестра уже давно в Германии.

— До того как нас отправили в лагерь, два месяца мы были в Павяке. Что там творили с людьми, как измывались! Уколы делали — кровь выкачивали для своих солдат и только потом вешали или вели на расстрел. Сначала возьмут от человека все, что могут, а потом убьют.

Чувствуется, что она многого не договаривает.

— У нас на кухне были мужчины, они тоже нам кое-что рассказывали. И о крысах тоже... Заключенные сами должны были выносить трупы из морга. Руки и ноги у них были связаны и все внутренности выедены начисто. У некоторых еще билось сердце.

Она снова подумала о чем-то, о чем не могла говорить. И только едва заметная морщинка появилась на ее гладком лбу — от этого взгляда в прошлое.

— Мучать меня не мучили, но били сильно, — сказала она наконец.

И снова посыпались частые, тихие, короткие слова.

— Боже, как меня били, все хотели узнать, кто и зачем к нам приходил в тот день, когда у нас собрался народ и дочка на пианино играла, не поверили, что это урок танцев. Били резиновой дубинкой... Я заслонила лицо руками, и мне дубинкой отбили все пальцы — вот и сейчас видно. Когда я что-нибудь делаю, мне всегда больно.

Она показывает свои небольшие опухшие, изуродованные руки.

— Очень я боялась, что не выдержу, скажу что-нибудь, когда уж очень было больно, когда в глазах темнело. Но выдержала. Решила, что буду молчать, и молчала. Держалась до конца.

Она вздохнула с облегчением и доверительно продолжала:

— А сын ребят дома обучал, только вместо винтовок у них были палки.

Женщина встряхнула головой, провела своими изуродованными руками по лицу и заговорила снова:

— А теперь я расскажу вам, как мы работали на военном заводе. По двенадцать часов не отходили от станка. Перерыва на обед не полагалось. Ночевали мы в лагере. Этот новый лагерь назывался, кажется, Бунциг. Оттуда до завода несколько верст. Будили нас в три часа ночи, света никакого не было, и мы в темноте застилали нары, пили кофе без сахара, и каждый ел свою пайку. С четырех до полшестого на дворе была поверка. Холодно, дождь, снег — все равно. Потом полчаса ходьбы до завода, чтобы успеть к шести. Обед нам давали на заводе. Баланду из сушеных листьев или еще из чего-то, не знаю толком из чего — из сушеной брюквы, что ли... Утром и вечером кофе без сахара и сто грамм хлеба на день. Сначала давали по сто пятьдесят грамм, а потом уже только по сто — вот такой кусочек. Как мы мучались. Как голодали...

Изготавливали мы снаряды — для пушек, для зениток — и еще авиабомбы. Работа тяжелая, все время в чаду, в огне. А тех, кто не выполнял нормы, наказывали.

Как? Знаете, в стороне от лагеря были карцеры. Холодные, сырые, вроде подвалов. Того, кто плохо заправит нары или плохо вымоет кружку из-под

кофе, воды ведь не было и света тоже, тут же отправляли в карцер. Или держали на дворе часов двенадцать подряд, снег ли, дождь — все едино. Гестаповцы следили за нами, ходили мимо, глядели, как мы мерзнем, и смеялись. Мы прижимались друг к другу, чтобы согреться, но за это били и отправляли в карцер. Платица на нас были летние, чужие — не наши. Наши отобрали. Были и арестантские, в полоску, и обычные, рукав до локтя, ноги голые. И на спине наискосок нашит крест.

За то время меня уже два раза обрили наголо, и прямо так я выходила на мороз. Голову покрыть не разрешали. На ногах у нас были деревянные колодки. Только спереди на носке прибит кусочек полотна, чтобы держались. Какие у нас были синие ноги, боже мой, будто кто краской выкрасил...

Как все мы мерзли, вспомнить страшно. Многие не выдерживали и умирали по дороге на работу или прямо у станка. Трупы складывали в бункер. И туда же отправляли за малейшую провинность, есть не давали, не позволяли ничем укрыться, так и сиди всю ночь на голой земле. Утром выведут на поверку и потом обратно гонят в бункер без завтрака. И на поверке наказанные стояли отдельно, чтобы никто не мог поделиться с ними хлебом. Эсэсовки за этим строго следили...

Она умолкла в нерешительности. Опять подошла к чему-то, о чем трудно говорить.

— И все-таки они ели. Я сама видела. Одна женщина шевелила губами. А у другой ногти были все в крови. За это так наказывали! Но они все равно по ночам ели, ели трупы!

Она снова умолкла. Долго собиралась с мыслями, хотела что-то добавить. Но не смогла. Вздогнула.

— Эсэсовки радовались, когда мы умирали, — продолжала она уже более уверенно, как бы преодолев искушение. — Иногда во время поверки женщины падали, эсэсовки смеялись, пинали их ногами, чтоб не притворялись. Пинали, а те, может, уже четверть часа как умерли. А мы стоим рядом, и нельзя шевельнуться, нельзя помочь, ничего нельзя.

Больным тоже не верили, говорили, что притворяются. Их бросали в карцер, пусть, мол, умирают

там, возле трупов. А у мужчин карцеры были хуже наших, и вовсе уж под землей. В самую стужу они стояли по колено в воде.

Она сидела неподвижно, думая, что бы еще сказать. И вдруг оживилась:

— И еще я кое-что расскажу, вам, наверное, это будет интересно. Когда нас вывозили из Павяка, выдали каждой по буханке хлеба и в вагонах для скота отправили в Равенсбрюк. В один вагон загоняли по сто человек, даже стоять было негде.

Воды нет ни капли, выйти нельзя, присесть тоже, все так по ногам и стекало. Спали тоже стоя. Так мы ехали семь дней.

Потом поезд отвели на запасной путь. Была трехчасовая стоянка. И тут мы завывали нечеловеческими голосами — воды, воды! Вагон запломбированный, жара, мы все мокрые от пота, черные от пыли, одежда провоняла, ноги в кале. Вот мы и завывали, как звери.

И тогда пришел немецкий офицер из другого состава, в котором везли раненых солдат, и велел открыть вагон. Нас охраняли украинцы. И они сказали, что открывать нельзя, в этом, мол, вагоне везут бандитов. Тогда он позвал других офицеров — видно, хотел узнать, кто там есть. Пломбу сняли и открыли вагон. Тут-то он нас и увидел.

Боже, как он испугался! Глаза вытаращил, руки растопырил. Очумел от страха.

Ну потом спросил, не говорит ли кто по-немецки или по-французски. Таких было много. Он велел принести воды и выпустить нас из вагона, чтобы мы привели себя в порядок, и тут же приказал открыть остальные вагоны, а там везли мужчин. Боже, что там было. Женщин везли полторы тысячи, а мужчин четыре тысячи с лишним. И в каждом вагоне тридцать — сорок мертвецов. Умерли потому, что им не хватало воздуха.

Рассказав самое важное, она сразу же успокоилась и тихим, усталым голосом продолжала:

— Вагон снова запломбировали и до самого Равенсбрюка нас уже больше не выпускали. Правда, все остались живы. Никто не задохнулся, но несколько женщин сошли с ума. Поправились ли они

потом? Нет, не поправились. Их расстреляли в Равенсбрюке в первый же день.

Еще в поезде они стали на нас бросаться, кусались, царапались. А одна женщина, она в Павяке на самых страшных допросах так ничего и не сказала, а тут давай во весь голос выкрикивать фамилии, говорила, где зарыты ящики с оружием, в каком лесу, у какой дороги, в какой деревне. Говорила все подряд. Мы боялись, что она всех погубит. Но ее уже никто не слушал, просто их всех расстреляли, одну за другой.

Лицо у нее стало грустным. Она задумалась.

— Мне так стыдно, что не помню, как их звали. Женщины там были достойные, с большими заслугами. Может, их теперь кто разыскивает, ждет, как я жду своих детей. А я вот не могу даже вспомнить, кто они.

Вот ведь как... Вот видите! Немец, и тот испугался, когда нас увидел. Ничего удивительного, что многие из нас не выдержали.

НА КЛАДБИЩЕ

Дорога на кладбище идет через весь город мимо той стены. Все дома по ту сторону стены — прежде набитые битком, — из окон и с балконов везде выглядывали люди, — теперь опустели. Проходя мимо одного из домов, где-то на третьем этаже я каждый раз вижу открытое настежь окно с провалившимся подоконником, с почерневшей оборванной занавеской и засохшим цветком, а в глубине комнаты, у стены, — буфет с раскрытыми дверцами.

Время идет, но никто не чинит подоконника, никто не закрывает дверцы буфета.

Дорога на кладбище незаметно приводит нас из города живых в город мертвых. Но и здесь, среди этих вымерших стен, все же продолжается жизнь. Здесь и сейчас еще можно кое-что увидеть и услышать.

Над нежной молоденькой зеленью кладбищенских деревьев черными тучами поднимаются клубы дыма. Время от времени их пронизывает полоса пламени,

трепещущая на ветру, узкая алая лента, а где-то, еще выше, тихонько переговариваются самолеты.

Время бежит, но здесь ничто не меняется, все остается по-прежнему.

Отовсюду приходят вести о смерти. В лагере умер П., умерла К., ее арестовали на каком-то полустанке и тоже отправили в лагерь. Люди умирают то и дело, словно бы стремясь воспользоваться любым подходящим предлогом. Кажется, что никого уже не осталось в живых, что вокруг пустота и ухватиться не за что. Смерть повсюду, она заполонила все. В подземельях кладбищенских часовен рядами, словно выстроившись в очередь, стоят гробы, ожидая часа погребения. Смерть обыкновенная, единичная по сравнению с этой всеобщей кажется чем-то неуместным. Но самая большая бестактность — это жить.

Ничего от прежней жизни не осталось, будто ее и вовсе не было. То, что приходится людям вытерпеть, превышает человеческие возможности. К тому же людей разделяет страх. Один для другого — лишняя возможность смерти.

Действительность еще можно кое-как вынести, если она воспринимается нами неполностью. Если события отделены от нас временем. Для нас действительность — эхо выстрелов, чей-то короткий, сбивчивый рассказ, далекий дым уходящих в небо пожаров, о которых историки говорят, что они «все обратили в пепел», хотя слова эти давно утратили свой смысл. Действительность такая далекая, даже если все происходит тут же за стеной, кажется нереальной. И только мысль пытается удержать ее в памяти, собрать из осколков целое.

Мы опять идем по кладбищенской аллее. Сейчас здесь торжественный весенний раут мертвых. Мертвых, умерших уже давно, обычной смертью. Они называют свое имя и фамилию, называют даты, реже вспоминают чины и звания. Иногда робко просят хотя бы изредка вспоминать о них. И это все. Они всегда здесь, на привычных местах, и, скованные кладбищенским этикетом, выражают свои чувства очень сдержанно. Они неназойливы, хотят от нас совсем немного. И, довольствуясь каплей внимания, почти не обременяют нашей памяти.

Иногда кто-то из людей, близких усопшему, словно бы ведет нас к нему, ободряет, просит быть смелее.

Чья-то безымянная жена с детьми, «хранящая память о муже», каменным шепотом говорит нам, что он был лучшим на свете. Чья-то дочь, которой тоже давно нет в живых, позеленевшими, замшелыми буквами пишет о своей любви к умершей матери.

И только на одной могиле нет креста, а на цоколе бронзового памятника написаны тоже уже ставшие непонятными слова:

«...Глядя с вершин эволюции в бесконечные просторы будущего, мы видим там не зловещий мрак вечной смерти, а животворные лучи вечно цветущей жизни».

Вдоль шеренги мертвецов идет женщина. Она ухаживает за цветами. В руках у нее эмблемы ее должности: метла и лейка. Лейку она ставит на плоский камень возле колонки и накачивает воду.

В этом месте, неподалеку от ограды, кладбище утопает в зелени, могилы — словно маленькие грядки синих и желтых анютиных глазок. Цветут и благоухают ландыши, вот-вот зацветет сирень. В зелени деревьев поет иволга, как пела когда-то весной, в саду моего детства. Среди анютиных глазок мелкими шажками прогуливается полевая мышка, карабкается на стебельки, что-то грызет.

Каждые пятнадцать минут в тишину широко распахнутого неба всплывает самолет и, описав мягкий полукруг над кладбищем, уходит за стены гетто. Сброшенных в тишину бомб не видно. Но скоро в небо поднимутся длинные узкие нити дыма. А потом можно будет разглядеть и языки пламени.

Женщина наполнила лейку и пошла к цветам. Именно с ней можно поговорить обо всем, что касается смерти.

В самые страшные часы кладбище — единственный уголок, где чувствуешь себя в безопасности, где можно отдохнуть душой, словно в саду возле родного дома. Самое надежное прибежище в наши трудные времена.

Но и оно оказалось ненадежным.

— Тут могилы лучше, — рассказывала мне как-то женщина, — тут могилы лучше, потому что здесь

сухо. Лежит себе покойничек и не гниет, только усыхает понемногу. Там, в низине, где сыро, участки дешевле. Но гробы там можно поставить только в два ряда, один на другой.

Характер у нее был ровный и мягкий. Дело свое она знала, могла дать добрый совет, а иногда и утешить. Белолицая, полная, она ничего не принимала близко к сердцу, всему находила объяснение.

— Тут хорошо, тут пригорок, — говорила она. — Как-то раз одну покойницу откопали. Ну ни чуточки она не изменилась. Муж велел выкопать. Молодая она была, в белом платье. Платье тоже не потемнело, было белое.

Неясно, почему муж велел вынуть покойницу из гроба. Женщина объяснила это так:

— Суд потребовал. Муж пожаловался на докторов, что за ней плохо смотрели. Она как родила ребенка — первенца, бросилась в окно и убилась насмерть. Врачи не доглядели. Ее откопали и отвезли в больницу на вскрытие. А потом привезли обратно. Только теперь уже не в белом платье, а в голубом.

Похоронили ее, но опять ненадолго. Не прошло трех месяцев, как снова пришлось разрыть могилу.

— Зачем?

— Муж повесился, нужно было его похоронить. Могилу расширили, обложили камнем. Теперь они здесь оба.

Как кончилась история с врачами, собственно говоря, тоже неизвестно. По всей вероятности, требования мужа не были удовлетворены, если уж прибежище от страданий он искал в смерти.

Потом пришло время, когда на кладбище стали падать бомбы. На дорожках валялись обломки памятников и разбитые медальоны. Разверзлась земля, из раскрытых гробов выглядывали покойники.

Но женщина с кладбища и тогда не теряла присутствия духа.

— Ничего им не сделается, — говорила она. — Второй раз не помрут.

Но сейчас, когда она опять пришла за водой, я вдруг увидела, как она изменилась.

— Что с вами, вы болели?

Ее круглое белое лицо потемнело и вытянулось, на лбу словно от постоянных раздумий появились морщины, глаза лихорадочно блестели.

— Ничего со мной не случилось, — ответила она угрюмо. — Но разве здесь можно жить?

Даже голос у нее изменился, стал какой-то неуверенный, дрожащий, приглушенный.

— Квартира у нас возле самой стены, так что нам все слышно, и все знают, что там творится. В людей стреляют на улицах. Сжигают заживо вместе с домами. По ночам плач, крики. Разве уснешь, когда такое слышишь? Разве можно все это вынести?

Она огляделась по сторонам, словно на безлюдном кладбище ее подслушивали могилы.

— Ведь это же люди, жалко их, — добавила женщина.

Она пододвинула лейку, стоявшую на камне поближе к колонке, и снова принялась накачивать воду. А когда, наполнив ведро, подняла голову, лицо у нее было по-прежнему угрюмое. Она наморщила лоб и часто, часто заморгала глазами.

— Этого нельзя, нельзя вынести, — повторяла она, трясущимися руками вытирая набегавшие слезы. — Хуже всего, что им все равно не спастись. — Она говорила тихо, словно по-прежнему боясь, что ее кто-то подслушивает. — Тех, кто защищается, убивают на месте, а тех, кто не защищается, вывозят на машинах и тоже убивают. Так что же людям делать? Не дают им выйти, поджигают дома. Матери заворачивают детей в какую-нибудь тряпку, чтобы не так больно было падать, и бросают из окна на мостовую. А сами выбрасываются следом, сменьшенькими на руках.

Она подошла ближе.

— Мы сами видели, как отец выбросился из окна вот с таким вот малышом. Все уговаривал, а мальчик боялся. Стоял на подоконнике и хватался за раму, а отец его подталкивал. Отец ли его толкнул, сам ли он вывалился, но только оба — один за другим упали на мостовую.

Она снова расплакалась и дрожащими руками долго вытирала лицо.

— Даже когда не видно, мы все равно все слышим. Все время раздаётся — плюх, плюх, будто что-то мягкое плюхнулось... Это падают люди, лучше выброситься в окно, чем сгореть заживо...

Она прислушалась. В мягкой перекличке птиц на кладбище ей слышались глухие удары человеческих тел, падавших на камни. Женщина подняла лейку и пошла с ней к могилам, к синим и желтым анютиным глазкам. В небо поднялся еще один самолет и, описав большой круг, полетел по направлению к гетто.

Действительность еще можно вынести, когда она известна нам не полностью. Когда мы судим о ней лишь по ничтожной крупице событий, узнаем из вторых рук. Мы слышали о том, как люди толпами покорно шли навстречу смерти. О том, как они бросались в огонь, прыгали в пропасть. Знаем, но мы далеко, мы — по эту сторону сцены.

Женщина с кладбища сама все видела и слышала. Но и для нее все, что происходило на ее глазах, так переплелось с комментариями, что утратило свою реальность.

У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАСЫПИ

Среди умерших еще одна — молодая женщина, которая хотела и не смогла бежать. Ее нашли у железнодорожной насыпи.

Теперь с ней можно познакомиться лишь по рассказам очевидца, он видел все это, видел, но не может понять. И она живет только в его памяти.

Заклученные, которых везли в запломбированных вагонах в лагеря смерти, иногда пытались бежать. На такой отчаянный шаг решались немногие. Гораздо проще было покорно и безропотно, ни на что не надеясь и не бунтуя, продолжать свой путь.

Иногда попытка оказывалась удачной. В оглушительном стуке колес никто из охраны не мог услышать, что происходит в вагоне.

Единственное, что можно было предпринять, это выломать в вагоне доски пола. Но сделать это в темноте, в давке, в толпе измученных, изголодавшихся, смердящих и грязных людей было почти невозможно. Здесь трудно было даже шевельнуться. Поезд рез-

кими толчками раскачивал толпу, и она, вздрагивая, колыхалась в тяжелой духоте и мраке. Но даже самые слабые и робкие, те, кто и подумать не смел о бегстве, понимали, что другим надо помочь. Они расступались, еще теснее прижимались друг к другу и поднимали выпачканные испражнениями ноги, чтобы освободить более смелым путь к свободе.

Иногда удавалось поддеть доску с одной стороны, и это уже вселяло какую-то надежду. Доску отрывали общими усилиями, на это уходило несколько часов. За первой доской шла вторая, третья.

Те, кто был поближе, наклонялись над узкой черной щелью и в испуге пятились назад. Нужно было собрать все мужество, чтобы, нащупав в темноте дорогу, выползти из узкой щели, навстречу грохоту и скрежету железа, навстречу поднимавшемуся снизу воздушному вихрю и мелькающим шпалам, добраться до оси и, наконец, так рассчитать прыжок, чтобы осталась хоть какая-то надежда на спасение. Нужно было упасть на полотно или же проскочить между колесами на край насыпи, а потом, немного опомнившись, съехать вниз и бежать в далекий, манящий своей темнотой лес.

Люди часто попадали под колеса и умирали. Умирали, ударившись о шпалу, железные засовы, врезавшиеся в железнодорожный столб или придорожный камень. Падая, ломали руки и ноги и оказывались тогда в полной зависимости от врага.

Тот, кто решался ринуться в гудящую, грохочущую, мчащуюся пасть, хорошо знал, что его ждет. Понимали это и оставшиеся, хотя наружу выглянуть не могли: двери были плотно закрыты, маленькое окошко в вагоне — под самым потолком.

Женщина, лежавшая у насыпи, была одной из самых отважных. Она третьей спустилась в черневшую на полу щель, за ней спрыгнули еще несколько человек. И в ту же минуту над головами идущих прогремели выстрелы — словно взрыв прокатился по крыше вагона. Потом все стихло. Люди, оставшиеся в вагоне, могли теперь смотреть на черневшую внизу пустоту, как на разверзшуюся могилу. Могли спокойно ехать навстречу собственной смерти, которая ждала их в конце пути.

Поезд с дымом и грохотом уже давно исчез в темноте, вокруг нее был чужой мир.

Человек, который не может ни забыть, ни понять того, что произошло, еще раз повторяет свой рассказ.

Светало, женщина, раненная в колено, сидела возле насыпи на мокрой траве. Кому-то удалось бежать, кто-то недвижно лежал поодаль от путей, у леса. Бежало человек пять-шесть. Двоих убили. И только она осталась здесь — ни с живыми, ни с мертвыми.

Когда человек увидел ее, она была одна, но потом и здесь в стороне от жилья стали собираться люди. Одни возвращались с кирпичного завода, другие шли из деревни. Рабочие, деревенские бабы, какой-то мальчик издали в испуге смотрели на женщину.

Людской ручеек все время тек мимо, люди оставались, беспокойно оглядывались по сторонам и тут же отходили. Вслед за ними подходили другие, о чем-то советовались, прежде чем разойтись.

Сомнений не было. Растрепанные курчавые жгуче-черные волосы и глаза, лихорадочно поблескивавшие из-под опущенных век, сразу же выдавали ее. К ней никто не обращался. Она спросила, живы ли те, что лежат возле леса. И узнала, что они мертвы.

Был белый день, место открытое, просматривалось со всех сторон. Люди уже проведали о случившемся. Как раз в те дни террор усилился. Тому, кто оказал бы женщине помощь или дал прибежище, грозила смерть.

Молодого человека, который стоял возле нее дольше других, потом отошел и снова вернулся, женщина попросила купить в аптеке веронал, предлагала деньги. Он не взял.

Минуту она лежала с закрытыми глазами, снова села, шевельнула ногой, обхватила ее обеими руками, приподняла с колена юбку. Руки у женщины были в крови. Смертельный приговор, засевший у нее в колене, торчал там, как гвоздь, прибив ее к земле. Женщина лежала долго и неподвижно, ее слишком черные глаза были теперь плотно прикрыты веками.

Когда она наконец снова решилась открыть их, то увидела вокруг себя новые лица. Но молодой человек

все еще был тут. Она попросила его купить водки и папирос. Он согласился оказать ей эту услугу.

Толпа людей у насыпи не могла остаться незамеченной. Народу становилось все больше. Она лежала среди людей, не рассчитывая на помощь.словно зверь, которого ранили на охоте и забыли добить. От водки она опьянела и теперь дремала. Стена страха, отделявшая от нее людей, была непреодолимой.

Время шло. Старая крестьянка уже успела сбегать домой и вернуться. Она с трудом переводила дыхание. Подойдя поближе, старуха вынула из-под платка жестяную кружку с молоком и хлеб. Потом наклонилась над раненой, быстро вложила то и другое ей в руки и отошла, чтобы издали взглянуть, будет ли женщина есть. И, только увидев двух прибывших из города полицейских, быстро пошла прочь, прикрывая лицо платком.

Остальные тоже разошлись. И только все тот же местный франт, который купил женщине водки и папирос, по-прежнему оставался с ней. Но она уже ни о чем его не просила.

На место происшествия подошли озабоченные полицейские. Постояли, поглядели, долго о чем-то советовались. Женщина попросила, чтобы ее застрелили. Говорила тихо, в надежде, что делу не дадут огласки. Полицейские колебались.

Но вот ушли и они, шли медленно, останавливались, спорили. Так и не ясно было, что же они решат. Но выполнить ее просьбу они не захотели. Вместе с ними ушел и молодой человек. Тот самый, который принес женщине папиросы, долго возился с зажигалкой и которому она сказала, что один из убитых на опушке ее муж. Казалось, эти слова были ему неприятны.

Она взяла в руки кружку, хотела выпить молока, но потом задумалась и поставила кружку обратно в траву. День был ветреный, тяжелый, по-зимнему холодный. Женщина озябла. В одном конце поля виднелись какие-то лачужки, с другой стороны — несколько тощих ободранных сосен подметали ветвями небо. Лес, манивший беглецов, был чуть дальше от путей, у нее в головах. Голая, открытая равнина и была тем миром, на который она глядела.

Молодой человек вернулся. Женщина снова отпила водки, прямо из горлышка бутылки, а он дал ей закурить. С востока на небо надвигались легкие, подвижные сумерки. На западе поднимались вверх клубящиеся облака.

Был конец рабочего дня, люди все подходили. «Старенькие» объясняли «новичкам», что случилось. Говорили так, как будто она их не слышала, как будто ее вообще уже не было.

— Мужа ее убили, вон он лежит, возле самого леса, — говорил женский голос.

— Они с поезда. Хотели бежать в лес, но в них стреляли из автоматов. Мужа убили, а она осталась... В колено ее ранило, вот она тут и осталась...

— Из лесу-то мы бы ее вынесли. А отсюда нельзя. Все на виду, на глазах...

Это сказала старая женщина, которая пришла за своей кружкой. Она молча глядела на белевшую в траве лужицу молока.

Так никто и не решился ни взять ее на ночь к себе домой, ни позвать доктора, ни отвезти ее на станцию, а оттуда в больницу. Ничего такого ей не предлагалось. Все ждали только одного — когда же она наконец умрет.

Когда в сумерки женщина открыла глаза, возле нее не было никого, кроме двух полицейских и молодого человека, который больше уже не отходил. Женщина снова попросила, чтобы ее застрелили, но уже не надеясь на это. И чтобы ничего уже не видеть, прикрыла ладонями глаза.

Полицейские все еще раздумывали. Один из них долго уговаривал другого. Но тот отказался:

— А сам не хочешь?

Но тут послышался голос парня:

— Ну, давайте я...

Они долго еще торговались и спорили. Чуть приоткрыв глаза, женщина увидела, как полицейский вынул из кобуры револьвер и отдал его парню.

Люди, столпившиеся чуть поодаль, видели, как парень наклонился над женщиной. Услышав выстрел, они, казалось, были огорчены.

— Уж лучше бы вызвали кого, чем так, как собаку...

Когда совсем стемнело, двое вышли из лесу на розыски. Они с трудом отыскиали женщину. Вначале думали, что она уснула. Но когда один из них слегка приподнял женщину за плечи, стало ясно, что она мертва.

Так она пролежала всю ночь и утро. Наконец днем пришел староста с людьми и велел унести ее и закопать вместе с теми двумя, что были убиты возле железнодорожных путей.

— Никак не пойму, почему молодой человек в нее выстрелил, — недоумевал рассказчик. — Вроде бы он один-то ее и жалел.

ДВОЙРА ЗЕЛЕНАЯ

Перед прилавком стояла невысокая женщина с черной повязкой на глазу. Вошедший вместе с ней мужчина с черными усами, тоже малорослый, немножко чудаковатый, просил подобрать для своей спутницы очки.

— Несколько лет эта женщина вообще не имела возможности носить очки, — доверительно и веско добавил он.

— Почему?

— Потому что была в лагере.

Что касается искусственного глаза, то подобрать его оказалось нелегко. Он был слишком велик, и вставить его не удавалось. А за очками нужно прийти еще раз — завтра.

— Может быть, вы не откажетесь со мной побеседовать? Тут неподалеку есть кондитерская. Мы могли бы там посидеть.

Женщина удивилась.

Нет, в кондитерскую она не пойдет. Ей надо спешить. У нее ключи от квартиры. От квартиры, за которой вот уже несколько дней ей поручили присматривать.

Мы идем вместе по широкой улице Праги¹ и, свернув в темную подворотню, подходим к большому полуразвалившемуся дому с почерневшими грязными стенами и облупившейся штукатуркой.

¹ Прага — один из районов Варшавы.

В дальнем углу двора — дверь с облезлой грязной краской, а за дверью мрачный коридор.

— Это на четвертом этаже.

Деревянная лестница стремительно уходит вверх, в темноту. Нужно держаться за перила, осторожно ощупывать ногами ступеньки, чтобы не оступиться. Только на втором этаже прекращается их непрерывный бег. Гладкий деревянный настил ведет нас туда, где начинаются новые ступеньки, и снова на едином дыхании они ведут нас вверх, на следующий этаж.

Прежде чем подняться на четвертый этаж, мы минутку стоим у окна, на лестничной площадке. Глядим на большой, темный и грязный двор.

— Вы работаете где-нибудь?

— Да, вот караулю квартиру, мою полы. Тут будет поликлиника для евреев.

— Значит, вы нашли близких людей? У вас есть друзья?

— Я одна, — тотчас же отвечает женщина. — Одна, — повторяет она еще раз.

— Но ведь мужчина, который был с вами, хотел купить вам очки. И глаз.

Она нехотя соглашается.

— Да, верно, они хотят купить мне глаз и вставить зубы. Но все равно это не семья.

Мы в последний раз поднимаемся по ступенькам и снова долго идем по помосту с деревянными перилами. На лестничной клетке четвертого этажа вместо окна расхлябанные застекленные двери. А по ту сторону дверей прилепился к стене повисший над бездной ветхий балкон с деревянными перилами. Мы останавливаемся у третьей по счету двери, напоминающей ставни.

— Вот мы и пришли, — говорит женщина.

Она достает ключ и отпирает огромный висячий замок. Двери открываются, перед нами просторная пустая квартира. В одной комнате, угрюмой и неуютной, но с чисто вымытым полом, совсем пусто, в другой, тоже чисто прибранной, у окна виднеется какое-то ложе. В третьей — у стены стоит стол и два стула.

— Вот тут мы можем поговорить, садитесь, пожалуйста.

Мы садимся друг против друга в конце стола.

— Они все хорошие, но это не семья, — повторяет женщина. — Я одна. Мужа убили в сорок третьем году в лагере, на станции Малашевиче, в восьми километрах от Брест-Литовска. Убитых там были тысячи. Через два дня на третий расстреливали каждого десятого. Нет, сама я этого не видела, люди рассказывали. Я там не была, я была в Мендзыжеце. И знаю только одно, в сорок втором году муж мой был жив. Немецкий летчик взял у меня для мужа письмо. И на это письмо пришел ответ, что муж мой шлет мне поклон. А потом я узнала, что его убили.

Она встала и впустила в квартиру людей, которые пришли чинить на кухне раковину.

— Мне ведь всего тридцать пять лет, это я только так выгляжу. Глаза нет, зубов нет...

Она вышла замуж в двадцать три года. Жила с мужем в Варшаве на улице Ставки. Работала на фабрике, вязала шерстяные перчатки, муж был сапожником. Сначала тоже работал на фабрике, потом стал брать заказы на дом. Жилось им трудно. Детей не было.

— Фамилия мужа — Райшер, а моя теперь — Зеленая. Бумаг у меня не было, и я записана на фамилию отца.

Задумавшись на минутку, она добавляет:

— А зовут меня — Двойра.

В 1939 году в дом на Ставках попала бомба. Они остались безо всего — без вещей, без крова. Переехали в Янов-Подляский.

Она вздохнула:

— Там мы уже носили желтую звезду, шесть таких острых углов, палестинский знак. А потом надели и повязки. И я и муж.

В октябре сорок второго года мужа уже не было, его отправили в лагерь в Малашевиче. Тогда весь Янов-Подляский переселили в Мендзыжец. Устроили такой Judenstadt¹, свезли туда всех евреев из Люблинского воеводства. Каждые две недели оттуда отправляли поезда в Трешлинку. Тех, кто оставался, держали в гетто. Почти все погибли, а вот она каким-то чудом уцелела.

¹ Город для евреев (гетто) (нем.).

— Когда начиналась облава, я всегда уходила на чердак.

Она закрывает обеими ладонями лицо. И глядит одним глазом сквозь растопыренные пальцы.

— Это значит, что вы закрывали лицо руками? Она улыбается.

— Да нет, я просто показываю, как я всегда пряталась.

Она сидела на чердаке и думала: «Сейчас я жива, а через час, может, и умру». Но других поймали, а ее — нет.

— Один раз во время облавы я просидела так четыре недели. Без еды.

Точно так же, как решетку из пальцев, это не следует понимать буквально.

— Ну, были у меня с собой две луковицы и крупа, манка. Нет, не варила. Что вы. Воды не было. И еще было у меня немного кофию, молотого ячменного, и этот кофий я тоже жевала. Болеть — ничего у меня не болело. Но только думала, я — умру. Сил у меня не было. И одна я была, одна на свете.

Как-то слышу, на улице люди ходят. Это было в декабре сорок второго года. Я сразу догадалась, что солдат внизу больше нет. Тогда я спустилась со своего чердака. Облава кончилась, и опять можно было ходить посередине между проволоками. И еврейская община тогда еще была. Она выдавала нам немного хлеба.

Но вся наша жизнь уже ничего не стоила... Оставались у меня рубашки, несколько штук. Эти рубашки я продавала и покупала хлеб. Хлеб на сегодня, на завтра.

Глаза я лишилась первого января сорок третьего года. Вы спрашиваете как? Была у немцев такая игра. Они развлекались под новый год. Стреляли в людей, застрелили шестьдесят пять человек. Из нашего дома я одна такая осталась, что вот живу. Стреляли на улице, на снегу, в шесть утра, и по квартирам тоже ходили. Я хотела убежать, выскочила в окно. Думала, убьюсь насмерть. Когда в меня стреляли, я подумала: «А может, я все еще живу?»

Понизив голос, она доверительно продолжает:

— И знаете что: я хотела жить. Зачем? Ни мужа,

ни семьи у меня не было, одна я была на белом свете, и все равно мне хотелось жить. Глаза я лишилась, мерзла, голодала, но хотела жить. Зачем? Чтобы рассказать обо всем так, как я вам сейчас говорю. Пусть мир знает о том, что они делали.

Я думала, что в живых останусь я одна. Что, кроме меня, не останется на свете ни одного еврея.

Меня отвезли в больницу. Глаз у меня не болел, поясница больше болела и ноги. От ушиба. Я просила: «Дайте мне нож». Хотела с собой покончить. Не могла больше жить. Глаз потеряла, все потеряла. Глаз у меня вытек. И ухо было поранено. Хотели даже просвечивать. Но и так зажило.

Когда всех, кто оставался, вывозили из гетто, я не хотела больше прятаться. И сама пошла вслед за нашими в Майданек.

Денег у меня не было, еды не было, глаза не было. Евреев больше не было — так что же мне было делать одной, там, на чердаке? Ни кусочка хлеба у меня не было. И если уж суждено умереть, умирать я хотела со всеми, а не одна.

Я сама пошла в Майданек. Хлеба нам выдавали очень мало и супу тоже, баланду, один раз в день, в двенадцать.

Помогали ли мы друг другу? Как вам сказать. Помогали, но немного. У каждого свои заботы: что тут можно сделать? Каждые две недели селекция — это такая чистка. Что тут можно сделать?

Били ли меня? Не без этого — один раз в лагере эсесовка Бригита меня побила. Как чем? У нее была палка. Этой палкой я получила по голове. За что?

Она улыбается моей наивности:

— Просто так ей захотелось, только и всего.

Нас всех тогда избили. Капо, это такая фюрабтерин¹, сказала, что будто одна из наших женщин делает гешефты. Что-то там покупает. И в наказание всех нас избили. Делала ли она гешефты? Кто ее знает...

Убежать оттуда никто не мог. Одна девушка хотела, но ее поймали и повесили на площади. Там был

¹ Фюрабтерин (нем. Vorarbeiterin) — старшая в рабочей команде, назначаемая из заключенных.

такой столб, а на столбе крюк. Народу на площадь согнали много — тысяч десять, и все мы должны были на это смотреть.

Одна стояла спокойная, совсем спокойная, эсесовец спросил, чего она хочет перед смертью. А она говорит: «Ничего не хочу, скорей кончай». Двадцать лет ей было. Слабенькая была, тоненькая, как былиночка. И были у нее два брата тут, в лагере. Они потом сами повесились.

Женщина встала, чтобы проводить рабочих. Но тут же вернулась и опять села.

— А потом приехал эсесовец из Скаржиско-Каменной, шеф Имфлинг. Он сказал: «Кто хочет работать, поедет на работу». Я умела работать и поехала на военный завод.

Там меня ни разу не били. Но там тоже была селекция — тех, кто хоть раз побывал в больнице, убивали. Тех, кто получил освобождение у врача и хоть раз не вышел на работу, тоже убивали.

У меня был только один глаз, и на этом глазу выскочил большой ячмень, совсем как нарыв. Ослепла я. Но работала по двенадцать часов, ни дня не пропустила. Одну неделю днем, другую ночью. Ни разу не пошла к доктору, не просила освобождения. Боялась. Ведь это была смерть. Думала, что лучше так умру, а может...

Она улыбается нерешительно и смущенно.

— А может, все еще хотела жить.

Она опять что-то вспомнила.

— Теперь я вам расскажу, куда девались мои зубы. Когда я приехала в Скаржиско-Каменную, там, кроме супа, ничего не давали. Вечно я ходила голодная.

Иногда удавалось кое-что купить у вольнонаемных, они приходили к нам из города. Иногда они с нами делились, но чаще всего еду приходилось покупать. И я сама вырывала у себя золотые зубы.

Как я их вырывала? Нет, не ниткой. Каждый зуб я расшатывала по нескольку дней. А уж потом выдергивала. За зуб получала восемьдесят, а то и восемьдесят пять злотых. И теперь хлеба мне хватало.

Так я проработала тринадцать месяцев. Когда русские подходили к Скаржиско, немцы эвакуиро-

вали наш завод в Ченстохову. И там мы тоже работали.

Семнадцатого января туда пришли русские. Фашисты удрали шестнадцатого. В Ченстохове было пятнадцать тысяч евреев, а осталось пять. Остальных вывезли в Германию. Ничего нельзя было сделать. Мастера составляли списки, и по этим спискам людей забирали.

Мастера за нами смотрели, следили, чтоб никто не убежал. Если бы русские пришли на два часа позже, нас бы тоже уже не было. Всех уже вывели на улицу, велели построиться. Но пришли русские, и мастера удрали.

Обрадовались ли мы, когда пришли русские? Очень обрадовались. Ведь мы больше не были за проволокой, мы были на свободе. Мы обрадовались, но ничего сказать не могли.

Она вздохнула.

— Сил не было...

ВИЗА

— У меня нет неприязни к евреям. Точно так же, как нет неприязни к муравью или к мышке.

Она умолкает и ждет, что я ей отвечу. А пока сидит, тяжело опустившись в кресло. Она высокая, грузная. И до сих пор еще не рассталась со своим лагерным халатом в серую и синюю полоску. Острижена она под машинку, волосы, должно быть, еще не успели отрасти. И на голове у нее арестантская шапочка, тоже синяя с серым.

Она пришла ко мне в гостиницу и теперь сидит в номере, в мягком кресле. Ни о чем не просит, ничего ей не нужно. Не нужны ей, в частности, и деньги. Свое пособие она тоже хочет как можно скорее отдать тому, кто нуждается больше, чем она. Если не насовсем, то хотя бы на хранение. Так ненавистны ей деньги.

К подлокотнику кресла она прислонила два больших деревянных костыля и все время придерживает их рукой.

— К чему я об этой мышке вспомнила? — говорит она, хотя я и не спрашивала ее об этом, и улыбается.

Улыбка у нее хорошая. И полон рот белых молодых зубов. Карие глаза светятся сильным ярким блеском, щеки смуглые и румяные.

Она еще молодая, только уж очень безобразит ее короткая щетка волос, поварская шапочка и большие очки на носу.

— Как-то мы с одной сектанткой, мариавиткой, чистили на кухне картошку и нашли там мышиное гнездо. Гнездышко было в картофелине. Мыши выели всю серединку и сидели под кожурой. Три мышонка, маленькие, голые. Такие коричневато-розовые. Мариавитка хотела отдать их коту, но я не разрешила...

Минуту она колебалась.

— А ведь и у меня было желание посмотреть, как кот будет есть этих мышат. А может, любопытство, такое же, как у гестаповца, — как это будет выглядеть.

Она задумалась над тем, что сказала, словно наблюдая за собой со стороны и тихонько вздохнула.

— Мышек я спрятала обратно под кожуру и сунула поглубже в солому. Может быть, их отыщет мать и они уцелеют.

Да, неприязни к евреям она не чувствует, хотя исповедует другую религию. В самом начале войны, когда вокруг было столько зла и несправедливости, она перешла в католичество. В самые тяжкие минуты она вспоминала о том, какие страдания принял на себя господь, и это ей помогало.

Фамилия у нее польская, и в документах она тоже числится полькой, полькой ее считали и в лагере. Кто были ее родители, она не знает, потому что никогда их не видела. Помнит только свою бабушку, которая ее вырастила, но теперь и это уже не важно. Бабушки давно нет в живых. Это обстоятельство тоже требует минуты раздумья.

— Я вообще никому не желаю зла. Но и это не так важно.

Важным оказывается другое.

— Вы знаете, что значит идти на визу?

— Не знаю.

— В лагере эсесовки с самого утра кричали: «Идите на визу!» А сербки говорили: «Iti na luku».

Это было в октябре. Холодно, сыро. Все женщины шли из бараков на визу. И оставались там до вечера. В бараках нужно было навести чистоту.

А виза — это был большой луг, на опушке леса. Там они стояли весь день без еды и без работы. В бараках нужно было навести чистоту, их мыли и убирали несколько дней. А они все стояли. Не знаю, сколько их там было. Огромная толпа. Немцы потому их так и ненавидели, что их было много... Франуженки, голландки, бельгийки, много гречанок. Гречанки чувствовали себя хуже всех. Польки и русские были покрепче.

И хотя места хватало, они прижимались друг к другу. Оборванные, грязные, в струпьях, нарывах. Были среди них больные и умирающие. Но никто не думал их лечить.

Она все время говорит о других, а не о себе. И неясно, была ли она с ними или смотрела со стороны.

— Они приехали в лагерь семь месяцев назад, а мы только что, с новым транспортом. Но сразу же, на второй день, нас тоже погнали на визу. На женщин было страшно смотреть, может быть, потому, что их было так много. Я понимала, что нас ждет та же участь.

О своих страданиях она почти ничего не говорит. Все время рассказывает о других.

— А я не боялась. Знала, что умру, и поэтому не боялась.

О себе она может сказать только одно: когда ее били, она молилась. Молилась, чтобы не чувствовать ненависти. И это все. Почти ничего не рассказывает она о том, как стала калекой. Кость плохо срослась. Нужно делать операцию — ломать кость и опять накладывать гипс. Да, конечно, она ляжет в больницу, но не сейчас. Сейчас ей хотелось бы поехать в Гданьск — увидеть море. И еще навестить подругу по лагерю. Она живет теперь в Познани. На днях от нее пришло письмо, из которого видно, что ей нужно помочь.

При каких обстоятельствах она сломала ногу и было ли ей по-прежнему незнакомо чувство ненависти, неясно. Она сказала только, что в больницу ляжет немного погодя.

— Каждый день неделю подряд их выгоняли на визу. Чтобы согреться, они всегда прижимались друг к другу, никто не хотел стоять с краю. Все старались забраться поглубже, туда, где теплее. Наклонят головы и пробираются вперед. Так вся толпа и ходит ходуном...

У многих тело было в ранах, в нарывах, и все равно они прижимались друг к другу. Но с каждым днем их становилось все меньше и меньше. И так всю неделю, до селекции.

— Помню, утро было холодное, но днем выглянуло солнце. И все они перебрались на ту сторону, где солнце не заслоняли деревья. Грелись на солнышке, словно зверьки. Двинулись всей толпой, словно вода всколыхнулась... В тот день гречанки пели национальный гимн. Нет, не по-гречески. Это был еврейский гимн, и они пели по-древнееврейски... Стояли на солнце и пели красиво, громко, звонкими голосами, словно сильные, здоровые люди.

— Но сила это была не физическая, ведь они были самыми слабыми. Это была сила их тоски и надежды.

На другой день назначили селекцию. Я пришла на визу, но там никого не было.

У ЧЕЛОВЕКА СИЛ МНОГО

Замок, которого уже нет, стоял на самом краю холма, оттуда открывался вид на весенние дали, гладкие, уходящие к горизонту полосы зеленых полей.

Как говорит Михал П., «замок развалился на куски». Его взорвали тогда, когда в недоброй памяти Жуховском лесу сгорели четыре крематория. Замок служил отличной декорацией, великолепными воротами, ведущими из жизни к смерти. Он играл роль своеобразной метафоры в том ежедневном обряде, который совершался здесь с неизменной последовательностью. Люди, измученные дорогой, но еще живые, еще не потерявшие своего обличья, в собственной одежде, миновав первые и вторые ворота, въезжали во внутренний двор. Открывались задние дворцы ма-

шины, и вновь прибывшие, помогая друг другу, толпой поднимались по ступенькам, еще имея возможность предполагать, что, судя по надписи над входом, они попадут в душевую. Пройдя через все здание, они вскоре появлялись на крыльце у противоположного входа уже в одном белье, а кое-кто с кусочком мыла в руках и с полотенцем через плечо. Подгоняемые сзади, все время уклоняясь от удара прикладом, они вбегали по деревянным мосткам прямо в пасть большой крытой машины, похожей на фургон для мебели.

Герметически закрывающиеся двери мягко захлопывались. И только теперь люди иной судьбы, томившиеся в подвалах замка, могли услышать громкий крик ужаса. Пойманные в ловушку жертвы звали на помощь, стучали кулаками в стенки машины. Через несколько минут, когда крики затихали, машина отъезжала. Потом, точно по расписанию, вместо этой машины подъезжала другая.

Замка уже нет. И тех людей тоже. На самом краю холма виднеется невысокий каменный четырехугольник, поросший травой. Среди развалин и мелкого щебня пробивается бурьян, а внизу под обрывом все тот же горизонт — далекие зеленые поля, майская зелень деревьев, вдали набегающие друг на друга голубые полосы лесов.

В долине, там, где прежде были сады, стоят на солнышке люди. Каждый из них мог бы рассказать о том, что здесь было. Замок обнесли деревянным трехметровым забором. Почти ничего не было видно. Но было слышно, как за забором волокут кого-то, как звенят цепи. В лютый мороз людей выгоняли во двор в одних рубашках. Во дворе возле замка перед отправкой в Жуховский лес непрерывно гудели машины. Доносились крики.

— Я жил в Угае. Работал у немцев.

Это говорит Михал П., молодой, атлетического сложения человек с маленькой головой. Говорит он негромко, спокойно и вместе с тем торжественно, словно читает вслух Священное писание.

— Я отвел к машине свою мать и своего отца. А потом свою сестру с детьми — их было пятеро — и своего брата с женой и тремя детьми. Сам я то-

же хотел поехать вместе с родителями, но мне не разрешили.

Для этого имелись свои основания.

— По поручению еврейского комитета в Угае я вместе с другими разбирал старый овин, и, когда вывозили евреев из Кола, меня не успели занести в списки. Многие боялись ехать. И тогда Сюда, жандарм из фольксдойчей, сказал: «Не бойтесь, вас отвезут на станцию Барлоги, а там поедете дальше, на работы». И люди успокоились. Кое-кто даже хотел ехать.

Евреев из Кола вывозили пять дней. В последний день везли больных, и водителям дали приказ ехать поосторожнее.

В начале декабря тысяча девятьсот сорок второго года меня вместе с другими сорока евреями отвели в полицейский участок. На другой день сюда приехал грузовик с людьми из Избицы, и всех нас в одной машине отправили в Хелмно. Люди были как на подбор — сильные, пригодные к любой работе.

Величественным жестом руки он показывает на поросшие травой развалины.

— Замок тогда еще был цел. Мне хотелось узнать, что там происходит. Но смотреть не разрешали. Когда грузовик въехал во вторые ворота, я увидел, что на земле валяется одежда. И тогда я понял, что там происходит.

Прямо из машины нас повели в подвал. Подгоняли прикладами. В подвале на стене было написано по-еврейски: «Каждого, кто сюда вошел, ждет смерть».

На другой день меня вызвали на работу — вместе с другими я складывал одежду. В большой комнате на полу валялись женские платья и мужские костюмы, пальто, ботинки. Мы относили все это в соседнюю комнату. Сколько там всего было... Ботинки мы складывали отдельно.

В первой комнате, где люди раздевались, было тепло, топились две печи. Это для того, чтобы дело шло быстрее.

Окна в подвале были забиты досками. Но мы подсаживали друг друга, и сквозь щелочку кое-что удавалось разглядеть.

Немцы выгоняли людей на крыльцо в одном белье. Но они не хотели выходить на мороз. Они уже начинали кое-что понимать и упирались. Тогда немцы били их и силком загоняли в душегубки.

Те, кто после работы приходил в подвал ночевать, рассказывали, что они в лесу закапывают людей, удушенных газом. Тогда и я попросился на работу в лес. Думал, что из лесу легче бежать.

Нас, человек тридцать, посадили в машину, отвезли в Жуховский лес, выдали кирки и лопаты. В восемь утра приехала первая машина из Хелмна. Тем, кто копал ров, запретили глядеть на машины. Но я все видел. Как только отворились дверцы, немцы отскочили в сторону. Из машины шел черный дым. Но в том месте, где мы стояли, запаха не было слышно.

Потом в машину влезли три еврея — они сбрасывали трупы на землю. Мертвые лежали один на другом, горой, почти до половины машины. Некоторые лежали обнявшись, а тех, кто еще не успел умереть, немцы убивали выстрелом в затылок. Трупы сбрасывали, и машины уезжали обратно в Хелмно.

После осмотра трупов мы складывали их валетом, как можно теснее, чтобы побольше уместилось. Лицом к земле. Чем выше было место, тем шире ров, так что в один слой друг возле друга помещались примерно тридцать трупов. А в трех-четыреметровом рву их было около тысячи.

В лес транспорт с мертвецами приходил ежедневно, тринадцать раз, в каждой машине — человек девяносто. Евреи подбирали в машине вещи, все ценное, а главное, золото, складывали в чемодан. Мыло и полотенца отправляли обратно в Хелмно.

Я хотел было уговорить кого-нибудь бежать со мной, но люди были очень подавлены. Работали мы весь день дотемна. Чтобы работа шла быстрее, нас били. А тем, кто не мог работать быстрее, приказывали ложиться на трупы лицом вниз — и стреляли в затылок.

Охранявшие нас жандармы всегда были трезвые. Они никогда не сменялись. В разговоры с нами не вступали. Разве кто-нибудь бросит в ров пачку папирос.

Как-то в Жуховский лес приехали трое немцев. Они поговорили с офицерами-эсесовцами, вместе осмотрели трупы, посмеялись и уехали.

Я проработал там десять дней. Лес тогда не был огорожен, крематориев тоже еще не было, при мне удушили газом евреев из Угая, евреев из Избицы, в пятницу привезли цыган из Лодзи, в субботу евреев из Лодзинского гетто. Когда приехали евреи из Лодзи, немцы провели среди нас селекцию, тех, кто послабее, человек двадцать отправили на газ, а на их место взяли новичков, здоровых, крепких парней из Лодзи.

В первый день лодзинских евреев посадили в подвал рядом с нами, и они через стенку спрашивали, хороший ли здесь лагерь, сколько дают хлеба. А когда узнали, что это за лагерь, испугались и говорят: «А ведь мы сами записались на работу...»

Он умолк на минутку, словно прислушиваясь к чему-то. Его большое сильное тело поникло от неимоверной тяжести. И, взвесив все, он сказал:

— Однажды, это был вторник, из Хелмна пришла машина, третья по счету, и из нее выбросили на землю труп моей жены и трупы моих детей, мальчику было семь лет, девочке четыре года. И тогда я лег на труп моей жены и попросил, чтобы меня пристрелили.

Но меня не застрелили. Немец сказал: «У этого человека сил много, пусть еще поработает...» И он бил меня железной палкой до тех пор, пока я не встал.

В тот вечер в подвале двое повесились. Я тоже хотел повеситься, но нашелся человек, верующий, который меня остановил.

И тогда я уговорил одного парня бежать вместе со мной, но как раз в этот день его отправили в другой машине. И тут я решил, что убегу один.

Когда мы подъехали к лесу, я попросил у конвойного папиросу. Он дал. Я подался в сторону, а его окружили другие, тоже просили закурить. Я полоснул ножом брезент у самой кабины и выскочил на ходу. Из машины стреляли, но промазали. И в лесу в меня метил какой-то велосипедист, но тоже промахнулся. Так я и убежал.

Добрался до деревни, залез в сарай, зарылся в сено. Рано утром слышу, мужики за стеной говорят, что немцы ищут в деревне еврея. Так я два дня просидел без воды и без пищи, а потом потихоньку выбрался из сарая и заглянул в дом к незнакомому человеку, фамилии его я не знаю. Он меня накормил, дал фуражку, побрил, чтобы я выглядел нормально. От него я пошел в Грабов и там встретил знакомого, с которым уговаривался бежать. В тот же день, что и я, он тоже выскочил на ходу из машины.

Перед отъездом мы побывали в Жуховском лесу, там, где Михал П. вместе с другими копал огромную общую могилу и где увидел трупы своей жены и детей.

На обширной поляне, окруженной густым сосновым молодняком, светлели полосы чахлой низкой травки. Не было здесь ни зеленых веточек вереска, ни голубики, ни папоротника. В одном месте ров уже раскопали, и на грязной песчаной осыпи валялся осколок человеческой стопы. Мы прошли в глубь леса, туда, где размещались прежде, подожженные в конце войны, крематории.

Вместе с нами шли две женщины из соседней деревни. Узнав, кто мы, они спросили, не может ли комиссия посодействовать, чтобы эксгумацию провели поскорее. Это были мать и жена человека, которого расстреляли уже давно, вскоре после создания лагеря. Они запомнили место, ставшее его могилой.

Кто-то нашел этикетку от спичечной коробки, отпечатанную в Греции, кто-то размытые дождем рецепты со штампами заграничных фирм. А на песке, там, где прежде был крематорий, кто-то увидел две крохотные человеческие косточки.

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ В ОСВЕНЦИМЕ

Если мы мысленно попытаемся представить себе ту огромную фабрику смерти, которая все это время независимо от того, где проходили военные действия, гнездилась на территории Польши, то, кроме ужаса,

самым сильным из охвативших нас чувств будет, пожалуй, удивление.

За несколько лет сожгли и удушили газом бесчисленное количество людей, и все это было проделано «на научной основе», четко, методично, планомерно. Впрочем, методы уничтожения, в зависимости от вкусов и склонностей того или иного убийцы, могли быть любыми.

В польских лагерях смерти не десятки и даже не сотни тысяч, а миллионы человеческих существ были превращены в сырье и товар. Кроме Майданека, Освенцима, Бжезинок, Треблинки, мы понемногу открываем и новые названия, пока что менее известные.

Нередко лагеря были расположены в лесу или среди зеленых холмов, в стороне от железной дороги. Тут, видно, все совершалось еще проще, методы убийства становились еще рациональнее и дешевле.

Так совсем недавно в Тушинке и Венчине под Лодзью обнаружили настоящие залежи мертвецов.

Иногда, как это случилось в Хелмне, довольно было одного-единственного замка, расположенного на горе, с отличным видом на шумящие внизу хлеба и травы, одного старого полуразвалившегося амбара, одной заботливо огороженной полосы молодого сосняка, чтобы цифра жертв достигла миллиона.

Довольно было маленького красного строения возле анатомического института во Вжешче под Гданьском, чтобы жир убитых людей перетопили на мыло, а кожу превратили в пергамент.

Евреям из Италии, Голландии, Норвегии и Чехословакии немцы обещали создать в польских лагерях все необходимые условия для работы, ученым предоставить вакантные должности в научных институтах. Небольшой группе богатых евреев немцы обещали дать на откуп торговлю и промышленность в Лодзи, при этом рекомендовалось брать в дорогу только самые ценные вещи.

Когда после долгого пути поезд с заключенными прибывал на место назначения и люди вылезали из вагонов, чемоданы их выбрасывали на противоположный перрон.

Более того, у входа в душевую им приказывали раздеться и аккуратно сложить одежду. Но когда они выходили из душевой, одежды уже не было. Одних сразу же отправляли в газовую камеру или же в герметически закрытых машинах-душегубках вывозили в лес и в крематорий. Другие, получив отрепья, шли на работу.

И в Освенциме, и в других лагерях все склады были битком забиты вещами, там хранились шерстяные костюмы, обувь, драгоценности, предметы личного обихода. Все это добро отправляли поездом в Германию. Бриллианты, вынутые из колец, везли в запечатанных бутылках. Целыми вагонами вывозили ящики с очками, часы, пудреницы, зубные щетки — все представляло ценность.

Пепел от костей шел на удобрение, жир — на мыло, кожа — на изготовление кожаных изделий, человеческие волосы — на матрацы, но все это было лишь побочным продуктом огромного государственного предприятия, в течение многих лет приносившего неисчислимую прибыль.

Огромные капиталы, нажитые на страданиях и страхе одних людей, на преступлениях и подлости других, — были главным экономическим стимулом к осуществлению этого гигантского плана. Философским его обоснованием служила теория расового уничтожения. От бывших заключенных, возвращающихся в Польшу из немецких лагерей, из Дахау и Ораниенбурга, мы узнаем все новые и новые подробности, дополняющие общую картину. Оказывается, в Империи был создан особый штат специалистов, которые распарывали одежду и обувь, доставляемые из лагерей в единый центр. В складках и швах одежды, в подметках и под каблуками они находили золотые монеты. Не случайно после смерти Гиммлера в его резиденции под Берхтесгаденом были обнаружены сотни тысяч фунтов стерлингов в валюте двадцати шести государств.

Когда знакомишься с таким необычным явлением, как Освенцим, по свидетельским ли показаниям или же осматривая местность, где происходило все это, — больше всего поражает продуманность, с которой вся лагерная система и порядки были подчинены задаче,

имеющей две стороны — экономическую и политическую или, как я бы сказала, — практическую и теоретическую.

Политическая задача состояла в том, чтобы полностью очистить ту или иную территорию от населения и безраздельно завладеть всеми ее природными и культурными богатствами. Экономическая — в том, чтобы осуществление этого замысла не только не потребовало бы никаких затрат, а, наоборот, приносило бы постоянный доход, будь то работа заключенных на военных заводах или же оставшееся после умерших имущество.

Весь этот чудовищный план был задуман и осуществлен людьми. Люди были его исполнителями и его жертвой. Люди людям уготовили эту судьбу.

Кто же были эти люди?

Перед комиссией по расследованию деятельности фашистских преступников прошло множество людей, много лет томившихся в концлагерях и уцелевших, вопреки всякой надежде. Среди них были ученые, врачи, политики — словом, люди, которыми вправе гордиться любая нация.

Все они уцелели чудом, почти все потеряли близких — родителей, жену, детей. Уцелели, вовсе не рассчитывая на это.

Профессор Будапештского университета доктор Мансфельд сказал: «Я смог пережить все это только потому, что ни на минуту не надеялся, что выживу. Если бы я поддавался иллюзиям, у меня не было бы того спокойствия духа, которое помогло мне вынести все это».

Эти люди ставили перед собой задачу помогать другим, хотя сами каждый день глядели в глаза смерти и наравне с остальными заключенными прошли через все виды мучений. Очень много для спасения своих братьев сделали врачи из заключенных, знания которых оказались нужными и в лагере.

Доктор Грабчинский из Кракова, назначенный на работу в барак номер 22, куда так боялись попасть направляемые на лечение больные, постепенно превратил его в настоящую больницу. Он не только всячески заботился о здоровье своих подопечных, доставал для них лекарства и бинты, но и укрывал их от

газовой камеры, заверяя начальство, что дней через пять все они выздоровеют.

Но ведь и те, кто своими руками осуществлял этот искусный план грабежа и убийств, тоже принадлежали к человеческому роду. Людьми были и те, кто из любви к искусству перевыполнял нормы, убивая больше, чем было приказано.

Из великолепных по своей выразительности свидетельских показаний депутата Майера, который двенадцать лет провел в немецких лагерях, мы составили довольно точное представление о том, как выглядели живодеры из Освенцима.

Самым чудовищным преступником в лагере был Август Глас; этот приземистый мускулистый мужчина, расхаживавший по баракам в раскачку, походкой атлета, намечал себе жертвы заранее. Всего несколькими искусными ударами он отбивал людям почки так, что даже следов от побоев не было заметно, но через два-три дня наступала смерть.

Другой убийца предпочитал иной способ — он наступал сапогом человеку на горло с такой силой, что под тяжестью сапога хрустела гортань.

Третий окунал заключенного в чан с водой, и несчастный умирал, захлебнувшись.

Один из самых кровожадных старост барака, профессиональный уголовник, славился своей придирчивостью при проверке: тех, у кого была не в порядке одежда или обувь, он убивал несколькими ударами резиновой дубинки со свинцовым наконечником. Он строго следил за тем, чтобы на его счету ежедневно было не менее пятнадцати убитых.

Еще один убийца, двухметровый длинноносый и узколицый детина с большим, вечно двигавшимся кадыком, глазами-щелочками и очень длинными руками, ежедневно перед завтраком душил нескольких заключенных. Жертвы он облюбовывал заблаговременно, во время утренней прогулки.

Все эти люди имели возможность, но вовсе не обязаны были делать всего того, что они делали. Но, очевидно, было предпринято все, чтобы высвободить тающиеся в подсознании человека темные силы, которые, если бы их не будоражить, никогда бы и не пробудились.

Тщательная селекция и до мелочей продуманная система воспитания привели к созданию этого единственного в своем роде коллектива, который до конца сыграл отведенную ему роль.

Из показаний депутата Майера мы знаем, что гитлеровская партия укрепляла свои ряды, вербуя сторонников среди отбросов человеческого общества. В партии были преступники, воры, убийцы, были сутенеры, и темные инстинкты этих людей всячески культивировались. Об этом свидетельствует изданный в Германии специальный закон, запрещавший напоминать членам национал-социалистской партии об их прошлом. Многие за нарушение этого запрета томилась в тюрьмах.

Как показал профессор-психиатр из Праги, доктор Фишер, гитлеровские молодчики на специальных, обычно двухгодичных, курсах обучались практическим приемам садистской жестокости.

Тот же профессор Фишер, многолетний судебный эксперт, утверждает, что садистские склонности преступника ни в коей мере нельзя считать обстоятельством, смягчающим его вину. Эти люди действовали вполне сознательно и должны понести полную ответственность за свои поступки.

Дети в Освенциме знали, что должны умереть.

В газовые камеры посылали самых маленьких, еще не пригодных для работы. Во время селекции дети по очереди становились под металлическую линейку, укрепленную на высоте одного метра двадцати сантиметров от земли. Понимая важность минуты, малыши, приближаясь к линейке, выпрямлялись, поднимались на цыпочки, чтобы коснуться головой линейки и тем самым спасти себе жизнь.

Около шестисот детей, отобранных для отправки в газовую камеру, жили в особом бараке. Они ждали, пока наберется полный комплект, необходимый для загрузки камеры.

Дети понимали и это. Они разбегались по лагерю, прятались, но эсесовцы снова сгоняли их в барак. Уже издалека слышны были крики и плач.

— Мы не хотим идти на газ! Мы хотим жить!

Как-то ночью один из лагерных врачей услышал, что кто-то стучится в окошко его приемной. Он открыл дверь, и в комнату вошли два мальчика, совершенно голые и окоченевшие на морозе. Одному из них было лет двенадцать, другому четырнадцать. Они сумели выскочить из машины в последнюю минуту, когда она подъезжала к газовой камере. Доктор прятал мальчиков у себя, достал им одежду, кормил их.

В крематории ему удалось найти верного человека, который при учете трупов приписал на два больше, чем было на самом деле. Подвергая свою жизнь смертельному риску, доктор прятал мальчиков до тех пор, пока они, не вызывая ни у кого подозрений, снова смогли вернуться в лагерь.

Доктор Эпштейн, профессор из Праги, в ясное летнее утро, проходя между бараками в Освенциме, увидел двух маленьких детей, пока еще живых. Они сидели на песке, у дороги, и передвигали какие-то щепки. Он остановился и спросил:

— Во что вы играете, дети?

И услышал ответ:

— Мы сжигаем евреев.

Весна — лето, 1945

«ВИКТОРИЯ»

Инженер Килярчик, вместо того чтобы подняться на поверхность прямо с пятого горизонта, сделав большой крюк, решил осмотреть работы в «заколдованном» квершлаге¹. Черти, что ли, попутали директора, когда он постановил вести проходку под старыми, завалившимися выработками.

— Там вода! — горячась, доказывал Килярчик.

— Знаю. Но там также прекрасный уголь! — не сдавался директор.

— Двумя горизонтами ниже работает бригада! Если вода прорвется, жизнь людей окажется в опасности.

— Знаю! И возлагаю всю ответственность на вас!

— Гром тебя разрази! — выходя, сквозь стиснутые зубы процедил Килярчик, твердо решив, что берет на себя ответственность и за воду на пятом горизонте, и за людей, которые работали сотней метров ниже, на седьмом.

За несколько недель до этого разговора директор и инженер долго спорили, стоит ли вести проходку в направлении покинутой, затопленной выработки, которая не значилась ни на одной карте; тогда-то и вспомнили про двух самых старых шахтеров-немцев и пригласили их для совета, как выразился директор.

¹ Квершлаг — подземная горная выработка, проводимая горизонтально или наклонно по пустым породам к месту залегания полезных ископаемых; не имеет непосредственного выхода на земную поверхность.

Обоих стариков можно было встретить неподалеку от копра «Виктории»; они не желали уходить на пенсию, хотя, в соответствии с «Хартией шахтера», имели на это право. Старики объясняли, что сжились с шахтой, и *es soll der Kuckuck holen*¹, если бы им пришлось прозябать дома. Сейчас эти два ветерана, мутая польские и немецкие слова, рассказывали, что, действительно, когда-то в тех местах была шахта, но, *soll es der Kuckuck holen*, еще до первой мировой войны ее затопила вода, и все пошло к чертовой матери. Шахтеры едва успели спастись. Как называлась шахта? *Es soll der Kuckuck holen* с таким названием! «Готтессеген» — вот как она называлась, самое что ни на есть дурацкое название, ибо ее следовало бы назвать «Тейфельсрахен»!..

— Или «Тейфельсрахен»! — подхватил второй шахтер.

— А что значит: «Готтессеген», «Тейфельсрахен» и «Тейфельсрахен»? — поинтересовался директор у Килярчика. Инженер был родом из окрестностей Карвины и говорил по-немецки, а ругаясь, употреблял на чешский манер «громы» вместо силезских «перунов».

— Официально шахта называлась «Благословение божье»...

— Немного похоже на название нашей шахты «Божьи дары»?

— Да, похоже. Два других — игра слов, насмешка: либо «Дьявольская месть», либо «Дьявольское логово», — объяснил Килярчик и взглянул на шахтеров. Те стояли, небрежно опершись о выступ оконной ниши, покуривали трубки и молча слушали, как директор с инженером переговаривались по-польски. Они поняли только то, что в разговоре упоминался дьявол. У одного из них, Рихарда Барнитцке с лукаво прищуренными глазами, на лице было написано, что он балагур; другой, Ганс Гроссман, походил на мокрую курицу — стоял согбенный, с покорным, почтительным видом, казалось, он не в состоянии слова вымолвить. Временами его высохшее личико с топорщившимися редкими рыжими усиками и носом картошкой приобретало плаксивое выражение, что придавало ему

¹ Провались все в тартарары! (нем.)

сходство с мордой тюленя. Но в широко расставленных глазах — серых и хитрых — сверкали затаенные искорки.

Килярчик любил поговорить с этими стариками.

— Расскажите-ка мне про вашего Эрдгайста! — не раз просил он, встречая их у платформы, где они выгружали из вагонов крепежные стойки.

Барнитцке и Гроссман рассказывали небылицы про валбжихского духа Скарбника, по-немецки Эрдгайста. Старики плели несусветное, загибали пальцы, считая, сколько раз каждый из них встречал духа в шахте «Готтессеген», где это было и что случилось потом... Подобная встреча всегда предвещала что-нибудь недоброе. Старики расписывали, как дух выглядел, рассказывали, что у него белая борода, а лампочка горит красным светом, и будто он с ними разговаривал.

— Он по-немецки говорил? — интересовался Килярчик.

— Ясное дело, по-немецки! Иначе он не умел, да и нужды не было, потому что это немецкий дух и здесь были только немцы! — с готовностью объяснял Гроссман, тоном давая понять, что оскорблен в лучших своих чувствах столь неуместным вопросом.

— Это Эрдгайст затопил «Готтессеген», — подхватил Барнитцке и локтем толкнул приятеля в бок. *Blöder Hund*¹, слишком он много болтает!..

— Кто затопил?

— Эрдгайст!..

— Ага! А сам он не утонул?

Красивое, мужественное лицо Килярчика с правильными чертами и хищной улыбкой было серьезно и сосредоточенно. При взгляде на него никому бы в голову не пришло, что инженера забавляют суеверные рассказы стариков.

— Эрдгайст не утонул! Он сидит в завалах на «Готтессеген»! — негромко сказал Гроссман.

— Что же он там делает?

— Размышляет, как затопить «Викторию»!

— Зря время теряет, все равно ничего не придумает! — насмешливо сказал Килярчик.

¹ Чертова собака (нем.).

— Хо-хо! — оживился Гроссман. — У немцев шахту затопил, а у поляков не затопит! Хо-хо!.. — и сплюнул далеко в сторону.

Килярчику не понравилась такая похвальба. И он очень спокойно, так, словно интересовался, сколько вагонов они выгрузили на платформе, спросил:

— Вы не любите поляков? — И зубы его хищно сверкнули в едва заметной усмешке. Гроссман, заметив эту усмешку, уклончиво произнес:

— Моя семья уехала в рейх. Я один тут остался...

— А почему вы не уехали?

— Сжился с «Готтессеген», а потом — с «Викторией»...

— Na, schon recht!¹ Glück auf!² — холодно простился с ними Килярчик.

— Glück auf, Негг инженер! — поспешно ответили старики.

Это неприятное открытие не изменило, однако, отношения Килярчика к немецким шахтерам. Он даже ощутил нечто вроде сочувствия. Инженер попытался представить себя на месте старого, всеми покинутого Гроссмана и пришел к выводу, что старик — несчастный человек, который любит шахту больше, нежели свою семью. Сейчас он как бы на распутье и, видимо, втайне мечтает о возвращении в Валбжих «своих». Если бы на его месте оказался Килярчик, то, вероятно, думал бы точно так же и мечтал бы о возвращении близких.

Все эти мысли оставили его, когда он вышел из клетки на пятом горизонте в слепом стволе и поравнялся с насосной камерой. Камера с арочным сводом и низким входом была вырублена в монолите и обетонирована. Там работал электрический насос, издававший тонкое вибрирующее и в общем приятное жужжание. Килярчик углубился в квершлаг, который вел к вспомогательному стволу «Лешек». Это был самый длинный квершлаг во всем валбжихском бассейне, протяженностью свыше трех километров. В глубоком сточном желобе булькала и плескалась вода. Это напомнило Килярчику об угрозе Гроссмана. Скарбник зато-

¹ Ну, ладно! (нем.)

² Шахтерское приветствие (нем.).

пил при немцах шахту «Готтессеген», а теперь готовится затопить польскую «Викторию». Не затопит!.. После долгого совещания с директором и председателем Центрального горнодобывающего управления Киярчик обдумал план, который должен был оградить шахту от этой опасности. Из рассказов Барнитцке и Гроссмана ему было известно, что выработки шахты «Готтессеген» находятся примерно на сто с лишним метров выше квершлага на пятом горизонте «Виктории». Не точно над ними, а где-то далеко в стороне. Но черт ведает, где именно! Если бы знать наверняка, ни к чему было бы сейчас вести вслепую проходку «заколдованного» квершлага. Киярчику было известно, что порода там состояла из водопроницаемого глинистого сланца, и вода, скопившаяся в выработках «Готтессеген», могла просочиться сквозь породу. И сейчас она, возможно, затаилась где-то на высоте пятого горизонта, зловещая, черная, примолкшая, готовая внезапно, с ревом хлынуть в штреки «Виктории».

Квершлаг был пуст. Бригада работала сотней метров ниже, на седьмом горизонте. Она спускалась в шахту по главному стволу до пятого горизонта, а оттуда по слепому стволу — на седьмой горизонт. Тем же путем на-гора выдавали добытый уголь.

Киярчик миновал насосную камеру, затем — главный штрек, ведущий к слепому стволу, и погрузился в гулкую тишину квершлага. Он внимательно всматривался в крепь из стальных балок, выгнутых, как шпангоуты. Вид их не понравился инженеру, поскольку местами под давлением кровли и боковых стен они прогнулись внутрь, словно были сделаны из мягкой проволоки. Некоторые балки лопнули, и края их торчали ровные, будто ножом обрезанные. Кое-где металл настолько был перекручен, что напоминал тряпье.

— Давит, гром его разрази! — бормотал инженер и прикидывал в уме, сколько людей понадобится, чтобы заменить искаженную крепь.

Вот он остановился, склонился над сточным желобом, осветил. Вода была прозрачная, в ней отражался свет шахтерской лампочки. Киярчику вода казалась таинственным живым существом, которое куда-то очень спешит; это ощущение было ему приятно.

Килярчик с облегчением подумал, что с такой водой и один насос легко справится. Рядом на всякий случай стоят наготове еще три. Он знал, четыре насоса в минуту могут «проглотить» двадцать четыре кубических метра воды. Итак, если вода прорвется, насосы без труда справятся с нею. Только бы они не подвели в решающую минуту. Килярчик согнутым пальцем постучал по деревянной стойке, чтобы «отвести колдовство», как, бывало, делал его отец, работавший забойщиком на шахте «Ян» в Карвине. Инженер громко рассмеялся, поймав себя на том, что временами становится суеверным. Не хватало еще встретить валбжихского Скарбника, в которого так крепко верят старые немецкие шахтеры.

Вдруг в глубине квершлага вспыхнула крошечная светлая точка. Свет появился внезапно и неподвижно повис в темноте. словно шахтер, задремавший в укромном уголке и погасивший лампочку, теперь проснулся и зажег ее, заметив яркий свет инженера, отраженный мощным рефлектором.

Крошечный далекий огонек лениво заколебался и начал не спеша расти.

— Кто там может быть! — удивился Килярчик и принялся перебирать в памяти имена шахтеров, которые работали неподалеку.

Но так никого и не вспомнил.

Огонек быстро приближался, рос, отражаясь в металлической крепи матовыми колеблющимися бликами.

— Щенсь боже¹, пан инженер! — донесся до него из темноты хриловатый, словно после перепоя, молодой голос.

— Щенсь боже! Что ты тут делаешь? — изумился Килярчик. Перед ним стоял отчаянный головорез с шахты «Виктория», приехавший в эти края из-под Люблина по вербовке, которого уже трижды карали за поножовщину, дважды — за воровство, вожак валбжихских хулиганов Олек Клуско.

— Ничего не делаю, пан инженер! — буркнул Клуско. Он сунул руки в карманы — лампочка висела у него на ремешке, петлей перекинутом через шею,

¹ Шахтерское приветствие (польск.).

шапка была лихо сдвинута набекрень, из-под нее торчала непокорная шевелюра — и с вызовом взглянул на инженера.

— Почему не работаешь? Ведь тебя включили в седьмую бригаду.

— Нет дураков, пан инженер!

— Что значит, нет дураков? Ведь ты ничего не зарабатываешь!

— Больно мне нужно!.. По горло сыт вашей проклятой шахтой!

Килярчик внимательно взглянул на парня. Руки у него по-прежнему были в карманах. Правая что-то сжимает. Вроде бы нож...

— Послушай, ты, щенок! Вынь-ка руки из карманов, когда разговариваешь со старшими, а нож прибереги на тот случай, когда понадобится чистить картошку... Ну-ка!

Парень не спеша вытащил руки из карманов.

— Ну, а дальше что, пан инженер? — спросил он. — Думаете, я перетрухнул? Ни хрена вы мне не сделаете!

— Не трави, балда! — сказал Килярчик, сам переходя на жаргон.

— Застукали вы меня, пан инженер, холера псякрев, когда я тут хилал по выработкам! Да мне плевать. — Парень ошетинился.

— Брось трепаться, садись рядом, вот здесь! По-толкуем!.. — И, не дожидаясь согласия, инженер уселся у стены, на кусок породы. На парня он не взглянул. Олесь с минуту неуверенно топтался на месте. Как быть? Он подозревал какой-то подвох. Парень вообще верил только в свою ловкость, силу и смелость. Он знал, на кого эти качества могут произвести впечатление. Инженера на такую удочку не поймает, старых шахтеров тоже, как и некоторых товарищей, живущих вместе с ним в Доме молодого шахтера. Ха-ха! Многих из них уже успели обвести вокруг пальца, приручили, словно слепых щенят! Их «купили» разными там коллективами самодеятельности, хорами, шахматными турнирами, футбольными матчами, трудовыми соревнованиями, сберегательными книжками и даже этой идиотской... как ее... акробатикой. Его товарищи постепенно превращались в послушных маменьких сын-

гов. Он же не такой дурак... Заработать, конечно, он не прочь, чтобы потом отправиться с товарищами в пивнушку, налакаться допьяна, устроить дебош, выбить стекла, проломить чью-то башку пивной кружкой, разбить вдребезги стулья и полоснуть ножом на улице какого-нибудь строптивого прохожего. А что до красоток? Хо-хо! В них недостатка не было, а если какая не соглашалась по доброй воле, ту он брал силой. Была еще милиция, распроклятые «легалы»! Но их он умел оставлять с носом. А иногда не выходило. Тогда его упрятывали на несколько дней под арест. Однажды даже он просидел в тюрьме два месяца. Чертовы «легаши»!..

Олесь присел в сторонке.

— Садись рядом! — приказал инженер тоном, не допускавшим возражений. Парень повиновался.

Он подкатил кусок породы и уселся рядом с инженером. Машинально нащупал нож в кармане. Если что — полоснет... Нет, пожалуй, не полоснет! Он уже давно питал к Килярчику симпатию. Что-то в инженере нравилось парню, но что именно — он сам не знал. Другие кричат, сквернословят, хватают за грудки и даже бьют, обзывают грубыми, словно неотесанные камни, словами; вообще-то ему на них начхать, но все-таки неприятно. А инженер Килярчик не такой! Вот, например, сейчас! Белел ему сесть рядом, вместо того чтобы, поминая всех перунов и чертей, обругать его бездельником, разгильдеем и хулиганом, а то и огреть кайлом. Кроме того, парня покоряла внешность Килярчика, его хищная белозубая улыбка... У самого Олесья зубы гнилые, нескольких не хватает, лицо изуродованное и рябое, девчата на шахте насмеваются, обзывают страшилищем. Черт их подери!

Парень исподлобья взглянул на инженера и подумал, что это — свой мужик. На такого можно положиться!..

— Старики твои живы? — спросил инженер.

До сих пор никто вот так, по-свойски, не спрашивал, есть ли у Олесья родители. Конечно, другие тоже интересовались, но всегда так, словно хотели узнать, сколько пуговиц у него на пиджаке или сколько угля он выдал на-гора. Конечно, родители есть, но он их не помнит. Чем они занимаются? А черт их знает! Отец

был пьяница, а мать... Э, лучше не вспоминать! Кто завербовал Олесья на работу в шахте? Гм, знакомые посоветовали. Говорили, можно зашибить деньгу побольше, чем если «журавля запускать»... Что значит «журавля запускать»? Так говорят про воров-карманников. Вот он и подумал, пусть будет шахта!.. И поехал в Валбжих. Но шахта ему осточертела, сыт по горло! Работа тяжелая, дурацкая, черти б ее взяли! Роешься, как крот, под землей... Вы спрашиваете, чего мне больше всего хочется? Тоже мне вопрос! Водки, девок, драк с разбитыми мордами, денег, много денег, мотоцикл и повесить всех «легавых»... А раз уж вы такой любопытный и готовы выслушать все, что я вам тут выкладываю, как старая дева на исповеди, то слушайте. Плевать мне на шахту, на Валбжих, на «Викторию», на эту чертову шахтерскую профессию — не завтра, так послезавтра отправлюсь на все четыре стороны. Уж лучше «журавля запускать»!

— А может, ты шахты боишься? — перебил его инженер.

Парень возмутился — он прямо-таки подскочил. Олесь Клуско ничего не боится!..

— Неправда, ты боишься честной жизни!

Олесь Клуско покатился со смеху. Он «боится честной жизни»! Инженер говорит, словно ксендз с амво-на. Олесь — стреляный воробей, и его на мякине не проведешь! Еще не хватало, чтобы инженер сказал про алтарь отечества, нестигаемую волю, высоко поднятые знамена и шестилетний план! Тогда все будет, как в клубе, где висят лозунги с криво написанными буквами!

Станный это был разговор. По другую сторону квершлага в желобе булькала вода, слегка шумел ветерок, белая плесень искрилась, словно иней при свете шахтерских лампочек, а слова черными тенями шаркались в темноте.

— Какой же ты глупый, сынок! — сказал инженер. Олесь ожидал, что Киярчик разразится бранью, а тот — ничего. Только усмехнулся.

Парень вздрогнул, хотел отодвинуться, но не успел: инженер обнял его за плечи и привлек к себе. Неуклюже, но как-то очень сердечно. А свободной рукой погладил парня по голове. Вот и все. Потом встал и сказал:

— Послушай! Перед тем как убежать, зайди ко мне. А потом уж станешь «журавля запускать». Придешь?

— Не знаю... — буркнул парень, еще не придя в себя от изумления.

Инженер больше ничего не сказал, нагнулся за лампой и двинулся по квершлагу в направлении «Лешека». Олесь медленно поднялся, глядя ему вслед.

— Вот так тип! — как-то неуверенно и скорее по привычке пробормотал он.

Инженер взглянул на часы. Надо поторапливаться. Слишком много времени потерял с Олесем. Киярчик представил себе, как удивится его жена, «сибирячка» Илона, когда к ним явится такой вот прощелыга. Она была внучкой, вернее, правнучкой польского повстанца, сосланного в Сибирь; родилась и выросла там, полюбила степь и тайгу, где жила среди простых людей, и теперь никак не могла привыкнуть к задымленному Валбжиху и к его «человеческому конгломерату», как она без особого восторга называла местное население. А может, Олесь придется ей по душе, несмотря на свой хулиганский вид и разбойничью внешность. И тогда, быть может, она его по-матерински обласкает.

При этой мысли инженер улыбнулся. У него была страсть все исправлять, например, он с удовольствием копался в отслужившем срок двигателе старенькой «шкоды», который никому не удавалось вернуть к жизни, а у него это получалось. Он мог часами доискиваться, почему вышел из строя электрический насос, пока не обнаруживал причину. Он умел найти в часах ослабевший винтик, поджать его — и часы снова начинали тикать.

«Может, мне удастся поджать ослабевший винтик в голове Олесья Клуско из-под Люблина...» — размышлял инженер, испытывая такое же чувство, с каким брался за ремонт сломавшейся машины.

Наконец он добрался до шахтного двора «Лешека» и с удовлетворением убедился, что здесь все в порядке. Скарбнику Гроссмана не удастся затопить «Викторию». Любопытно, обрадовался ли бы Гроссман победе Скарбника? Может, как немец старой закалки... Э, глупости! Ведь он шахтер и наверняка был бы огорчен

и ругался бы по-своему: «Ез soll der Kuckuck holen».

Итак, на шахтном дворе все готово: назалом лежит влажная глина, высятся штабеля досок, рассчитанных по ширине проходки, и вязанки соломы. Солома пахнет спелым хлебом и солнцем.

Ну и пусть пахнет! Это сейчас не важно. Киярчик велел припасти эти материалы на случай, если прорвется вода и придется возводить дамбу в «заколдованном» квершлага. Ответвляясь от главного квершлага, соединявшего «Викторию» с «Лешеком», он шел с севера на юг, а затем поворачивал на юго-восток. От места ответвления до ствола «Лешек» было всего несколько десятков метров.

Киярчик вошел в новый, более узкий квершлаг, где была временная крепь. По донесению маркшейдера, бригада прошла уже триста метров. Киярчик улыбнулся, поскольку бригадой их трудно было назвать — всего три человека. Один — реэмигрант из Франции, Пьер Остен, который то и дело ругается по-французски — *Tonnerre de Dieu*, что в его устах звучит как «тонеррдеди»; второй — немец Охман, время от времени вставлявший в разговор свое *Kreuzhim-meldonnerwetter*, и худой цыган, готовый в трудную минуту ввернуть крепкое словцо...

Киярчик застал их за работой. Дело у них спорилось. Двухметровый бур с металлическим скрежетом уже почти по рукоять вошел в монолит. Инженер подождал, пока они закончат.

— Ну, что? Идет вода? — спросил он, когда машина остановилась, и внезапная тишина, словно черное покрывало опустилось на глаза.

Вопрос был излишним. Инженер и сам видел, что вода капает сверху, как накануне, как неделю, как месяц назад, а из двухметрового отверстия в монолите вытекает тонюсенькая мутная струйка воды. Ничего страшного. Воды — что кот наплакал!.. Значит, все в порядке!

Киярчик посветил, осмотрел монолит, постучал по нему и кто знает уже в который раз повторил, что сначала следует сверлить двухметровый контрольный шпур и если вода не появится, только тогда сверлить

три-четыре шпура под заряды и взрывать. Главное — держать ухо востро.

— Глядите в оба! — сказал он им на прощание. — А если хлынет вода, бегите к стволу «Лешек». А от туда звоните наверх, в дирекцию и на шахтный двор «Виктории», машинисту при насосах. А потом уже — наверх!..

Килярчик поднялся через ствол «Лешек». В раздевалке умылся, залез в ванну и с наслаждением погрузился в теплую воду. Затем, переодевшись, отправился в контору и начал писать рапорт. И вот тогда-то все началось!..

Зазвонил телефон — настойчиво, резко. Килярчик схватил трубку. В ней слышался далекий гул, похожий на шум вихря в лесу. Это вода с ревом несется по проходке!..

— Алло! Инженер Килярчик слушает! Что случилось?

— Месье инженер! Тонеррдеди, вода!.. Говорит Остенъ! Вода хлынула!..

— Откуда вы говорите?

— С шахтного двора «Лешек»!

— Где люди?

— Охман со мной, а цыган удрал. Поднимается по лестнице в стволе «Лешек»!

— Позвоните на шахтный двор «Виктории», машинисту у насосов. Пусть будет наготове!

— Я уже позвонил!

— Тогда поднимайтесь!

— Kreuzhimmeldonnerwetter! — слышалось в трубке приглушенное восклицание Охмана.

Телефоны теперь звонили не умолкая. Килярчик отдавал приказания машинисту на пятом горизонте, у слепого ствола. Пусть немедленно известит руководство бригады на седьмом горизонте. Ни слова о воде, всех немедленно отправить к клетки и поднимать наверх. Только без паники! Самое главное — без паники!..

Сбежались вызванные по тревоге всполошенные инженеры — и старые, и эти вновь испеченные, готовые разом «выложить» все свои ученые премудрости. Прибежал также запыхавшийся перепуганный директор. И все друг у друга спрашивают: «Что делать? Что де-

лать? Идиоты! Что делать? В штаны делаты! Спокойно, гром вас разрази!.. Ага, снова звонят! В трубке какой-то истошный крик.

— Что случилось? С пятого горизонта? Машинист? Что случилось!

— Докладываю, что пускаю второй насос. Вода прибывает. Пусть ко мне кто-нибудь спустится... — клокотал в трубке перепуганный голос машиниста.

Для бывалых инженеров и штейгеров не было секретом, что горняки в шахте больше всего боятся воды. В огонь пойдут, в воду — ни за что!.. Вода в шахте наводит ужас. Поэтому главное, чтобы в бригаде на седьмом горизонте не началась паника. Насосы в резерве есть, два уже работают, значит, шахтерам ничто не угрожает. Но если они поддадутся панике и всем скопом ринутся к клетки, то переломают себе ноги, руки... Среди них есть, конечно, опытные, солидные штейгеры и технические надзиратели. Вода идет не по квершлагу, а по параллельному штреку, предназначенному для ее стока, обходит насосную камеру и стекает в зумпф¹ главного ствола. Оттуда ее откачивают насосы.

Снова телефонный звонок с шахтного двора, в трубке — отчаянный вопль машиниста:

— Пан инженер! Вода прибывает, черт ее дерит... Включаю третий насос! Спускайтесь кто-нибудь ко мне, не то я убегу!

Ага! Значит, страх усиливается, парализует волю машиниста. Волосы у него на голове становятся дыбом.

— Оставайтесь возле насосов! Я спускаюсь! Если вода будет прибывать, включайте четвертый насос!

Килярчик выбежал из кабинета, в который набились инженеры и штейгеры, они все говорили разом, и каждый старался дать какой-нибудь дельный совет. Похоже, они все потеряли голову. Возле шахтного ствола Килярчик встретил технического надзирателя Гавранека.

— Послушайте, Гавранек! Я спускаюсь вниз, к насосам. Найдите четырех слесарей... Нет! Двух электро-

¹ Часть ствола шахты, расположенная ниже горизонта нижнего околоствольного двора, яма на дне шахты для стока воды.

техников и двух слесарей! С инструментом и запасными частями к насосам. Пусть ждут моего звонка... На случай неполадок...

Килярчик уже вскочил в клеть и сделал знак машинисту. Прозвучал сигнал, и клеть с шумом полетела вниз, на пятый горизонт.

В клетке Килярчик взял себя в руки, успокоился. И когда вышел из нее на шахтном дворе, то даже удивился: от его недавнего замешательства не осталось и следа — ведь, по сути дела, ничего особенного не произошло. Просто в камере работают три насоса. На шахтном дворе уже толпятся люди. Они поднимаются с седьмого горизонта по слепому стволу, преодолевают несколько десятков метров по главному штреку, попадают в квершлаг и не спеша проходят десятка полтора метров, отделяющие их от подъемника. Шахтеры разговаривают, перебрасываются шутками, подтрунивают друг над другом. Значит, не знают, что вода прорвалась. Это хорошо.

Килярчик проследил за тем, как наверх поднялась вся бригада. Он не подгонял людей, не хотел вызывать подозрения, что в шахте происходит что-то неладное. Когда кто-то спросил его, почему они покидают шахту раньше положенного времени, он ответил, что приехала очередная комиссия и требует, чтобы бригада поднялась на поверхность.

— А может, вода? — недоверчиво спросил какой-то чумазый шахтер.

— Какая там вода! Нет никакой воды! — проговорил Килярчик, стараясь, чтобы голос его звучал спокойно и даже безразлично.

Действительно, никакой воды нет. Правда, в зумпфе, под клетями, она шумит, как в дьявольской мельнице, но она всегда так шумит. Особенно когда долго идет дождь.

— Льет еще наверху? — спросил другой шахтер.

— Как из ведра. Зонтики захватили? — пошутил Килярчик.

Время от времени инженер входил в насосную камеру и поглядывал на насосы и водомер. Насосы работали исправно, однако стрелка водомера постепенно поднималась.

— Ну что, пускать четвертый насос? — спросил машинист с рыбьими глазами. После прихода Килярчика он успокоился.

— Еще есть время... Подождем! Я иду на шахтный двор. Если что случится, бегите за мной...

Подъем всей бригады занял полчаса. Только наверху шахтеры узнали, что прорвалась вода и они благополучно избежали опасности. Последними поднимались два штейгера. Килярчик подошел к клетке, готовой взлететь наверх.

— Поздравляю, — сказал он. — Вы отлично справились с этим делом!

— Пришлось пойти на обман, чтобы не напугать людей. Но все обошлось, правда?

— Обошлось. Все поднялись?

— Все! Я сам проверял на шахтном дворе седьмого горизонта.

— Ну, так щенсць боже!

— Шенсць боже, пан инженер! — ответили штейгеры и дали сигнал к отправлению.

Килярчик неожиданно вспомнил про Олеся Клуско. Ведь парень остался в квершлаг. Не шляется ли он до сих пор где-нибудь там, черт его дерит. Инженер позвонил контролеру, попросил проверить, на месте ли бирка и лампа Олеся Клуско. Ему ответил тонкий девичий голос, что все на месте и что Клуско поднялся наверх с первой же клетью.

Значит, все в порядке. В шахте теперь остались только двое: машинист и он, Килярчик.

Инженер вошел в насосную камеру, взглянул на водомер. Вода продолжала подниматься.

— Пускаем четвертый насос! — приказал он.

Машинист включил контакт — заработал четвертый насос. Вначале он издавал низкий, басовитый звук, потом тон его начал повышаться, переходя постепенно в серебристое, звенящее пение. Тонкое гудение четырех насосов сливалось в своеобразный скрипичный квартет — монотонный и усыпляющий. Если бы не сознание, что сейчас начинается единоборство с водой, можно было бы сесть на лавку и спокойно вздремнуть.

Час проходил за часом. Машинист и Килярчик стояли возле насосов и напряженно вслушивались в их работу. Время от времени они взглядывали на водо-

мер. Чертова стрелка и не думала опускаться. Даже, напротив, показывала, что вода медленно, но прибывает.

— Обороты полные? — спросил Килярчик.

— Нет...

— Пустить на полные обороты!

— Все четыре?

— Все четыре!

— Пан инженер, боюсь, как бы...

— Делайте, как вам велено!

Машинист пожал плечами и передвинул все четыре контакта. Гудение насосов стало напряженным; переходя на самые высокие ноты по невидимой параболической кривой, оно сделалось похожим на тоненькое вибрирующее комариное пение, — чувствовалось, что насосы работают как бы через силу. Килярчик не спускал глаз со стрелки водомера. Она застыла на одной цифре. Под низким темным сводом камеры переливается печальный плач насосов. Килярчик положил ладонь на блестящий лакированный кожух двигателя и почувствовал, как напряженно он дрожит. Вода шумела в толстых трубах, которые причудливо переплетались на стенах и сводах камеры. Отсюда трубы выходили в квершлаг, тянулись к стволу и уже там по скользкой бетонированной стене взбирались на поверхность.

Время от времени пронзительно звонил телефон и кто-нибудь сверху требовал, чтобы Килярчик доложил обстановку. Что там внизу? Насосы работают? Вода прибывает или убывает? Вначале Килярчик отвечал обстоятельно, не спрашивая, кто с ним разговаривает. В конце концов это ему надоело.

— Послушайте, оставьте меня в покое. Если нужна будет ваша помощь, я сам позвоню!.. Все!..

Телефон смолк, только камера продолжала стонать от вибрирующих звуков. Вибрация была едва заметной, но пронизывала все тело. Килярчику казалось, будто он ощущает ее кончиками пальцев, как едва уловимые покалывания. Он сел на лавку, принялся размышлять, каковы шансы на победу. Стрелка водомера едва заметно опускается. Значит, насосы «проглатывают» воду. Однако уровень ее снижается очень незначительно. Долго ли вода будет идти из промоины в «заколдованном» квершлаг? Вот вопрос. Инженер

предполагал, что вода прорвалась из старых выработок шахты «Готтессеген». Больше ей взяться неоткуда. В Валбжихе и окрестностях нет ни рек, ни ручейков. Иными словами, со временем подземный водоем должен иссякнуть. Дело сводится лишь к одному: сколько в нем воды? Долго ли будет она заливать «Викторию»? Если насосы подведут, седьмому горизонту грозит затопление. А возможно, и пятому. А может, и всей шахте? Вода может заполнить все выработки, галереи, штреки, и тогда «Виктория» будет обречена на долгое бездействие и работы по ее осушению обойдутся дорого. Килярчик понимал, что спасение шахты зависит от него одного. Не исключено также — в его мозгу возникла робкая инженерная гипотеза, — что выработки «Готтессеген», после того как из них уйдет вода, обрушатся. То, что они обрушатся, не вызывает сомнения, размышлял инженер. Вот если бы они обрушились так, что перекрыли бы приток воды, тогда проблема решилась бы сама собой. Но кто знает, что там сейчас творится?

Килярчик решил выйти и взглянуть, что происходит в квершлаг. Однако выйти он уже не успел: в камеру внезапно ворвался приглушенный, но с каждой секундой усиливавшийся гул, постепенно переходивший в грохот. Инженер выглянул из камеры и остолбенел. У его ног вдоль квершлага стремительно неся черный поток — в слепой ярости вода дыбилась, кидалась, пенилась, тащила стойки, доски, била ими в стены, переворачивала их и снова тащила с оглушительным ревом...

Килярчик понял: либо водоотводный штрек оказался слишком тесным, либо он забит камнями, деревянными стойками и всяким мусором. Поэтому вода и прорвалась в квершлаг. Инженер ступил в воду, и она схватила его за ноги, пытаясь свалить и увлечь за собой. В последнее мгновение инженер успел уцепиться за стойку, но упущенная им лампа унеслась прочь в стремительном потоке. С трудом передвигая ноги, Килярчик вернулся в камеру. Пол в ней был выше уровня почвы в квершлаг. Инженер стоял на пороге камеры и слушал. В это странное мгновение ему вдруг стало понятно, почему шахтеры так панически боятся воды. Оглушительный рев разъяренной

воды, непроглядная темнота, низкие давящие своды, слепая, страшная стихия, охваченная жаждой уничтожения, шум, грохот, вой, хаос — все это обрушилось на инженера и начало крушить его волю. Килярчика охватил страх — бессмысленный, бесконечно глупый страх.

Он судорожно вцепился во фрамугу и почувствовал, что дрожит, и волосы под шахтерским шлемом встают дыбом, сердце замирает, глаза вылезают из орбит. Еще секунда — и он прыгнет в воду и бросится к клетки. Только бы спастись!..

— Идиот! — крикнул он, обращаясь к самому себе, и словно бы очнулся. Страх с множеством вытаращенных глаз съезжился, присмирел. Килярчик вытер на лбу испарину. Пот был холодный. Сердце колотилось.

— Что это? — прерывающимся голосом спросил машинист. Его рыбы глаза были широко раскрыты, засаленная кепчонка съехала набекрень, козырек ее торчал кверху. Машинист выглядел так комично, что инженер прыснул со смеху.

— Ничего особенного! — сказал он, продолжая смеяться. — Вода прорвалась в квершлаг.

— Потонем мы...

— Гром вас разрази, да как вы можете такое болтать! — накинулся на него Килярчик. Но он понимал: страх обуял машиниста. Если его не успокоить, он бросится к подъемнику.

Машинист тем временем успокаивался — на него подействовал смех Килярчика.

— Чего вы смеетесь, пан инженер? — с укором спросил машинист.

— Над вами смеюсь! Поправьте кепку...

Нескольких слов оказалось достаточно. Машинист пришел в себя, несмотря на устрашающий рев воды, который врывался в дверь камеры и заглушал гул работавших насосов. Машинист вдруг почувствовал себя, словно потерпевший кораблекрушение на острове, окруженном волнами бурного моря. Ему ничто не угрожает — сюда непременно придут люди и спасут его... Как хорошо, что инженер способен смеяться в такую страшную минуту. Как хорошо...

Зазвонил телефон. Директор просил доложить, как дела внизу. Что происходит? Ничего не происходит.

Насосы работают на сто два, пан директор. Вода очень медленно, но убывает, а сейчас она несется по квершлагу и низвергается в подствольник глубиной в двадцать метров. Когда она наполнит его, то перестанет реветь... Как насосы? Насосы работают отлично, пан директор. Нужна ли помощь? Пока нет. Нужно бы отправить наверх машиниста, но сейчас это не удастся: вода в квершлаге собьет с ног. Не позволит носа высунуть из камеры. Придется подождать, пока она не заполнит зумпф до краев. Сколько сейчас времени, пан директор? У меня часы остановились... Что, уже пять? Так я уже три часа торчу здесь, у насосов? Не три, а все четыре...

Килярчик положил трубку и попытался себе представить, что сейчас творится наверху. Наверняка звонят все телефоны, объявлена тревога, на проводе Варшава, министерство горнодобывающей промышленности, все дают благие указания, выговаривают, распекают, ищут виновных. А он сидит себе здесь, в камере, и слушает, как гудят насосы да у самого порога ревет вода.

Килярчик взглянул на стрелку водомера. Она снова немного опустилась. Все в порядке... Грохот в квершлаг постепенно затихает. Кажется, можно присесть и собраться с мыслями.

Килярчик сел и мысленным взором обратился к выработкам «Готтессеген» — попытался представить их себе. Ему вдруг почудилось, будто по каким-то необъяснимым делам бредет он по старым галереям, осматривает закоулки забоев, заглядывает в завалившиеся штреки, а со всех сторон льется и шумит черная вода. На огромном куске породы уселся валбжихский Эрдгайст и скалит зубы... Килярчик тоже улыбнулся. Эдгайст вдруг наморщил лоб, перестал смеяться. Вот он поднимает кайло. Замахивается. Килярчик хочет крикнуть, чтобы тот не бил кайлом в стену, иначе... Эрдгайст скривил губы в злой усмешке и ударил!.. Фонтаном брызнула вода!..

Килярчик вскочил с места, облитый струей воды; камеру наполнял глухой басовитый грохот, что-то кричал машинист. Инженер сразу заметил, что из места соединения труб, рядом с редуктором насоса, фонтаном бьет вода.

— Дихтунг полетел! — крикнул машинист, суетясь у насосов.

Прокладку вырвало! — дошло до Килярчика. Он подбежал к распределительному щиту, передвинул контакт, насос остановился. Над соседним насосом вдруг вспыхнуло ослепительное голубое пламя, раздался треск, и он остановился...

— Замкнуло! — пробормотал Килярчик. Видимо, струя воды из поврежденной трубы попала в двигатель соседнего насоса, и последовало короткое замыкание. Черт возьми! Два насоса сразу...

Он подбежал к телефону, схватил трубку. Потребовал, чтобы позвали Гавранека.

— Гавранек! Немедленно направьте ко мне двух слесарей и двух электротехников!..

— Я им говорил, а они не хотят, — по-чешски ответил Гавранек.

— Что значит, не хотят?..

— Говорят, не пойдут... Воды боятся!..

— Гром их разрази!.. Дайте мне директора!

К телефону подошел директор. Килярчик обрисовал обстановку и сказал, что ему в помощь нужны четверо рабочих. Два слесаря с ключами и запасными прокладками и два электротехника. Иначе «Викторию» не спасти. И пусть они спускаются как можно скорее. Сейчас работают только два насоса. Уровень воды поднимается. Дорога каждая секунда!..

Килярчик был убежден, что директор сделает все, чтобы заставить ремонтников спуститься в шахту. Пусть обещает им золотые горы, пусть пристрашает уголовной ответственностью — лишь бы удалось сломить их страх перед водой. Директор это сделает. Ведь если он отступит перед их страхом, ему самому грозит уголовная ответственность. Все дело в том, чей страх пересилит: директора или слесарей и электротехников.

Инженер вышел из камеры. Поток воды стал менее стремительным. Уже можно было удержаться на ногах. Килярчик, перескакивая от стойки к стойке, вышел навстречу ремонтникам и решил дожидаться их на шахтном дворе. Пустая клеть дрогнула и поползла вверх. Значит, рабочие сейчас спустятся.

Вот и они. Лампа инженера осветила опустившуюся клеть. Из нее вышло четверо молодых,

надменного вида, парней с инструментами. Они с беспокойством поглядывали на ревущий поток. Киярчик прикрикнул на них, и они пошли в воду и побрели по ней, с усилием передвигая ноги.

Киярчик шел первым. Так они добрались до камеры.

— А теперь за дело!.. — приказал инженер.

Ремонтники молча принялись за работу. Отвинтили болты в соединении, из которого вода вырвала прокладку, извлекли поврежденную и принялись вставлять новую. Они торопились, понимая, что дело не просто в смене какой-то детали. На карту поставлена судьба «Виктории». Киярчик, в свою очередь, отдавал себе отчет в том, что дело здесь даже не в судьбе одной шахты. Эти ребята, к счастью, ни о чем не подозревают. А ведь на карту поставлена его жизнь и остальных пяти человек. Если б они об этом знали, их бы здесь ни за что не удержать. Они и так то и дело оглядываются на вход в камеру, испуганно хлопают глазами, того и гляди, кинут инструменты и с криком побегут к клетке. Ужасающий грохот воды крушит их волю. Черный грохот, сулящий страшный конец.

Киярчик понимал, сейчас начинается игра ва-банк, как говорила Илона. Кто-то должен победить. Водомер предсказывает приближение катастрофы. Стрелка неуклонно ползет вверх, значит, вода прибывает.

— Заканчиваете? — как можно спокойнее спросил инженер.

— Уже прикручиваем болты.

Вот они затанули их, осмотрели в последний раз. Киярчик передвинул контакт, насос заработал. Его нарастающее гудение гармонично слилось с гулом двух работающих насосов; рев воды в квершлагте постепенно затихал.

— Тринадцать минут! — торжествующе произнес молодой слесарь с красивой, буйной шевелюрой. Это означало, что они закончили ремонт за тринадцать минут.

— Теперь — за второй насос!.. Там что-то перегорело. В двигателе!.. — Киярчик давал указания, с усилием подавляя дрожь в голосе. Он заметил, что стрелка водомера катастрофически быстро ползет вверх. Если они справятся за четверть часа, победа

будет за людьми. Если же ремонт затянется, потребуется помощь. Но кто рискнет строить дамбу в «заколдованном» квершлаге?

Электротехники сняли кожух с двигателя и принялись искать повреждение. Где-то должен быть маленький перегоревший проводок. Но где? Как найти его в этом хитроумном переплетении? Проводов здесь тысячи! И каждый надо пощупать, проверить. Адова работа!

— За полчаса справитесь? — спросил инженер. По его подсчетам, больше времени на исправление насоса он им дать не мог.

— Трудно сказать! — ответил молодой электротехник. — Работа может потребовать нескольких минут или нескольких часов.

Выслушав его, Киярчик решил действовать. В самом начале, когда вода еще только прорвалась, он высчитал, что если в минуту будет прибывать примерно двадцать четыре кубических метра воды, а именно столько ее откачивали четыре насоса, то при длине квершлага около трехсот метров и ширине — четыре, при условии, что вода поднимется в нем до высоты около двух метров, это обеспечит около ста минут времени на ремонт четвертого насоса, то есть более полутора часов.

— Даю вам полтора часа! — спокойно произнес он.

— Попытаемся закончить раньше...

Инженер начал действовать. Он позвонил наверх, попросил к телефону директора и изложил ему свой план. Требуется несколько человек, которые должны спуститься по стволу «Лешек» и начать постройку дамбы в том самом «заколдованном» квершлаге рядом со входом. Материал для этого заготовлен на шахтном дворе, нужны лишь люди, и притом незамедлительно. Дорога каждая минута...

Киярчик не слушал возражений директора, он лишь повторял, что дорога каждая минута. Пусть директор удвоит тарифную ставку, утроит, пусть пообещает месячную зарплату, даже двухмесячную и отпуск или посулит еще черт знает что, но он должен уговорить по меньшей мере четырех парней немедленно спуститься через ствол «Лешек» в «заколдованный» квершлаг.

Килярчик говорил резким тоном, исключавшим всякие возражения. Ремонтники наблюдали за инженером — вид у него был решительный, а зубы сверкали, как у хищника.

— Через десять минут, не позднее, мне должны позвонить с шахтного двора «Лешека» и сообщить, что люди спустились и работа началась! — резко произнес он и повесил трубку.

Килярчик представил себе, что сейчас происходит наверху. Люди-то есть, но спускаться никто не хочет: панически боятся воды. Директор, инженеры и штейгеры уговаривают шахтеров, а те молчат, директор повышает тарифную ставку, и в конце концов кто-то решается....

Килярчик помогал ремонтникам и следил за временем. Минуты тянулись бесконечно. Стрелка водомера продолжала подниматься. Три насоса не справлялись с водой. А четвертый, бестия, лежал разобраный, с вывороченными внутренностями, открывая взору переплетения проводов, в которых нетерпеливо копались электротехники, искавшие повреждение.

Прошла минута, вторая, третья... Затем — четвертая, пятая, шестая...

— Осталось четыре минуты! — крикнул в трубку Килярчик. Ему ответил Гавранек, как всегда говоривший по-чешски:

— Не сердитесь, пан инженер, уже все в порядке!.. Идут четверо мужиков... Один — немец, один цыган, один парнишка и один силезец... Их повезли на машине к стволу «Лешек»... Цыган сказал, что теперь-то женится на своей Мирзе, ведь он получит много денег...

— Спасибо! — прервал инженер болтовню Гавранека.

Миновала седьмая минута. На восьмой зазвонил телефон, который соединял насосную камеру с шахтным двором «Лешека».

Килярчик схватил трубку. Он не мог скрыть волнения.

— Es soll der Kuckuck holen! — послышался в трубке скрипучий голос Гроссмана. — Приступаем к работе!... — говорил он по-немецки.

— Кто с вами?

— Цыган, Кухейда и этот хулиган Ключко...

— Кто-кто? Ключко?

— Soll ihn der Kuckuck holen!.. Ключко, der Chuligan!..

— Кто у вас за главного?

— Старший шахтер Кухейда!

— Позовите его к телефону!

В трубке слышался голос Кухейды — твердый и звучный.

— Как строить дамбу, знаете? — спросил Килярчик.

— Пан инженер, прошу прощения, думаете, я такой молокосос? Конечно, знаю.

— А воды не боитесь? — спросил инженер и тут же понял, что допустил промах. В трубке слышался ядовитый смешок.

— Истинная правда, боюсь, но я старый волк, так что головы не теряю. Ведь товарищей и шахту надо спасать, разве нет?..

— Спасибо вам, Кухейда! — сказал Килярчик изменившимся голосом — он был тронут откровенной прямоотой старого шахтера и почувствовал, как у него вдруг перехватило горло. Но это длилось мгновение. Он овладел собой и приказал: — Позовите к телефону Ключко. И принимайтесь за работу! Как вы ее распределите?

— Сейчас позову этого гуляку. Эй, парень, иди сюда, будешь говорить по телефону с паном инженером. Не наплюй, стервец, в трубку! Вот он, пан инженер. Да, как мы будем работать? Ganz einfach! ¹ Я буду укладывать доски на ребро и придерживать их, цыган и этот бездельник будут таскать глину и засыпать ее между досками, а старый Гроссман на шахтном дворе будет наполнять глиной корзины. В воду я его не пущу, из него уже песок сыплется, вода его с ног собьет...

— Сильное течение?

— Дьявольское! Трудновато будет по ней ходить. Я привяжусь к стойке веревкой, чтобы меня не снесло. Да вы за нас не бойтесь, пан инженер!.. Ну, теперь пе-

¹ Очень просто! (нем.)

редаю трубку этому гуляке. Держи и говори, что тебе нужно...

Слушая разглагольствования Кухейды, Килярчик едва сдерживал смех.

— Алло, говорит Клуско! — слышался хрипловатый-голос Олеся.

— Ты в шахте? Ты мне нравишься, сынок! А не боишься?

— Чего? Дохлой жабы? Да разве я такой фраер, как те умники наверху? — с издевкой в голосе произнес он, намекая на инженеров и штейгеров. — Нет, пан инженер, я не боюсь, — сказал он чуть мягче. — Я знаю, что здесь, в этой воде, работа трудная. Вода ревет так, словно с целого полка чертей шкуру спускают. Но я вырос на Висле — привычный. А потом я это сделал ради... — словно через силу выговорил он и, не докончив, повесил трубку.

«Ага! — торжествуя, подумал Килярчик. — Винтик удалось прикрутить...» И с чувством облегчения взглянул на пятерых горняков, которые сгрудились вокруг разобранного двигателя. На их лицах застыло выражение сосредоточенного внимания. Килярчик снова невольно улыбнулся — машинист с вытаращенными глазами, в кепчонке, надетой на самую макушку, был похож на сову.

— Мы выиграли, ребята! — с радостью сказал инженер. — Только что у ствола «Лешек» Кухейда с тремя помощниками начал строить дамбу. Она задержит воду. Сейчас я снова прикину, сколько это нам даст времени. Мой прежний подсчет неверный. Ведь я не принял во внимание, что работают три насоса. Минутку!..

Он присел на скамейку, извлек из кармана записную книжку и начал делать вычисления. Готово!

— У нас есть по меньшей мере два часа!.. Хватит?

— Должно хватить! — за всех ответил молодой электромонтер с буйной шевелюрой.

Пока эти ребята копались в проводах, перебирали их по одному, пропускали через них ток и следили за тем, как плясала стрелка амперметра, и нет-нет да поглядывали боязливо на вход в насосную камеру, Килярчика не оставляло радостное чувство. Теперь-то он уверен в победе! «Виктория» будет спасена.

Килярчик почувствовал признательность к тем четырем смельчакам, которые решились задержать воду. Им ведь первым грозит опасность! Они все погибнут, если их веткая дамба не выдержит напора воды. Кухейда был старый шахтер и отлично понимал цену своей отваги, но он-то пошел на это ради товарищей и шахты. Для него вознаграждение и отпуск — дело десятое. Цыган польстился на деньги, ибо хочет жениться на девушке-цыганке, как сказал Гавранек. А Гроссман? Гроссман — это загадка. Ни одно из предположений Килярчика не подтвердилось! Гроссман пошел спасать «Викторию», потому что... Ну, почему? Видимо, он верит в существование Эрдгайста и хочет его посрамить, а может, привязан к своей шахте... Возможно, и первое и второе! А Олесь? Олесь — еще большая загадка! Какого черта этот хулиган и проходимец пошел на риск? Ведь он наверняка понимает, какая ему грозит опасность. Побуждения тут могут быть разные: самолюбивое стремление убедить инженера, что он «ничего не боится», и та незаконченная фраза по телефону... Черт его знает!..

Килярчик встал и вышел в квершлаг. Вода текла тонким ручейком, который уменьшался на глазах. Видимо, в «заколдованном» квершлагае вырастает дамба и начинает понемногу задерживать воду. Дамба останавливает воду до тех пор, пока ремонтники не исправят двигатель четвертого насоса. Затем вода начнет переклестывать через дамбу, но тогда soll den Erdgeist der Kuckuck holen! ¹ — как сказал бы Гроссман с плаксивым тюленьим лицом.

Килярчик представил себе, как те четверо борются с водой, как они барахтаются в ней, прыгают от стойки к стойке, орут что-то друг другу, стремясь перекрыть шум воды, как вода течет по их лицам, заливая глаза; он словно слышал, как они ругаются, поминая «перуна», и «холеру», и «химмельдоннерветтер»; он представил себе, как сухощавый, похожий на гусака Кухейда добрался до нужного места и, привязавшись к стойке веревкой, укладывает доски между стойками, поперек квершлага, чтобы сдержать напор

¹ Пусть этот Эрдгайст провалится в тартарары! (нем.)

воды. Вот он кричит на цыгана и Олеся, чтобы те кидали вязанки соломы впереди растущей дамбы и сыпали глину между досками. Инженер словно видел, как они утрамбовывают, утаптывают глину ногами, а уровень воды повышается, она бурлит и пенится перед дамбой, хочет прорваться, преодолеть препятствие и кинуться на смельчаков, лишить их жизни...

Поток воды в квершлагге иссяк. Прекрасно! Три насоса поют победную песнь. Словно серебряные фанфары или «трубы медные», которые звенели «на потехи на победные», как говорится в стихах Конопницкой.

Ну, довольно сантиментов! Килярчик вернулся в камеру и заглянул в кружок, образуемый головами ремонтников, склонившихся над разобранным двигателем.

Электротехники и слесари уже теряли терпение и начинали чертыхаться. Черт возьми, где же этот перегоревший проводок? Они перебирали хитросплетения медного провода, пропускали ток, проверяли, нет ли под изоляцией разрыва или перегоревшего участка. Килярчику уже порядком надоело то, что дело не сдвинулось с места. Выждав еще немного, он отстранил их и начал искать сам — неторопливо, спокойно и осторожно. Он осматривал провода, касался их руками, отгибал и светил лампочкой. Поочередно ощупывал каждую деталь, отгибал металлические пластинки и в конце концов добрался до коллектора. Отвинтил болтики и отвел в сторону стержень якоря.

— Есть! — сказал он таким тоном, словно заранее знал, что найдет повреждение именно в этом месте.

— Есть? — обрадованно и как бы недоверчиво повторили все.

— Смотрите! Вот перегоревший провод. Надо его заменить — и насос в порядке!

— И как нам самим не пришло в голову туда заглянуть! — пробормотал один из рабочих.

— Просто догадка! — безразличным тоном, словно о чем-то обычном, сказал Килярчик, чтобы эти ребята не чувствовали неловкости. — Вода могла попасть в двигатель только здесь. Через эти вот щели... Произошло короткое замыкание!

— А мы копались в нем, как идиоты! — извиняющимся тоном сказал озадаченный слесарь.

— Чепуха. И вы бы доискались. Так же и слепая курица находит зерно. Случайность, и только... — успокоил он их. — А сейчас замените провод и поторопитесь с монтажом... Время не ждет!

Килярчик взглянул на часы. В их распоряжении еще около сорока минут. Воды в квершлагте нет. Стрелка водомера показывает, что ее уровень в зумпфе быстро понижается... Рабочие, возводящие дамбу, дают им время починить насос. Делают все, чтобы они могли исправить повреждение.

Инженер позвонил на шахтный двор «Лешека». Трубку взял Гроссман.

— Как у вас там дела? — спросил инженер.

— Der Kuckuck soll den blöden Hund holen! — скрипучим голосом произнес немец.

— О ком это вы?

— Об Эрдгайсте. Ничего он нам теперь не сделает. Дамба высокая — метр пятьдесят. По бокам протекает, но самую малость! — по-немецки продолжал Гроссман.

— Выдержит?

— Должна!

— Позовите, пожалуйста, Кухейду.

В трубке все стихло. Минуту спустя в ней послышался шелест и зазвучал голос Кухейды:

— Дело сделано, пан инженер! Дамба чертовски крепкая. Выдержит, хоть тут свету конец! Мы возвели ее уже на метр пятьдесят. Этот хулиган, этот бездельник из Люблина взобрался на дамбу и утаптывает глину, словно капусту в бочке. Цыган с Гроссманом таскают глину, а я подаю ее этому хулигану.

— А вода? Каков ее уровень?

— На метр поднялась.

Килярчик ощутил легкое беспокойство. Если Олесь взобрался на дамбу и утаптывает там глину, словно капусту в бочке, значит, ему грозит наибольшая опасность, если прорвется вода. Другим тоже, но ему — в первую очередь.

¹ Провалился бы он к чертям собачьим! (нем.)

— Послушайте, Кухейда, следите за людьми...

— Да вы не беспокойтесь, пан инженер. Я здесь не для проформы! Дамба выдержит, гарантирую!..

— Продолжайте ее наращивать, пока я не дам знать. Мы уже почти заканчиваем ремонт.

— Добро! — проговорил Кухейда и повесил трубку.

Килярчик позвонил наверх директору. Доложил, как идут дела. Сообщил, что не позже чем через полчаса они пустят четвертый насос. Люди у дамбы продолжают работу. Директор начал издавать какие-то протяжные звуки, собираясь, видимо, высказать неудовольствие, но Килярчик повесил трубку.

В насосной камере все хлопотали вокруг двигателя. Настроение было приподнятое. Страх испарился, ребята улыбались и насвистывали модные мелодии. Они не завидовали находчивости инженера — так определили они про себя его способности. В первую минуту им было неприятно, что повреждение обнаружил он. Они искали-искали — и ничего. А инженер нашел играючи! Килярчик догадывался, что им это неприятно, поэтому старался держаться с ними непринужденно и просто, чтобы ребята пришли в себя. А те удивлялись — как здорово у него это получается. Значит, все их знания — лишь малая толика его опыта, а он не заносится, не высокомерен! Другой бы на его месте раскудахтался, как курица, снесшая яйцо...

— Парень что надо! — негромко сказал один из ремонтников. Монтаж двигателя шел споро. Килярчик со знанием дела помогал ремонтникам. Иногда онправлял кого-нибудь, объяснял, в чем ошибка, иногда позволял поправлять себя. Парни не подозревали, что так он завоевывает симпатии людей.

Инженер время от времени поглядывал на часы. Двигатель постепенно становился похож на двигатель, насос приобретал привычные очертания. Когда были прикручены последние болты, Килярчик осмотрел работу и сказал:

— Порядок!.. Внимание! Включаю двигатели!..

Все уставились на насос. Килярчик медленно передвинул контакт, насос вздрогнул и загудел. Инженер передвинул контакт ниже — двигатель начал набирать обороты. Контакт переместился еще ниже — двигатель

затянул свою металлическую, серебристую песню; тон его становился все выше, словно вытягиваясь, извиваясь кверху спиралями. Звук достиг головокружительной высоты и теперь уже не менялся — вибрирующий, мелодичный, слившийся с гулом трех работающих насосов.

— Спасибо вам! — спокойно сказал Килярчик и каждому из рабочих крепко стиснул руку своими двумя. Лица парней расплывались в довольных улыбках.

Инженер позвонил наверх и доложил директору, что работают все четыре насоса и что «Виктория» спасена. Он не стал слушать радостных восклицаний директора, а тут же позвонил на шахтный двор «Лешека». Все это Килярчик проделал спокойно, внешне бесстрастно. Но если бы рядом не было людей, бог знает, что бы он выкинул от радости.

— Was ist los? ¹ — раздался на другом конце провода голос Гроссмана.

— Насосы в исправности...

— Я сейчас говорить, герр инженер, der Kuckuck wird Teufel holen! Also, Victoria? ²

— Victorial Позовите Кухейду!

Кухейда взял трубку. Он слышал, как Гроссман сказал «Victoria», и понял, что они победили.

— Ну, что? Разве я вам не говорил, пан инженер?

— Заканчивайте работу! Поднимайтесь по стволу «Лешека». Какова сейчас высота дамбы?

— Метр девяносто!

— А воды?

— Примерно метр пятьдесят... Но уже пора кончать, дамба трещит чертовски... Еще немного выдержит... Не беспокойтесь!

— Что делают ваши люди?

— Этот бездельник из Люблина прыгает, как ошпаренный. Будто его кто наскипидарил. Радует. А цыган мычит, как старая корова, и что-то бормочет про свою цыганку. А немец, перун, что он делает? Минуточку, пан инженер, отсюда не видно...

На несколько мгновений в трубке все стихло.

¹ Что случилось? (нем.)

² Пусть черт провалится в тартарары! Итак, победа? (нем.)

— Уже знаю, пан инженер. Этот симпатичный перун пишет мелом на стене слово «Victoria». Было время, когда Гитлер так всюду писал, но попал к чертям в ад. А мы, пан инженер, туда не угодили! Да здравствует «Victoria»! — неожиданно крикнул он.

Килярчик снова почувствовал, как у него перехватило горло.

— Позовите этого бездельника из Люблина! — сказал он.

— Ты, шпана, иди к телефону!..

Снова ненадолго воцарилась тишина.

— Олесь, ты?

— Я, пан инженер!

— Знаешь, что ты спас «Викторию»?

— Подумаешь, какое геройство!.. Не я один! Мы все вместе!

— Что они сейчас делают — Кухейда, цыган и Гроссман?

— Собирают инструменты и входят в клеть.

— А ты?

— Что я?

— Когда ты уедешь, вернее, удерешь с «Виктории», чтобы «журавля запускать»?

Наступило недолгое молчание. Затем послышался изменившийся голос Олесь:

— Я остаюсь!.. — и чуть погодя: — Остаюсь с вами, пан инженер!

— А почему ты пошел спасать «Викторию»?

— Я... это... я это только ради вас, пан инженер!..

И все стихло. Видимо, смущенный собственным признанием, Олесь повесил трубку и поспешил вслед за товарищами в клеть.

Килярчик обернулся к своим людям. Они расселись на скамейке, похожие на озорных, давно не стриженных мальчишек, которым удалось над кем-то забавно подшутить, и теперь они радуются своей проделке. Они то принимались безудержно хохотать, то хлопали друг дружку ладонями по спине и коленям, перебрасывались шутками. Только один из них сидел, насупясь и не спуская глаз с исправно работавшего насоса, повторял с забавной горячностью:

— Ну, перун, мы с тобой управились! Вот видишь, сукин ты сын!

Машинист рассказывал по камере между насосами, нагибался над каждым и, двигая усами, словно кролик, говорил им что-то сердито и гладил кожуха двигателей черной от смазки ладонью. В этом жесте была почти отеческая нежность и мольба — чур, не ломаться! — не то худо будет!..

— В утиль сдам, мерзавцы! — добродушно грозил он.

— Ну, друзья, наша взяла! — обратился к товарищам Килярчик. — Поднимайтесь наверх. Который час? Как, уже семь?.. Я остаюсь здесь. Зайдите к директору... Впрочем, я сам ему позвоню, чтобы он прислал на смену четверых ремонтников и машиниста. Вода, того и гляди, размочит дамбу. Ну, отправляйтесь!

Ребята принялись шумно готовиться к уходу, собирали инструменты в сумку и приветливо по очереди говорили на прощание:

— Щенсць боже, пан инженер!..

Последним ушел машинист. На пороге он немного задержался, почесал за ухом, спросил:

— Не подведут эти мерзавцы? — и указал на насосы.

— Ступайте, не подведут!

Рабочие поднялись, Килярчик остался один. Его обступило черное безмолвие, нарушавшееся только пением насосов. Он упивался этими звуками, словно изысканным, выдержанным вином. Издалека, из глубины квершлага до него донесся нараставший шум воды. Видимо, она уже начала перехлестывать через дамбу. Шум быстро приближался, превращаясь в оглушительный грохот, грохот постепенно усиливался, перерастая в монотонный рев. Вот уже показалась вода — она несется мимо насосной камеры и низвергается в подствольник. В зумпфе завертелась дьявольская карусель.

Килярчик позвонил директору, попросил прислать новых людей. Потом начал вслушиваться в шум воды и в мелодичное пение насосов. Грудь его распирала радость. Ему захотелось вытянуть руки вверх и кричать от пьянящего чувства победы. Вдруг ему

снова пришли на память строки Конопницкой, которые любила повторять Илона. Он начал скандировать их в такт работающим насосам:

Как король шел на войну
В чуждальную страну,
Зазвенели трубы медные
На потехи на победные...¹

— Олесь, Гроссман, вода, «Виктория», — бормотал
Килярчик, будто заклинание.

А насосы пели...

1954

¹ Перевод А. Колтоновского.

КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ

В основу некоторых эпизодов и ситуаций, изображенных здесь, легли подлинные события, но о героях этого рассказа не следует связывать фамилии людей, ныне живущих или умерших.

1

Девушка в пилотке отстегнула ремень на моем кресле. Мы летим. Кажется, уже можно курить. Я устала, не хочу ни с кем разговаривать. Девушка улыбнулась мне и отошла, я ответила тоже улыбкой. Лучше помолчу, меня могут узнать по голосу.

Момент взлета не производит впечатления: рев моторов и несколько толчков, а потом я не смотрела вниз. Крыло самолета закрывает от меня землю, это хорошо. Пока что меня не прельщают путевые картины: игрушечный пейзаж, автомобили-жучки, — ладно, без них можно обойтись. В воздухе чувствую себя не совсем уверенно; какое безрассудство, зачем я это затеяла? Я могла бы вовсе не уезжать или, во всяком случае, поехать поездом. Молчание, шелест газет, сверкающее на солнце крыло самолета. Меня никто не провожал.

Не забыла ли я сигареты? Нет. Надеюсь, моя дочь будет ждать меня в Париже. Мужчина, который сидит в соседнем кресле, дает мне прикурить. Плоская зажигалка в большой сильной руке — улыбка. Я кивнула. Техника — не возражаю, но никаких знакомств.

Не для того я оторвалась от земли, чтобы искать приключений в воздухе. Вдали от всех — немного комфорта — рюмочка мадеры на террасе «Cafe de la Paix», музеи, одинокие прогулки по набережным Сены. Сколько может стоить рюмка мадеры? Камера Мари-Антуанетты непременно и Ван-Дейк.

А если она опоздает на аэродром?

Когда прилетим, куплю план Парижа. Две недели, пожалуй, маловато, но все-таки. Жаль, что так поздно.

Я заслужила этот первый отпуск за семьдесят недель. Семьдесят раз пани Фелиция, семьдесят обедов, семьдесят раз мой голос. Через неделю миллион слушателей узнает, что я улетела в Париж. Пани Фелиция вознеслась ввысь на серебристом четырехмоторном самолете, — цветы, прощание на аэродроме, одинокий пан Томаш. Представляю, как он будет рассказывать об этом.

Старого друга придумали на прошлой неделе специально, чтобы заменить меня. Он неожиданно навестит нас на следующий день после моего отъезда. Всем знакомый тип вечного неудачника — они с Томашем будут играть в шахматы. Недурная идея: за шахматной доской можно болтать о том о сем, перемежая разговор трогательными воспоминаниями обо мне. А я — далеко. Да, очень хорошая идея. Потом придет открытка с видом Эйфелевой башни. *«Чудесный город, — напишу я, — но дома все-таки лучше»*. Патитатам-ти-рифифи!..

В приписке я, разумеется, напому Томашу, чтобы он поменьше курил. Надо заботиться о популярности среди жен. Миллион будет ждать моего возвращения. Им нужен мой добропорядочный, низкий, чуть хрипловатый голос. Смех, да и только.

Качает. Сердце дает себя чувствовать.

Когда я брала анкеты для паспорта и произнесла всего несколько слов, люди, стоявшие в очереди за мной, стали перешептываться. Кто-то спросил: «Как поживает пан Томаш и помогли ли ему каштаны?» В прошлый четверг он жаловался на ишиас, ну, я и заставила его положить в карман каштаны. Дискуссию на тему о суевериях завершил супружеский поцелуй. Гм. Пришло множество писем. Каштаны, кажется, и в самом деле помогают.

Мой сосед разговаривает с девушкой в пилотке. Со стюардессой. По-польски, но с иностранным акцентом. Седоватые виски, загорелое лицо — лет пятьдесят. Жарко, от крыла отражается яркий блеск лучей. Мы летим только четверть часа. Не треснуло ли зеркальце? Нет, цело. Как я выгляжу? Лицо овальное. В этих анкетах нет никакого смысла. Когда-то я была рыжей. У меня были выпуклые глаза с удивительным выражением и нежный цвет лица. Теперь я черню ресницы и брови, а волосам придаю более светлый тон. Рыжая Офелия с прозрачной кожей — это было хорошо до войны. Я не знала, как написать в анкете: рыжие или белокурые. Написала «рыжевато-белокурые».

Никаких особых примет, отец был капитаном. Что за чепуха! Дома у нас боялись, что я не вырасту и стану карлицей. Может, у них и были основания, дед, кажется, пил. В конце концов я все-таки выросла, но осталась тощая, колени и локти слишком угловатые. Напишем: рост средний... Бросок вверх, потом провал.

Да, я могла стать замечательной Офелией или святой Иоанной — было во мне нечто одержимое и в то же время жалкое, — в театре говорили, будто я несу в себе свет. Может, я и несла в себе свет, но мне отчаянно не везло. Ни на что не надо рассчитывать, и вместе с тем всего можно ожидать. Дата и место рождения — это всегда остается с тобой. Но разве с ними что-нибудь связано?

Полночи просидела я над этими анкетами, некоторые пункты до сих пор меня мучают. Семейное положение. Я написала: вдова. Потом зачеркнула. Пожалуй, все-таки незамужняя.

Перед взлетом два бразильца, сидящие по другую сторону — у правого крыла, — одновременно, одинаковым жестом перекрестились: сложили кончики пальцев и коснулись ими лба, груди и губ, — быстро и печально. Не скажу, чтобы мне это прибавило бодрости.

Много иностранных газет; там, в глубине, разговаривают по-французски. Поляков сразу можно узнать: у них более дряблая кожа, вид несколько поношенный. Стюардесса на целую голову выше меня, настороженная, молчаливая, с приклеенной улыбкой. На мой взгляд, бедра у нее широковаты, но некоторым

это нравится. Те, что родились во время войны и позднее, выглядят получше. Если бы она пережила то, что я, у нее не было бы теперь такого фарфорового личика. Правда, я могла бы и не пережить все это, сто раз виной моих бед оказывался случай.

Который час? Через пятнадцать минут мой голос зазвучит на земле. Люди будут слушать нашу беседу, записанную на пленку еще неделю назад. Пани Фелиция уже получила паспорт — предотъездная лихорадка, волнения (*Столько лет я не уезжала, ты, наверное, решил выпроводить меня из дому?!*), пан Томаш успокаивает жену. Трогательная сцена.

Семидесятый раз... В сентябре исполнится полтора года с того дня, как мне предложили эту работу. Удивительное чувство, словно я добралась до этого стула, пройдя через Сахару. Сорок лет шла босиком через горячие пески следом за армией, а спустя сорок лет отвечаю: ну, что ж, я не возражаю. Жизнь улыбнулась мне, но я ей не улыбаюсь. В такие минуты лучше сидеть спокойно, сохраняя серьезное выражение лица. Бомба? циклон? паралич? Все возможно, меня ничем не удивишь. Ведь я не впервые беру ангажемент. Раз я соглашаюсь, стало быть, учитываю последствия.

Я сижу на стуле (прошлогоднее черное пальтишко, ажурные перчатки, сумка со сломанной застежкой), а напротив меня, за письменным столом, благообразный шатен в очках. Поздравляет меня. «Тембр, особый тембр, — говорит он; я наклоняюсь, чтобы лучше слышать. Что касается тембра, так это от водки. Меня всегда огорчало, что я хрипну. — Ваша пленка вне конкуренции, наконец-то человеческий голос».

Моя пленка? В первый момент я не поняла, что за пленка. Он спросил, не хочу ли я послушать, нажал какую-то кнопку и сказал: «Прошу ту пробную». Наверху загорелся огонек. Шорох, потом как бы мяуканье, и вдруг кто-то вздохнул: *«Мне хотелось на старости отдохнуть, а тут приходится начинать сначала. Мой милый...»* Тут шатен протянул мне сигареты, я курю и слушаю, он улыбается, а у меня дрожат руки. Не скажу, что мне понравилось. Голос этот вызывал у меня чувство неловкости, обычно я так не говорю. И слов таких я бы никогда не стала произносить. Да и

не к кому было бы с ними обратиться. И что вообще означает «начинать с начала»? Нет, я бы так не сказала. Слушаю, стряхиваю пепел, надо мной звучит мой хриплый голос. Кто-то меня перебивает, я там, наверху, жалуюсь, кажется, чего-то не понимаю, — потом обед. Я накрываю на стол. Слышно, как я разливаю по тарелкам суп. Муж ест.

— Ну, вам понравилось?

— Да, неплохо.

Моя пленка... хотелось бы послушать ее, я не все помню из того, что говорила в жизни, — может, оно и не имеет значения, но меня интересует тон — тон меняется в зависимости от настроения. Когда-то я верила, будто услышу что-то очень важное. Ничего я не услышала. Мне самой пришлось заговорить. И я заговорила. Но уже не своим голосом. Слова, которые ждешь от других, иногда приходится произносить самой. «Не бойтесь, — говорила я ему голосом чревоушателя, — я вас не брошу». Я почувствовала, что он нисколько не нуждается в этих словах, они вызвали у него гримасу отвращения. Это я в них нуждалась. В шуме дождя, под спущенным верхом извозчицкой пролетки, я пожертвовала ему новый тембр своего голоса. Как ни в чем не бывало, в одну секунду я приспособилась к обстоятельствам. Правда, потом уже не остаешься в точности собой — такой, какой была до той секунды. Он спросил, верю ли я, что ему удастся спастись. «Ни один волос не упадет с вашей головы». Еще секунду назад я ни за что бы так не сказала. В результате — тринадцать лет безумия.

Сама себе удивляюсь. Везти человека, преследуемого по пятам, тащиться с ним на извозчике по старым, узким улицам, где полно немцев, где на каждом углу висят объявления о том, что он разыскивается, — с его портретом и обещанием награды за его поимку, — и одновременно говорить со стопроцентной уверенностью: «Уже недалеко, сейчас вы будете в безопасности», — неплохое начало сценария. В жизни такие ситуации переносятся несколько хуже — дождь, промокшие чулки, чавканье копыт по грязи и растущая ненависть к лошади, которая еле-еле плетется. От тех лет у меня остался защитный, сероватый оттенок кожи — это не смывается.

У моего соседа с зажигалкой более чистоплотный вид, от него пахнет свежестью. Мне нравятся пятидесятилетние мужчины со стальными, детскими глазами и седеющими висками. Гимнастика, электромассаж, апельсиновый сок, овсянка.

Могу поручиться головой, что во время войны он был летчиком. Вспоминаю моего отца, его умертвили за колючей проволокой зеленоватые твари с железными, блестящими головами и маленькими глазками; люди, прошедшие эти годы в воздухе или на море, лучше сохранились и меньше знают жизнь.

Женат? Обручального кольца нет, но я уверена — у него есть женщина. Утром: здравствуй, милый. Вечером: покойной ночи, милый. Можно сойти с ума.

Я ревную к девушке в пилотке, он снова ей улыбнулся. Позади меня разговаривают по-польски о жизненном уровне в нашей стране. О том, что крестьяне ездят на мотоциклах. Не знаю, хорошо ли это.

Крестьяне на мотоциклах, а я в самолете лечу в Париж. Родина? Может быть, не знаю. Я не задумывалась над этим. Мне ли говорить о любви к родине? Разве не достаточно того, что за столько лет я никуда оттуда не уехала. Все, что с нами происходит, мы сперва называем жизнью, и лишь спустя какое-то время выясняется, что за этим стоит родина. Я ее не выбирала.

Нет. Я никогда не выбирала. Даже его. Я знать не знала, что там случилось. Видела только, как он дал по физиономии Петерсу — в тот момент я подавала кофе на соседний столик. Назавтра ко мне пришли и сказали: «Ты должна отвезти его в безопасное место, за его голову назначено вознаграждение». Извозчик и темнота.

...Спустя тринадцать лет я услышала крик во дворе — выбежала из ванны, поскользнулась — окно! Окно и темнота.

Довольно, мне нельзя об этом думать, это вредно. Немножко воды или сока — таблетка мепавлона.

Я рассыпала таблетки. Сосед мой нагнулся, чтобы подобрать их.

— Merci.

Конечно, теперь он думает, что я француженка. Почему я сказала «мерси», а не «спасибо»? Последствия сказываются незамедлительно.

— Vous-vous sentez mal, madame? ¹

К счастью, я поняла.

— Non. Merci. Pas du tout ².

Какое богатство слов. Рифифи!.. Сумочка из центрального универмага не выдала меня, значит, в Польше он пробыл недолго.

Все время у меня сжимается сердце. Нет, я не создана для того, чтобы парить в воздухе. Внизу пастбища, лужи. С высоты двух километров у земли вид менее серьезный, чем тогда, когда ходишь по ней пешком.

Дорога среди деревьев, домики, деревушка.

Кажется, будто в таких деревушках крестьяне убивают топорами жен, а потом вешаются на деревьях. С такой высоты этого нельзя было бы разглядеть.

Я давно подозреваю, что мы никому не видны сверху, но что до такой степени — не предполагала. Быть может, людям верующим не следует разглядывать землю с птичьего полета? В этом есть что-то греховное. На моем сердце это дурно отражается. Хуже всего я чувствовала себя в тех случаях, когда не могла рассчитывать, что на меня обратят внимание. Я этого не терплю. Простите. Я испытываю к чему-то интерес, так пусть мной тоже интересуются. Не хочу быть пылинкой. У человека есть своя натуральная величина, и он имеет право на то, чтобы другие его замечали.

Я поняла это тогда, в первый год войны, когда везла его сквозь ливень и темноту. У меня душа уходила в пятки. Я боялась не того, что может с нами произойти, — меня пугало другое: все, что с нами произойдет, не будет иметь ни малейшего значения. Очень неприятное чувство. Предпочитаю быть в положении обвиняемой. После войны, когда меня судили, я чувствовала себя невиновной, но, по крайней мере, мое дело рассматривалось. Товарищеский суд вынес мне несправедливый приговор, и все-таки мне было приятно, что занимались моей персоной, другой вопрос — правильно ли. Во всяком случае, меня отметили, решив, что надо заняться моим прошлым. И это не самое худшее,

¹ Вы плохо себя чувствуете, мадам? (франц.)

² Нет. Спасибо. Нисколько (франц.).

даже если выносят несправедливый приговор. Самое худшее, когда тобой никто не интересуется.

Ручаюсь, что мой сосед никогда не переживал ничего подобного. По-моему, он принадлежит к типу людей, которые, быть может, и рисковали жизнью, но лишь получив на это санкцию вышестоящего лица; такие господа перед прыжком в темноту сообщают об этом своему начальству.

Стюардесса разносит завтрак — значит, мне не придется прыгать? А если бы? Я прыгаю и падаю на крестьянина, который убивает топором собственную жену. Теоретически вполне вероятно. Он принял бы меня за ангела, прилетевшего предостеречь его, и с криком рухнул бы на колени. Но так не бывает. Хотя техника и движется вперед, но управлять провидением мы все еще не научились. Крестьянин убил бы жену, а я бы упала на километр дальше, сломав позвоночник. И это называется прогресс? Одно совершенно не вяжется с другим. Логика? Возможно, мой сосед и верит в это, но я — нет.

Земля, растения, животные, нечто ненадежное и тревожное. Все это движется, пожирает себя, бежит, растет — я боюсь птиц в комнате, природа вцепляется в волосы, она слепа, глуха и всегда напугана, только с человеком можно поговорить, убедить его, подавить в нем то зло, с которым он и сам не примирился.

Кажется, рюмка коньяку была бы мне сейчас очень кстати.

Он вынул из кармана пиджака маленький приемник в пластмассовом футляре цвета слоновой кости. Я такого еще не видела. Настраивает его возле окна.

Храп дуэтом: бразильцы.

Зачем ему это? Разве мало того, что мы несемся в воздухе? Ему, видите ли, нужна и музыка! Что за руки, какие холеные ногти. Но маленький приемник на него начхал. Молчит, и все.

Тощая стюардесса приближается с подносом. Коньячок и бутерброды, наконец-то! Ощущаю тепло внутри. Сигаретка. Тириарам-ти-рифифи!.. Теперь мне очень хорошо, сердце на своем месте, четыре мотора работают, чтобы я — девица? вдова? замужняя? — могла парить, и этот добропорядочный вздор, который я несусь каждый четверг, ах боже, как замечательно,

ничуть меня не интересует, никаких исправлений в прошлое я вносить не собираюсь.

Я не могла предусмотреть всего, что случится, но свой долг я выполнила. Я спасала его. Потом разбирали мое дело. Это ни о чем не свидетельствует: меня осудили за то, что со мной произошло, но за то, что я сделала, мне полагается памятник. Человек, который сидит рядом со мной, не много бы из этого понял.

Это нужно самому пережить, дорогой. Представьте себе худую рыжеволосую актрису, которой предстояло сыграть Офелию в провинциальном театре и которую во время репетиций признали блистательной. Да, первая большая роль в жизни, через несколько дней — премьера с примечательной датой: «3 сентября 1939 г.». Увы, генеральную репетицию прервал воздушный налет. Полоний убежал и вернулся вместе с немцами, а месяц спустя я подавала водку в «Артистическом». Интересное заведение. Полония, правда, не проткнули шпагой, ему попросту дали пощечину. На следующий день нашли его тело с разможенным черепом — тело предателя.

Для меня не играло никакой роли — он ли его убил, — к Петерсу я всегда была равнодушна, а его взялась бы перевезти в любом случае. Убил, не убил, всякое возможно. Я его не спросила об этом — такие вопросы хороши на сцене, — впрочем, у меня не было ни оснований, ни времени раздумывать, достаточно было того, что это он. На репетициях он не обращал на меня внимания, но теперь я чувствовала — шансы мои растут: он не скажет мне больше, чтобы я шла в монастырь. Я буду его ждать в извозчицкой пролетке, ему покрасят волосы, они станут черными, монашки укажут безопасный адрес. Объявления о розыске, расклеенные на углах, сулят высокое вознаграждение. Пролетка тронулась, я коснулась его руки. Он был бледен, глаза закрыты. Сидя под опущенным верхом пролетки, я угадывала дорогу. Театр. Оборонительные укрепления. Башня Казней... Я еще не знала, какой ценой мне придется расплачиваться, но мне было известно, что монашки — это дурная примета.

Стюардесса забирает у меня поднос — приемник вдруг ожил. Шипенье, прерываемое треском, потом далекая музыка.

Мой сосед доволен, он улыбается — я тоже. В конце концов музыка мне не мешает. Для чего думать о минувшем? Я выжила, этого достаточно. Мысли о прошлом расшатывают нервную систему — следовало бы изобрести таблетки против непрошенных воспоминаний. Сладость воспоминаний, кто придумал такую нелепицу?

О чем я говорила? о белье?.. Кажется, я сказала, что перед отъездом мне обязательно надо постирать белье...

Разве это не странно? Сосед поймал мой голос, звучавший в эфире на прошлой неделе. Мой шепот, выловленный из воздуха. Ну конечно, ради праздника вторично передают последнюю запись: пани Фелиция боится путешествовать в самолете, пан Томаш сердится.

— *...Столько лет ты не видела дочери* — треск, очень плохо слышно: кажется, я что-то пропустила, это ужасно.

— *...и теперь цепляешься за мои кальсоны?*

Смех миллиона слушателей на земле обеспечен. Я снова ничего не слышу, кроме хрипа и треска. И вдруг мой шепот:

— *Но как ты тут без меня справишься?..*

Теперь лучше, ага, я узнаю эту интонацию:

— *...А кто будет стоять за мясом? а твои травы?* — Шорох, треск. Волна вместе со мной пропадает в шуме. Жаль, я очень люблю свой голос.

У меня на глазах слезы, я очень взволнована. Никогда не предполагала, что я заберусь так высоко. Что мой голос будет плыть в воздухе вместе со мной. Правда, я говорю не от своего имени, но на земле меня любят за эти слова. Я произношу их от лица миллиона слушателей. Мой собственный текст они ни за что бы не одобрили. И это меня не удивляет. Мне самой он не нравится. Мою правду не следует транслировать. Чем, кроме воспоминаний, я отличаюсь от дерева или собаки? Но спрашивают с меня гораздо больше. Я предпочитаю мой четверговый текст.

Снова что-то о кальсонах. Это не очень хороший тон, но ничего не поделаешь — после таких словечек всегда приходят вороха писем. Я уже вижу посылку с кальсонами: *«Дорогая Фелиция, Лига женщин из*

Петрокова посылает кальсоны для твоего мужа. Уезжай и возвращаясь, а дочери твоей — привет!»

Кальсоны, ветчина, лекарства, признания, грехи, отчаяние, просьбы о поддержке, скатерти с ручной вышивкой и проклятия обманутых жен — все к моим услугам. Мой голос притягивает к себе жизнь.

Женщины пишут мне: «Наша мать». У меня есть письмо самоубийцы, которая решила жить, потому что я существую на свете. Мне немножко неловко, но кто мог предвидеть такой успех? Может, никто бы об этом и не подозревал, но, когда передачу передвинули на более ранний час, пришло пять тысяч протестующих писем. Со всей страны. Да, оказалось, что нас слушает вся страна. Неслыханно! Четверговые «Обеды семейства Конопка», провинциальная передача для пожилых супругов, рекорд популярности! Сколько шума!

Все-таки что за болван тот тип, который написал — постойте-ка, как же это называлось? — социологический очерк. Да, очерк под названием: «От короля Стаса до пани Фелиции». Он доказывал, что мои обеды тоже войдут в историю. Ну и кретин. И все-таки мне было приятно.

Теперь уже нельзя прервать эти передачи, они будут длиться вечно. Каждый четверг я буду разливать суп для миллиона людей. В больницах тоже меня слушают. У меня есть письма от больных, медицинских сестер и врачей. Кажется, мой голос кого-то вылечил.

Все возможно. Я не удивляюсь — меня удивляет только, что им так мало нужно. Когда я говорю Томашу: «Дорогой, съешь этот кусочек мяса с косточкой, я оставила его специально для тебя», — я чувствую их признательность и знаю, что снова придут письма. В жизни я была способна совершить нечто большее, но им важен именно этот кусок мяса, именно такая жертва, эта косточка, ложка супу и уверенность, что я пойду на любые лишения, лишь бы он сытно поел, и что я никогда ему не изменяла, а если когда-то была влюблена в кого-то помимо него, так втихомолку подавила свое чувство. Он, его тяжелый труд, его кальсоны и заботы, наша добропорядочность и наши взрослые дети. Суп, мясо с косточкой, картинка обыден-

ной жизни — немножко жалоб и анекдотов, тепло домашнего очага, — ах, им ужасно нравится слушать об этом.

Я не смеюсь над ними, может, они и правы. Мне только смешно, что пани Фелиция — это именно я. Во время первой репетиции пану Томашу было неловко: «Я считал, что вы невиновны, но чувствовал себя совершенно беспомощным в той атмосфере». — «Ох, я тоже. С той разницей, что я была обвиняемой. Нет, такие тряпки, как вы, не должны заседать в товарищеском суде... *Пожалуйста, этот жирный кусочек для тебя, мясо снова вздорожало.* За прошлое я не сержусь».

— Простите, что вы сказали?

Ого, он заметил номер «Пшекруя», который торчал из кармана моего пальто. Отлично, пусть знает, с кем имеет дело. Улыбка — улыбка.

— Пожалуйста.

Я дала ему журнал. Только пусть вернет, а то без «Пшекруя», торчащего из кармана моего пальто, моя дочь не узнает меня.

— Разрешите предложить вам?

— С удовольствием.

Мы курим его сигареты. Контакт установлен — что дальше? Прежде чем начать новую фразу, он на минутку задумывается с таким видом, словно сочиняет телеграмму.

— Через час мы должны быть в Берлине. Летим точно по расписанию.

— В самом деле? Я не ожидала.

— Да. Исключительно благоприятные атмосферные условия.

У него очень белые зубы. Когда он обращается ко мне, то просто ослепляет: у него все блестит. Зачесанные гладко волосы блестят, как шлем. У настоящих поляков волосы так не растут.

— Вы, кажется, живете не в Польше?

— В США. Я посетил родину впервые за тридцать лет.

— О, это очень большой срок!

— Пожалуй, да. Перемены колоссальные. Теперь это совсем другая страна.

— Вы очень верно подметили.

Я чувствую на себе его приветливый взгляд — лазурь, как на банке от сгущенного молока, — и улыбаюсь немножко загадочно. Я могу быть и утонченной.

— В Варшаву я приехал на конгресс бактериологов. Это моя специальность.

— Ах, понимаю.

— Да. Особенно интересуют меня исследования в области вакцины.

— И теперь вы возвращаетесь в США?

— Не совсем так. Пока в Брюссель. Я должен прочесть там несколько лекций. И уже оттуда — в Нью-Йорк.

Это необычайно интересно, жаль, что мне нечего сказать по поводу вакцин. Ну конечно, лететь с конгресса в Варшаву на лекцию в Брюссель, должно быть, приятно, безотносительно к тому, о чем идет речь. Я представляю себе, как он выступает перед сотней подобных ему типов, как говорит своим характерным, не зараженным бациллой сомнения голосом:

— Я убедился, что в Польше есть выдающиеся специалисты в области вакцин. Я был поражен.

— В самом деле? Это любопытно.

— Да. После моего выступления в Академии наук дискуссия шла на очень высоком уровне. Отлично разбираются в новейших проблемах серологии.

— А вы знаете, я этого никогда не замечала.

Он мне нравится. Я никогда не спала с мужчиной, близость с которым давала ощущение полной безопасности — когда-то таковыми могли быть исключительно полицейские, — быть может, потому я сразу распознаю эту чуждую мне разновидность мужественности. Разведенный муж?

— У меня создалось впечатление, что поляки недооценивают теперешних своих возможностей. А вам не кажется?

— Да, возможно, вы правы. Но...

— Понимаю. Кажется, будто на психику поляков все еще дают последствия разделов.

— Именно это я и хотела сказать.

Крыло самолета кажется неподвижным и серым. Как асфальт. Сейчас он меня спросит про годы войны.

— Да. Войну я пережила в Польше.

Молчание. Он долгим взглядом смотрит на меня.

— Я служил в авиации РАФ¹. Трудно представить себе ваши страдания. Ваши муки.

— О, знаете, это уже в прошлом.

— Ясно, у вас к этому иное отношение. Я уважаю женщин, которые пережили это время, оставаясь на своем посту.

На своем посту? Очень красиво сказано.

— Тогда, собственно, все было намного проще, чем сегодня, — говорю я.

Лазурь и сталь. Жестяная банка из-под сгущенного молока. Он задумался, молчит. А дурацкое хвостовство застыло у меня на губах. Проще? Такие фразы изрекают потаскухи-интеллектуалистки, откровенничая с иностранцами в «Бристоле». Проще! Может, рассказать? Да, я выжила. Вспоминаю. Канатоходец весь в поту — это я.

Ночью я валилась от усталости, а днем бегала к гадалкам, пытаюсь узнать, что ему грозит: помешательство или смерть? И сколько еще я выдержу? После того как прошла волна арестов, я потеряла контакты, люди, которые мне его доверили, перестали существовать, их казнили на Оборонительных валах, превратили в кровавый студень, тщательно перемешанный с землей. Скажи я ему об этом, — он и так чувствовал себя погибшим, — наверное, он сам бы пошел в гестапо. Я ему ничего не сказала. Вообще никому. Я хотела, чтобы он принадлежал только мне. Впрочем, не знаю, может, он бы и не пошел.

Черт возьми, куда мне было обратиться, к кому? Ведь я могла полностью доверять только себе, ну да, любой другой из одного страха сообщил бы об этом кому-нибудь еще. Нет, нет, я была в ловушке, я попала, голова шла кругом, я металась словно в горячке — глупая кикимора, хотелось тебе принца, ну так получай его!

А он меня считал виновницей своих бед. Теперь я понимаю, что это было неизбежно, но тогда? Разве я виновата, кричала я, что ты спьяну дал по морде Петерсу? Разве я виновата, что он был «фольксдойчем» и что на следующий день его нашли с простреленной головой. А может, я виновата в том, что согласилась

¹ Royal Air Force — Английские военно-воздушные силы.

тебе помочь? От этих криков не было никакого толку. Вопреки всему, человек не понимает, до чего могут его довести взвинченные нервы, и отстаивает свое достоинство перед отчаявшимися и безумцами. Кого ему было обвинять? Судьбу? Ведь я была его судьбой. В течение пяти лет только я. Он не мог выйти на улицу. Дождь размыл объявления о розыске, расклеенные на углах, но его лицо, — его бы сразу узнали! — он был Освальдом, Густавом, Фортуньо, Альцестом... Я носила ему обеды в клетушку с кухней, которую сняла просто чудом, когда пришлось уйти из того места, куда нас направили монашки. Скошенный потолок и топчан, — правда, я купила ему топчан. Он стоял не вплотную к стене, а был чуть отодвинут, сантиметров на пятнадцать — двадцать.

— Расскажите, пожалуйста, про свою эскадрилью!

Кто-то метко заметил, будто мужчина выбирает себе женщину для того, чтобы у его беды было лицо и глаза. Меня он даже не выбирал, я свалилась на него, как рыжая кошка с крыши. Тем более он имел право все на мне вымещать, это так понятно, я была единственным зрителем в течение пяти лет. Дура, я ничего не понимала... Он говорит мне что-то о Канаде, он проходил там военное обучение, записался добровольцем... Я не понимала, что в течение пяти лет я была его ходячей бедой, потому что в те ненавистные ему годы он видел только меня. Достаточно?

— Что представляет собой Канада? Это скалистая страна?

Жмурю глаза, слушаю про Канаду.

Какие там водятся животные: кенгуру?

Город Оттава зимой...

Листок клена.

Ночные учебные полеты. Он был штурманом.

Застегнуть ремни! Идем на посадку.

Берлин.

Ничего, никакого удовлетворения. Я думала — что-то почувствую, но нет — ничего. Стекло. Зал ожиданий с креслами, плакаты «Люфтваффы», и голос в репродукторе, говорящий по-немецки. Я ждала: вот сейчас

меня охватит дрожь, — нет, одна пустота. Неопределенный запах — резина, клеенка, краска? Мы сидели в креслах, мимо проходили какие-то люди, наверное, немцы. Вот и все. Дверь с надписью «Herren», дверь с надписью «Damen». Я вошла и заперлась на ключ. Лак, кругом бело и голо, спокойный шум воды. Ароматические шарики. Как называется эта их река? Шпрее. Я на берегу Шпрее, в комфортабельной уборной пассажирского аэродрома, по пути в Париж. И никакой радости. Выходя из самолета, я, правда, вовсе не намеревалась насладиться местью, но чтобы вот так, ничего не чувствовать? Не понимаю. В течение этих нескольких минут я пыталась вызвать в себе воспоминания. «Помнишь, милочка, — говорила я себе, — что с тобой проделывали? Вот и погляди, что ты сегодня можешь себе позволить. Почему же ты не взволнована? Ну же, ликуй, скачи от радости. Я вспоминала о смерти отца в лагере, о болезни матери, умершей в полубезумном состоянии сразу вслед за отцом, и о подруге-еврейке, которую раздели донага, втолкнули в газовую камеру, отравили и сожгли. А дальше — ничего. Тогда я вынула зеркальце и стала смеяться. Сама над собой. Я смеялась зубами и деснами, щеками и лбом, но глаза мои смотрели на меня пристально и мертво. Я всегда заботилась о зубах и цвете лица, и, в общем, неплохо еще выгляжу — сохранилась; ну да, я, безусловно, продержалась все то время — не знаю, на своем ли посту, но продержалась. Только вот с глазами несколько хуже. Нет в них выражения торжества победителя. Я очень слежу за собой, в самые тяжелые дни я, как правило, купалась и чистила зубы жесткой щеткой, регулярно, каждые три месяца, ходила к зубному врачу, выщипывала брови, не пила водку в дни женского нездоровья и полагаю, что все это имеет значение, даже больше, чем принято считать. Но четверть часа назад, за той дверью с табличкой «Damen», я почувствовала себя позорно побежденной. Если я не издаю дикого возгласа ликования, — значит, я проиграла. Не знаю, быть может, проиграла не только я, но и все, включая того джентльмена, что сидит со мною рядом в самолете, — но мне-то что? Я в бешенстве, потому что впервые не почувствовала никакого удовольствия от того, что суще-

ствую, мне гадко, потому что у меня внутри дырявая пустота, потому что я ко всему равнодушна. Пожалуй, ясно: я проиграла. Но кто же выиграл?

Снова кенгуру. Как только нас начинает болтать, во мне прыгает маленький кенгуру. Сердце пошаливает, наверно, и от водки, хотя кардиограмма ничего не показывает.

Постойте, когда же я начала пить? Да, в «Артистическом». Потом приходилось пить с ним, теперь время от времени я люблю выпить одна. В этом больше смысла. Явственной ощущаешь свою принадлежность к роду человеческому. После четвертинки хорошей водки я чувствую себя статуей. Появляются какие-то расплывчатые взаимопроникающие формы, с которыми я органически сливаюсь. Да, в такие моменты я кажусь себе величественной — а потом быстро засыпаю... Я никогда не пила для того, чтобы с кем-нибудь переспать, хотя у меня и были мужчины — не меньше десяти, а может быть, и больше.

Слишком много? Возможно. Откуда я знаю? Когда они уходили, я их не упрекала: я ждала — появлялся следующий. Отказывать? В чем — в своих ласках? Почему? Они говорили: ты мне нужна — и, наверно, говорили правду. Если человеку вообще может что-то быть нужно, так прежде всего мужчине — близость женщины. Лишь потом можно обстоятельно обдумать все другие случаи.

Никогда не известно, надолго ли мужчине нужна женщина, тут риск для обеих сторон. И сам мужчина этого не знает. Нельзя упрекать его, если после пяти или двадцати ночей он с раздражением убедится, что чувства его пресыщены. Ему это тоже неприятно. Однако очень важно, как он об этом сообщает. Некоторым не удастся скрыть своей неудовлетворенности, и это противно. Нужно уметь себя вести в обстоятельствах, за которые никто не несет вины. С той минуты, как проходит влечение, надо отважиться на улыбку благодарности — либо придумать чувствительный повод. В конце концов даже сослаться на воспоминания. Я это глубоко ценю. Природа груба, только идиотки не понимают этого. А человек, помимо потребностей, обладает способностью мыслить, и это его обязывает вести себя соответственным образом. В каждом чело-

веке есть частица художника — никто, ни при каких обстоятельствах не имеет права вести себя подобно неодушевленной природе: вдруг охладеть или вдруг испариться. И, на мой взгляд, такие выражения, как «охладел в любви» или «в нем вскипел гнев», не совсем уместны. Человек должен отвечать более высоким требованием, чем природа, к которой мы как-никак довольно снисходительны.

Мой сосед дремлет. Может быть, ему снится битва за Англию? Он принимал в ней участие и получил награду. Таким людям все идет на пользу, что бы они ни делали. Захотел воевать с немцами — получил крест за отвагу. Решил истреблять бактерии — изобрел вакцину. Благородный человек всегда знает, как себя вести. Причины — следствия, решения — результаты. Птица высокого полета. Ему никогда не приходилось лежать между топчаном и стеной. В дыре, прикрытой матрасом. В щели, где человек может уместиться, лишь расплывшись, как котлета. Любопытно, как бы он вел себя в таких обстоятельствах?

...Во время ночной облавы, когда из дому забирали мужчин. «Wo ist Ihr Mann?»¹ Все время я думала только о том, не торчит ли из-за чемодана его нога. «Mein Mann ist weg»². Его нога! Второй был латыш. Они смотрели на меня своими маленькими глазами, шарили по комнате: «Spiritos»³. В окне между рамами стояли два литра наливки. Они выпили литр, латыш вышел. А тот, который остался, сказал, что ему нужно. Потом латыш вернулся, а первый ушел. Я стонала. Они торопились, я стонала от боли... Когда машины отъехали, я боялась пошевелиться. А потом — вдруг хватило храбрости — сквозь зубы прошептала, что уже все кончено. Да, кажется, я была тогда и великолепна и омерзительна...

Я отодвинула топчан. Привела его в чувство. Он в самом деле потерял сознание. Я, во всяком случае, была благодарна ему за это. До утра мы выпили второй литр наливки. Мы извергали проклятия, бормотали что-то несуразное, яростные, счастливые, шалея

¹ Где ваш муж? (нем.)

² Мой муж уехал (нем.).

³ Спирт (нем.).

от чувства облегчения, не глядя друг другу в глаза. И мы проспали весь день до сумерек, — действительно, не для чего было просыпаться.

Ну, а как бы вы поступили, а? Кенгуру! Нас все чаще бросает из стороны в сторону, воздушные ямы. Крыло самолета потемнело и утратило блеск, земли не видно — туман? Душно, тихо, настроение торжественное. Никто больше не разговаривает.

Я предпочла бы, чтобы он проснулся. Пусть что-нибудь расскажет. Мне нравится его металлический голос — голос спокойного мужчины. Я продержалась то время «на своем посту». Самый факт, что в то время я согласилась играть в «Stadttheater»¹, поднимает меня в собственных глазах. Я пошла на это. Правда, только под конец, после того как закрыли «Артистическое», после трех месяцев беготни в поисках работы и аусвейса². Мне хотелось иметь хорошие бумаги. Удостоверение с печатью. После той ночи я должна была добиться безопасности — я поклялась себе. Я толком не знаю, что такое великие люди, но знаю, что в иные моменты человек становится истинно великим. Тогда я была великой. Тогда, когда я его спасала. Когда взяла роль в городском театре, когда говорила ему, будто работаю в Красном Кресте, и позднее, когда пела куплеты в «Уличных мелодиях», щелкая зубами от страха, что на обратном пути — ночью через Оборонительные валы — на меня нападут и обреют мне голову. Меня хватило на то, чтобы самой себя презирать. Поэтому после войны, когда я давала показания перед столом, накрытым зеленым сукном, и меня спросили, считалась ли я с последствиями, я ответила: «С последствиями? Ну, разумеется. Вот если бы со мной так считались!»

Таким ответом я все испортила. Меня на три года лишили права заниматься своей профессией. Ну, после тех пяти я выдержала и эти три. За преступления во время войны некоторых женщин даже убивали. Это очень неприятно. Не выношу, когда мужчина убивает женщину не из ревности и не из любви, а по убеждению.

¹ Городской театр (нем.).

² Удостоверения (нем.).

В целом я выгадала от этого суда. Все искупила одна фраза, собственно, два слова, которые он тогда произнес. Он сказал, что в те годы мы были мужем и женой. Он признал это как свидетель по моему делу. Я была ему благодарна за то, что он вообще пришел. Он не смотрел в мою сторону, но все-таки это сказал. Муж и жена! Мне стало жарко. Очень уж хотелось, чтобы он произнес именно эти слова. Кажется, у меня были слезы на глазах.

...Я сидела, с улыбкой глядя на стену поверх его плеча, и слушала его показания. В тот момент я больше не желала ему ни смерти, ни позора. Я была уверена, что он вернется ко мне. Первые годы после войны он провел с другими женщинами, иначе и быть не могло. Но теперь я знала, что он вернется. Мы были мужем и женой. Я вдова. *Une veuve. Eine Witwe.*

Он знал, что у меня есть на него право, — я дала ему во сто раз больше, чем женщина может дать мужчине, больше, чем наслаждение и верность, — подумав, на это почти всякая способна. Я для него пожертвовала головой — собственной головой, которую положила рядом с его лицом, сфотографированным на полицейских плакатах, суливших награду за его поимку. Спустя месяц была обещана вдвое большая награда. В «Артистическом», подавая кофе, я слышала разговоры о его смерти: он выбросился из окна в тот момент, когда немцы по чистой случайности подъехали на грузовике к дому, где он скрывался! К дому, где он скрывался! Ах, с какой жадностью я это слушала. И потом рассказывала ему: «Что слышно? Говорят, ты умер. Выбросился из окна — слышишь? — из окна на мостовую. Кое-кому даже известно из вернейших источников, что тебя закопали под Башней Казней — понимаешь? — тебя похоронили!» И мы молча пили за его мнимую смерть, чтобы заставить себя под утро заснуть.

Я слишком много знаю. Если бы я теперь вышла замуж за джентльмена, который сидит рядом со мной, то немножко презирала бы его. За то, что он знает гораздо меньше моего. Презирала бы и завидовала его благоразумию, всему, что он считает очевидным, справедливым и проверенным. И тому, что в одном

случае он может сказать: это очень гуманно, а в другом: это недопустимо. Но прежде всего я стала бы презирать его и завидовала бы его стойкой уверенности в том, что в любых обстоятельствах он сумеет вести себя должным образом.

Полный идиотизм. Да, мне нравится его рот, профиль, опущенные глаза и густые волосы пастора, который ни разу не вкусил разврата. Но моим мужем был человек, который все познал.

...Я держала в руках его голову, — если бы я тогда не была в ванне! — ах, эта баба, воющая на балконе! — значит, он все-таки хотел, чтобы я была рядом с ним в тот день, он знал, о чем меня просит и что я ему не откажу.

Подходит худая стюардесса с приклеенной улыбкой, — завитая кляча между ложами пробирается к арене, — что случилось?

Мы летим сквозь тьму. Самолет ведет себя, как перепуганная рыба — погоня? бегство? Воздух вздыбился, стал горбатым, мы въезжаем на горбы, прыжок вверх — прыжок вниз, мы давим стадо обезумевших верблюдов.

Бумажный мешочек? Нет, спасибо. А что, если я разбужу моего соседа?

Сердце скакнуло — большой сильный кенгуру! Кенгуру, верблюды, ускользящая рыба: природа мстит.

Застегнуть ремни? Поздравляю.

Неужели недостаточно тех испытаний, через которые я прошла? Стынут ноги. Я боюсь. Чего? Катастрофы! Я говорила Томашу: дома все-таки лучше. А всему виной письмо этой экзальтированной психопатки из Парижа, правда-правда, оно у меня в сумке...

«Дорогая пани Фелиция — рывок вверх!

— каждую неделю я слушаю тебя — и снова вниз!

— до замужества я носила такую же фамилию, как ты, и — о боже!

...чувствую себя твоей дочерью. Приглашаю тебя к нам в Париж — снова горб! еще раз рывок вверх! — мои дети говорят по-польски, — вниз, ах вниз! в пропасть, — а Жан будет счастлив. Я пришлю тебе билет, приезжай!»

Жан — француз, инженер, она познакомилась с ним, когда ее угнали на работы в Третью империю.

Ванда, урожденная Конопка, она еще пишет что-то о Варшавском восстании. Год жизни за рюмку коньяку.

Все смотрят на дверь кабины пилота, как на экран. Вокруг желто-серая вата, ничего не видно.

Позади меня пожилой пассажир громко говорит по-французски, обращаясь к стюардессе, а она не понимает. Оба краснеют, кто-то пришел им на помощь, не знаю, в чем дело.

Да, в чем дело? Зачем я уехала. В последнее время жизнь моя была прозрачно-ясной и простой, я стала забывать о прошлом — только здесь, в самолете, все снова на меня навалилось. А может, это конец? Через минуту? Через секунду?

Я сойду с ума. Мой сосед проснулся.

— Умоляю вас, попросите у стюардессы рюмку коньяку.

Я благодарю его взглядом, — пью маленькими глотками.

Совсем стемнело, эта бешеная, сбившаяся в комок вата стала еще плотнее. Просьба проверить ремни. Тишина, самолет спотыкается в воздухе. Таблетка мепавлона.

— Я несколько раз попадал в бури над Ла-Маншем. В общем, бывало еще более неприятно. Помню ночной полет в июне тысяча девятьсот...

...Я знала с самого начала — все время мне подмигивал какой-то глаз. Все время бесстыдно подавал знаки. Проваливаемся, сердце, пожалуй, я не выдержу — прошло... В знаках этих содержались намеки. На что-то имевшее отношение ко мне — что может случиться, чем я могу стать — я потею и зябну... — я убеждена, что человеческое существование греховно, я давно чувствовала, как что-то подступает к горлу, предвещая мерзкую развязку... ладно, я возьму мешочек — циничную, скотскую развязку! Действительно — я была уверена... Падаем?! Нет, снова холм... что меня обязательно ждет глупый, страшный конец. И первый намек — конец, умираю — я услышала в тех непонятных словах в тексте... ах, немножко легче — в тексте Офелии. Крыло самолета! Крыло отваливается! О, я умираю... Да, двадцать лет назад в четвертом акте я обращалась к Королю: «Хорошо, награди вас бог. Го-

ворят, сова была раньше дочкой пекаря. Господи...» Сверхнуло! Видна мокрая плоскость крыла... Значит, сейчас, сейчас: «Господи, мы знаем, кто мы такие, но не знаем, чем можем стать. Благослови бог вашу трассу».

Теперь нас меньше болтает. Я не понимала смысла этих слов, особенно о сове — они были темные, я их боялась.

Как хорошо, что я могу держать его за руку, он настоящий джентльмен.

— Милая, — говорил режиссер, — на тридцатом спектакле они тебе сами станут ясны.

На тридцатом? Не дошло. Даже до первого. Кажется, изю всей роли я запомнила только эти слова — и по сей день их не понимаю.

...Если бы я тогда не была в ванной, если бы успела — боже, — я слишком поздно выбежала — темнота, загорающиеся огни в окнах, вопли какой-то истерички с балкона — я поддерживала его голову, кричала, умоляя его не умирать. Что он тогда чувствовал? Что он чувствовал? Я вытирала платочком пот со лба, он что-то говорил, но мне не удалось расслышать — розовые пузырьки лопались на его губах. Нет, довольно, конец...

Все кругом молчат, только поляки у меня за спиной говорят, будто все это в порядке вещей; неприятно, потому что немножко швыряет, но метеорологическая сводка предвещала грозу на трассе. В порядке вещей? Я, прикрепленная ремнем к брюху крылатой, металлической рыбы, кидаемой во все стороны воздушными течениями, на высоте двух километров над землей! В мутной, зловещей, бурой тьме! И это называется в порядке? Благодарю.

— Вам уже легче?

— Несравнимо. Мне совестно, что...

— Ну, что вы, пустяки.

Он всматривается в меня, вероятно, удивлен, что я сжимала его руку. Ну сжимала, и что с того? Раз в жизни может и с ним такое случиться.

— Еще рюмочку коньяку?

— С большим удовольствием.

Он выспался — приветлив, энергичен. Ах, господи! Стюардесса кидает на меня холодный взгляд из-под ресниц. Ничего не поделаешь, золотко мое, не каждый

натренирован для таких полетов. Если твоя мать слушает радио, то через четыре недели услышит мой голос. Я буду рассказывать про эту грозу. Расплачусь за дополнительную порцию коньяку слегка охрипшим голосом стареющей женщины, похожей на твою мать. В один прекрасный день, моя милочка, когда ты останешься ночевать дома, она спросит, не с тобой ли случайно летела в Париж пани Фелиция. И со всеми подробностями с моих слов опишет тебе эту воздушную бурю.

Ох, снова начинается! Я коченею, падаю, я умерла. Рука, где его рука!

— Дышите глубже, это помогает!

Глубокий вдох — выдох. Выдох — глубокий вдох. Много раз. Он с интересом смотрит на меня. Быть может, я думала вслух? Представляю себе, что я наболтала! Обезумевший карп, и в нем мой голос, моя молитва, обращенная в прошлое. Развесили бы уши! К счастью, думать пока можно без свидетелей.

— У вас есть родные в Париже?

— Дочка. Замужем за французом, он инженер. Она будет встречать меня на аэродроме.

Я сошла с ума. Для чего я это говорю?

Крупинка ондасила. Теперь мы летим спокойно.

— По-видимому, после долгой разлуки?

— Пятнадцать лет.

— Догадываюсь, что вы, конечно...

— О да, я волнуюсь. Знаете, мне трудно освоиться с этой мыслью.

— Простите за нескромность. Вы останетесь у дочки в Париже?

— Нет, что вы. У меня муж в Варшаве. Немножко беспокоюсь, как он там без меня обойдется. Ну и сын. Кончает летнюю школу. Меня отпустили только на две недели.

Voilà! ¹

Я часто вставляю в текст что-нибудь от себя, и потом авторы на меня сердятся. Но мои вставки как раз имеют самый большой успех. Так было, например, недавно, когда Томаш потребовал, чтобы я уволила девушку, которая приходила к нам убирать. Оказалось, что у нее внебрачный ребенок. Как он говорил?

¹ Voilà (франц.)

«Я не пуританин, гм, но все-таки женщина, которая не уважает себя, гм...» Кажется, по тексту я должна была на это ответить: *«Хорошо, если ты так считаешь, я завтра с ней поговорю»*, — и что-то о современной морали. Но едва только он произнес эту тираду, я рассмеялась: *«Золотой мой, как, собственно, ты себе это представляешь? А может, она его любила? Не все мужчины такие, как ты. Если она воспитывает ребенка, так надо ей в этом помочь!»* — и я стучу тарелками — это должно означать, что я убираю со стола. Он остолбенел. А минуту спустя промямлил: *«Ну, что ж, поступай, как считаешь нужным...»* Вышло очень естественно, и неделю спустя служащая на почте улыбнулась мне: *«Вы были правы относительно той девушки!»* Ну? Сколько пришло писем! Пятсот, шестисот? Примерно столько. Преимущественно от покинутых жен, одиноких матерей из деревни.

Мне хочется смеяться, я проникаю под соломенные крыши.

Я сестра одиноких и жена овдовевших.

Я утешаю меланхоликов и слепцов.

Коллектив государственного электролампового завода прислал мне памятный альбом и назвал моим именем детские ясли.

У меня есть модели планеров и кораблей, статуэтки из угля и соли. Перед моим голосом расступаются очереди в магазинах и учреждениях, а бюрократы при одном звуке слов, произнесенных мною, тают от избытка чувств.

Если когда-нибудь я напишу мемуары, то назову их: *«От Офелии до Фелиции, или О том, как быть любимой»*.

Крыло самолета снова искрится. Нечеткие желтоватые полосы, выступающие из-под ключев чегото белого, — это земля. После третьей порции коньяка чувствую себя отменно.

— А вы? Наверное, очаровательная жена, дети?

Я улыбаюсь и встречаю его взгляд. Перестаю улыбаться.

— В прошлом году я потерял сына. Он покончил с собой.

Я замерла. Ужасно неприятно. Зачем я его об этом спросила?

— Виновата женщина... Кроме того, были и другие причины, но я их не понимаю.

Некоторое время мы летим молча, за окошком сверкает на солнце крыло самолета, внизу видны прямые линии пересекающихся дорог, рука у него теплая, и мне приходит в голову грустная, безумная мысль, что я все-таки могла бы быть его женой.

Через пятнадцать минут мы приземлимся в Брюсселе.

3

Патитам-ти-рифифи!.. Смешно, как прилип ко мне этот мотив. Перед отъездом по радио: «Рифифи», на аэродроме в Брюсселе: «Рифифи»! Резкий, вибрирующий звук, который пронизывает меня всю. Музыкальный фон иногда необходим в жизни. Человек иначе бы себя вел, если бы чаще слушал музыку. Действительность слишком немелодична, и, быть может, потому люди так мучаются, подличают, делают гадости. Говорят, будто в природе существует гармония. Я как-то до сих пор этого не замечала. Гармония? Природа — это нечто нелогичное, ни с чем не сообразное. Буря была омерзительна. Бури бывают прекрасными в симфониях или в романах. Только художников мучает чувство стыда за природу. Они хотят исправить ее мрачные безумства, приводящие человека в отчаяние. Кажется, это довольно глубокое наблюдение. Та-ри-ра-рам-ти-рифифи!..

Когда я с ним прощалась, пустили как раз эту пластинку. В коктейль-холле на аэродроме в Брюсселе. Мы выпили еще по три рюмки коньяку, сидя на высоких табуретках, возле сверкающей, змеевидной стойки — барменша поставила эту пластинку, и я расчувствовалась. Он — непромокаемый плащ переброшен через плечо, твердая черная шляпа, очень идущая к его черным волосам, и я — печать романтического прошлого на лице, сентиментальная, умная и лишенная иллюзий мадам Х. Под пронзительное стечение «Рифифи» я подносила к губам маленький стаканчик с золотисто-коричневой жидкостью и многозначительно улыбалась, когда он уверял, что будет меня помнить и что полюбил мой голос. Конечно —

мой голос. Разноцветные бутылки расплывались перед моими глазами, я слушала, глядя, как барменша ловко трясет шейкер¹ перед этим блестящим алтарем, и думала: «Ах, господи!..» Он сказал, что, пока мы летели, его все время преследовали воспоминания о сыне и он благодарен мне за то, что смог со мной об этом говорить. «Меня тоже, — ответила я, — мучили воспоминания». И я поблагодарила его за внимание ко мне в час бури. Когда пластинка кончилась, барменша пустила ее еще раз. Я дотронулась до его руки: «Желаю вам успеха на конгрессах. Много новых чудесных вакцин, да?» Он засмеялся: «Не знаю. Появились уже люди более способные и молодые. Нет никакой уверенности, что именно мне повезет». — «Я уверена, — сказала я, — я уверена, что вам повезет». И я подарила ему взгляд милостивой волшебницы, взгляд, который приносит счастье. Патитири-тирифи-фи!.. тирифифифи!.. «Благослови бог вашу трапезу».

Итак, я снова плыву одна. К моей крови теперь примешано шесть рюмок коньяку, мы летим спокойно и величаво, я расселась в кресле, с некоторым удивлением наморщила лоб. Хорошо, очень хорошо.

— *Дорогой мой, — говорила я в предпоследней передаче, — наша жизнь не так уж плоха, если мы имеем возможность быть честными. Это самое главное. Я верю, что человек от природы добр, только он обязан постоянно следить за своими поступками. Ты остерегаешь меня — я тебя. Человек должен жить так, чтобы заслужить уважение соседа. Ну, как тебе нравится это жаркое со свеклой?*

Снова слышен шелест газет и разговоры. Бразильцы, которые во время грозы посерели, стали молочно-шоколадными, как прежде. В тонких смуглых пальцах они держат иллюстрированные журналы со снимками белых зданий, похожих на грибы на фоне красных скал.

Я не знаю никого из этих людей, не знаю ни их мыслей, ни их родных пейзажей. Поляки за моей спиной говорят, что французы моются раз в неделю. Мы смотрим друг на друга равнодушным, стеклянным

¹ Сосуд для изготовления коктейля.

взглядом, никто из нас не интересуется остальными. На Западе люди, кажется, меньше друг к другу приглядываются, более скромны и сдержанны. Но я буду приглядываться, я могу себе это позволить, потому что я актриса.

Актеры — это отрицание скромности, их лица — маски, утрирующие истинно человеческие черты. Я вмиг узнаю их по этой неприличной выразительности, — ублюдки, они всерьез прикидываются людьми, — я обожаю их. За то, что внешность ученых, графинь, министров, кокотов, монахов всегда у них слишком ученая, слишком министерская, слишком типично полусветская, — я люблю их за обезьянью безответственность по отношению к миру, который они передразнивают, заигрывая с ним и в то же время немножко его презирая. И мне нравится то, что они начисто не причастны ни к чему серьезному, ни к чему такому, что имеет практическое значение — ни к какой диктатуре, войне, новой машине или новым налогам, да, это я больше всего в них люблю...

Когда?.. когда, собственно говоря, я перестала его любить? Не знаю. Может, вообще не переставала. Одно из двух: либо никогда не переставала, либо никогда не любила. Что представляет собой то чувство, которое женщины называют любовью? Ведь это никому не известно. Каждый знает только свои собственные чувства и называет их общепринятыми словами: доброта — любовь — ненависть — зло. А если это было только мое воображение, мои нервы, мой страх? Если бы он остался со мной после войны, не знаю, быть может, все быстро бы кончилось. Но он не ждал. Ни одного дня. Никогда ему не прощу, что он решился на такую жестокость. После стольких лет уйти, не сказав слова, — как мог он так поступить? Уехал, несколько месяцев спустя вернулся с какой-то женщиной. Пил. Потом другая женщина. По-прежнему пил, пил — распух от водки. В эти годы я видела его во всех сыгранных им ролях. Все плохие, серые. Он обрюзг и опустился. Я чувствовала, что ему не хочется играть. Я желала ему провалов, несчастий, унижений. Головокружения — у меня тогда бывали головокружения от ненависти. К нему, к этим женщинам. Я посы-

лала им письма с проклятиями. Я жила в неистовстве, как помешанная, напивалась и плевала в зеркало, ругая себя за это кошачье бешенство, за эту любовь. Любви! Я знаю, что это такое — я прошла полный курс. Одна безумная мысль на одну безумную тему, галлюцинации на костре. Все это я сама себе создавала, его присутствие уже не было мне нужно. Я не видела его месяцами, он выступал все реже. Говорили, будто он не может запомнить текст и боится больших ролей. Каждую ночь его выносили из кабака. Он кричал: «Я убил Петерса!» Кажется, после нескольких рюмок он бормотал это на ухо каждому, кто с ним пил. При нем всегда был тот немецкий плакат с фотографией, не знаю, где он его раздобыл после войны. Он показывал плакат, раскладывал его на буфетной стойке, хвастал, что гестапо назначило награду за его голову, и описывал, как убивал Петерса. В некоторые рестораны его уже отказывались впускать. Я ждала. Сгорала от любопытства: что с ним будет?

Может быть, все это происходило из-за меня? Может быть, он платил за ту ночь, за ту щель между топчаном и стеной? У меня всегда голова была крепче, чем у него. В те годы, когда мне приходилось с ним пить, у него, бывало, уже туманилось сознание и он валился обессиленный на постель, а я еще способна была произносить длинные полубредовые монологи о будущем, тяжелым шепотом вколачивать в него надежды — он останется жив, мы откроем театр и прославимся. «Неужели ты думаешь, — шептала я, — что, когда кончится война, мы не вознаградим себя за эту пакость, за эту нищету? Я из горла у них выдеру счастье! Слышишь? За это полагается награда и наказание, иначе весь мир сдохнет!» Я возбуждала себя, во мне были дьявольские силы — я говорила, пила, говорила, клялась, шипя от торжества и злобы в мрачной клетушке с прокуренными стенами и покатым потолком, в четырехэтажной развалине, где его существование было тайной для всех. Да, сил у меня хватало, и башка была тогда крепкая, как двухлитровый железный кувшин. Шесть рюмок коньяку — ничего для меня не значит. Напоить допьяна — меня? Попробуйте.

Теперь я, например, вижу, как мой недавний спутник, тот джентльмен с гладкими серебристыми волосами, принимает в брюссельском отеле холодный душ, как он смывает с себя мой нескромный взгляд — с загорелого тела спортсмена с благоухающей, свежей кожей.

«Две порции коньяку сверх нормы», — думает он, вытирая грудь мягким, мохнатым полотенцем и с неприятным чувством вспоминая, что сделал признание женщине с несколько подозрительной внешностью, живущей на его старой несолидной родине, — она-то, наверное, не рассказала ему правды о своей жизни.

Милый мой. Мы знаем, кто мы такие, но знание это нам надо хранить про себя. Не стоит углубляться в мудреные извилины своей жизни — лучше притворяться, будто она сложилась вполне логично. Надо вести себя так, чтобы люди не могли к тебе придраться, не забывая при этом, что сам-то ты ублюдок. Это я вам говорю. Я, как специалист, утверждаю, что существуют только три принципа, которых следует придерживаться, если хочешь получить удовлетворение.

Прежде всего владеть собой. Человек, которому удается владеть собой, тем самым подчиняет себе других.

Во-вторых, создавать людям выгодные ситуации — то есть такие, в которых они оказываются лучше, чем сами предполагали.

В-третьих, не стремиться к полному удовлетворению ни в одной области, особенно в чувственной. Пресыщение не ведет к добру.

Вот почти все, что я могу сказать, — остальное предусмотреть невозможно.

Полезно бы немного вздремнуть. Глаза у меня слипаются, губы запеклись. Над какой же страной я лечу? Бледно-желтые равнины, река с серыми берегами. Шельда? Все равно. Заснуть.

В моей жизни было слишком много бурных событий, неожиданных, никем не описанных, — это очень плохо, настоящую человеческую жизнь надо лепить по готовому образцу, а не создавать наново; должны быть модели, шаблоны, унаследованные моти-

вы и темы, это основа существования — надо заполнить свое время, как фриз, знакомыми сценами, и жить и жить, как бог велел — аминь — аминь — аминь.

...По мне равняться не следует. Если я узнаю в других людях свои черты, я воспринимаю это как уродство. Та мерка, которую я прикладываю к жизни, всегда выше меня. Я презираю каждого, в ком обнаруживаю мои собственные пороки, хотя себе я их прощаю.

...Прощаю, они мне кажутся потерявшими силу хотя бы потому, что я о них знаю.

Но то, что я обнаруживаю в себе, я автоматически обращаю против других и начинаю их оценивать соответственно тому, с чем сама не могу справиться. Бразильцы мне противны потому, что они боялись грозы, а поляки, сидящие сзади, — из-за их комплексов по отношению к иностранцам; мне противны все прочие, здесь, в самолете, их тупая жажда жизни любой ценой, ценой жизни остальных. Я такая же, как и они. Такая же самая — поэтому они мне кажутся хуже.

Это не христианское чувство, но это любовь. Без этих людей я бы не могла существовать. Только в совершенно исключительных случаях любовь основана на чем-то большем.

— Офелия — Полоний — Гамлет. Я — Петерс — он. Гестапо — Петерс — он и я. Отвесил пощечину предателю — на завтра находят окровавленное тело — проходит тринадцать лет — снова окровавленное тело. Ни один из них не был виноват. И я — всегда я, извивающаяся в смертельном ужасе, впотьмах, в страхе.

...Из опилок, которые сыпались из дивана, я готовила для них обед — они были из целлулоида, с плоскими намалеванными глазами, я кормила их с ложечки, одевала, рассказывала им фантастический вздор — супруги Целлулоиды, — из старой суконной накидки я сшила им зеленые пелерины, они меня любили, больше никто потом меня так не любил — пани Целлулоид и пан Целлулоид — если бы не они, я умерла бы от тоски и страха.

...Нет, я не сплю, не могу заснуть. Оторваться от земли — это пустяки, — вот от себя разрешите мне оторваться.

О чем теперь думает наша тощая стюардесса? О посадке в Париже или о том, как она в первый раз спала с мужчиной.

В Париже я куплю эластичный пояс, черный, прозрачный, высшего качества. Только для собственного удовольствия. Буду вертеться в нем перед зеркалом — я должна вознаградить себя за те годы.

...Те годы. Тогда, в кафе, когда он спрашивал, решусь ли я к нему вернуться. Нет, кажется, я первая это сказала. Я спросила: «...как в те годы?» А он только повторил: «В те годы. Теперь я расплачиваюсь за них». Я не понимала его. Мы несколько лет не виделись — все-таки для нас это довольно большой срок. Я ждала восемь лет, а если добавить пять военных, то в сумме тринадцать. Тринадцать лет ожидания. Чего? Этих пяти дней? Этой последней ночи? Этого...

Я не могла понять, какой он теперь стал, какой ключ к нему подобрать. Я смотрела ему в глаза, буквально сверлила его взглядом и по-дурацки спрашивала, почему о нем так плохо говорят. Тут была какая-то неясность — на этом месте я всякий раз спотыкалась. Он молчал, а потом стал мне объяснять, что все то не окупилось. «То? — спросила я. — Какое то?» — «Те годы, когда ты меня прятала, — поморщился он, — понимаешь? Вероятно, я должен был пойти к ним, чтобы они меня расстреляли». Я крикнула со злостью: «Кому ты это говоришь? Мне? Ты не имеешь права! Я до сих пор каждую ночь просыпаюсь с воем, что за тобой пришли!»

Чего он от меня хочет, думала я, теперь, когда я наконец могу как-то существовать. Для чего он затаскил меня в это заплеванное кафе, набитое валютчиками? Я закусила губу в раздражении оттого, что ничего не понимаю: «Что это значит, почему ты не можешь жить? Ведь все сложилось так, как ты хотел. Я-то тебе ведь не мешаю, правда?»

Он начал вилять, говорил тихо и путано, я ничего не могла понять. О какой-то женщине, с которой он порвал. Я не захотела слушать. Потом о войне: «Знаешь, мы оба — неизвестные солдаты этой войны, неплохо, а?» Он засмеялся и вдруг умолк. Посмотрел на меня. И тогда меня осенило: он хочет услышать

мой прежний голос, голос тех лет. Я сидела, оцепенев от удивления и жалости, а может, и от разочарования. «Перестань пить, слышишь! Тебе надо покончить с этим».

Я смотрела без всякой нежности на это обрюзгшее, слишком уж «героическое» лицо с мягкой, изогнутой линией губ. Еще какой-нибудь месяц, и окажется, что он мне уже совсем неинтересен, наверное — почти наверное. Но немного погодя я заговорила моим прежним, шипящим — моим голосом военного времени: «Мы будем вместе. Ты будешь играть. Ты можешь играть все свои роли. Это неправда, будто война тебя доконала. Со мною ты снова станешь самим собой, — говорила я, подчеркивая каждое слово и чувствуя, как у меня зеленеют глаза, — только ты должен меня слушаться. Понимаешь?»

Он спросил, не думаю ли я, что уже слишком поздно, и тогда мне еще не пришло в голову, что я должна промолчать. «Идиот, для чего, для чего, по-твоему, слишком поздно? Или ты думаешь, что тебе придется со мной спать? Я не такая кретинка. — Я впиалась в него магическим взглядом тех лет. — Ты перестанешь пить, слышишь? Я помещу тебя в санаторий. Слышишь? Ты исчезнешь на три месяца, только я буду знать куда. Бедный ты мой, я вижу, тобой нужно заняться, ты не умеешь жить один. Будь спокоен, я все тебе устрою. Все — слышишь? — кроме водки».

...И тут я просто обалдела: он сказал, что уже целый год не брал в рот ни капли. Вдруг он достал бумажник, вынул из него пачку писем — они рассыпались по столу. «Видишь? — он со злорадством смотрел мне в глаза. — Ну, взгляни, прочитай». Я взяла их и стала читать. Писали о нем и обо мне — о том, какой ценой гестапо сохранило ему жизнь. Я почувствовала усталость: письма, снова письма... «Видишь, — повторил он, — не верят. Не верят, что я мог спастись другим путем. Меня мало трогает, что о нас думают. Я показал тебе их потому, что ты должна знать, — даже в этом отношении игра не стоила свеч. Если бы я тогда не согласился, не поехал бы с тобой на извозчике, сегодня обо мне говорили бы, как о герое». Стиснув зубы, я прошипела: «Разорви,

выкинь эту гадость!» Люди в кафе стали на нас поглядывать.

...Когда мы выходили, он приостановился и с усмешкой спросил, слышала ли я, знаю ли я, как объясняют смерть Петерса? Нет, я не слышала. «Его будто бы убили немцы, — улыбался он, — ведь, знаешь, выяснилось, — он по-прежнему улыбался, словно поразившись чему-то, — что Петерс был французским агентом». Он многозначительно смотрел на меня, а я, кажется, ответила, будто никогда не знаешь, что собой представляет человек на самом деле, или что-то в этом духе, и что зря он ему тогда дал по физиономии. «Я всегда считала, что ты напрасно дал ему тогда по физиономии». Я выразилась дословно так, этой хамской выходкой я отплатила ему за все восемь лет. Ко мне вернулось прежнее ядовитое спокойствие, я снова вела свою игру. И два дня спустя, когда я развешивала вещи в его квартире, я никак не думала, что развязка будет такой.

Развязка! Кончилось только то, что я сама для себя сотворила и не хотела отдавать. Мне казалось, что нельзя отнимать у меня половины моей жизни, что я честно приобрела на нее право. Но с той минуты, как она сама собой отпала, появилось нечто иное. Фон — да, у меня возникло чувство, будто я становлюсь частью фона, — всего того, что до сих пор происходило у меня за спиной, в глубине, и к чему я раньше не присматривалась, в чем не участвовала. Очень интересно. Моя новая, расширенная жизнь второго плана оказалась более похожей на счастье, чем первая моя жизнь. Я могла сравнить себя со старым луком, которым давно уже не пользуются. Мне не нужно было ни натягиваться, ни выгибаться, напряжение ослабло. Да, да, я могла отдохнуть, стать как бы собственным фоном, отступить на шаг, посмотреть со стороны на свое истоптанное место — это очень важно. После его смерти...

Мы вернулись домой пьяные, мы пили пять ночей кряду, и это по моему настоянию — чтобы все видели нас вместе в ресторане, — и это я отворила окно, заявив, что в комнате душно, — не зажигай, сказал он, не то налетит мошкар. Я приготовила ванну — плеск воды заглушил все, я стояла голая, когда раздался

крик со двора, вопль той женщины. Окно было широко открыто, я поскользнулась в темноте, но вокруг все окна были освещены. Почему он это сделал? Почему он хотел, чтобы я при этом была? Почему он отодвинул топчан от стены?

...После его смерти я начала играть эпизодические роли в «Театре Сказок» и поняла, что мне вовсе не плохо. То казалось скверной, путаной и пустой пьесой, в которой я сыграла трагикомическую роль и теперь убралась за кулисы. Трех, четырех, пяти рюмок в день в то время мне было совершенно достаточно. Семья? любовь? мужчина? Все эти проблемы можно заменить другими, надо только иметь что-то внутри.

И фоногеничный голос, о, это обязательно!

Я спокойно шла, чтобы наговорить свою пленку. Это не удивляло меня, просто-напросто обратили внимание на мой тембр. Меня пригласили участвовать в конкурсе на голос пани Фелиции, потому что кто-то им сказал, будто у меня был такой интересный голос с хрипотцой, когда я играла волшебницу в «Стране снов». И только в дирекции, когда мне сообщили о решении, только тогда, сидя на стуле, я впервые ощутила в себе ту выжженную пустыню, через которую я брела много лет. Пожалуйста, — могу быть пани Фелицией.

Я не бунтую, не обвиняю. У меня никогда не было оснований обвинять мир. Все, на что нас обрекают земля и воздух, огонь и люди, я считала чем-то естественным, нужно только умно с ними поторговаться относительно цены. И не допускать в себе безразличного отношения к тому, что неведомо.

Крыло самолета теперь похоже на сверкающий на солнце нож. На огромное лезвие, разрезающее мою жизнь на две неравные части. Сова была дочкой пекаря? Хотела бы я встретить режиссера, который объяснил бы мне, что, собственно, это значит, — мой тридцатый спектакль до сих пор еще не состоялся. Но разве мы твердо знаем, кто мы такие?

Человеку внезапно делают какое-то предложение, и после этого он совершенно меняется. Тогда мне предложили перевезти его — и вот результат: я в те годы. Следующий ангажемент был менее рискованным, у

меня не было оснований отказываться. И вот я, панн Фелиция Конопка, лечу в Париж, чтобы встретиться со своей дочерью.

Но, по правде говоря, так ли это существенно? Мы знаем, кто мы такие, но не догадываемся, чем можем стать через год, и забываем, чем были раньше. Моя настоящая судьба заключена не в том, что со мной происходит, а в том, какой я стану, и я думаю, что это никогда не будет до конца выяснено, потому что невозможно прослушать все свои старые записи на пленку и решить, которая из них самая удачная.

Пожилой господин, который во время грозы обращался к стюардессе по-французски, пересел на свободное место рядом со мной.

— Vous permettez, madame? ¹

— S'il vous plaît, monsieur. Naturellement ².

Бодрое, апоплексическое лицо с подстриженными усиками, лет под шестьдесят, похож на Томаша. Он смотрит на меня. Мне это нисколько не мешает.

Внизу под нами легкие, растрепанные облака. Белый пар над нагретой, переливающейся красками землей. Теперь мы летим ниже. Меняем курс — пейзаж разворачивается под углом к крылу самолета.

Я сижу выпрямившись, улыбаюсь. Я еще раньше заметила, что поляки за моей спиной узнали меня, и теперь прислушиваются к нашему разговору.

— Oh, oui, Varsovie est une ville très intéressante ³.

Он, действительно, вполне мил, вид у него интеллигентный. Сигаретку? Разумеется, с пробковым мундштуком.

— Oui c'est vrai, la reconstruction de la capitale est miraculeuse ⁴.

Мы плывем: движемся сквозь большие светлые полосы рассеянного света. Сейчас я увижу под собой Париж.

¹ Вы разрешите, мадам? (франц.)

² Пожалуйста, мосье. Конечно (франц.).

³ О да, Варшава очень интересный город (франц.).

⁴ Да, это правда, восстановление столицы — это чудо (франц.).

Не потеряла ли я сумку? Нет, вот она. Зеркальце? К счастью, не треснуло. Прикосновение пуховки,точку румян. Надо признать, что, несмотря на длительный полет, я выгляжу совсем неплохо. На всякий случай таблетка мильтауна. Номер «Пшекруя» торчит из кармана моего пальто. С аэродрома пошлю открытку Томашу. *Дорогой, путешествие прошло чудесно...* Он прочитает мои слова во время передачи через две недели. Пусть знают, что я о них помню.

Багажная квитанция — сумка — перчатки.

Все ли? Да, все.

Застегивать ремни? В порядке.

РАНЕНЫЙ В ЛЕСУ

Впечатление это было действительно мимолетно, как луч света, который, правда, недолговечен, но не оставляет за собой темноты.

(Д. Конрад. «Золотые стрелы»)

— Зажгите свет, — сказал старший.

— Зажги свет, — повторил младший.

Они ввалились из душной темноты сеней в комнату; их фигуры были смутно видны в полумраке.

— Подумать только, ведь шифровка была прямо под рукой, — заметил младший.

— Под рукой?

— Может, здесь про десант?

Чиркнула спичка, огонек затрепетал, вытянулся, коснувшись фитиля.

— Нема никого... — донесся до них ворчливый голос из глубины хаты. В неверном свете, ощупывающем стены, они заметили кровать, кто-то возился в ней — видна была голова в черном платке.

— Нема никого, — повторила старуха.

— Спи-те-ка, — сказала девушка, ставя лампу на стол. — Бабушке восемьдесят лет, — добавила она.

— Мужиков нема. Вы тут воду мутите, а потом нам житья нет. Вам бы только разбойничать...

Младший хихикнул.

— Бабушка, ей-богу, не то вы говорите, лучше помолитесь за нас...

— Хватит, — оборвал старший.

Девушка прошла через хату, села возле бабушки и стала ее шепотом успокаивать.

Старший вынул из кармана маленький листочек, одной рукой развернул его на столе, разгладил; младший придвинул ближе лампу, низко наклонился над бумажкой.

— Ну?

— Ни черта не поймешь, — младший выпрямился.

Листок был испещрен рядами цифр вперемежку с большими и маленькими буквами и целыми слогами.

— Ты думал, что это письмо: «Дорогой пан майор» и тэ дэ, — зло проворчал старший. Он тоже был разочарован. — Подожди, — сказал он. Что-то знакомое мелькнуло в скопище знаков.

— Ты ключ знаешь? — спросил младший.

— Подожди... минус семь плюс ты, тире, плюс це... Что значит семь... Какая здесь связь? Да, текст не из легких. Я увлекался этим когда-то... но тут, боюсь, не справлюсь.

Не было сейчас сил разгадывать головоломки. Его охватила болезненная усталость. Девушка снова прошла мимо стола, он не поднял головы, заметил только ее босые ноги, услышал скрип половиц. Его слугник с шумом отодвинул стул, прошел к печке. Пыльные сапоги остановились рядом с ногами девушки. Две тени на стене сливались друг с другом.

— Молочка попейте, — услышал он.

Перед ним была жестяная кружка с молоком; он стал пить большими глотками, чувствуя, что горький жар во рту угасает, а струйка молока течет по подбородку, по шее, охлаждая разгоряченную кожу.

— Попытаюсь еще, может, и расшифрую... — сказал он.

За окном залаяла собака. Девушка поднесла глиняный кувшин, ее крепкая рука напряглась; она налила полную кружку.

— Сейчас я хлеба принесу, — сказала девушка.

В хату вошел десятилетний мальчик, остановился в дверях.

— Доманский ехать не хочет, — отрапортовал он, вытянувшись, — говорит, чтобы вы, Эвка, пришли...

— Ты сказал так, как я велела?

— Ага. Он боится.

— Все боятся. Ничего не поделаешь, придется идти самой.

— Я с тобой пойду, — сказал младший, поправляя на плече автомат, — уж я-то его уговорю...

— Он наш, — быстро возразила девушка, — но, если хочешь, пойдем...

«И она уже с ним на ты», — удивился старший.

— Я останусь, — проговорил он, — может, расшифрую...

— Лег бы ты лучше, — обернулся от дверей тот, с автоматом. — На тебя смотреть страшно. Вряд ли у тебя получится. После такого денечка там небось никого не осталось. Ну, ладно, я беру лошадь, мы мигом вернемся...

— Это вам. — Девушка положила перед ним ломоть ржаного хлеба. — Я пошла...

$X = 2 = 7$ — ничего — $k = 7$... Как найти к этому ключ? Он не понимал. Он жадно проглотил первые куски, но вдруг ощутил горько-соленый привкус, и с этой полынной горечью во рту посидел еще минуту, а потом встал, прошел к окну, распахнул его и выплюнул все за подоконник. За окном стояла уже глубокая ночь.

— Закрой окно, — донеслось до него сзади крик старухи. — И чего открывать? И чего?

Он закрыл окно и вернулся к столу.

— Вам бы только разбойничать, — волновалась старуха. — Нема никого, нема...

Ему стало душно, он встал и быстро вышел из хаты.

Тишина поразила его. Ночь искрилась звездами. Июньская ночь, вся из теней деревьев, кустов и стен. Слышен был только привычный, уютный лай собак. Он присел на пороге дома, сердце его сжалось. Эта ночь, такая спокойная, отрицала прошедшие ночи, бросала им вызов. Пахло медом, полная луна висела в зените.

«Но это все неправда, — подумал он. — Те двое лежат недалеко, в километре отсюда. А может, именно тогда все и кончилось. Быть может, операция В (Vanditen) завершена. Такая тишина... Безмолвие, равнодушное, как над чужой могилой...»

Он посмотрел на небо — оно было безоблачно, — прислушался...

Раненые лежали под елями на краю перелеска. То и дело кто-нибудь из партизан подходил к Веняве, наклонялся, всматривался в его лицо, покрытое запекшейся кровью. Глаза раненого закатились, в горле булькала кровь, воздух с хрипом и свистом вырывался через открытый рот. Уловив это дыхание, партизан выпрямлялся, бросал взгляд на Ястреба, лежавшего рядом под несколькими шинелями, в зеленой пилотке, натянутой на уши. Ястреб время от времени стучал зубами...

Партизан отходил, широко шагая по губчатой, мягкой почве. Остальные отдыхали, растянувшись на мху. Двое разулись, один, наслаждаясь прохладой, медленно шевелил стертymi пальцами, другой старательно обматывал ступни скользкими портянками. Многие спали, спали, как убитые, скошенные на землю усталостью. Кто-то стонал во сне, тяжело перекачивая голову с боку на бок. Луна появилась из-за леса, небо посветлело, на земле засеребрились широкие блики, резче обозначились косматые тени.

Командир отряда сидел у придорожного рва, всматриваясь в горизонт. На его коленях лежали планшет со штабной картой, компас и фонарик. Но командир разбитого отряда смотрел не на карту — он читал окружающую его ночь.

Справа горизонт опасно приближался к ним. Звезды там погасли, широкая полоса черноты заняла полнеба, ниже чернота постепенно мутнела, небо пропитывалось дымом, становилось бурым, внизу коричневое просвечивало отблеском меди. Светлело: розовосиний отблеск появился на горизонте.

— Пожалуй, это в Недзвяде, пан майор, — сказал второй офицер.

— Пятнадцать километров, — крикнул командир, — слышите, снова едут...

Все трое наклонились; шум моторов наплывал волнами. Командир посмотрел на часы.

— За час пятая колонна, — заметил он, — прут на Луков. До рассвета мы должны быть в Макошке.

Раз, второй, третий, шевельнулись внутри ночи щупальца фар.

— Коралла ко мне, — сказал командир.

Невысокий офицер тут же встал и исчез за елями.

— Коралл как рванется... — долетело до поручика из группы партизан, развалившихся на мху вокруг рассказчика. — И вперед... А мы за ним...

— Подхорунжий Коралл! Подхорунжий Коралл — вполголоса звал коренастый поручик.

Коралл сидит возле раненого Ястреба. Из-под низко, почти до самых бровей натянутого края пилотки всматриваются в него глубоко взалившиеся, с горячечным блеском глаза.

— Как повстанцы в лесах, как во время январского восстания¹, пан подхорунжий... — Парень сжимает губы; Коралл слышит тревожную дробь зубов.

— Успокойся, — говорит он, — не принимай близко к сердцу. Тебя знобит?

— Я знаю, пан подхорунжий, я там не был, но мне ребята говорили.

— Хватит...

— Это вы спасли взвод Сечкобряка, ребята говорили, это был геройский поступок.

— Помолчи...

— Я знаю, пан подхорунжий, я знаю, я всегда мечтал совершить что-нибудь такое... Вы читали «Розу»? Его звали Чаровиц...²

— Подожди. Ноги у тебя не болят?

Ястреб покачал головой.

Опять дробный стук зубов, словно звенит стекло.

— Совсем ничего не чувствуешь? — спрашивает Коралл.

Взгляд Ястреба становится неподвижным, он с напряжением смотрит на Коралла.

— Коралл! — Коренастый поручик отодвинул еловые ветви. — Вас вызывает майор...

— Укройтесь здесь, в этом лесочке. — Кружок света лег на середину карты. Карандаш майора клюнул в зеленое пятно и застыл, выдавив ямку на развер-

¹ Имеется в виду польское национально-освободительное восстание 1863 года.

² Чаровиц — герой драмы «Роза» известного польского писателя Стефана Жеромского (1864—1925).

путь карте. — Отсюда, — продолжал майор, — в двух километрах Соболево, сразу же за рекой...

— Я был там когда-то, — сказал Коралл.

— В Соболеве есть врач, связанный с организацией. Он сделает им перевязки и уколы. Сейчас двадцать три часа двадцать пять минут. В двадцать четыре часа выступаем. Около Соболева будете перед рассветом, а точнее — в два. Оттуда связной должен проехать двадцать восемь километров, на явке он получит велосипед. Итого, три часа. — Майор отсчитывает время, подняв руку, освещая циферблат. — Утром, часов в шесть-семь, он будет на месте. Пока подготовят машину, пропуска, пройдет какое-то время. Короче, в полдень за ранеными придет машина. Ваша задача: не двигаться с места, ждать даже до ночи. Только в случае непосредственной угрозы можете отойти в глубь лесов.

Уже с минуту Коралл слышал скрип телеги на дороге, но не хотел прерывать майора. И вот загревели кованные колеса и раздался окрик: «Стой!» Посыпались проклятия, майор погасил фонарик. Они одновременно встали. Из-за поворота во весь опор вылетела взмыленная лошадь; на телеге стоял Мацек и кричал, оглядываясь назад:

— Вояка, чтоб тебя!...

Майор обратился к поручику:

— Грузите раненых. Объявите сбор. Ветряка ко мне...

Он снова щелкнул фонариком и внезапно осветил руку Коралла, обмотанную обрывками рубашки, на перевязи из солдатского ремня.

— Как рука? Пошевелите пальцами... Хорошо. Обойдется...

Майор замолчал, положил фонарик в карман френча, расстегнул ремень с двумя пистолетами; один, в немецкой жесткой кобуре, оставил, второй, в клеенчатом чехле, снял с ремня, опять застегнулся.

— Винтовку оставьте в отряде, с ней одной рукой не справиться.

Коралл взвесил на руке топорную тяжесть виса, его пальцы с удовольствием ощутили сквозь мягкий чехол ребристую рукоятку, насечки на ней.

— Это оружие Венявы, — продолжал майор. — Я даю его вам.

Он сделал полшага. Худая шея, крючковатый нос, близко посаженные глаза — сейчас майор больше, чем обычно, был похож на птицу, только что вырвавшуюся из огня: взъерошенную и перепуганную. «Но там, в самом пекле, я тебя что-то не заметил», — подумал Коралл. И вдруг майор, грозный командир, предстал перед ним без всякого ореола. Коралл увидел и держащийся кадык, и расширенные зрачки, и сбившуюся пилотку.

— Я скажу вам еще об одном, подхорунжий, чтобы вы, когда понадобится, приняли это во внимание. — Майор помолчал, уставившись на Коралла. — Венява — офицер связи главного командования. Я говорю вам это, чтобы вы в соответствующий момент смогли принять решение... Понимаете меня?

— Так точно. Все мы солдаты, — великодушно ответил Коралл, а сам подумал: «Я мог бы теперь прижать тебя и заставить сказать то, чего ты так боишься, старая лиса...»

— Я понимаю свою задачу, пан майор, — добавил он бесцветным голосом.

— Итак, повторяю: вы должны ждать машину... — В голосе майора неожиданно исчезли начальственные нотки.

Коралл почувствовал, что тяжелое бремя, давившее их обоих, взвалено теперь на него одного, и нервы от этого бремени напряжены до предела.

— Шестая, — пробурчал майор, — черт побери...

Коралл повернулся. Со стороны шоссе на небе мелькали сполохи, за ними загорался, гаснул и снова раскрывал огненные глаза двойной ряд медленно двигавшихся фар.

— Черт побери, — повторил майор.

Слышно было мягкое урчание, оно ползло по полям, земля под Кораллом глухо гудела.

— Броневики, — сказал майор, — черт побери... Если они нас обнаружат... Поручик Речной, как со сбором? — обратился он к офицеру в конфедератке, вышедшему из лесочка.

Из-за деревьев высыпали партизаны. С трудом перебираясь через ров, они толпились на дороге.

Позванивала амуниция, молча собиралась бесформенная колонна. Майор все всматривался в горизонт, насыщенный призрачным светом. Зарево справа разгоралось; внизу краснота стала кровавой, пламя все ярче и шире высвечивало небо. Майор глядел, не мигая. «Растяпа, — подумал Коралл, — погубил половину отряда. Растяпа...» Коралл чувствовал в себе то, что он раньше беспокойно искал в других, даже в растяпе майоре. Коралл помнил момент, когда это внезапно вспыхнуло в нем самом; полный радостного удивления, прислушался он к появившемуся неизвестно откуда чудесному чувству силы. С тех пор прошло уже несколько часов, а это чувство не исчезало. Рука не беспокоила его, кисть слегка деревенела, но боли не было. И раненая рука, и бурые подтеки на куртке и бриджах — все это наполняло его гордостью.

Колонна то и дело рассыпалась. Одни, где стояли, там и садились на песок, другие расхаживали взад и вперед. Некоторые — кто по одиночке, кто малыми группами — все еще выходили из леса. Коралл узнал высокую, немного сгорбленную фигуру Априлюса, тот был в черной шоферской кепке, в черном костюме, с перекрещенными на груди пулеметными лентами, с длинной немецкой винтовкой. Коралл увидел его таким, как тогда — вскакивающим под огнем и рычащим своим пропитым голосом: «Бей этих сволочей!» Около него стоял взводный Томек в круглой егерской фуражке, в егерском мундире с широкими темно-синими нашивками. Еще Коралл заметил круглую каску Сосны, припомнил блеск стали в гуще папоротников, и рывок руки, и вспышку, и грохот гранаты, и тотчас после взрыва размеренный, терпеливый зов немца из расчета заглохшего станкового пулемета: «Sanitäter! Sanitäter!» Он узнал и стройную фигуру Аполлона: с непокрытой белокурой головой, замотанной бинтом, в светлом клетчатом пиджаке, в габардиновых бриджах, босой, он стоял в стороне, около рва, в кулаке теплился огонек сигареты. Коралл вспомнил, какую неприязнь вызывал у него этот щеголеватый варшавский красавчик, а ведь и он оказался храбрым парнем. В ушах все звучит его голос: «Ничего! Ни хрена они нам не сделают!» Он заметил

Березу, Мундека и еще несколько человек среди нестройной колонны, над которой сейчас поднимался приглушенный говор, кашель, то здесь, то там падало крепкое словечко. Он смотрел на них и думал: все они — Априлюс, Томек, Сосна и он — отмечены чем-то особенным, что неразрывно связывает их.

Колонна дрогнула, расступилась, и прямо из чрева ночи, дышащей огнем, пульсирующей десятками моторов, показалась телега, ползущая по дороге. Майор и поручик Речной прошли мимо Коралла, разговаривая вполголоса. Коралл направился за ними, до него донеслись слова майора: «Это только сам Коралл...»

— В чем дело, пан майор? — спросил он, подходя к командиру.

Майор повернул голову.

— Если Венява не придет в себя...

— Стой! — приказал Речной.

С телеги откликнулось протяжное «тпру»... Лошадь остановилась.

Венява неподвижно лежал на телеге. Майор оперся руками о край, наклонился над раненым так низко, что казалось, надорванный, спадающий одним крылом с пилотки орел вот-вот коснется окровавленного лба. Командир молчал, вслушиваясь в хрипящее, булькающее дыхание.

— Венява, — прошептал он и повторил громче, — Венява, поручик Венява.

Подъехала вторая телега, на ней лежал Ястреб. Лошадь, храпя, била копытами, мотала головой, звеня упряжью. Сосна схватил ее за узду, дернул, замахнулся кулаком, плечом навалился на оглоблю. С другой стороны Мацек натягивал вожжи: «Назад, кляча, вот дура, крови боится! Назад!» Песок заскрипел под колесами, и лошадь, приседая, попятилась, откатив немного телегу.

Майор выпрямился, подтолкнул Коралла и отвел его в сторону.

— И еще одно... Коралл, самое важное. — Он положил руку на плечо Коралла. — Вы сегодня хорошо себя показали. Горячий был денек... При первой же возможности я представлю вас к повышению...

— Выбраться бы только, — сказал Коралл.

Перед рассветом, когда люди спят крепче всего, они добрались до намеченного леса. Коралл заметил, что небо в стороне Недзвяды погасло, шум моторов умолк. Телеги остановились на опушке перелеска, Коралл отошел от них, чтобы найти место для раненых, и очутился среди невозмутимой тишины, в мгlistых, неподвижных сумерках.

Он вдохнул несколько раз эту тишину, растворяясь в ней, успокаиваясь, и его постепенно охватило оцепенение и усталость. Потом он заметил, что ночной мрак рассеивается, низко на поле белеют клочки тумана, а горизонт на востоке просвечивает бледно-желтым. Темными оставались только деревья — они становились все чернее и четко выступали в мутном полумраке.

В тишине сухо треснула ветка под ногами, кто-то засвистел, подражая иволге, — это Сирота углублялся в перелесок... Коралл направился в ту же сторону. Неподалеку он нашел поляну, окруженную елями. Выбравшись из можжевельника, Коралл увидел восходящее солнце: его диск отделялся от горизонта. Серая тень еще хмурилась над землей. Небо на западе почти до зенита было подернуто чуть порозовевшей рябью облаков, а на востоке, окруженное синевой, наливалось, краснело резко очерченное солнце.

Коралл любил эту пору. Он впитывал в себя пестроту красок, бодрящие порывы ветра, тишину, в которой рождались первые дневные звуки. Но сегодня было что-то еще... Ему казалось, будто сегодня он впервые увидел восход солнца. Десять дней, с тех пор как вокруг их отряда стали кружить броневики и грузовые машины немецких карателей, каждое утро, бросавшее отряд на произвол яркого света, обдавало Коралла холодным страхом. А когда это, собственно, было? Он не мог даже вспомнить того неприятного чувства, которое приносил каждый дневной привал. А ведь день, едва просыпавшийся, обещал испытание тяжелее прежних. И все же, глядя на восходящее солнце, Коралл почувствовал себя свободным. Отдаваясь радостному ощущению свободы, тому новому, что возникло вчера в его душе, он становился

частью окружавшей его природы. Ответственность не тяготила, наоборот, окрыляла его, он был готов на все.

Ветряк отправился на восходе солнца. Уходя, он старательно завел пузатые часы-луковицу, сверив их с часами Мацека. Было два тридцать пять. Он спрятал часы в кармашек на животе, застегнул домотканый пиджак и, надвинув на лоб серую кепку, сказал Кораллу:

— Ну, я пойду...

— Ты, Ветряк, смахиваешь на конокрада, — заметил Мацек.

— Так и надо, — сказал Коралл.

— Конокрадов немцы не трогают, — пробурчал Ветряк, махнув рукой на прощание. — А вы, хлопцы, держитесь...

— К полудню вы должны быть здесь, — бросил ему вдогонку Коралл.

Пройдя немного, Ветряк замедлил шаг, потоптался на месте, обернулся, постоял.

— В чем дело? — крикнул Коралл.

Мацек рассмеялся. Ветряк быстро подошел, расстегнул пиджак, рубашка в розоватую полоску была распахнута, виднелся круглый блестящий образок на загорелой груди. Из-под ремня, туго затянутого на впалом животе, Ветряк достал парабеллум с хищно вытянутым стволом, свинцово-серый, со стершейся оксидировкой.

— Я пойду без оружия, — сказал он и протянул пистолет Кораллу.

— Дайте мне, — попросил Сирота, — ради бога, прошу вас, у меня ведь только этот самопал. Пан подхорунжий, у других-то есть...

Он схватил пистолет и тут же спрятал его в карман широких бриджей.

Ветряк удалялся все быстрее. Молочный туман, стоявший над лугами, постепенно поглощал его, над облаком параплыли только его плечи и голова.

— Ну и пройдоха же он, — сказал вполголоса Мацек и вдруг рассмеялся.

Коралл посмотрел на него.

— Почему? В случае обыска выйдет сухим из воды. Мацек по-прежнему усмехался.

— Я не совсем тебя понимаю, — пробурчал Коралл, избегая его нахального взгляда, — по-моему, ты черт знает что выдумал...

Мацек пожал плечами.

— Я не отдал бы оружие ни за какие деньги. Разве что собирался бы...

— Заткнись, — оборвал его Коралл.

Мацек замолчал. Коралл заметил, как его щеки заливаются краской, и почувствовал удовлетворение. Раньше он не смог бы приструнить этого щенка, который набрасывался на каждого. Коралл отвернулся. «А все же он мне нравится, — думал Коралл, идя через перелесок к раненым, — и гораздо больше, чем тот, что исчез в тумане, хотя от того зависит наше спасение».

В этот ранний час лес пахнет грибами, мхом и пряной терпкой смолой. От земли, вспотевшей после ночи, от лесной травы и от низко свисающих еловых лап, покрытых росой, тянет влажным холодком. Тень широко распростерлась понизу, солнечные лучи, не грея, постепенно проникают в глубину леса. Слышно хлопанье крыльев и карканье ворон в кронах сосен.

Коралл ночью так и не спал, но сейчас он словно проснулся, что-то в нем встрепенулось, внезапное озарение прогнало дремоту, таившуюся в самых дальних уголках сознания.

В утреннем свете Коралл увидел лицо Ястреба, бледное, заострившееся, с кругами под глазами и со спекшимися, почти черными губами. На Ястребе была зеленая пилотка, натянутая на лоб и на уши, он был укрыт до самого подбородка темно-синим теплым пальто, куском серого одеяла и коричневой курткой Мацека. Под этим тряпьем руки раненого, прижатые к груди, все время тряслись. Сдерживая дрожь губ и поднимая на Коралла блестящие глаза, Ястреб прерывисто говорил:

— Ветряк пошел... Хорошо... Хорошо, что он... Он знает каждую тропинку. Ох, черт, как меня трясет... Но я выдержу... К вечеру Ветряк вернется...

— Он должен быть в полдень, — сказал Коралл.

— Ветряк не подведет...

— Это уж точно.

— Так не повезло с этой малярией... Пан подхорун-

жий... — Ястреб замолчал, отвернулся. Зубы его тревожно стучали.

— Ты лучше помолчи, — пробурчал Коралл.

Ястреб снова повернул голову в сторону Коралла.

— Что они делают с ранеными? — спросил он, напряженно глядя в глаза Кораллу.

Тот пожал плечами.

— У нас вчера было столько раненых... Наверное, их схватили... Хромой...

Коралл встал.

— Хромого среди них не было. Ты об этом не думай.

Ястреб громче застучал зубами, зажмурился, закинул голову и затрясся, вытянувшись под грудой тряпья; раз, другой он метнулся, как рыба в сетях. Коралл опустился на колени, положил руку на его пылающий лоб и прижал голову паренька к земле. Он услышал чьи-то шаги, увидел Мацек, остановившегося около раненого. Ястреб открыл глаза, видно было, что он с трудом, как сквозь толстое закопченное стекло, различает происходящее.

— Э, брат, да ты концы отдаешь! — сказал вдруг Мацек, с нескрываемым любопытством глядя на Ястреба.

— Заткнись! — рявкнул Коралл.

Мацек передернул плечами.

— Как Венява? — спросил Коралл.

— Кончается, — ответил Мацек. — Сирота крутится возле него. — Он шагнул к Кораллу. — Если что, ей-богу, пристукну этого сукина сына...

Коралл пригнулся, коготки ели царапнули ему шею, он пробрался на круглую полянку и увидел Сироту на пне, возле неподвижно лежавшего Венявы. Сирота дымил самокруткой, держал винтовку на коленях и болтал, постукивая по пеньку короткими ногами в заскорузлых сапогах. Заметив Коралла, Сирота соскользнул на землю.

— Он что-нибудь говорил? — спросил Коралл.

Сирота покачал головой. Вскинув винтовку на плечо, он потушил окурочок о подошву.

У Венявы за этот час нос еще больше заострился, он торчал на окровавленном лице, желтый, как воск. Коралл присел на корточки, прогнал муху, черневшую

на щеке раненого. Показалось, что сквозь запекшийся в крови раскрытый рот не проходит воздух. Коралл приник к губам раненого. Он услышал в груди Венявы тихое бульканье. Венява дышал гораздо легче, чем час назад. Коралл поднял глаза, увидел устремленные на него побелевшие зрачки, оглянулся. Сироты рядом не было.

— Пан поручик, — громко зашептал он, снова склоняясь над раненым. — Вы слышите меня? Вы можете говорить? Ответьте...

И вдруг Коралл заметил, что Венява ничего не видит, что глаза его стекленеют, затягиваясь прозрачной пленкой; зрачки закатились, блеснули белки, веки опустились; окровавленное лицо осунулось, застыло. Но Венява дышал. Хрипы и свисты уже не разрывали его грудь. «Крепкий мужик», — с удивлением подумал Коралл. Он встал, обвел взглядом напряженно вытянувшееся, окровавленное тело раненого. На растегнутом, порванном, с бурыми пятнами мундира серебром поблескивали пуговицы, бриджи со ржавыми потеками были заправлены в черные, безукоризненно чистые офицерские сапоги.

— Не сдается. Шесть дыр в легких, а жив. Вот это сила духа, — сказал Коралл.

Мацек ухмыльнулся, обнажив крепкие зубы:

— А другому раз врежешь — и готов...

Они сидели на самой опушке и рассматривали деревню. За вырубками с торчащими кое-где сосновыми пнями и дальше — за лугом, перерезанным речкой с низкими берегами в тени ивняка, на холме за огородами и молодыми садами тянулся длинный ряд домов и овинов. Теперь, когда туман рассеялся, до деревни оказалось ближе, чем они думали ночью, — не больше полутора километров. Деревня выглядела покинутой. В бинокль видна была дорога; она шла от лугов, карабкалась в гору и пересекала широкую улицу, делившую деревушку пополам. Ни на дороге, ни на том отрезке тракта, который они могли рассмотреть, никого не было. Во дворах тоже безлюдно. Восточнее, по эту сторону реки, пастбище перерезали длинные, узкие полосы картофеля, хлебов и желтого люпина. Два дома, один беленый, под соломенной стрехой, другой

темный, под черепичной крышей, с маленьким крылечком, вокруг них деревца, по соседству остов недостроенного овина и сарай из серого пустотелого кирпича. Все это примерно в километре от леса.

Коралл уже ориентировался немного в этой местности. В его память врезался только один участок — дорога, пересекавшая лес. Когда он впервые наткнулся в чаще на широкий песчаный тракт с глубокими рвами по обеим сторонам, ему показалось, что пятачок площадью в гектар, где они укрывались, отрезан от спасительного лесного массива. Ему сразу бросились в глаза переплетающиеся следы шин: песок был изрыт колесами многочисленных грузовиков. Эта дорога выходила из леса метрах в пятистах слева от того места, где затаились теперь Коралл и Мацек. Ее было видно как на ладони; она шла краем луга по высокой гребле, обсаженной кривыми вербами, переправлялась через реку по деревянному мосту без перил и дальше тянулась в гору, к деревне.

— Зашевелились, — сказал Мацек.

— Дай посмотреть. — Коралл протянул руку за биноклем.

— Ну и баба. — Мацек покачал головой.

Коралл стал рассматривать в бинокль дорогу: коровы показались из-за поворота и затрусили к мосту. Убегая от извивавшегося в воздухе кнута, они мотали головами; пыль из-под копыт повисла в воздухе, солнце пробивало ее снопом лучей.

— Как танк, — сказал Мацек.

— Корова?

— Нет. Баба!.. — заржал Мацек.

Коралл перевел бинокль немного левее; теперь в линзах была картинка двора с раскиданной соломой, широко распахнутыми воротами овина, открытыми дверьми каких-то хлевов и кладовок. Женщина рубила дрова; она была босиком, в темной юбке и полотняной рубашке без рукавов, видны были белые полные плечи; одной рукой она придерживала на пеньке полено, другой поднимала над головой топор, быстрым ударом вонзала острие в дерево, расщепляла его и снова замахивалась.

— Я охотно пошел бы на нее в атаку, — мечтательно произнес Мацек. Короткая косичка свисала у жен-

щины на спину. — Есть хочется, — бормотал он. — Я бы незаметно подобрался к деревне. Стоит попытаться, ей-богу, — оживился он, собираясь встать.

— Не дури! — оборвал его Коралл.

— Меня так пронесло от этого чертова масла. Прямо живот подвело. А там сало жарят...

— Потерпишь до полудня.

Мацек пристально посмотрел на Коралла. Потом уныло отвернулся.

— Чтоб им сдохнуть... — проворчал он.

— Какая тебя муха укусила?

— За каким чертом нас оставили в этом паршином лесу? Приказ — и точка? Тоже мне, начальник! А где он вчера был? Опоздал, крыса штабная, а потом всю облаву в кустах просидел...

От возмущения Мацек не находил себе места. Губы, оттененные мягким, светлым пушком, вздрагивали. Коралл еще никогда не видел его таким.

— Разве здесь спрячешься? — Мацек кивнул на лесок. — Мы здесь как смертники. Если бы мы за дорогой сидели... Так нет же, черт побери! Здесь нам так всыпят, что и костей не соберешь...

— Никто про эту дорогу не знал, — ответил Коралл. — А если бы и знали, то здесь все равно лучше встречать машину.

Мацек поднялся, размашисто вскинул на плечо автомат.

— Все это чепуха-а-а, — пискливо протянул он, перестав злиться. Вытянув шею, сморщив нос, он принялся. — Копчененьким пахнет. Не могу смотреть на этот дым из трубы. — Он круто повернулся и нырнул в еловые ветки; в хвое зашуршали капли росы.

Коралл снова остался один; он опустил бинокль. Земля, не урезанная объективом, опять широко распахнулась. С пригорка, на котором сидел Коралл, его взгляд охватывал безграничную зеленую поверхность, реку, стрехи деревушки, деревья, темно-синюю стену лесов, всю даль... Темно-голубой простор, прозрачный, без единого облачка, раскинулся над ним, притягивая взор. Когда Коралл смотрел вверх, ему казалось, что он сам парит в этой голубой пустоте. Солнечный круг уже разгорелся, на востоке небо слепило глаза.

«Продержаться бы до полудня, — подумал он. — Четвертый час. Осталось еще девять», — подсчитал он по пальцам. В этом мягком свете, прояснившем пейзаж, он чувствовал себя спокойно, ничто не могло захватить его врасплох, тайна, отобранная у этого мира, была теперь в нем самом, и он смело смотрел вокруг.

Внезапно он ощутил тишину, звучавшую так чисто, словно только что погасло эхо взрыва. В этой тишине Коралл вновь обретал себя; в душе появилась какая-то сила и уверенность; ни Мацек, ни Сирота, никто не нарушил бы его душевного равновесия. Тишина была всюду. Взгляд Коралла задержался на большом сером валуне, покрытом грязно-зеленой плесенью там, где он глубоко засел в травянистой почве. Кораллу показалось, что тишина, словно пар, поднимается от этого камня, от неподвижно повисших еловых ветвей, от рогатых коряг, торчащих в черных, похожих на воронки ямах, от зелено-серо-фиолетовой земли, поросшей травой, мхом и вереском.

Вдруг тишина всколыхнулась. Прошло несколько секунд, прежде чем Коралл осознал, что это шум работающих на полном ходу моторов. Он взглянул на небо. Но гул шел по земле. Волнами, словно подступающий прилив, он приближался с восточной стороны — колонна двигалась на Радзынь. Видимо, недалеко, за деревней, проходило шоссе. Колонну заслоняли постройки, а слева и справа — зеленые холмы. Но можно было определить на слух, что колонна, растянувшись на несколько сот метров, проходила теперь мимо домов. Моторы монотонно завывали.

Деревня опять словно вымерла; женщина, рубившая дрова, исчезла со двора; проселочная дорога была пуста. Только над рекой, у ракитовых зарослей, спокойно паслось стадо; мальчик в солдатской пилотке сидел на берегу и швырял в воду камни.

Вой машин все еще сверлил воздух. «Одиннадцать... двенадцать». Коралл машинально отмечал наплывы гула; на пятнадцатом в сознании пронеслось: «Не меньше пятнадцати...» Но он был по-прежнему невозмутим; звериное чутье, тяжесть руки, висящей на перевязи, уверенность в себе, пистолет, ручкой давивший на ребра, мышцы, несмотря на усталость, чуть на-

прыгнувшие, как перед прыжком, — он был готов к борьбе. Ничто не могло захватить его врасплох.

Рокот машин стал тише, шум моторов уплывал и растворялся вдали.

* * *

Уже двенадцать дней отряд находился в окружении. Переходы делали ночью. Топтали росистые хлеба, брели по картофельным полям, перебирались через безлюдные шоссе, вязли в подмокших лугах, дышавших кислым паром, продирались сквозь ельник, на утлых лодчонках переправлялись через черные, молчаливые реки, поблескивавшие лунным серебром. Рассвет выхватывал из темноты бледные, осунувшиеся лица. Если успевали до восхода солнца углубиться в леса, отдыхали часа два, а потом по команде отряд поднимался вновь на марш. Когда день заставлял их в открытом поле, занимали ближайшие выселки: рядовой состав забирался в овин, начальство располагалось в хате, ставили часовых в тени построек. Днем спали, объедались жирным мясом, перематывали портянки на сопревших ногах и чистили оружие. Часто прислушивались к рычанию круживших поблизости моторов и улавливали одиночные выстрелы, а иногда — отголоски каких-то яростных схваток, видимо, другие группы отстреливались. В сумерках выходили во дворы и опять становились в строй.

Коралл понял, что жизнь партизанская — сплошная ходьба. Недаром крестьяне говорят: «Он ходит в партизанах». После первых дней упоения оружием и свободой, открывшей перед ним дороги, просеки и лесные поляны, он снова стал ощущать знакомое беспокойство; снова все, в чем он принимал участие, было, по его мнению, приключением, игрой в войну. Ночные походы, ненужные сборы по тревоге, беготня, пьянки на постое, боль в натруженных ногах — вот все, что он видел в этой полудетской забаве. Немцы маячили где-то на горизонте, иногда приближались; гул моторов нарастал, становясь отчетливым, многоголосым рычанием, но ни разу пути их не пересеклись, и Коралл думал, что они не пересекутся никогда. Словно существовало какое-то неписаное соглашение между нем-

цами и командованием отряда: не будем хватать за горло друг друга... Война идет совсем в другом месте; во всяком случае, не там, где он, Коралл. У него было такое впечатление, что все эти тревоги, неожиданные марш-броски, маскировка в овинах — просто самоцель. Конечно, Коралл понимал, что он не прав, но ощущение какой-то искусственности было сильнее доводов рас-судка; опять что-то выскальзывало у него из рук, он те-рял надежду на настоящее дело. Опять — все впустую.

Во время дневки высылали дозоры, чтобы разве-дать передвижения врага. Разведчики возвращались через несколько часов; от них разило самогоном. Они коротко докладывали, а потом долго делились впечат-лениями, сколько они выпили и какие девчонки в де-ревне. Коралла однажды назначили в такой дозор. Немцев они не видели. Мчались на линейке по песча-ным проселкам, уплетали яичницу, которой потчевали их гостеприимные хозяева, потягивали самогон; по-том сидели в тени на крылечке. Воздух, раскаленный солнцем, дрожал над кустами смородины и малины, над пустынной дорогой, слепящим маревом плыл над лесом. Капрал Вихрь поддразнивал хорошенькую доч-ку лесника. Жал ей руку, шептал на ухо. Девушка сбежала по ступенькам. Срывая ягоды, они вертелись в малиннике. Коралл смотрел на них и чувствовал себя лишним.

Вихрь был высокий, красивый, в лихо насаженной пилотке с орлом и в летнем мундире со всеми знаками отличия. Он уже второй год был в лесу, и о нем ходили рассказы, похожие на легенды. К новичкам он отно-сился с презрением. Коралл тоже немного робел перед ним, часто думая, как хорошо подружиться с таким парнем. Но Вихрь держался на одинаковом расстоянии и от него, и от других. И теперь, в этой разведке, Ко-раллу не удавалось ближе сойтись с Вихрем. Напрасно Коралл старался дать понять, что он — опытный воин, а не какой-нибудь молокосос. Вихрь был любез-ен (эта любезность раздражала Коралла, он прини-мал ее за особый вид пренебрежения) и никогда не терял своей ледяной корректности.

У куста смородины Вихрь тянул девушку к себе. Дочка лесника упиралась босыми ступнями в рыхлую коричневую землю, широко расставив сильные, заго-

релые ноги, открытые до колен. Коралл посмотрел на нее в бинокль и, переводя его все ниже, процедил: «Вижу ноги, а между ногами — кустик...»

Вихрь выпустил руки девушки, оба повернулись к Кораллу. Коралл с удивлением заметил румянец на ее щеках и сообразил, что сказал двусмысленность. Она глядела вовсе не сердито, а немного растерянно, насмешливо и удивленно.

Вихрь улыбнулся, и Коралл понял, что капрал доволен его неожиданной смелостью. «Вот я каков!» — подумал он и развалился на лавочке. Те двое смотрели на него с любопытством. От сухого зноя звенело в ушах, рука стискивала горячий металл автомата. Сценка длилась несколько секунд, но Коралл запомнил ее надолго.

Потом заходили еще в две хаты, где были явки организации, крались межами, задевая желтеющие колосья, мчались в грохоте кованых колес по ухабистым дорогам, в помещицьем парке стреляли в павлина, стоявшего на крыше чулана. Вихрь промазал, а Коралл первой пулей сбил птицу. Это еще больше расположило к нему Вихря. В отряд они вернулись приятелями.

На следующий день другой дозор пошел в разведку. Отряд остановился на покинутом хуторе, все расположились в овине, пахнувшем прелой соломой. Дождь то и дело принимался клевать гонтовую крышу; сквозь просветы в гонте бежали струйки воды, крупные капли брызгами разлетались по глинобитному полу. Сразу похолодало; спали зарывшись в солому, закутавшись в отсыревшее тряпье.

Около полудня послышалась стрельба: где-то неподалеку надрывался пулемет. Взорвалось несколько гранат, пулемет опять застрекотал и смолк. Снова дождь монотонно шепелявил в листве и чуть слышно барабанил по тугим лопухам. Но заснуть уже никто не смог. Все вернулись к действительности.

Как всегда, взводный Априлюс добыл где-то литровую бутылку мутного, желтоватого самогона. Вокруг него сгрудились самые отчаянные вояки. Априлюс сидел на слезавшейся соломе, возвышаясь над остальными. Черную шапку с креповым тисненым околышем он сдвинул на макушку, пиджак снял и положил рядом. Рукава вишневой рубашки были высоко заката-

ны, на открытой груди синей дугой изогнулась татуировка: «Жизнь моя печальна», ниже — крест, оплетенный, как выюнком, колючей проволокой.

— Ты уж больно любопытен, — хрипло говорил Априлюс, уставив маленькие глазки на Мацека. — У каждого человека что-нибудь да есть на совести. Не смейся. Это я тебе говорю. — Он встряхнул бутылку; ее содержимое еще сильнее помутнело и запенилось. — Послушай умного человека.

Коралл почувствовал на себе оживленный, как обычно, взгляд Априлюса.

— Скажите вы ему, пан подхорунжий...

— Конечно, особенно во время войны, — буркнул Коралл.

Но Априлюс словно не слышал ответа. «Ну, будем здоровы!» — он запрокинул бутылку, потом, чмокнув, оторвал губы от горлышка и, не глядя, передал бутылку.

Коралл держался немного в стороне: ждал, дадут ли ему. Он не выносил этой гадости. Смотрел, как сплевывают, морщатся, отдуваются обожженными ртами.

— Сечкобряк утром задал нам перцу за то, что честь не отдаем, — доверительно сообщил Мацек.

Априлюс пожал плечами: «Мне выслуживаться ни к чему. Я умею немцев бить, а не честь отдавать».

Кто-то подтолкнул Коралла, бутылка очутилась у него в руке. Все посмотрели на него.

— Ну, пан подхорунжий, до дна...

Он стиснул липкое, теплое стекло, запрокинул голову... С огнем в горле и нарастающей тошнотой в желудке глотал он вонючую жидкость.

— Хорошо! Уже ловко получается!

Коралл опустил голову. Его мутило, самогон подступал к горлу. Он выпрямился, замахнулся, чтобы запустить бутылкой в косяк ворот, но, представив себе неприятный звон разбитого стекла, поставил бутылку возле ноги.

Известие о дозоре, как все вообще новости в лесу, пришло неведомо откуда. Вскоре Кораллу казалось, что он уже давно знал правду, но не хотел о ней думать, хотя она висела над ними в этом сыром, разбухшем от дождя воздухе. Сначала сказали, что погибли все трое.

Дневной свет мутнел, серая изморось приглушила краски, только темная зелень в заросшем саду блестела от влаги, как лакированная. Пахло мокрой хвоей, из непролазной чащи крапивы, осота и лопухов поднимался густой травяной дух. До сумерек толкались в сарае и у пустых построек. А потом, когда уже совсем стемнело, Коралл, выйдя из сарая, увидел перед крыльцом дома вороную лошадь, запряженную в повозку. У повозки стояли партизаны. Один держал в вытянутой руке большой фонарь. Огненно-ржавый клочок пламени отражался на стекле, оплетенном проволокой. Мимо Коралла мелькнули две бегущих тени. «Это Вихрь», — донеслось до него. Коралл рванулся к повозке.

— Еще живой был, живой... — твердил нудный голос в темноте.

Коралл взгляделся в то странное, что лежало на повозке, потом отвернулся.

— Еще живой был, — повторял деревянный голос. Коралл не мог сдержать дрожь.

— Еще живой был, когда мы его клали...

Перед глазами Коралла все стояло искаженное судорогой лицо убитого с оскаленными зубами. Фонарь на крюке качался, бледное пятно блуждало в вязкой тьме. Тусклый отблеск, замутненный роем висевших в воздухе капель, скользил по кустам. Его могли увидеть издалека, и Коралл хотел крикнуть: «Уберите свет!», но у него пропал голос. «Так вот как это выглядит... так это не игра...» Мысли путались, горло болезненно сжималось. Он опять повернулся к повозке.

— В спине у него вот такая дыра, — крестьянский парень в черном клеенчатом дождевике поднес расставленные руки к носу Коралла, — гранатой трахнули...

Потрясенный, стоял Коралл над трупом. Он всматривался в изменившегося до неузнаваемости Вихря. Прежними остались только высокие сапоги, заляпанные грязью. Одна нога была прямая, как палка, — торчал острый носок, — другая, намного короче, вывернутая, лежала пяткой вверх.

— Уж больно он был отчаянный. — сказал кто-то рядом.

— Брось,— буркнул угрюмо Мацек. — Труссы тоже гибнут. Не в этом дело...

Коралл выбрался из толпы. «Началось... Теперь уже на самом деле... Труссы тоже гибнут. А ведь я сам пошел и уже одиннадцать дней здесь, сегодня — двенадцатый, с тех пор как я пришел в отряд. Никто не узнает, что за все это время я выстрелил один раз — в павлина. Но я-то знаю, и ничто не изменилось, я все тот же трус, обыкновенный трус. Я ни на что не способен; все идет само собой, кем бы я ни притворялся. Война и так без меня кончится. Я могу только дать себя убить или постараться выжить. Я трус. Никто не узнает об этом. Когда я вернусь, мне будут оказывать почести, как герою. Сам-то я буду знать, каким я был, но никто не посмеет сомневаться в моей отваге...»

Он заметил, что дорогу ему загораживают два каких-то паренька. Они уже довольно долго стояли перед ним. Босые ноги одного из них белели в траве.

— Мы хотели бы в польское войско. Возьмите нас...

— Кто вы такие?

— Мы из Ядвисина. Рядом здесь деревенька...

— Вчера у нас швабы мужиков позабирали, — вставил тот, что пониже. Он был без шапки, мокрые волосы слиплись и широкими прядями свисали на лоб. — Мы в лесу отсиживаемся. Ночью подойдем к хате, перехватим чего-нибудь — и опять в лес...

— Возьмите нас, — повторил высокий в темно-синем ватнике, — мы хотим тоже участвовать...

— А там, на возу, выдали?

Коралл обернулся. За ним стоял Априлюс, кивая в сторону подводы с трупом Вихря.

— Уже и за нас взялись. Выдали его? — Он снова кивнул на подводу.

Паренек в ватнике переступил с ноги на ногу, перевел блестящие темные глаза с Коралла на Априлюса. Коралл посмотрел на его сжатые кулаки, видневшиеся из драных рукавов.

— Поверьте, ну, поверьте...

Тот, что пониже, поднял руку, по-бабьи приложил ладонь к щеке: «Такой славный парень. Мы-то знаем, каково вам...»

Коралла вдруг охватило теплое братское чувство к этим босоногим добровольцам. Стало словно светлее. При мысли о том, что он будет вместе с ними, кошмар на какую-то секунду отступил.

— Теперь нам туго придется, — проворчал Априлюс. Он стоял рядом: весь в непереносимой черноте, только грудь перечеркивала поблескивавшая патронная лента. — Ну и достанется же нам...

Но на следующий день предсказание Априлюса не оправдалось. Наоборот, было удивительно тихо.

Лесная сторожка, до которой они добрались под утро, стояла на краю леса. Кислая вонь сохнувшей одежды (дождь лил всю ночь) поднималась над людьми, сгрудившимися на полу. Разводящий вызвал Коралла из теплой сторожки, и они пошли по дороге в сторону одинокого дуба.

«Хромой» — шеф — волочил ногу, подскакивал на каждом шагу, словно на пружине, и мягко припадал. Оба молчали. Хромой был неприятен Кораллу. Когда они бывали вместе, Коралл никак не мог стряхнуть с себя скованности, вызванной его присутствием. Хромой часто, ничего не говоря, приглядывался к Кораллу. Под этим взглядом Кораллу было не по себе, он чувствовал все свое ничтожество.

— Не часовой, а дерьмо, — сказал Хромой.

Перед ними в огромном стволе дуба чернела пуста-та дупла. Из темноты блеснула сталь.

— Черт побери, — рассердился Хромой.

Дупло дохнуло теплым чадом древесной гнили. Хромой поднял прислоненную к стволу винтовку. Покачал головой.

— За кустик пошел, — буркнул Коралл.

Хромой оглянулся. Что-то неясное, какое-то подобие усмешки скользнуло по широкому лицу, мелькнуло в бусинках зрачков.

Они ходили возле дерева. Хромой первым остановился, забросил за спину кавалерийский карабин часового, посмотрел на Коралла и холодно усмехнулся. Коралла передернуло:

— Нет, шеф...

— А вы что подумали? — Хромой покачал головой. — Я тут же сообразил, чем это пахнет...

— Вот мерзавец!

Хромой пожал плечами.

— Не он первый, не он последний. Теперь немало таких, что замышляют это. Будут смываться.

— Кто? Партизаны?

Шеф пристально глядел на него.

— Партизаны... Я трезво смотрю на вещи. Чего только здесь не бывает? А вообще, говоря откровенно, в такой ситуации... Вы интеллигентный человек. Но вы так ко всему относитесь.

— Я... — Коралл запнулся.

— Ну, принимайте пост, подхорунжий, привет... — Хромой приложил руку к полотняной пилотке, повернулся и заковылял. Взгляд Коралла неотступно следовал за ним.

«Прохвост... Спекулянт», — мысленно твердил Коралл. — Ворюга, — произнес он тихо. — Во-рю-га, — повторил он по слогам в такт подскокам грузного тела.

Хромой тяжело перебрался через придорожный ров, и теперь только выцветшая пилотка просвечивала между елями.

Коралл сразу же припомнил все, что болтали о шефе. Он торговал свининой. Коралл сам видел на постое в Еленце, как две молодых спекулянтки возились с хлопцами в темной избе. Он узнал потом, что одна из них — жекa Хромого. На следующий день, на рассвете, выбравшись из овина, Коралл очутился среди телег, нагруженных мешками с мясом, Воняло паленой щетиной, в углу двора, неподалеку от выгоревших костров, дымились разбросанные потроха. Хромой стоял около воза, рядом суетились двое крестьян, перемазанных кровью, и две женщины — брюнетка и блондинка — в пыльниках. Блондинка взгромоздилась на ступицу колеса, перебросила ногу через высокий край воза, пыльник и юбка задрались; Кораллу бросилась в глаза белизна ее кожи. Он отвернулся. Брюнетка насмешливо смотрела на него. Их взгляды встретились. Она широко и игриво улыбнулась; Коралл смутился. Обогнув подводы, он скрылся в овине.

«Мошенник... Деляга», — мысленно ругал Коралл Хромого. Выгоревшая пилотка еще раз мелькнула среди ветвей. «Теперь немало таких, что замышляют это... Будут смываться», — всплыли в памяти его слова.

Хромой скрылся за зеленью перелеска. Вокруг было томительно пусто. Слева — тракт, вокруг — сосны, разбросанные беспорядочными группами, дальше — поляна, освещенная солнцем, справа, за дорогой, — глухая еловая чаща. Немцы могли появиться отовсюду... Коралл забился в дупло. Ноги вязли в толстом слое бурой трухи; труха пылила, в дупле пахло гнилью. Коралл видел дорогу, выходящую на поля. Если они пойдут оттуда, ему придется стрелять, чтобы предупредить отряд. Но тогда ему конец. Кораллу стало страшно от этой мысли. Его окружают... Он будет один. Какое-то мгновение он чувствовал тупую, давящую тяжесть; тишина между соснами, на поляне, на широкой дороге — кругом. Тишина словно поднималась и наступала на него, захлестывая его холодной волной, но тут же откатывалась. Он стоял, привалившись к стенке дупла, ошеломленный.

— Все обойдется, — сумел он наконец внушить себе. Минуты проходили, свет струился между соснами и золотил чешую деревьев, в кронах толкались грачи, минуты текли спокойно, и каждая была доказательством того, что по-прежнему будет и солнце, и смолистый чистый воздух, и по-прежнему будет наполнено жизнью все, что только может подметить его взгляд, уловить его слух, чего коснется его рука...

Птица запищала в лесу; среди переплетений коры ползло несколько жучков в красной броне. Ведь какая-то сила защищает его; он неуязвим — Коралл старался убедить себя в этом. Но теперь беспокойство не рассеивалось; у него перед глазами стояла телега с телом Вихря. Коралл не отгонял этого видения. Он снова переживал ту ночь, дохнувшую в лицо смертью... Перед глазами Коралла все время всплывала синеватая муть фонаря, подвешенного над трупом. То, что раньше казалось игрой, теперь было четкой и ясной реальностью.

Он глубоко вздохнул, чтобы отогнать запах крови, тошнотворное зловоние, дуновение гнили, которое поднялось в нем как бы изнутри, подползло к горлу. В этом сочном воздухе он уловил сладковатый смрад распада. Он был едва ощутим и все же доходил до Коралла оттуда, из глубины леса. «Это чертово дупло», — подумал он, рассматривая сгнивший ствол. Коралл

огляделся: «Куда же этот сукин сын смылся? Лучше всего лесом, чтобы держаться все время на запад. «Теперь немало таких, что замышляют это. Будут смываться», — нагло звучал голос Хромого. Как нагло... Коралл снял с плеча карабин и, обхватив ладонью спусковую скобу, прижав приклад к боку, стал наблюдать за дорогой.

Когда он через три часа вернулся с поста и осмотрел лесную сторожку, его охватило неприятное чувство: место постоя выглядело покинутым. В сарае стая воробьев выскочила из-под ног, ветерок смел с тока горсть грязной пакли. Коралл толкнул ворота, они распахнулись с громким стуком. Во дворе никого не было. В открытом окне сторожки между белыми стенами зияла пустота. «Как после эвакуации», — заволновался Коралл. Он с облегчением вздохнул, увидев Мундзю, выбирающегося из кустов.

— Где ребята? — спросил Коралл.

Мундзя оглянулся, пожал плечами.

— Спрятались, — пробурчал он.

Действительно, Коралл начал постепенно открывать: в перелеске — группа Априлюса, как всегда, с несколькими бутылками; на поляне отряд Сечкобряка занимался чем-то вроде маршировки. Все находилось в странном разброде.

— Говорят, пан майор удрал... — сказал с ехидной гримасой Мацек.

Коралл возмутился, Мацек рассмеялся ему в лицо. Паника продолжалась недолго. Все успокоились, когда сержант сообщил, что майор ночью отправился на встречу с командиром советского отряда. Но Кораллу показалось, что снова все охвачено разложением. Между этими одержимыми людьми он чувствовал себя одиноким. Единого отряда уже не было; людей объединяло только одно — беспокойство. Лесное приключение подходило к концу. Коралл мог назвать это приключением, именно приключением. Он отчетливо видел плачевный конец. Надежды не оправдались. Ожидания были напрасны... Реально то, к чему надо возвращаться... Кровать с чистой постелью, мягкий зеленый плед в ослепительно-белом, шелестящем под одеяльнике; мать склоняется над Кораллом, у нее покрасневшие от слез глаза; ароматный пар над чаем;

дядя с неотлучным запахом винокурни... Спиртовая лампа тепло шипит, свет из-под зеленого абажура освещает середину комнаты, вещи отплывают в полумраке. На письменном столе отсвечивает стеклянный шар с разноцветной мозаикой. Слышен скрип половиц, вздох и стук ставен; все внутри кажется ему таинственным и притягательным.

Из перелеска показался отряд Сечкобряка. Шли нестройной колонной в две шеренги. Перед домиком лесника Сечкобряк вскочил на крыльцо и крикнул: «Отряд!..» Пыль лениво расползлась вдоль шеренги.

— Стой! Здравствуйте, хлопцы!

— Здравствуйте, здравствуйте, — проворчал Мацек. Он разгорячился, пот блестящими струйками стекал по его лицу.

Мацек сидел рядом с Кораллом, поставив карабин к стенке и, обмахиваясь расстегнутой рубашкой, приговаривал:

— Вояка... «Бегом марш, ложись...» Подожди, зараза, я увижу, как скоро сам будешь ползать.

— Что это на него нашло? — спросил Коралл.

Мацек скорчил гримасу и вытер рукавом вспотевший лоб.

— Настроение хочет поднять, — проговорил кто-то, — услышал о победе Цыгана и собрал всех.

— Кто видел нового поручика?

— Сидит все время, закрывшись с Хромым.

Известие о прибытии связного было для Коралла полной неожиданностью.

— Утром Ольга его привела, — восторженно, как всегда, говорил Ястреб. Он высоко задирает голову, словно высматривал что-то между соснами. — Он из десанта. У него...

— Кто сказал?

— Ольга.

Мацек надвинул пилотку на лоб.

— Ну да, у него кое-что есть...

— Не понимаю, о чем ты?

Мацек скорчил гримасу.

— Где тебе понять? Ты еще маленький...

— ...нельзя же все высмеивать, — закончил Ястреб. Мацек удивленно посмотрел на него.

— Я его видел, — отозвался Береза, поднимая голову. — Это настоящий мужчина.

Действительно, это был настоящий мужчина.

Речной проверял состав, нервно, как всегда, бегая перед строем, а тот стоял неподвижно, чуть откинувшись назад, облокотившись о штакетник.

— Пан поручик должен провести одну операцию, ему нужны добровольцы. Он рассчитывает на вас... Пожалуйста, пан поручик, — закончил Речной.

— Мне нужно три человека. Задание трудное. Провожу его в расположении главной группировки неприятеля. Трусые мне не нужны. Шансов выбраться не обещаю: один к двадцати, самое большее... ну...

— Добровольцы, вперед! — крикнул Речной, высоко задирая рыжий заросший подбородок.

Команда сломала шеренгу. Рядом кто-то шагнул. На ватных ногах Коралл отмерил три шага в одном ритме с Ястребом. Коралл чувствовал тяжесть в груди. Он стоял во вновь образованной шеренге.

— Слишком много, — проговорил связной, его глаза скользили по напряженным фигурам, остановились на Коралле; тот ответил взглядом, полным готовности. Связной прошел дальше. Коралл вздохнул свободнее. Опасность висела над ним, но на этот раз он не струсил.

— Капрал Черный! — вызвал Речной.

Черный энергично шагнул вперед. Карабин звякнул о камень.

— Рядовой Иволга!

Перед Кораллом выросли плечи, обтянутые расползающимся пропотевшим тряпьем. «Может, пронесет...»

— Подхорунжий Коралл!

Коралл машинально скинул карабин. Речной усмехнулся. Один, два, три шага. Коралл отбил их, как на плацу. Теперь их было только трое, связной приглядывался к ним внимательно. Коралл смотрел смело и старался взглядом выразить радость, что его заметили. Но внутри все похолодело, после первой минуты паники он оцепенел, и тут же в нем поднялась волна протеста: «А почему, собственно, я? Я не хочу! Это обман, должны были идти добровольцы... Почему

не сдержали слова? Я не доброволец! Почему меня называли?»

Речной скомандовал: «Разойтись!» Связной исчез за дверьми дома. Речной блеснул знаками отличия с самой верхней ступеньки крыльца, Коралл зло посмотрел на него. Речной шагнул, и его тоже поглотили темные сени.

— Каждый человек боится... — объяснял Априлюс.

Он сидел, словно проводник среди пилигримов, на небольшом бугорке, опершись о стену овина, тень от которого тучей покрывала траву. Литровка с мутной маслянистой жидкостью стояла между ними, а Обрубок быстрыми движениями распиливал на прикладе карабина неподатливый кусок свинины.

— ...но не каждый всю жизнь в страхе живет... — закончил Априлюс.

— Ольга уезжает, — сказал кто-то.

Аполлон встал и молча поспешил к воротам. Ольга была уже за калиткой. Речной и Сечкобряк шли за ней, немного отстав. Она села на велосипед, поставила ногу на педаль и, не поворачивая головы, поехала по тропинке вдоль рва. Офицеры молча смотрели на нее. Аполлон взобрался на забор, крикнул: «Держись, Ольга!» Она, не оглядываясь, подняла руку и помахала.

— Хороша девчонка, — буркнул Обрубок.

— Как довоенная булочка за пять грошей, — сказал засмотревшийся Априлюс.

Ольга исчезла в темной зелени. Теперь она была им гораздо ближе, нежели четверть часа назад, час, два часа, когда у нее была одна судьба с отрядом. В этот момент они могли еще мысленно сопровождать ее, прежде чем она исчезнет с их горизонта. Коралл все еще видел, как она стояла, слегка склонившись над рулем, с вещевым мешком, прикрепленным к раме. За лесом начиналось открытое пространство, всякое движение на дороге видно издали, но и ты сам все время в поле зрения.

— Хотел передать через нее письмо, — сказал Бабинич, — но снова запретили.

— А зачем спрашивал, вояка? — буркнул Мацек. — Если бы хотел, то просто попросил бы ее.

— Но ты-то не послал? — спросил Бабинич.

— Кому я мог послать? Ты думаешь, обо мне кто-нибудь в Варшаве плачет?

— Из-за такого письма Ольга может попасться, — сказал Коралл.

Априлюс кивнул.

— Вы правы, пан подхорунжий. Эти голодранцы хотят похвастаться: привет из леса... У меня дома пятеро детей...

Коралл посмотрел вверх. Бабинич стоял над ними, руку держал в кармане и, вытянув шею, таращил глаза на Априлюса.

— Ты что? — спросил Мацек.

— Я не голодранец, — бубнил Бабинич.

— У меня дома пятеро детей, — повторил Априлюс, совершенно не обращая внимания на Бабинича. Мацек взял Бабинича за руку и силой потянул его на траву. — Не мои, жена из деревни привезла от своего брата, когда их обоих взяли в концлагерь. Но самый маленький, лет четырех, зовет меня «папэ».

Априлюс принял бутылку от Мацека, буркнул: «Огонь!» Золотое дно фляжки, как семафор, поднялось над головой взводного. Жилистая рука опустилась. В маленьких, налитых кровью глазах Априлюса блеснула влага. Со свистом он втянул в себя воздух, морща сломанный нос.

— И все же, — сказал Обрубок, — если бы это были ваши дети, вы бы из дома не ушли.

Априлюс проглотил кусок свинины, кадык его дернулся.

— Жена сама с ними справится. А если не веришь, что я все равно ушел бы, то меня просто не знаешь, — усмехнулся он, обнажив неровные зубы.

— Что ни говори, свои дети... — настаивал Обрубок.

— А когда я уходил из дома, то моя мать плакала от радости, — неожиданно признался Мацек. Горькая улыбка застыла в болезненных складках возле губ. — Черта с два стану я им писать... Теперь она может не волноваться, отец ничего не узнает. — Мацек опустил голову, замолчал.

Коралл вдруг почувствовал, как этот паренек близок ему. Но и Априлюс, с зорким взглядом отличного стрелка, с жилистым, сильным телом, тоже привлекал

его внимание. Это дружеское чувство распространялось и на Обрубка, уставившегося в бутылку, ходящую по кругу, и на надутого Бабинича, вообще на всех, сидящих вокруг. Коралл подумал с облегчением: «Я — один из них». Но тут же вернулось ощущение опасности. Оно было уже совершенно иным, непохожим на прежнее. Опасность была общая, одна для всех, опасность реальная, однако это не угнетало его, а поднимало в собственных глазах. Ни насмешкой, ни фальшью не уменьшить опасности, угрожавшей этим людям. Он — один из них. «В чем, собственно, дело, — подумал Коралл. — У меня все в порядке». Он опять стал размышлять о своем положении. «Никто ни в чем не может обвинить меня. Я готов выполнить задание... у меня все в порядке... — повторял он. — Полный порядок». Страх ожег его, словно от безмятежной картины собственной силы повеяло предчувствием неминуемой гибели. Слишком образцово выглядел он со стороны, слишком примерно, чтобы это могло хорошо кончиться.

— Ты, Черный, идешь на вылазку? — спросил Коралл, принимая и ставя на колено поданную бутылку. Черный лениво кивнул лохматой головой.

— Сколько вам лет, подхорунжий?

Этот первый вопрос поручик Венява задал, не отрывая взгляда от штабной карты, разложенной на столе; карта с краю была прижата пистолетом в черной клеенчатой кобуре.

В пустой избе, запыленной солнцем, с полом, усыпанным щепками, находился только стол с картой, а за ним, около стены, стояла лавка, на которой сидел поручик. Терпкий запах стружек щекотал в носу.

Венява сидел, упираясь расставленными локтями в стол. Летний офицерский мундир с никелированными пуговицами был расстегнут, виднелась широкая грудь в белой майке. В складках мундира около кармана синела орденская ленточка, о которой говорил Ястреб. Вокруг Венявы все дышало жизнью. Взгляд очень светлых глаз устремился на Коралла. У Венявы было такое загорелое смуглое лицо, что глаза казались почти белыми.

— Вы давно в лесу? — Он кивнул. — Посмотрите на карту.

Три спички лежали с трех сторон вытянутого пятна зелени, соединенного узким перешейком с широкой, бесформенной поверхностью, усеянной колючими зигзагами; посередине пятна чернела обугленная щепка. Коралл не отрывал взгляда от спичек.

— Здесь немцы? — Венява поджал губы. — Это данные разведки?

Пальцами с коротко подстриженными ногтями Венява выгреб из коробки и рассыпал спички сначала по одному, потом по другому краю бесформенного пятна зелени, означавшего бор.

— И здесь попали бы в мешок, — буркнул Венява, — но уже не в этот капкан, — ткнул он указательным пальцем в уголок между тремя спичками. — Нас тут еще не нащупали. Ночью они нас потеряли. Надо сидеть тихо, пока не удастся проскочить.

— Чего мы ждем? — вырвалось у Коралла.

Венява промолчал.

Коралл прислушивался к этой тишине, словно ждал от нее чего-то. Молчание затянулось, но тишина уже не была такой томительной. «Время», — подумал Коралл; он посмотрел в окно — там проносится время, в сухом блеске полдня мчится, приближая решающую минуту. Глядя в окно на раскаленную солнцем землю, он неожиданно почувствовал: время под огненным небом искрой бежит по запальному шнуру.

— Сохранять тишину. — Голос Венявы оторвал его от окна. — Это самое главное до тех пор, пока мы сидим в котле...

Венява, склонившись над картой, облокотился на стол; он поднял голову и быстро оглядел Коралла.

— Сколько у вас патронов?

— Четыре обоймы, пан поручик.

— А гранаты? А как у других? Вообще, как с боеприпасами?

— У других еще меньше, чем у меня...

Венява кивнул в сторону окна.

— Пьют?

Коралл колебался.

— Некоторые, — помолчав, ответил он.

Венява встал с лавки. Он был на полголовы выше Коралла; шагал он упруго, легко поскрипывая сапогами.

— Хорошо делают, — сказал он, отворачиваясь от окна. — Сам бы тяпнул. Если бы не эта чертова жара...

Он заложил руки за спину, под полы мундира, широкая грудь в белой майке дышала ровно.

Коралл чувствовал обаяние его силы. Впервые командир так безоговорочно импонировал ему, внушал такую симпатию и уважение. Даже сомнение: «А что дальше?» — не влияло на это впечатление.

Выстрел раздался прямо за окном. Венява одним прыжком очутился у стола, схватил пистолет. Они ждали. Эхо выстрела погасло. Все было тихо. Прошла минута, прежде чем послышались приглушенные голоса из глубины двора. Венява выбежал первым, Коралл за ним. По деревянным ступеням грохотали сапоги. В память Коралла врезалась картина, как бы вырванная из темноты ночи и вставленная в середину дня, оправленная в сухой, пыльный эфир. На фоне ярко-белой стены овина он увидел человека, обращенного лицом к белым доскам, с высоко поднятыми руками, упершегося опущенной головой и ладонями в эти доски. Сержант Хромой, низко наклонившись, быстро ощупывает карманы его брюк. Посередине двора стоят Сирота и Обрубок с автоматом наперевес.

— Отойди-ка, шеф! — бросает Обрубок. — Сейчас мы этого гада в расход пустим.

— Минуточку, ребята. — Хромой оборачивается и при виде Венявы выпрямляется. — Разрешите доложить, пан поручик, схватили какого-то типа, вероятно, из УПА¹, пытался бежать, я подозреваю, что он — шпион.

Венява с пистолетом остановился в трех шагах от пленного.

— Повернитесь!

Коралл видит бегающий взгляд, худое, темное лицо, темную фигуру, слышит учащенное дыхание этого человека. Резкий, ослепительный свет. В глазах вдруг темнеет, все застилает мрак...

¹ УПА — Украинская повстанческая армия, сотрудничавшая с гитлеровцами.

— Панове, да я же поляк, поляк я...

— Опустити руки! — сказал Венява. — Что ты делал в лесу? Почему убегал? Говори!

— Панове, да я же поляк...

— Гад ты, а никакой не поляк, — произносит Обрубок.

— Что ты делал в лесу?

— Я католик... Матка Боска Ченстоховска...

— Заткнись! Говори, что тебе здесь надо!

— Сколько тебе заплатили? — добавляет Хромой.

— Я дровосек... Шел на работу...

— Где твой топор? Пила?

— Пилы нет...

— Локтем собирался дерево пилить?

— Сержант! — Венява отвернулся и направился к крыльцу, Хромой за ним, Коралл с облегчением вздохнул.

И тут же окрик: «Стой!» — и в тишине разъяренный топот. Коралл запомнил сцену, длившуюся мгновение, отмеренное одной спазмой в груди, мгновение, тянувшееся бесконечно долго, пока замирало эхо взрыва. Он увидел человека, карабкавшегося на высокий забор, отделявший двор от леса; воздух блеснул взрывом, человек покатился кубарем и глухо ударился о землю. Рядом с Кораллом неподвижно стоит Венява с пистолетом в вытянутой руке; над дулом еще синееет дымок.

Через час Коралл открыл дверь той же хаты.

— Пан поручик, вы меня вызывали...

Венява стоит у окна, а за столом у разложенной карты сидит Хромой, держа широкую ладонь на бутылке нежно, словно на детской головке.

— А, пан подхорунжий...

— Закопали его? — Венява отвернулся от окна.

— Так точно, закопали.

— Теперь они уже нам на пятки наступают, — сказал Венява.

— Если бы вы его не убили, они, пожалуй, были бы уже здесь. — Хромой нацедил из бутылки мутную желтоватую жидкость в два выщербленных стакана, протянул их Веняве и Кораллу. — Я — пас.

Коралл выпил, поставил стакан на стол, глотнул воздух.

— Я думаю, что он не был шпионом, — сказал Коралл.

— Но мог быть, — ответил Венява.

Он был из тех, кто от водки еще больше трезвеет и яснее мыслит.

— Мог быть, а?

— Почему мог, пан поручик? — присоединился Хромой. — Он был шпионом. Он же из УПА...

— Ну, неизвестно.

— Да, — сказал Венява, — неизвестно. Известно только одно — он лежит теперь в земле, а это вообще единственное, что бывает точно известно на войне, пан подхорунжий.

— Не в том дело...

— Известно также то, что мы сегодня должны выполнить свое задание.

— Так точно, — подскочил Хромой.

Венява отодвинул рукав мундира.

— Без десяти четыре, — буркнул он и, словно не веря своим глазам, уставился на циферблат часов в кожаном футляре, потом посмотрел в окно. Тень заслонила уже часть двора, на стене избы и на полу, покрытом стружками, также застыла тень. Венява стукнул ладонью. — Когда же, черт возьми, он вернется?

Хромой вышел из-за стола.

— Разрешите идти?

— Хорошо, спасибо.

— Следующий раз я поищу для отряда место лучше, пан поручик. Только бы нам отсюда выбраться. Это место хорошее, но только для кладбища.

Переступая порог, он припал на короткую ногу, как на сломанную рессору. Двери стукнули за ним, известковая пыль задымилась на солнце.

* * *

Коралл очнулся. До него доносится какой-то шум. Но сознание еще спит, должно пройти какое-то время, прежде чем он осмыслит, что находится один, на опушке леса, почувствует тупую тяжесть руки на перевязи, увидит речку, дорогу, вынырнувшую из леса и идущую к деревне, деревню в раннем, розовом солнце, услышит где-то в лесу или за лесом гул моторов,

нарастающий, назойливый и пронизывающий, как жужжание бормашины.

Коралл встал. Без десяти пять. Что-то зашуршало в ельнике.

— Пан подхорунжий! Я же говорил, его надо караулить. Холера!

Иглы царапнули по щекам. Мацек прокладывал себе дорогу автоматом.

— Надо было его караулить! Боже милостивый! Посмотрите! Вы только посмотрите. — Он неудержимо рвался вперед, согнутой рукой с черной крестовиной автомата и всем телом раздирал гущу зарослей и не отвечал ничего, будто не слышал, что кричит ему Коралл, а только раздвигал ветви, как слепой, пока не вышел на поляну, и тут, словно споткнувшись, остановился.

Коралл очутился прямо напротив Венявы, собственно, напротив трупa, ибо та перемена, которая сразу поразила его, могла означать только смерть. Было такое чувство, словно он остановился на бегу у края зияющей черной пропасти. И только секунду спустя Коралл понял, что ошибся. Это не вечное оцепенение последнего «смирно!». Венява выглядит совсем по-другому. Перемена, происшедшая с поручиком, — кощунство: на поручике нет сапог. Коралл видит длинные, плоские ступни в светло-голубых носках с дырами на пятках, сквозь дыры — пожелтевшую кожу. Видит смятые штанины бриджей, между их краями и завернувшимися носками — бледные полосы. Видит изменившуюся фигуру Венявы, ставшего сразу таким родным, и ему кажется, что надругались и над ним самим. Поругано не только это тело, вымазанное кровью и грязью, слабое и беспомощное на уже готовой поглотить его земле. Поруганы и он, и Мацек, и все вокруг.

— Надо было его караулить!

Неясное движение пальцев, склеенных запекшейся кровью, рука шарит в темноте, пытаясь что-то схватить, замирает в воздухе, отравленном кощунством. Коралл потрясен.

— Надо было его караулить... — повторяет Мацек, а Коралл еще не понимает, кого именно — Веняву или Сироту.

— Пойду за ним. — Мацек дернул рукоятку автомата, спусковая скоба резко лязгнула. — Пришибу сукина сына!

Еловые ветки закачались за ним, Коралл крикнул:
— Не догонишь!

— Пан поручик! — Коралл становится на колени, наклоняется над Венявой. Запах крови удушливо вязок, глаза Венявы стеклянисто, матово поблескивают сквозь чудовищную красную маску.

— Поручик Венява!

Коралл согнал двух жирных мух, впившихся в щеку возле уголка губ, где прерывистое дыхание всплывает розовую слюну. Иногда сквозь пленку вспыхивают зрачки, но Венява словно не замечает Коралла, словно высматривает что-то вокруг. Потом его глаза снова стекленеют. Никогда раньше поручик не был так близок Кораллу. Ему были близки эти худые длинные ступни в голубых носках, побежденное тело, штанины бриджей, смятые и сбившиеся на обнаженных лодыжках. Коралла вдруг осенило: этой близости уже не отнять. И еще: что-то надвигается в солнечных полосах между стволами, в утренней свежести, среди птичьих голосов, в приторном запахе крови, в этом лесу, где все отравлено надругательством. Но это чувство гаснет, он снова возвращается к действительности. Он наедине с Венявой, склонился над ним, как над утопленником, которого собственноручно вытащил на берег. У Венявы заострился нос, в груди хрипит и булькает. Коралл захвачен врасплох и немного смущен неотвратимым приговором, волей, более сильной, чем он сам, приказывающей ему до конца противиться этому надругательству.

— Коралл! Коралл! — услышал он из-за елей настойчивый голос Ястреба.

Коралл раздвинул ветви и встретился с испуганным взглядом раненого.

— Венява... Пан подхорунжий...

— Что Венява?

— Венява умер?

— Да что ты... жив...

Кораллу показалось, что Ястреб откинулся всем телом назад, хотя только пожелтевшее лицо, чуть при-

поднятое над грудой тряпья, опустилось на мшистый пригорок.

— Я подумал...

— Нет, держится. Он настоящий мужчина.

— Я все слышал... Мацек не догонит...

— Что ты слышал?

— Уже полчаса прошло. Я не знал, в чем дело. Я думал, что Венява в бреду мечется. И шума большого не было. Не было... Я думал, у Венявы жар. Шума не было. А потом все затихло... С полчаса уже прошло...

— Не волнуйся, — сказал Коралл.

Под краями пилотки, низко натянутыми на лоб и щеки, лицо Ястреба выглядит совсем по-детски — просто мальчик, больной свинкой или воспалением среднего уха.

— Сколько тебе лет, Ястреб?

— Мне? Много. Есть моложе меня. Я уже четвертый месяц в лесу.

Коралл чувствует на себе его настойчивый и, как ему кажется, немного подозрительный взгляд.

— Хуже всего, что он все время без памяти, — говорит Коралл.

Ястреб поворачивает голову, пристально смотрит на траву.

— Не волнуйтесь, он передаст приказ, он не умрет, не передав приказа.

— Хорошо бы, — замечает Коралл. В голосе парня, в повороте его головы — какое-то напряжение; и Коралл добавляет: — Это очень важно для отряда.

— Вы верите, что машина придет? — неожиданно спрашивает Ястреб.

— Машина? — повторяет Коралл. — Что за вопрос? Безусловно, придет.

— И я так считаю, — уверяет Ястреб, — а Сирота подумал, что Ветряк удрал, поэтому тоже сбежал...

— Сирота сбежал, потому что ему сапоги Венявы понравились. И домой его потянуло.

— Ветряк тоже в этих краях живет...

— Ну и что? — вспыхнул Коралл. — Что тебе в голову лезет? Думаешь, один делает подлость только

потому, что другой так сделал? Думаешь, подлость по воздуху передается, как зараза? Разве все такие, как Сирота?

— Нет, пан подхорунжий, я так не думаю, — горячо уверяет Ястреб.

Кораллу становится неловко. «Чего я так наорал на него? — удивляется он. — Конечно, он так не думает...»

— Не расстраивайся, — торопливо говорит он. — Ветряк отличный мужик. Таким, как он, с виду простоватым, всегда удается выполнить задание. Наверняка он уже добирается до явки.

— Если бы у меня ноги были целы, — шепчет Ястреб. — В лесу хуже всего, когда ранят в ноги. Почему вы спрашивали, сколько мне лет?

— Просто так, из любопытства, — отвечает Коралл.

— В сентябре исполнится восемнадцать.

Ястреб освободил из-под тряпья обе руки; одной, пожелтевшей, откинул пальто на груди, другую засунул между пиджаком и свитером.

— Тебе не холодно?

— Теперь мне лучше. Посмотрите, пан подхорунжий, — он подает Кораллу кусочек картона, — это моя невеста. — Он заканчивает фразу тоном плохого актера в роли пажа у трона королевы.

Коралл держит в руке увеличенную любительскую фотографию, помятую, с надорванным уголком. «Знаю я тебя, — думает Коралл, — ты старше его, тебе лет девятнадцать — двадцать; гибкое, хорошо развившееся тело, высокая грудь, ярко очерченная под тонкой блузкой, стройная мускулистая голень, открытая высоко, до круглого колена, когда ты стоишь, поставив одну ногу на педаль велосипеда. Какая ты красивая на фоне цветущих подсолнухов! Разумеется, он к тебе и пальцем не притронулся, он только мечтал о тебе, а когда встречал, то краснел и язык у него заплетался, он двух слов связать не мог; конечно, ты была для него недоступна, у тебя был какой-нибудь здоровенный детина, старше тебя, как полагается, на несколько лет — пан подхорунжий или пан поручик в бриджах и офицерских сапогах, задающий тон на вечеринках... Нет, нет, прости меня, это, пожалуй, не так, навер-

няка, все было иначе: достаточно посмотреть на твое лицо, на чистый открытый девичий лоб, на гордо сомкнутый рот, уловить бесстрашное и благородное выражение глаз; ты вовсе не живешь двойной жизнью, ты — великая награда за героизм, ты — настоящая полька, это ты повелела ему идти туда, где он теперь, он хотел, чтобы ты его заметила, мечтал о блеске восхищения в твоих глазах, хотя бы об одном восхищенном взгляде — и вот теперь он лежит и уж больше не встанет; где же твоя награда? Он сможет убедиться, он убедится, что героизму не нужны награды, героизм обходится без них...»

— Красивая, правда?

Взволнованный голос Ястреба отвлек Коралла от его мыслей.

— Да, — соглашается Коралл, возвращая фотографию. — Скоро ты с ней встретишься...

— Нет, — резко, даже немного сварливо обрывает его Ястреб. — Она в Освенциме.

— В Освенциме, — бессмысленно повторяет Коралл.

Ему хочется еще раз взглянуть на девушку, но фотография уже исчезла в кармане Ястреба.

— Ее взяли в марте, — спокойно продолжает Ястреб. — А я сразу же ушел в лес...

— Понятно.

Не прошло и получаса, как из-за деревьев появился Мацек. Он только махнул рукой. В другой руке на листе лопуха была горсть черники. Из-за его спины показался наголо стриженный мальчик лет десяти; у него под мышкой торчало короткое, обмотанное ремнем бичом кнутовище.

— Я его встретил, когда он за Венявой подглядывал, — сказал Мацек. — Он коров пасет возле леса. А того выродка и след простыл.

Мацек подтянул ремень бессильно свисавшего автомата.

— Ты откуда?

Мальчик пристально смотрит на раненую руку Коралла.

— Он живет где-то на выселках с этой стороны. — Мацек кивком показал на восток. — Я хочу, чтобы он принес жратвы, может, и я с ним схожу...

— Швабы за тобой припрутся. Кто живет на этих выселках? — обратился Коралл к мальчику.

— Эвка, — сказал мальчик, переводя взгляд с руки Коралла на его лицо.

— Ты бы принес нам немного еды?

Мальчик кивнул.

— Хлеба, сальца, — добавил Мацек. — Раздобудь-ка, брат, сала. А если бы еще чего-нибудь покрепче...

— Самогону, — заметил мальчик.

— А ты, брат, хитер, — обрадовался Мацек.

— Смотри только, — сказал Коралл, — не проговоришься никому, что ты нас тут видел. А если где немцы покажутся, так в эту сторону не ходи. Когда они у вас последний раз были?

— Немцы? Вчера были, вечером...

— Много? Что делали?

— Ну, полопотали и пошли.

— Куда пошли?

— Ну... в лес... Сюда...

— Сюда? — забеспокоился Мацек.

— Ага. — Мальчик ткнул кнутовищем в сторону, где лежали Ястреб и Венява. — Тут и прошли.

— Эвка — это сестра твоя? — спросил Коралл.

— Сестра.

— А кто еще с вами? Родители? — Опять Коралл чувствует взгляд мальчика на своей руке. — Отец?

— Тату немцы убили...

Молчание.

— Ну, приятель, двигай, — прерывает молчание Мацек, — принеси, что сможешь...

Мальчуган поворачивается, его остриженная голова исчезает среди ветвей. Мацек уходит за ним.

Солнце уже сбросило с себя розовую кожицу. Коралл чувствует на лице горячие лучи; под безоблачным открытым небом нарастает жара. Рука, как при-емник, улавливает горячие волны воздуха; одна, вторая, третья прокатываются по предплечью. Это еще не боль, но Коралл уже не может думать ни о чем другом. Он осматривает все вокруг, видит насмешливую голубизну низкого притаившегося неба, ощущает, как поет рука. Это, знает он, — начало еще неизведанной боли; как бороться с ней? «Нет, — говорит он себе, — нет... Боли совсем нет...» Он вскакивает, свистит, не-

громко, прерывисто, подзывая Мацека. Мацек — возле Ястреба.

— Я искал воду, — говорит Мацек, — но мне попался только пересохший источник. Я дал ему немного черники.

Мацек поднимается с земли; у Ястреба по подбородку медленно течет лиловый сок. В здоровую руку Коралла Мацек высыпает из лопуха твердые, темносиние шарики.

— Я велел мальчишке принести бутылку воды, — произносит он.

Коралл разминает во рту ягоды, прижимая их языком к небу. Сочная, терпкая мякоть наполняет рот, холодной струйкой стекает в горло.

— Был я на той стороне, — говорит Мацек.

Они оба растянулись в тени под елью, в нескольких метрах от Ястреба, им слышно, как беспрерывно стучат его зубы...

— Едва я перебрался через дорогу, как почувствовал, будто с цепи сорвался. Честное слово, мне хотелось удрать. — Он рассмеялся, покрутил головой. — Где-то здесь недалеко живет ваша мать, да?

— Недалеко, — ответил Коралл, — километров тридцать...

— Под Бялой, я помню, мы там оружие принимали. Отсюда надо бы взять прямо на север, через дорогу и дальше лесом. Я хорошо ориентируюсь. Тридцать километров... до ночи вы могли бы пройти...

— Мог бы, — сказал Коралл, посмотрев на часы. — Полвосьмого. Ветряк уже на месте, в городе...

Мацек ехидно смеется. Развалившись на мху, он раскинул руки, прикрыл глаза, подставив лицо солнцу, загорелые щеки вздрагивают от хохота.

Неожиданно Мацек садится. Он опять весь в тени, резко, рельефно очерченный светом, на его лице обычное детское любопытство.

— Венява не заговорил?

— Он все еще без сознания.

— Ничего он не скажет.

— Временами он как будто понимает, что ему говоришь, только не может произнести ни слова.

— Или не хочет.

— Почему? Что ты плетешь? Почему не хочет?

Мацек пожал плечами.

— У нас был как-то связной; приехал вместе с Априлюсом, первого апреля. Первый раз, честное слово, первый раз я видел такое... — Короткий смешок. — Хромой с ним разделался.

Коралл видит шефа как живого, за столом, в лесной сторожке, расставившего локти на карте, в солнечных пылинках, рядом с Венявой.

— Как разделался? — спрашивает он Мацека.

— В расход пустил... Сначала я ничего не понимал, меня словно заколдовали. Другие тоже лежали на этой поляне, и ничего, никто и глазом моргнуть не успел. Сперва слышу — выстрел. Я лежал в стороне, в кустах; смотрю, а этот, новый, прет прямо на меня; не успел я опомниться — второй выстрел. Честное слово, тогда я первый раз увидел, как смерть на человека налетает, он был шагах в пяти от меня, я видел его глаза в тот момент.

Мацек замолчал, откинул голову, воспоминание исказило его лицо. Потом он добавил:

— Хромой в конце поляны еще целился из винтовки...

— А почему он это сделал?

Мацек передвинулся в тень, глаза его снова весело заблестели.

— Это был первоклассный номер. Он сам привез себе смертный приговор. Зашифрованный приказ ликвидировать его, как доносчика.

— Так, ясно, — сказал Коралл. — Я ничего об этом не слышал.

— До вашего прихода в отряд у нас всякое бывало.

— Но при чем тут Венява? Почему ты сказал, что он не хочет передать приказ?

Мацек пожал плечами.

— Долго он еще протянет? Как вы думаете?

— Не знаю. Если мы его перевезем в больницу...

— Вот именно. Здесь — дело пропащее. Я так думаю: если на тот свет собрался, до приказов ли ему?.. Вряд ли...

— Вот ты о чем... Есть такие, что никогда о приказах не помнят, — Коралл посмотрел на Мацека и до-

бавил: — Говорят, люди не любят уносить с собой тайны.

Мацек потянулся.

— Интересно, что с человеком творится перед смертью?

— Что значит — перед смертью?

— Ну, когда он получит свою порцию свинца. Он небось соображает, что ему конец. О чем он тогда думает? Черт побери, это ведь как сигнал тревоги, самой настоящей тревоги. Это может тянуться долго, как у Венявы, или одну секунду, но дело-то не во времени. Что при этом чувствуют, черт побери? Только боль?

— Это длится всего одно мгновение, — замечает Коралл. Он не смотрит на Мацека, думая: «Храбрец, а с этим примириться не можешь. А кто может?» Коралл поднимает глаза, встречает растерянный взгляд, замечает по-детски пухлые щеки.

— Не морочь себе голову.

Мацек вздрогнул. Коралла тоже словно током ударило. Мацек вызывающе усмехается.

— Я следил за Венявой. Он в сознании... — убежденно говорит Мацек.

— Ты уверен? — спокойно спрашивает Коралл.

Солнце снова заливает Мацека; его голос расплывается в этом маслянистом блеске, медленно сочится сквозь нагретый воздух.

— Я бы предпочел быть в сознании до конца. Разве только...

Слова Мацека заглушает длинная очередь.

Коралл вскочил.

— В деревне...

Тишина заполняет лес.

— Из автомата врезали, — говорит Мацек. Он поднялся и прислушался.

— Это в деревне, — повторяет Коралл.

На краю перелеска Коралла ослепил солнечный блеск, он зажмурился и, чувствуя легкую дурноту, скользнул в тень, опустился на колени за развилстую корягу, на грязный песок, усыпанный чешуйками коры.

— Они уже здесь, — сказал Мацек. Лежа, не меняя положения, он подал Кораллу бинокль. — За мостом.

Коралл сначала увидел пулемет, раскорячившийся на треножнике над придорожным рвом напротив моста, хищно нацеленный узким хоботком ствола на лес, прямо на них. Солнце зажигает искры в полированном металле. Во рву Коралл видит двух солдат: один лежит на откосе, в черной пилотке, надвинутой низко на лоб, в черном мундире с зелеными петлицами, расстегнутом на шее и на груди, другой сидит на камне, подняв колени.

— УПА, — говорит Коралл.

— Сукины дети, даже не маскируются, — с горечью произносит Мацек. — Была бы винтовка — снял бы гада!

— Здесь и немцы, — добавляет Коралл.

У овина среди деревни он видит жандарма с винтовкой, подвешенной по-охотничьи — дулом вперед. Жандарм стоит, расставив ноги, лицом к стене.

— На велосипедах приехали, — вслух размышляет Мацек.

И Коралл замечает еще одного, в покоей на седло фуражке: он медленно вышагивает между строениями; Коралл провожает его глазами, пока тот не исчезает за углом дома. Полная тишина, только в лесу постукивает дятел.

— Это надолго, — добавляет Мацек.

Вокруг дрожит сухое марево. Удушливо пахнет пылью от серого песка и гнилой коры. Блеск слепит Коралла, кажется, что вся равнина в огне. Коралл отдает бинокль Мацеку и теперь не может разглядеть жандармов. Он видит только серые стены, бурые и коричневые стрехи овинов, сады и огороды в густой зелени, но теперь он знает, что кроется в этой неподвижности, в этой голубой, мирной тишине.

— Сюда нам теперь дорога закрыта, — угрюмо отмечает Мацек.

— Надо быть начеку, — говорит Коралл.

— Велосипедистов не больше взвода, — бурчит Мацек. — Эти в лес не пойдут, всегда шоссе держатся... — Он прижимает бинокль к глазам. — Ого, еще один, там, на другом конце деревни, в саду...

Из-под раскидистой вишни в саду, над речкой, выглядывает тупое рыло гранатомета. Ветви, усыпанные ягодами, свисающие почти до земли, маскируют

эту позицию. В бинокль рядом с длинным стволом, поблескивающим синеватым металлом, виден ящик с боеприпасами, из-под полога листвы торчат носки черных сапог.

— Неплохое охранение, — бормочет Коралл.

— Вы так думаете?

— А что?

— Вы думаете, что это охранение?

Коралл пожимает плечами.

— Если бы они ждали налета, — говорит Мацек, — то замаскировали бы боевые позиции.

Коралл молчит.

— Ну и вояки... Всегда одно и то же, — продолжает Мацек. — Конечно, это облава. Они знают, что отряд разбит. Войдут в лес с южной стороны, попытаются спугнуть остатки отряда, погнать под пулеметы.

— Вот-вот, — поддакивает Коралл. — Можно будет переждать в кустах, пока пройдут...

— А с ними как? — Мацек кивает в ту сторону, где лежат раненые.

— Мы же будем с ними, — отвечает Коралл.

Мацек резко переворачивается, ложится на живот, поднимает к глазам бинокль и молча смотрит, вытянув шею. Его неподвижность напоминает неподвижность взведенного курка. Тишина начинает звенеть все отчетливее; сначала Кораллу кажется, что у него в голове зазвучала какая-то злая тонкая струна; только потом он различает, что стрекочут кузнечики в порывевшей траве. Но стрекотание только подчеркивает напряженную тишину, Коралл ощущает ее всем телом; ослепительный блеск синевато-белой полосой мерцает над ними; сухой тишиной веет от земли, от беззвучно застывшей деревушки под ярким солнцем, словно там нет ничего, кроме стен и бурых от копоты стрех; кажется, что вот-вот рыжая змейка огня выскочит и заскользит по стрехам. Но это просто дрожит раскаленный воздух. Высоко в небе парит ястреб. Небо над ним совершенно чисто. Он описывает широкие круги в прозрачной голубизне.

— Исккупаться бы....

— Что?

— Я говорю, прыгнуть бы сейчас в Вислу.

Мацек ложится навзничь, одной рукой прижимает к груди бинокль, другую отбрасывает в сторону, погружает в пыль со стружками, поднимает, переворачивает, сжимает; песок светлой струйкой течет сквозь пальцы, ложась маленьким конусом.

— Я ходил с отцом на пляж под Секерками. Вы знаете Варшаву? Там отлично. Песок белый-белый, ивы почти у самого берега, а вода чистая, не то что в городе. Мы брали с собой крутые яйца и чай в бутылке. Иногда с нами была мать. Но больше всего я любил ходить с отцом. С ним мне никогда не было скучно. Мы лежали в кустах. Над большой рекой ивы пахнут совсем иначе, чем над каким-нибудь ручьем. Иногда там, в ивняке, загорали бабы. Совсем голые. Я за ними подглядывал. Помню двух таких — блондинку с первоклассной грудью и брюнетку... Было о чем помечтать потом, ночью. Мой старик отлично плавал. За неделю до начала войны он выудил из Вислы какого-то типа. Пять раз нырял, а потом буксировал его с середины реки, а когда выволок и положил на песок, оказалось, что тот уже отдал концы. Я тогда первый раз увидел труп... — Мацек фыркнул. — Он был как та голая статуя, что стояла перед Музеем изящных искусств. Знаете? Ну и тяжел же он был... Теперь-то опыт уже есть. Известно, что покойник тяжелее живого. Чудно, правда?

Коралл пожал плечами. «И чего ты так разболтался? — думает он. — Прямо как старая баба, слова так и хлещут, как вода из разошедшегося ведра».

— Интересно, что вы станете делать? — говорит вдруг Мацек.

— Я? А что мне делать?

— Никто вас не упрекнет. Ведь вы тоже ранены...

— Слушай, — говорит Коралл. — К чему ты клонишь? Может, сам удрать хочешь?

Мацек приподнялся, оперся на локоть.

— Куда? Мне и тут хорошо.

— Я вижу.

— Мне в лесу нравится.

— А мне?

— Вам только тридцать километров до дома. И вы ранены. Да я не настаиваю. Я только считаю, что вы

могли бы смыться. Просто я знаю, о чем люди думают в таких случаях.

— Знаешь, да плохо.

— Почему? Последние почести я им и сам смогу отдать. Венява, перед тем как на тот свет отправиться, и мне пароль скажет...

— Одного хотел прикончить, а другого сбежать подбиваешь?

— Сироту я пристукнул бы за сапоги. А вас я совсем ни на что не подбиваю, мне только интересно, что вы выберете.

— Ладно, — сказал Коралл, — брось паясничать. Мацек сел, удивленно посмотрел на Коралла.

— Что значит паясничать? Мне интересно... — Он умолк, прислушиваясь.

Коралл тоже слышал. Откуда-то прорывается рокот мотора. Все яснее нарастает с северной стороны; шум тяжело работающего мотора еще слабый, машина пробивается через песок, мотор запнулся, кашлянул, заурчал более высоким тоном при переходе на другую скорость, теперь гул совсем близко, метрах в двухстах, вероятно, с северной стороны леса или на дороге, пожалуй, в лесу, а может, на этой чертовой дороге, нет, пожалуй, в лесу, да, в лесу; мотор еле тянет на третьей скорости; снова переключил скорость, звучит на все более высоких нотах.

Мацек поглядывает на часы.

— Который час? — спрашивает Коралл.

— Пятнадцать минут одиннадцатого.

Гудок короткий, неуверенный, один раз, другой, словно кого-то зовет.

Мацек подскакивает первым.

— Ветряк!..

Коралл продирается через кусты, ему хочется смеяться, ему легко, ему хочется смеяться над собой, над Мацеком, исчезнувшим в зарослях.

— Не может быть. Для Ветряка слишком рано, — кричит Коралл Мацеку, не веря себе и боясь испугнуть удачу.

Мотор по-прежнему гудит. «Где он, черт возьми?.. Как подать ему знак?» Справа... Да, теперь ясно слышно — справа на этой чертовой дороге, на дороге... Что за чепуха... Его словно обухом по голове ударили.

Мацек остановился, низко опустил голову, и Коралл не видит выражения его глаз.

— Им еще рано, — повторяет Коралл, — они смогут прибыть только в полдень.

Мацек молчит. Теперь слышно, как к гулу первой машины примешивается тяжелый рев.

— Направляются к деревне, — говорит Мацек.

Быстро, почти бегом, возвращаются они на прежнее место.

— Полицейские, — бросает Мацек.

Открытая зеленая машина появилась из-за леса, свет заискрился на высокой антенне, торчащей над круглыми касками, а потом из сосен и елей выполз зеленый грузовик. Видна группа людей в кузове, а на борту машины — несколько полицейских.

— Двенадцать человек, — шепчет Мацек и подает Кораллу бинокль.

В бинокль их ясно видно, расстояние теперь небольшое, метров сто пятьдесят; видно, как они подскакивают на ухабах; руки у них подняты, ладони сплетены на затылке. У одного под носом сгусток крови, кровь размазана по лицу, по шее, оторванный воротник рубашки свисает на грудь.

— Неплохо охраняют, — бурчит Мацек.

Метрах в десяти от грузовика движется «студебеккер», такой же зеленый и клетчатый, как грузовик с полицейскими. На нем торчит на треноге похожий на паука гранатомет.

— Интересно, куда их везут, — говорит Коралл.

— Где-то неподалеку взяли.

— Это не партизаны.

— Партизан на месте в расход пускают.

— Конечно. Но я сперва подумал, не наши ли это...

— Вот здорово было бы, если бы им Сирота попался. Хромовые сапожки немцы тоже не прочь содрать с ноги.

— За него не волнуйся, он уже дома простоквашу попивает.

— А ночью возьмет парабеллум Ветряка и пойдет по деревне милостыню собирать. — Мацек ухмыльнулся. — Вот бы его встретить, уж я бы ему показал.

Машины уже перевалили через мостик, прибавили скорость — грязное облако выхлопных газов рассеялось над лугом — и исчезли среди деревенских строений. Мацек вновь посмотрел в бинокль, увидел реку, глянул направо, в сторону двух домов, и неожиданно его рука дрогнула, замерла.

— Черт, — выругался он.

— Что там? — Коралл взял бинокль.

— Вон, возле белой хаты, — сказал Мацек.

Еще один станковый пулемет на позиции, нацеленный прямо на них, на этот раз с правого фланга, высунул круглое рыло над бревнами.

До одиннадцати часов ничто не изменилось. Было по-прежнему тихо. Воздух тлел между соснами, как головешки. Ястреба уже не трясло, его клонило ко сну, он мучительно искал удобного положения. Венява еще был жив, но не приходил в себя. Мухи роем кружились над ним, садились на лицо, заползали в рот, уши, в нос. Мацек наломал ветвей, соорудил что-то вроде шалаша над головой раненого, а остатками хвои прикрыл голые ступни.

Пахло кровью и гноем. Горячее солнце вытянуло из леса все соки, уничтожило все запахи, кроме запаха гнили. Коралл чувствовал этот запах возле Венявы, запах преследовал его даже тогда, когда он отходил... Потом он понял, что от него самого исходит эта вонь, он наклонился к своей руке, пахнуло тошнотворным смрадом. Он осторожно отодвинул тряпки. Рана выглядела кошмарно. Возле нее все покраснело, отвердело, и если нажать — сочится грязно-красная жидкость. Снова волны боли отдают в голову... Боль совсем не сильная. Коралл старается отвлечься от нее. Напрасно... Когда боль глубоко войдет в тело, с ней уже не справиться.

Вернулся Мацек, пытавшийся найти хоть какой-нибудь след пастушонка. По лицу Мацека ничего нельзя узнать.

— Дело дрянь, — сказал он Кораллу. — Воняет, как от навозной кучи.

С запада лес, вероятно, тоже окружили. Меньше чем в двухстах метрах от края перелеска Мацек обнаружил два пулеметных ствола,

— Они нам неплохой котел приготовили. Даже паренек со жратвой не может сюда пробраться. Послали нас сюда, прямо к черту в пасть, — помотал он головой. — Это даже забавно. Только вот есть до смерти хочется.

Кораллу сейчас не до еды. Во рту горький привкус, Коралл напрасно облизывает пересохшие губы.

— Не пойму, как машина сюда подъедет. Если бы они даже великодушно собрались вытащить нас из этого пекла...

Коралл замялся.

— Машина будет немецкая, люди в немецких мундирах, и мы тоже поедem под видом раненых...

— Черт побери, я готов поверить в силу Любартовского подполья, если это удастся провернуть.

У Коралла вдруг возникают сомнения. Действительно, из-за пулеметов план кажется почти нереальным. А что еще можно придумать?

— Впрочем, — добавляет Мацек, — все возможно. Не такие чудеса бывали. Факт... Я сойду за ефрейтора Шнапса. Только кто станет разыгрывать весь этот спектакль ради двух раненых? Вас я не считаю, ноги у вас целы, можете сами до базы добраться. Я бы отправился на юг, там пока тихо, до наших еще не добрались.

— Интересно, что с отрядом, — замечает Коралл.

— Может, еще встретимся, — говорит Мацек. — Пожалуй, главное здесь Венява, вернее, тот приказ, который он не успел передать.

— Сколько времени можно быть без сознания? — вырывается у Коралла. — Скоро сутки, как мы ждем от него хотя бы словечка.

— Вы считаете, что он без сознания? Если бы хотел, давно бы сказал.

— Глупости!

— Ну уж нет! Пойдем посмотрим, что с ним. — Мацек поднялся. — Пойдем?

— Пан поручик... — Коралл стоит на коленях возле Венявы.

В тени густой листвы блестят широко открытые глаза.

— Я же говорил, — шепчет Мацек.

Коралл стискивает зубы, стараясь не замечать тошнотворной вони, наклоняется как можно ниже, почти к самому лицу раненого. Действительно, ему кажется теперь, что в глазах Венявы есть искорка сознания.

— Скажите хоть что-нибудь. Вы меня слышите, Венява? Не можешь говорить? Ну, хоть глазами покажи.

— Говорит! — резкий шепот Мацека и одновременно быстрая дрожь в груди и движение, вернее, неясное, чуть заметное дрожание губ, слепленных розовой пеной, сдавленное, глухое бормотание.

— Не понимаю, — шепчет Мацек.

— Подожди!

Снова почерневшие губы пытаются что-то произнести, звук обрывается, и уже одними губами, раз, другой: «Пить!»

— Понимаю, пан поручик, — тихо произносит Коралл. — Воды нет. Мы поищем. Где приказ — приказ для отряда?

Они напряженно следят за глазами раненого — напрасно, губы уже не шевелятся, веки полузакрыты; лицо Венявы становится чужим и далеким.

— Он пить хочет, — поднимается Коралл.

— Конечно! Но нам хотелось бы выяснить кое-что другое...

— Надо найти воду, — говорит Коралл.

Он сам ощущает теперь набухшую, сухую горечь в потрескавшемся рту, но слюну проглотить не может, воздух проходит как сквозь кляп.

— Я уже искал, — говорит Мацек, — довольно с меня.

— Теперь я пойду. А с этой стороны дороги ты искал?

— И с одной стороны и с другой. Я порядочно прошел. Надо бы сходить в деревню и попросить у жандармов ведро.

— Ладно, я так и сделаю. Но сначала я пойду за дорогу, немного дальше, чем ты ходил...

Перебежав дорогу, Коралл остановился. Теперь дорога кажется ему шире, чем тогда, когда он увидел ее впервые вместе с Мацеком. Прямая, как стрела, она отделяет перелесок, в котором остался Мацек с ране-

ными, от большого леса. Впрочем, это не дорога, а насыпь под строительство какой-то автострады или стратегического шоссе, — по обе стороны тянутся валы, в ослепительном солнце белеет щебень, облитый известкой.

Деревья вдоль тракта на расстоянии нескольких метров срублены, и только короткие кульяпки пней торчат над разрытою землей. Отсюда виден весь перелесок. Коралл вспоминает участок, на котором остались Мацек и двое раненых, небольшой клин, окруженный со всех сторон немцами. За Кораллом раскинулся огромный лес. Он огляделся — глубокая, иссеченная светлыми полосами полутьма от густых крон обещает убежище. Он еще раз посмотрел на дорогу, блестящую, как рыба чешуя, и тут же заметил, что думает только о себе, а не о тех, в перелеске. На дороге пусто; слева и справа никакого подозрительного движения, ничего не видно, не слышно, только раскаленный песок слепит глаза.

По протоптанной тропинке Коралл не спеша углубился в лес. Несмотря на тень, здесь тоже было жарко и так душно, будто на голову набросили мешок. Какое-то время его окружала тишина, а потом он услышал постукивание дятла, его ритм отдавался в голове и руке, и даже когда дятел замолк, его стук продолжал отзываться в ране.

Вокруг ни следа воды. На подсеченных стволах сосен застыли капли смолы, скатывающиеся в жестяные мисочки. Сухая лесная пыль пахнет смолой. Этим запахом заполнены легкие, когда Коралл перед сном приближает лицо к стене и дышит соком свежих досок. Потом он поворачивается на кровати раз, другой, чтобы проверить ее мягкость, слышит сквозь сон приятный хруст соломы в тюфяке. «Вероятно, у меня жар», — думает он, протирает глаза и прислоняет ладонь к щеке. Щека горячая, но и ладонь горит, все пылает жаром. «Как далеко я уже ушел. Вероятно, с километр. Мне необходима хорошая перевязка, — говорит он вполголоса, — может, врач... Я иду на запад, все время иду на запад...»

Нет ни родника, ни ручья, тропинка ведет теперь среди густого папоротника; края листьев скручены, как помятая бумага, пожелтели на солнце. «Если идти

все время в этом направлении, то до ночи можно добраться. О чем это я думаю?» — удивился Коралл. Он замедлил шаг. Лес тянется на шесть-семь километров на запад, потом надо обойти Чемерки, дальше — поля и снова сарновские леса; через Тысменицу можно перебраться вброд, потом — кладбище, мельница Флисовой, костел... Как хорошо он помнит дорогу. За костелом — напрямик выгоном — в сад. Вишни... Кислая, сочная мякоть наполняет рот, в горло просачивается струйка холодного сока. «Вам только тридцать километров до дома, и вы ранены...» Теперь даже меньше тридцати (он по-прежнему идет в том же направлении), меньше двадцати девяти; каждый шаг приближает к дому, самое главное — отмерять расстояние, метр за метром.

Ночь, он подходит к дому, поднимается на крыльцо. Месяц освещает двор, перед овином видна бричка с поднятыми оглоблями. Скрип деревянных ступенек, ладонь касается железной холодной скобы задвижки, большой палец нажимает на нее, задвижка подскакивает; в дверях — луч света. Коралл потряс головой. Что за черт? Воды нет... Вокруг можжевельник и поле сухого губчатого мха. «Воды здесь не найти. Дальше я не пойду», — говорит он сам себе. «Никто вас не обвиняет, вы сами ранены». Почему он запомнил эти слова? «Интересно, что вы выберете?» Черт! Какой выбор? У меня и нет никакого выбора... Столб раскаленного воздуха придавил голову и плечи; в висках тупо стучит, а потом эти удары отдаются в руке...

Коралл остановился и прислушался. Но жара беззвучна; не слышно ни шороха, только в нем самом нарастает яростный гул. Коралл сел в тени сосны, прислонился спиной к шершавому стволу, подтянул под себя ноги; в руке — тупая боль. Он размотал, положил на мох затвердевшие, ржаво-коричневые тряпки; пальцы еще шевелятся, но уже с трудом. Коралл дотронулся до опухоли рядом с пулевым отверстием; какая отвратительная розово-синяя кайма вокруг раны, стружкой сочится кровь с гноем. Он отогнал от раны жирную муху, она взлетела и снова начала жужжать, сверкая фиолетовыми крыльями. А над Венявой летает целый рой. Как он это выдерживает? «Надо

поверить в себя», — сказал Венява тогда. Когда двери лесной сторожки захлопнулись за Хромым, он отвернулся от окна, и Коралл заметил в его взгляде доверие. «Вы уже участвовали в серьезной операции?» — спросил он, а Кораллу стало неловко, будто его поймали на месте преступления. Он понял, что не дорос еще до задания, которое должен выполнить этой ночью вместе с другими. Ему казалось, что он вдруг остановился, все пошло дальше, а он остался один, не в состоянии двинуться с места. Венява рассмеялся. — Хорошо, хорошо. Храбрецов у нас полным-полно, да? — Он сел за стол, посмотрел на карту и сразу же поднял голову. — Не люблю иметь дело с храбрецами, — снова улыбнулся он, — для такой работы нам нужны умные люди; надо только верить в себя, ничего не сможешь сделать, пока не поверишь в себя, в свою силу».

«Надо верить в себя». Теперь Коралл знает, что это значит. Все оказалось так необычайно просто. В какую-то минуту он почувствовал почву под ногами, неуверенность и колебания вдруг исчезли; он даже не успел подумать, что верит в свою силу, все получилось само собой, он стал совершенно другим; можно вспомнить этот момент, но надо ли, зачем? Он уже всегда будет таким, и больше незачем рассуждать об этом.

Коралл отогнал муху, четыре, нет, пять — кружатся над рукой; тошнотворный запах гноя — начинается заражение. Он быстро забинтовал руку, положил ладонь на перевязь, болит только рука; во всяком случае, заражение пока не распространяется, никакой синей полосы выше раны нет. Отек тоже пока ограничен, но не пойдет ли он дальше? Мать, конечно, заплачется, увидев Коралла. Простыни будут холодить, от льняного полотна повеет свежестью, рядом на стуле какие-то пузырьки, йод, чистый белый бинт, он заснет или будет лежать, уставившись в белый потолок, зная — теперь все, что случится с ним, не зависит от него — и успокоившись от этой мысли.

Коралл встал. Жажда заставила его идти дальше. Тропинка, мягко пружиня под ногами, привела его к дороге; мелкий песок, перерезанный двумя колеями, отражал горячий свет. Лес расступился, открылось лучистое небо, на круглой поляне светились на солнце

рыжие пни, дальше темнел молодой ельник, а за ним там и сям стояли высокие лохматые сосны. Справа лес переходил в широкую долину, темно-зеленую, со светлыми пятнами. Даль, открывшаяся перед Кораллом, поразила его; Коралла охватило радостное чувство освобождения. Глядя на эти просторы, он ощущал, как все в нем рвется вперед: он свободен, может выбрать себе тропинку, которая поведет его туда. «Я спасен», — сказал Коралл вполголоса.

Он стоял лицом к западу, смотрел на лес внизу, на дальние сосны; то, что было перед ним, за той чащей, как будто заговорило с ним. Он не различал отдельных голосов. Перед ним был простор, он чувствовал только запах (так пахнут в жару туи на газоне). Терпкая сладость вишен в саду, смех Ганки — все смешалось. Какие-то неясные воспоминания переполняли душу радостью. Все остальное отошло куда-то далеко-далеко. «Я пошел в лес затем, чтобы туда вернуться», — подумал он, и сам удивился трезвости мысли. — Ну, не глупи, сказал он себе сурово. Но голос прозвучал очень глухо. А почему, собственно? Мацек один справится. Если Венява придет в себя и если ему есть что передать, он скажет Мацеку; если бы машина добралась до них, то Мацек все равно расстался бы с ними и ушел бы в отряд; если их окружают... Мацек разберется в ситуации. Скинет с плеча автомат, дуло прикроет глушителем, наверное, из носового платка... Наклонится над Ястребом, сдвинет пилотку на глаза... «Нет! — резко оборвал он себя. — Я вернусь туда, ведь я вернусь туда...» Кому он это говорит? Кого хочет убедить? Кому нужно, чтобы он возвращался? Кто ждет ответа? Никому он не поможет. А может, достаточно отвернуться; это ведь не трудно — забыть... Все равно он им не поможет. Никто об этом не узнает, кроме Мацека... «Интересно, что вы выберете?» Все-таки выбор есть. Если можно отвернуться...

Он осмотрел зеленый склон, распахнутый навстречу небу, залитую голубым светом даль между соснами. Ему показалось, что все уладилось, а вернее, что все может уладиться. Коралл услышал сердитое цокание: рыжий клубочек промелькнул, шелестя, по стволу сосны, повис в вышине, высунув острую мордочку; зло загорелись черные бисерные глазки; снова

обрушились на него какие-то пискливые ругательства, белка подскочила, рыжий хвост мелькнул на солнце и пропал в хвое. Коралл широко улыбнулся, но потом улыбка медленно исчезла. За поляной над разбросанными соснами, не очень высоко, так, что видно было его светлое пестрое оперение, кружил ястреб; вероятно, тот самый, которого они с Мацеком заметили на краю перелеска. С высоты он, вероятно, наблюдает в эту минуту и за Кораллом, сидящим под деревом, и за Мацеком, там, возле пня, видит пулеметы, деревню, грузовики, жандармов, ломающих в саду ветки вишен. Ястреб пролетел, на солнце блеснул белым из-под острых крыльев. Небо дрогнуло, разрезанное черным зигзагом. Ястреб опустился ниже, выровнял полет и поплыл над лесным склоном; он медленно снижался, постепенно уменьшаясь, словно его поглощал резкий свет. Теперь он был, пожалуй, неподалеку от западного края леса.

Надо только отвернуться, смотреть в другую сторону... Не помнить о том, что осталось за спиной... Ведь выбор есть... В этом же свобода... Прежде всего надо забыть... «Но ведь это свинство — отвернуться от них. Просто свинство», — повторил он вполголоса. Никакого отклика. «Это подлость, а не свобода, — пытается он еще раз подавить радостный голос, зов оттуда. — Но почему? Зачем? Не знаю. Нет точного ответа... Я совершенно один. Но ведь я не сделаю этого... надо бы решиться... нет, не могу, не переступлю границу...» Коралл посмотрел через поляну на противоположную сторону, ему показалось, что этот водоворот солнца между соснами и есть, собственно, граница: если ее перешагнуть, то уже не остановишься. Отсюда, из-под куста, где он сидел в тени, пахнувшей ягодами можжевельника (твердая ягода, растертая в пальцах в зеленый порошок, выделяет травяную горечь), Коралл глядит на поляну, в глазах у него начинает темнеть от яркого света, веки жжет. Глаза сами собой закрываются, голова падает на грудь; он поднимает голову, солнце снова ослепляет его, жара прижимает к земле, ноги в сапогах чешутся, словно муравьи по ним ползают, пистолет давит на ребра, под горячим железом рубашка приклеилась к телу, пот стекает по животу. Коралл вынул пистолет из-за ремня, положил его ря-

дом на мох, голова снова сонно качнулась; шорох леса отгоняет мысли, шуршит не только в голове, но и в ногах, в груди, в плечах, покой убаюкивает его. «Я сейчас, сейчас вернусь, только полежу минутку с закрытыми глазами». Коралл погружается в какую-то мягкую темноту; боль отступает, она отрывается от него, но не исчезает, а повисает над ним, отсчитывая секунды; они одна за другой чуть касаются его сквозь непроницаемый слой. «Вы все же вернулись», — говорит Венява. В избе жарко. Венява за столом сидит в мундире, застегнутом на все пуговицы, на груди португеля, ремешок от бинокля, на шее плетеный шнур от пистолета. Венява печально смотрит на Коралла. Кораллу грустно и стыдно, здесь произошло что-то, чего Венява еще не знает, что-то кошунственное. «Наконец-то вы вернулись. Я ждал вас, чтобы передать вам приказ для отряда». Без глупостей! Коралл замечает двоих мужчин, стоящих у окна; он узнает Хромого, тот подходит к столу. «Встать!» — приказывает он. Венява послушно встает, но тут же бессильно падает на стул. Хромой склоняется над ним, оборачивается, приседает. Венява обхватывает его шею. Хромой встает, и Коралл видит беспомощные ноги, свисающие за спиной сержанта, как гири; он не может оторвать взгляда от ступней в голубых носках с большими дырами, в которых видна желтая кожа.

— Пан поручик, — Коралл с трудом подавляет рыдания.

Но вместо ответа раздается резкий смех. Только теперь Коралл замечает, что солдат у окна одет в серо-зеленый мундир вермахта, с орлом и серебряными ромбами; в руке он держит парабеллум, смеется, нажимает на спуск; огонь вспыхивает над дулом.

— Ах, так! — кричит Коралл, хватается за руку, и тут же боль пронзает его.

Коралл подскочил: от света и боли он не понимает, что с ним происходит; спустя какое-то время он обнаруживает, что стиснул ладонью раненую руку. Он разжимает пальцы и смотрит, как свежая кровь просачивается через тряпки и расплзается по ржавым подтекам бледно-розовым пятном. Неожиданно, придя в себя, он чувствует, что кто-то глядит на него. Он поворачивается, хватаясь за пистолет.

— Брось! — раздается в можжевельнике. — Брось эту железку!

У Коралла перед глазами — пыльные сапоги, серые бриджи, порванные на одном колене, между клочьями просвечивает стертая до крови кожа; с плеча свисает дулом вниз короткий кавалерийский карабин; лицо дылды светится капельками пота, на щеках у склеившихся бакенбард темнеют грязные пятна.

— Куда это в одиночку? Милостыню собирать?

Коралл пожимает плечами, засовывает пистолет за ремень.

— А ну, Голубь, присмотрись-ка к нему хорошенько. Не узнаешь?

Их еще двое; один с длинноствольной винтовкой французского образца, тоже по-партизански спущенной с плеча, в солдатском летнем мундире, широко распахнутом на груди, его голова прикрыта носовым платком, два завязанных конца рожками торчат на лбу.

— Присмотрись-ка к нему...

Второй, невысокий, без винтовки, только на животе оттопыривается черный пиджак — пистолет или граната.

— Пожалуй, это не он, — говорит тот, в платке, продолжая рассматривать Коралла. — А впрочем...

— Кто это он?.. — спрашивает Коралл.

— А я подозреваю, — говорит высокий, в бриджах, как бы не слыша Коралла, — припомни-ка, Голубь, такой же френч, а?

— За кого вы меня принимаете? — раздраженно говорит Коралл. — Я...

— Ого, — высокий широко раскрывает глаза, — набрасываешься, а еще не знаешь, о ком идет речь.

— Это не он, тот был, пожалуй, выше, — замечает Голубь, — впрочем, кто его знает, может, и он...

— Отвяжитесь от него, — вмешивается низенький, переступая с ноги на ногу; на нем рваные, серые от пыли парусиновые туфли, — тот, не тот, ничего не поделаешь, зачем тратить время?

— Нет, — обрывает высокий; он как-то сник, на лице его проступила усталость. — Это не он.

Высокий стянул с плеча карабин и сел в тени напротив Коралла,

— Из какого отряда?

— А вы?

— Мы?

— Откуда вы?

— Нас расколошматили сегодня ночью, — говорит высокий мрачно, словно размышляя.

— Вам бы только посидеть, — низенький беспокойно завертелся. — Ребята, чего время тратить...

— Жарко... — скулит тот, что в платке; он дышит тяжело, как насос, его тело блестит от пота, кусок тагуировки, какой-то полосатый удав высовывает хвост из-под рубашки. Коралл вспоминает Априлюса: «Жизнь моя печальна».

— За кого вы меня приняли?

Дылда устало смотрит на него.

— Черт возьми, Голубь, ты чуть было не ошибся, а?

— Я же сразу сказал, надо присмотреться, прежде чем...

Глаза у высокого закрываются, лицо становится неподвижным, видно, как он борется со сном.

— Ищем тут одного, — говорит он сонным голосом, — но не тебя, не тебя...

— Ребята, чего тратить время. — Низенький вырастает между ними. — Длинный, не засыпай, смотри, Голубь, он снова носом клюет... — Он трясет Длинного за плечо.

— Перестань, ну чего тебе? — У Длинного беспомощно болтается голова, он сонно улыбается. — Ну чего тебе, Богун, перестань... — Однако он приходит в себя и внимательно глядит на Коралла. — Вас когда расколошматили?

— Вчера был бой. Но отряд не разбит. Мы пробились...

— Вы здесь засели? В этом лесу?

Коралл качает головой.

— Понятно, только ты один заблудился...

— Я ранен.

— В руку?

— В руку, ты же видишь.

— Слышите, ребята? — Маленький Богун замер с поднятой рукой.

За лесом коротко, отрывисто громыкает.

— Семидесятипятимиллиметровым, танки, — отмечает Голубь; в руке у него колода карт. — Перекинемся разок, уважаемые?

— Давай. — Длинный протягивает руку.

— Чего время терять, — бурчит Богун, садясь на мох возле Длинного.

— Сдавать? — спрашивает его Голубь.

— Поехали... — Длинный отбрасывает две мелких карты и засаленного пикового туза.

— Еще? — спрашивает Голубь.

— Себе...

«Что я здесь делаю? — думает Коралл. — Мне же надо идти». Он представляет себе, как он встанет, скажет: «Ну, привет, держитесь, ребята», — войдет в это пекло, повернется и зашагает... В какую сторону? Куда идти? Я же могу еще посидеть тут, побыть с ними...

— Вы не видали какого-нибудь ручья поблизости?

— Какой там ручей, — говорит Длинный. — Жарища, как в Африке.

— Ходишь? — нетерпеливо спрашивает Голубь.

— Давай.

— Сыграешь? — Голубь сует под нос Кораллу пропахшую потом колоду с серой, полустершейся рубашкой.

— Сыграю, — торопливо соглашается Коралл.

Ему достается трефовая десятка.

— На что играем?

— Сперва мы играли на патроны, — объясняет Голубь, — а теперь их у нас нет, и мы играем на честное слово.

— На честное слово... — ехидно усмехается Длинный. — А ты только что карту подменил.

— Вот я и говорю, — невозмутимо растолковывает Голубь, — играем на честное слово...

Коралл прикупает бубнового туза — очко.

— Довольно, — произносит он.

Голубь со всего размаха бросает четыре фигуры, у него шестнадцать очков, он держит над головой еще одну карту.

— Смотри, — вмешивается Длинный, — опять на честное слово играешь.

— Ну, знаете... — возмущается Коралл.

Голубь похлопывает картой по ляжке.

— У меня очко, — вырывается у Коралла.

— Опять промазал, — стонет Голубь.

— Палят, — бормочет Богун. Он щуплый, одет во все черное, его кудлатая голова на худой шее то и дело настороженно поворачивается в сторону, где над горизонтом друг за другом подскакивают, лопаясь, пузыри грохота.

— Кому-то жару поддают, — замечает Голубь.

«Может, это по нашим, — думает Коралл. — В том же направлении. Они пошли на юг...» Сквозь взрывы пробивается металлический лязг и скрежет.

— Сколько тебе дать карт?

Коралл протягивает руку, прислушиваясь к хлопанью; проникающему в глубь леса. «На дороге», — мелькает тревожная мысль.

— Ну, сдавать? — спрашивает Голубь.

Очередь взрывов сливается в лавину, глухую, но такую плотную, что она совершенно заглушает шум моторов.

— Длинный опять задремал, — замечает Богун. — Эй, Длинный, не спи, — толкает он товарища; тот сидит, опустив голову на руки, упершись локтями в расставленные, высоко поднятые колени. — Некогда, давай собираться...

Длинный встряхивается, словно только что выскочил из воды.

— Как слышу такой шум, так меня в сон клонит, — дружелюбно улыбается он Кораллу. — Ей-богу, Голубь, смотри, мы его приняли за того подлеца, а это свой парень. Его можно с собой взять. Как вы думаете?

— Конечно, — соглашается Голубь.

Коралла вдруг осеняет.

— Я не один, — быстро говорит он, — в перелеске, за трактом, с той стороны, еще двое раненых, ранения тяжелые; я пошел поискать им воды. С ними еще один парень; можно сделать носилки из елей, вас будет четверо, я тоже понес бы на смену с кем-нибудь, правой рукой я смогу, мы забрали бы их с собой, а?

— Подожди, подожди. — Длинный широко открывает глаза. — За трактом, говоришь? Мы ведь там проходили...

— Они ближе к деревне лежат, с северной стороны. — Коралл вскакивает, он радостно возбужден.

Длинный ладонью трет вспотевший лоб.

— На этом тракте швабы крутятся, — говорит он.

— Наплевать на швабов, — обрывает Голубь, запихивая карты в карман.

Маленький Богун стоит возле Длинного.

— Пан взводный, нас ждут. Нам некогда.

— Да-а-а... — тянет Длинный.

— Некогда, — кривится Голубь. — Куда мне спешить? Бегать, пока ноги несут? А там наши ребята лежат...

— Я еще подчиняюсь приказам, — говорит Богун.

— Ну и подчиняйся, — ворчит Голубь.

— Вон, слышите? — Длинный вытягивает шею. — Это на тракте...

Снова среди отзвуков канонады до них доносится шум мотора.

— Проедут, и все, — прерывает Голубь.

— Конечно, проедут, — горячо поддерживает Коралл, — проедут, и можно будет перебраться.

— Ну, ладно, а куда мы их понесем? — спрашивает Богун. — Мы ведь идем в леса, опять на задания. Ваш отряд их оставил, а мы куда их понесем?

— Вот именно, — добавляет Длинный, — куда?

Коралл молчит. Все возбуждение сразу погасло. Велява умрет на таких носилках через сто метров. Действительно, куда их можно нести, сейчас, днем, когда вокруг полно немцев? Кроме того, он вспомнил про машину. Что он, собственно, хотел сделать? Кого спасло бы такое решение? Еще одна неразрешимая, запутанная проблема затягивается тугим узлом.

— Конечно, — говорит он. — Вы правы. Ничего не получится. Ладно...

Они смущенно уходят. Только Длинный бросает громко: «Держись!» Когда они уже исчезают за деревьями, кто-то возвращается. Это Голубь, он подбегает к Кораллу, говорит ему: «Возьми-ка-ка», — сует в руку мешочек с чем-то тяжелым и сыпучим, и вот его уже нет. Только шелестят ветви, задетые длинным стволом винтовки, да мелькает в зелени носовой платок.

Коралл развязывает бечевку. Полотно пропиталось потом, ладони становятся липкими от сахарного песка,

но во рту сахар расплывается сладким соком, становится немного легче. Над Кораллом все тот же грохот, он далеко, но отдается в голове и в руке. Снова проклятая рука, сколько это еще протянется. С меня довольно, господи, как все сложно, запутано; к черту, не буду ничего распутывать, и не подумаю, с меня довольно. Солнце шпарит, как сквозь кошмарное зажигательное стекло. Только здесь так шпарит, скорее выбраться отсюда; какие-то сухие заросли вереска, стружки под ногами, все время стреляют, стреляют. Хорошо, когда все позади — не стрельба, а решение — наконец-то свободен. Свободен? Как легко! Свобода — это прекрасно! Свобода и есть принятое решение, наконец-то все решено, наконец...

Пройдя поляну, Коралл остановился. Он был весь залит потом. Сел под деревом. «Я это сделал, — подумал он, — господи, так я это сделал...» Ему было тяжело. Он вспомнил свой недавний разговор и понял, о чем он должен был их попросить: не нужно было никуда тащить Веняву и Ястреба, надо было только попросить перенести раненых на эту сторону тракта. Как это ему не пришло в голову? Не пришло в голову? Артиллерия по-прежнему громыкает, семидесятипяти-миллиметровым, танки; тяжело прокатывается пулеметная очередь, нет, это скорострельная пушка; в самом деле, может, бьют по ним. Надо быстрее идти, мне нужен врач, наверняка уже началось заражение, я должен торопиться... Непреодолимая тяжесть придавливает его к земле (усталость?), он не может справиться с вихрем мыслей. Временами это просто паника. «Я не могу смириться с тем, кем я теперь стал. Я опять такой же трус, как два дня назад, как месяц назад, как в детстве; я хотел бороться с трусостью, думал, что в одну секунду можно переродиться, мне казалось, что это — в человеке, во мне, что если хоть раз блеснет такая искра, то уже ничто не лишит меня силы. Что же осталось? Что осталось? Это не был самообман, я действительно был спокоен, я знал это, а теперь все кончено, я сам себя лишил этого спокойствия; я сказал Ястребу: «Думаешь, подлость по воздуху передается, как зараза? А ведь зараза тут ни при чем, это поднимается во мне самом, и никуда от этого не деться».

Сильный взрыв потрянул землю; отзвук его еще висит в воздухе, медленно опадая, а над ним уже визжит бешеная пила. Самолеты. Если это по ним... Априлюс, Томек... Тупые удары по-прежнему долбят горизонт.

* * *

На первый выстрел никто не обратил внимания. Коралл его тоже не понял. Только когда после короткого — на один вздох — затишья со всех сторон посыпались пулеметные и автоматные очереди, люди закружились в бешеном водовороте, бросились к дверям и окнам. Коралл схватил винтовку и вылетел из дома. Воздух над ним наполнился протяжным, резким свистом, бежавший рядом Мундзя выстрелил не останавливаясь, еще кто-то пальнул, потянуло порохом, и Коралл, хотя и не видел перед собой никого, нажал на спуск. Его захватили скорость, бег, грохот, пороховой запах, усиленные в его восприятии в миллион раз.

— Давай за дорогу! — крикнул Томек.

— Ладно... — Он хотел еще что-то добавить, чтобы выразить свое возбуждение, но тут пуля мякнула над ним пронзительно и так низко, что он упал на землю, вжал голову в мох и, слыша сквозь лай выстрелов оглушительный переполох своего сердца, подумал, что это все-таки не игра. Он с трудом встал, побежал пригнувшись и шагов через десять — пятнадцать опять растянулся. Подняв голову, Коралл заметил, что он один, что вокруг, между кустами можжевельника, нет никого; оглянувшись на домик лесника, он увидел рыжее пламя, скакавшее по крыше, как белка. Коралл бросился вперед, и тут же по небу пронеслось шипение, словно воздух выходил из огромного проколотого пузыря; слева перед ним с грохотом рванулся вверх столб черной пыли. Опять оглушительный свист прижал Коралла к земле, он посмотрел вверх, ослепительный блеск и взрыв, на этот раз не внизу, а над деревьями, опрокинул его; послышался шепелявый стук шрапнели по ветвям и стволам.

Падая и вскакивая, Коралл добежал до края перелеска. Он заметил неподвижную руку с растопырен-

ными пальцами; изо всех сил вжимаясь в песок, он все время видел перед собой скрюченные мертвые пальцы; тело было скрыто можжевельником. Но именно эти пальцы поразили его. Руки у Коралла дрожали, губы тряслись, каждый раз, когда пуля распарывала над ним воздух, дыхание останавливалось. Неожиданно он услышал голос, уверенный, сдержанный, перекрывающий стрельбу:

— Ко мне! Отряд, ко мне!

Двумя перебежками Коралл преодолел десять с лишним метров и увидел Веняву. Поручик был аккуратно одет, в пилотке, в застегнутом мундире, с перекрещенными ремнями, в руке — пистолет, вокруг него стояли партизаны. Венява посмотрел на Коралла, кивнув головой, спросил: «Это вы?» — «Так точно, я», — ответил Коралл. И действительно, только теперь осознал, что он — это он. Из перелеска выбегали остальные, собралось более десятка. «Ко мне!» — повторял Венява. Отсюда была видна дорога, за нею — глубокий гравийный карьер, дальше — широкая полоса вырубок, а метрах в ста от нее — стена леса.

— В лес — перебежками... — начал Венява.

И тут перелесок загремел. В свисте и грохоте до Коралла долетел прерывистый стон. Падая, он увидел Хромого: тот, скорчившись, сидел на земле, обхватив живот руками.

— Огонь! Огонь! — кричит Венява.

Коралл стреляет, стреляет, оглушенный грохотом, видя перед собой только кусты можжевельника и ельник.

— По одиночке — к карьору, не в лес, к карьору! — кричит Венява. — Отходить!

Венява стоит на коленях возле Хромого, одной рукой поддерживает его голову, в другой — чернеет пистолет.

Как Коралл добежал до карьера? Он очнулся здесь, весь пронизанный безумным, бесконечным звуком; скатился в яму, оглушенный и ослепленный взрывом, блеснувшим перед ним и швырнувшим его на землю. Коралл сидел на дне, вытряхивал песок из-под рубашки и из карманов бриджей и смотрел на откос, по которому сыпался гравий из-под ног партизан. Потом встал, грохот умолк, раздавались одиночные

выстрелы, и коротко прострочил пулемет. Коралл вскарабкался на край откоса, рядом стоял Аполлон с ручным пулеметом.

— Валяем дальше?

— Стреляй! — крикнул Коралл.

Из перелеска выскочил Венява и еще кто-то. «По линии! По всей линии!» — перекрикивал Венява пулеметную очередь.

Венява и Мундзя с разбегу, сидя, съехали на самое дно ямы. Пули прошивали теперь воздух так часто, что нельзя было поднять голову над краем откоса. Венява влез наверх, встал рядом с Аполлоном; пилотки на поручике уже не было.

— Стрелять только в цель! Сколько у тебя патронов? — крикнул он Аполлону.

— Два магазина.

— Что с Хромым, пан поручик? — спросил Коралл и заметил, что кричит изо всех сил, хотя Венява стоит рядом с ним.

— Погиб.

— Сечкобрыка отрезали! — крикнул кто-то слева.

По ту сторону карьера поднялся дикий шум, один за другим загремели, сливаясь, взрывы гранат. Коралл подтянулся и выглянул. Он увидел молодой ельник у перекрестка дорог, окруженный вспышками, кто-то дернул его за брюки — укройся! И вдруг в этом узком поле обзора появились бегущие к лесу фигуры в касках и зеленых мундирах. «Немцы! — заорал он. — Стреляй! Стреляй!» Ручной пулемет Аполлона загремел у него над ухом. Немцы опрокидывались, падали за дорожной насыпью. Коралл выстрелил раз, второй, целясь в кучу камней, где присел один из этих негодяев. Взрыв снова швырнул Коралла вниз. Он поднялся, опустошенный, в голове гудело; в затуманенном сознании билась лишь одна мысль: «Надо отстреливаться», и он тут же полез наверх, выплевывая набившийся в рот песок. Сквозь свист, сквозь полуявь он почувствовал на себе пронизательный взгляд Венявы. Тот спросил его, не ранен ли он. Коралл покачал головой. Венява приказал ему остаться в карьере вместе с Аполлоном и Мундзей, прикрывать ручным пулеметом отступление остальных, а когда последний доберется до леса, бежать за ними.

Венява отвернулся и сделал знак рукой; партизаны по одиночке стали сбегать с откоса.

Они трое — он, Аполлон и Мундзя — переглянулись. Аполлон усмехнулся:

— Ни хрена нам не сделают...

Когда же наступил этот момент? Был ведь все-таки такой момент, когда он понял, что теперь ему уже ничто не грозит, замечательный момент, когда он, заглянув в себя, не нашел ни тени страха, а заметил какую-то неизвестную ему гармонию во всем окружающем. Этот момент предшествовал решающим минутам, когда немцы побежали из перелеска, а он никак не мог справиться с пустой магазинной коробкой, которую заклинило; он хладнокровно раскачал, аккуратно поддел и вынул магазин. Потом все слилось в протяжный грохот; его трясло от пулеметной отдачи, а в нескольких десятках метров перед ним немцы падали, царапали землю, некоторые оставались на месте, а другие ползли обратно к перелеску.

Но все началось именно тогда. Коралл не отступил, как приказал Венява, а продержался в карьере. После того как они отбили атаку, их засыпало взрывом, и, выбравшись из песка, Коралл увидел, что у Аполлона лоб, лицо и грудь залиты кровью, а он бормочет: «Ничего, ни хрена они нам не сделают, это ничего...» Коралл крикнул Мундзе, чтобы тот брал Аполлона и чтобы они бежали в лес, а сам снова вцепился в гашетку пулемета, огляделся и неожиданно перенес огонь на перекресток, где из придорожного рва замаскированный зеленою гранатомет бил по взводу Сечкобряка, окруженному в молодом лесочке.

Был же такой момент! Коралл словно остановился на миг; земля под ним и вокруг него, гравий, сивые лишайники, деревья, синева неба и запах пороха предстали в какой-то пронизывающей гармонии; краски, звуки, запахи стали резче, острее, гравий — горячее, синева — гуще, отлетавшие рикошетом пули свистели пронзительнее, а он сам, такой, каким он себя вдруг увидел, свободный от позорного страха, сросся с этим миром и в то же время так отчетливо выделялся, словно именно в тот момент появился на свет.

И вот он опять такой, как тогда. Это не было мимолетным впечатлением; он так же спокоен, в нем та же

стойкость, которая хоть и изменила ему ненадолго, но, однажды завоеванная, живет в нем и ни при каких испытаниях не покинет его. Нет, не в этом дело; он сам не может предать того, кто стоял у ручного пулемета в карьере, стоял и вел огонь, пока не пробил дорогу взводу Сечкобряка.

Скорее. Небо уже потускнело, и теперь от земли поднимается теплый, сухой угар. И еще одно: если поступить так подло, тот момент будет зачеркнут, станет каким-то низким обманом, даже все те люди будут нереальными тенями.

Пушки умолкли. И моторы затихли... Венява ведь смог... «Венява добил Хромого», — Мундзя бросил эти слова между двумя пулеметными очередями. Такое нужно брать на себя. Все надо брать на себя. Или взять на себя все, или все предать... Нужно брать на себя все... Скорее... Сколько времени ушло на эти терзания? И далеко ли он углубился в лес? Между кронами сосен почти перпендикулярно пробиваются порозовевшие полосы света; внизу уже ползут тени... Тишина. Ни выстрела, ни звука мотора, все затихло; лес дышит тишиной, только слабый треск под ногами и шелест задетых ветвей. Когда Коралл выбрался из ельника, он увидел зеленые грузовики на дороге и жандармов в касках. Они стояли метрах в ста перед ним. Безбрежная, невероятная тишина лишила смысла все происходившее, на мгновение загипнотизировала Коралла, вышедшего прямо навстречу опасности.

Было все так же тихо, когда он, лежа за кустом, рассматривал три пустых грузовика, неуклюже покосившихся набок на краю дороги, жандармов, редкой цепью, с интервалами в несколько метров, стоявших спиной к лесу. Тихо. Коралл понял, что произошло. От напряжения стучало в висках, из перелеска не доносилось ни звука. «Мацек, Мацек, Мацек! — билось в нем. — Я не хотел этого, боже, — повторял он, — Мацек...» Он уже знал, что все кончено. Эта тишина могла означать только одно — он опоздал. Конец, на этот раз все...

По-прежнему была тишина. Жандармы уже выглядели совсем обычно; тот, что стоял напротив Коралла, чуть расставив ноги, с винтовкой наперевес, держав-

шейся на ремне, то и дело поднимал согнутые руки, разминаясь.

Коралл мог только смотреть и слушать... Он встал и под прикрытием кустарника дошел до того места, где кончался перелесок, заметил гранатомет во рву, нацеленный на лес, и вторую цепь жандармов. «А может, ему удалось проскользнуть?» — подумал он о Мацеке. Когда Коралл вернулся в ельник напротив грузовиков, из перелеска высыпали жандармы с автоматами и люди в черных мундирах с винтовками, над которыми поблескивали плоские лезвия штыков. До него доносились обрывки лающей речи. Зарычал включенный мотор. Они карабкались по колесам и прыгивали в кузова грузовиков. Некоторые снимали каски, вытирали пот со лба. Они никого не несли — никого. Что это значит? Все вышли из леса, никого больше не было. Что это значит? Их нет в живых... А может, их вытащили с той стороны? Первый грузовик тихо пополз по песку.

Уже наступили сумерки, когда Коралл вошел в перелесок. Тишину нарушали только его шаги и громкое, прерывистое дыхание. Чем ближе Коралл подходил к месту, где лежали Ястреб и Венява, тем медленнее он шел; он раздвигал еловые ветви, оглядывался вокруг, ища каких-нибудь следов борьбы. Но ничто не изменилось, все было, как и раньше. А может, их не нашли, может, прошли стороной, может... Он побежал. Это здесь, он узнал ель, за которой лежал Ястреб. Коралл остановился, потом медленно приблизился, прислушиваясь.

— Ястреб... — повторял он. — Ястреб...

Молчание. Он только отодвинул ветви и сразу все понял, а сделав два шага, представил, как это произошло. Он прошел к Веняве. Та же неподвижность, молчание... Коралл остановился в нескольких метрах от тела. «Конец, конец». Только это слово стучало у него в голове. «Теперь я свободен», — сказал Коралл сам себе. Услышав шорох за спиной, он повернулся, рывком вытаскивая пистолет.

— Ты здесь, Коралл...

— Мацек!

Мацек стоял перед ним; в душном полумраке взгляды их встретились.

— Ты вернулся, Коралл...

— Как видишь...

— Он умер раньше... — быстро сказал Мацек, кивнув в сторону Венявы.

— Раньше?

— Прежде, чем все это началось. Ты был прав, Коралл, он все-таки пришел в сознание.

— А ты как отсюда выбрался?

— Она меня вывела.

Коралл увидел девушку в светлом платье и рядом с ней мальчугана с коротким кнутовищем в руке.

— Он уже был здесь, — сказал Коралл.

— Мы проскочили под самым носом у этих сукиных сынов, да, Эвка? Главное — знать местность...

— А Ястреб? — спросил Коралл.

— Ястреб?

— Ты видел, что они с ним сделали?

— Нет. — Мацек поморщился, его передернуло, он уставился на Коралла жестким, откровенным взглядом. — Они ничего не могли уже с ним сделать...

Коралл опустил глаза.

— Понимаю, — сказал он. «Насколько же легче, я не рассчитывал на это, не мог рассчитывать...»

— Хорошо, что ты вернулся, Коралл, — повторил Мацек.

— Теперь это ни к чему, — выкрикнул Коралл. — Мацек, я не убегал, ты мне веришь?

— Ну-у-у, — протянул Мацек, — раз ты здесь...

— Ты думаешь, я все это время прятался в кустах? Я возвращался, Мацек. Я слишком далеко забрался и не успел, просто не успел...

— А что бы ты тут делал? — буркнул Мацек. — Тут работы было немного.

— Но я хотел вернуться...

— Ты все равно не смог бы ничего сделать...

— Я хотел взять это на себя. Поверь мне.

— Ладно... А я разве что-нибудь говорю?

— Можешь.

— Нет, — оборвал его Мацек. — В лесу святым не станешь... — и добавил: — Почему бы мне не верить тебе?

Он сказал это так искренне, что Коралл сразу замолчал.

— Черт бы побрал эту войну, — заговорил снова Мацек, лицо его исказила гримаса, казалось, он вот-вот расплчется.

— Черт бы ее побрал, — повторил Коралл с сердцем, — ты прав.

К ним подошла девушка, мальчуган все время держался за ее платье.

— Пойдем, — сказала она, — ночью приведу своих товарищей, мы выроем могилу.

— Поставьте хоть какой-нибудь крест, — попросил Мацек. — Поручик Венява, кавалер ордена Виртути Милитари, и партизан Ястреб, семнадцати лет. Больше мы ничего не знаем, да?

Коралл покачал головой.

— Венява пришел в себя перед самой смертью, — рассказывал Мацек. — Хорошо, что ты вернулся, Коралл. — Он протянул руку. — Покажи свой пистолет.

— Зачем?

— Не понимаешь?

Коралл пожал плечами, вынул пистолет из-за пояса.

— Он с секретом. — Мацек взял пистолет, хлопнул ладонью по ребристой рукоятке. — Хитро придумано... Внутри должно быть кое-что для нас...

— До свиданья, Эвка!

Пожатие маленькой сильной руки, а на щеке — легкий поцелуй, и близко-близко — темные глаза.

— Я вернусь, — говорит Мацек. Он наклоняется с воза, обнимает и прижимает к себе девушку. — Держись, ты еще увидишь ребят Априлюса...

— Пока! — Мальчуган протягивает Кораллу руку.

— Пока, брат!

— Но-о-о! — погоняет сгорбившаяся на передке воза тень.

...Запомни этот дом у леса, запомни этот двор с открытыми воротами овина, запомни этого мальчугана и эту девушку, никогда не забывай этой девушки, которая стоит сейчас посреди дороги; издали еще видно белое пятно ее платья.

— Ну и ночь, — произносит Мацек, — им будет светло могилу копать...

Воз подскакивает на колдобинах, от каждого толчка рука болит все сильнее.

— Черт поberi, — ворчит Мацек, — смотри-ка, мы так ждали этого приказа, а оказалось — загадка; ты так и не расшифровал?

— Нет, — беззаботно отвечает Коралл, — но это не беда.

— Конечно, — соглашается Мацек. — Кто-нибудь разберет.

— Ну как, хлопцы? — Возница поворачивается к ним боком, виден его острый длинноносый профиль. — Ну как?

— Что «как»? — спрашивает Мацек.

— Тяжело, хлопцы... — Из-под надвинутого на лоб козырька кепки возница смотрит на Коралла, останавливает взгляд на его руке. — Это ничего, — говорит он. — Огнестрельная? Это ничего...

Он наклоняется и вытягивает из-под соломы пыльную поллитровку, осторожно обтирает горлышко рукавом.

— Выпьем?

Мацек поднимает бутылку, лунный свет мерцает в желтоватом самогоне.

— За то, что будет... — говорит он.

— Но-о, пошел...

Конь протяжно всхрапывает, мотает головой, беспокойно стрижет длинными, резко очерченными в лунном свете ушами. Мацек запрокинул голову, поставив ко рту бутылку; вот он отрывает горлышко от губ, передергивает плечами, протягивает бутылку вознице.

— Ваше здоровье, хлопцы, — говорит возница, переводя взгляд с Мацека на Коралла, и торжественно поднимает бутылку. — За польских героев, — говорит он.

— Эх, брат, — откликается Мацек, — героев нет в живых...

Конь все время беспокойно позванивает упряжью.

«Героев нет в живых», — повторяет про себя Коралл.

ЯЦЕК БОХЕНСКИЙ

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЮЛИЙ

(Записки антиквара)

ЖЕСТОКОСТЬ

Часть первая

Хотел бы кто-нибудь из вас стать богом? Дело возможное. Не каждый, конечно, об этом думает, да и не каждому удастся. Но, может быть, угодно вам знать, как это делается? Есть способы. Истории подобные случаи известны. Примеры? Извольте: Юлий Цезарь.

А, понимаю, имя это нагоняет зевоту. Вам бы чего-нибудь поактуальней. Со смерти Цезаря прошло как-никак две тысячи лет. Огромный отрезок времени, вроде стены, через которую нелегко перебраться. К тому же пласты времени, накладываясь один на другой, создают картину крайне однообразную. Не разберешь, что было раньше, что позже. Все — какое-то серое, мутное. Вас отпугивает сплошная эта серая мусть, да и труд. Не придется ли, упаси боже, рыться в старом хламе, не пахнет ли тут латынью да археологией, не предстоят ли, чего доброго, кропотливые труды в библиотеках и музеях? Вам, понятно, неохота в такое дело ввязываться — ну что за удовольствие дышать вековой пылью? Кроме того, вы вправе спросить, а на что вам пример Юлия Цезаря. Может, ни к чему это? Слишком уж досадно было бы, изучив в конце концов историю Цезаря, убедиться, что проделан

труд бессмысленный, ибо эксгумация личностей, так давно скончавшихся, нынче никого не волнует, от всего этого нам, как говорится, ни холодно, ни жарко. Только чертовски устанешь от мешанины дат и событий.

Так вот, страхи ваши напрасны. Всю, на взгляд слишком уж неблагоприятную, работу проделает за вас антиквар, автор нижеследующего руководства для читателей всякого рода божественности. Он, антиквар, сам изучать будет всяческие документы и читать древние латинские, а коль понадобится, то и греческие тексты. Он берется на свой страх и риск справиться и с хронологическими трудностями. Впрочем, он полагает, что в этом деле не следует перегибать палку. По его мнению, важны прежде всего факты и логические связи между ними, а не их последовательность. Поэтому может, например, случиться, что антиквар вначале сообщит о чьей-то смерти и лишь потом, когда появится надобность, расскажет о рождении. Антиквар учитывает требования уважаемых клиентов и не станет вам надоедать мелочами, даже никого ни разу не пригласит в каморку, где сидит один-одинешенек дни и ночи, приводя в порядок свои материалы. Вам он предложит разве только самые интересные, очищенные от пыли экземпляры. А вдруг кто-нибудь да купит? Антиквар, однако же, помнит, что от него ждут чего-нибудь такого, вполне конкретного, а именно — коротко рассказать, что сделал Цезарь, чтобы стать богом. По этому предмету читатели должны получить все полезные сведения. И антиквар постарается по возможности быстрее перейти к сути дела.

Но на тот случай, если кому-нибудь это любопытно, антиквар не будет держать в тайне документы, на которых основывается в своей работе. Конечно, старые эти документы подпорчены и некомплектны. Пользуясь ими, антиквару иногда придется делать кое-какие дополнения. А ежели кто настроен подозрительно, он вправе наблюдать за руками антиквара.

В нижеследующих записках кое-где приводится краткая информация о том, каким образом антиквару стали известны некоторые вещи.

Итак, уже с начала он напоминает вам, что Цезарь сам написал мемуары о войне с галлами. Это произ-

ведение сохранилось до наших дней и доступно даже школьникам — настолько проста его латынь. Антиквар в первый раз изучал его в четырнадцать лет. Ныне антиквар принялся снова штудировать эту вещь, ибо хотел прежде всего выслушать собственные признания человека, чей путь к божественности он будет тут излагать.

* * *

Из чтения явствует, что мост через Родан был разрушен сразу по прибытии проконсула Юлия Цезаря в Генаву. У проконсула были серьезные мотивы безотлагательно организовать уничтожение моста — некоторые вещи надо делать быстро и ни перед чем не останавливаясь.

Проконсул знал: такой случай может не повториться. Значит, надо начать. Ведь ждал годы, а теперь само подвернулось, хотя он предполагал, что это будет выглядеть несколько иначе, и не в Галлии, а в Египте, но что поделаешь, все же лучше, чем ничего. На другом берегу реки, по слухам, жгли города. Поэтому проконсул совершил путешествие из Рима в Генаву очень поспешно. На месте донесения о том, что города горят, подтвердились. Проконсул был слегка взволнован: они на что-то решились, это уж точно, они действительно жгут свои города и уничтожают излишки хлеба. А все-таки жаль, что не Египет. В Египте — там культура. Одних греческих интеллектуалов, дискутирующих на отвлеченные темы, там достаточно, чтобы страна не могла толково провести даже обычную мобилизацию. Да и политиканов хватает, те, разумеется, держатся поближе к корыту и думают, главное, о том, чем бы поживиться. Такие государства рушатся от одного щелчка. А здесь — варвары, но зато у них план, дисциплина, систематичность: горит один город за другим, философов нет, общество примитивное и, значит, способное к сопротивлению. С ними будет сложнее.

Интересно, что в мыслях у такого вот Дивикона. Он будет первым противником Юлия Цезаря. Варвар, ум неотесанный, но какие претензии! Что ни говори, провести целое племя через Галлию, это вам не шутка,

даже если народ не приучен к комфорту. Однако Дивикон отважился, и люди-таки пойдут. Хлеба берут ровно столько, чтобы можно было погрузить на повозки. Остальное жгут. Это должно отрезать им путь к возвращению. Горят не только города, но также деревни и отдельно стоящие хутора. Считают, что там около четырехсот селений. Стало быть, тактика выжженной земли? По отношению к кому же? К самим себе? Бесспорно, это говорит об известной политической прозорливости. Поставить собственный народ в безвыходное положение, и он выкажет способности невиданные. Вероятно, этот полудикий вождь гельветов столь же умен, сколь отважен. Но что он задумал? Трудно предположить, что он двинулся в поход с женщинами и детьми, намереваясь покорить Галлию. Эту фантастическую версию проконсул будет всячески раздувать. Ничего выгоднее ему, конечно, не придумать, стоя тут у моста. Такая пропаганда превосходно послужит его интересам в Риме и собьет с толку галлов. Но этот Дивикон, кем он хочет быть? Посланцем неба? Тем, кто указал путь с гор в плодородные долины? Героем народной песни? Спасителем? Великим реформатором?

Нет, ничем таким бедняге Дивикону не бывать. К сожалению, эти роли, коль уж зашла речь на подобную тему, резервированы для Юлия Цезаря, причем в несколько большем масштабе. Дивикон же пригодится лишь тем, что, ничего не подозревая, устроит небольшое передвижение и даст наконец возможность Цезарю начать. Забавное, кстати, совпадение стремлений. У Юлия Цезаря, римского проконсула, и у Дивикона, вождя косматых варваров, — одни и те же цели.

Весна там, на севере, наступала медленно. В марте еще стояли сильные холода. Погода была для военных действий неблагоприятная, и все произошло в последние недели так внезапно, что Цезарь даже не успел собрать нужное число солдат. При себе у него было войска негусто: всего один легион. Что ж, начнем с ничего. Разумеется, он отдал приказ, чтобы производили вербовку в Провинции, и как можно быстрее. А пока не закончат набор, придется ограничиться своим знанием географии и умением вести дипломатические переговоры.

«Gallia est omnis divisa in partes tres». Вся Галлия разделена на три части. (В будущем мы сделаем, чтобы этих частей было больше, — пусть меж собой грызутся.) Но пока надо принять такое деление: бельги, аквитаны, кельты. Храбрее всех прочих обитателей Галлии бельги, так как живут дальше от цивилизованного мира. Торговых отношений с Римской Провинцией бельги принципиально не поддерживают, идеи и вещи, ослабляющие стойкость духа, доходят до них крайне редко. (Да, это не Египет.) Кроме того, бельги в основном заняты войной с германцами. Но такие же, укрепляющие доблесть, стычки с германцами ведут чуть ли не ежедневно и кельты. А они как раз готовятся к массовой эмиграции. До сих пор сидели, будто в мешке, за реками, за горами. (Они тоже, хоть и живут по соседству с Римской Провинцией, не слишком много импортировали товаров, ослабляющих стойкость духа.) Теперь, видимо, им надоело возиться с германцами, они хотят выйти из своей загородки и поискать лучших земель. Вопрос: каким путем они пойдут?

Догадаться нетрудно. У них есть только две дороги. Первая, через Римскую Провинцию, более удобная; другая, через область секванов, чрезвычайно трудная. Им пришлось бы пробираться между Юрой и Роданом — проход и впрямь тесный. Повозка, на худой конец, пройдет, но только одна — две рядом уже не поместятся. Вывод прост: они будут пытаться перейти через Родан, а затем двинутся на запад по римскому берегу реки. Потому-то проконсул приказал разрушить мост. Но они уже не могут остаться, города-то сожгли. Так что Дивикону, хочет он или не хочет, придется в конце концов столкнуться с Цезарем. Пусть потом кто-либо попробует сказать, что Цезарь не был спровоцирован!

Человеку, которому уже сорок два года, трудно ждать более удобного случая. Когда-нибудь он должен *начать*. Ждать можно, когда тебе лет двадцать, ну, скажем, до тридцати. В этом возрасте нам кажется, что все впереди, настоящая жизнь еще не началась, мы только пробуем. Потом вдруг появляется сознание, что нет, живешь именно этой единственной жизнью, половина которой уже растрочена попусту, и есть

только эта жизнь, другой не будет. Пора начинать, да поскорее. Александр Великий, тот был поворотливей. Он начал раньше. Надо наверстать разницу. Сколько галлов всех вместе? Наверно, миллионов пять. Надо перебить хоть половину, это будет уже кое-что, и медлить с этим нельзя.

Весть о приезде проконсула дошла на другой берег Родана, и вскоре оттуда явились послы. Они попросили у Цезаря аудиенции. Проконсул вступил в эти комичные переговоры с таким лицом, словно впервые слышит о замысле эмиграции. Послы вежливо объяснили, что хотят всего лишь пройти вдоль берега реки и не причинят никакого ущерба. Что это они вздумали? — спрашивал Цезарь. — Идти через Римскую Провинцию? Зачем? Через Провинцию обычно идут в Рим, а ежели кому-то хочется просто прогуляться по Галлии, места там хватит, и незачем залезать к соседу. А куда, собственно, они хотят добраться через Провинцию?

Послы сказали, что в область сантонов, на атлантическом побережье. Там они поселятся. А, это любопытно. Но почему же им не пойти как-нибудь попроще? Они в ответ, что, к сожалению, мол, вынуждены, другой дороги нет. И пошли описывать условия местности между Юрой и Роданом: ущелье, с трудом протиснешься, нависающие скалы заграждают проход, как же провести там огромный обоз! Ладно, — перебил Цезарь. — Незачем долго объяснять. Он понимает. Но ему нужно время на размышление. Если хотят, пусть придут за ответом в апрельские Иды.

Он вовсе не собирался дать согласие на транзит. Но вербовка солдат была еще не закончена. Вздумай гельветы проложить себе дорогу силой, это могло бы им удасться, хоть мост и уничтожен. Ведь на Родане было много легкопроходимых бродов. На таком широком фронте один легион не мог обеспечить оборону. Надо было выиграть время, подавая послам некоторую надежду, и еще до возобновления переговоров укрепиться над рекой, после чего переговоры сорвать. В несколько дней легионеры и новобранцы, которых все больше прибывало из Провинции, соорудили вал и выкопали ров там, где берег был пологий и гельветы могли бы пройти вброд. Разместив небольшие отряды в

умело выбранных местах этого длинного укрепления, Цезарь ждал возвращения послов. Когда они явились снова, он заговорил с ними другим тоном: нет такого обычая и не было прецедента в истории Римского государства, чтобы кому-то позволяли переход через Провинцию. Не будет сделано исключение и для врагов, которые не далее как пятьдесят лет назад убили консула Луция Кассия, а римлян, взятых в плен после проигранного сражения, провели «под ярмом». Вот и все. На силу, буде они захотят к ней прибегнуть, он также ответит силой.

Что теперь произойдет, догадаться было невозможно. Послы ушли ошеломленные. Ночью на Родане показались кое-где плоты. Нашлись и отважные пловцы. Видимо, им там приспичило, раз пытаются пробраться даже поодиночке. Легионеры всех отогнали стрелами, часть утонула. Эти экскурсии довольно быстро прекратились. Охрана перестала докладывать об инцидентах. Зато лазутчики донесли нечто поинтересней: ведутся переговоры с секванами о разрешении пройти через их землю той, неудобной, дорогой. Стало быть, они не намерены вторгаться в Провинцию. Цезарь начал подсчитывать. Сперва будут разговоры с секванами о транзите, затем переброска многих тысяч людей через узкое ущелье: так, на это потребуется время. Можно успеть. Он передал команду над линией фортификаций заместителю и направился в северную Италию (называвшуюся тогда Галлией Цизальпинской), чтобы и там произвести набор уже под личным своим наблюдением. Два легиона он завербовал, три вызвал из зимних квартир в Аквилее. Итак, имея уже не один, а пять легионов, он форсированным маршем вернулся на берег Родана столь же быстро, как уезжал оттуда. Однако теперь он направился в другое место, не под Генаву. Он решил пересечь границу чуть дальше на юго-запад, в среднем течении реки, быстро войти в землю секванов и без лишнего шума, описав по ней полукруг, догнать ничего не подозревавших гельветов. Они ведь могли за это время уже продвигаться в глубь Галлии.

Лазутчики донесли, что именно так и произошло. Пока Цезарь отсутствовал, Дивикон тоже не сидел сложа руки. Три четверти войска он успел переправить

не только в область секванов, но даже через реку Арар, в землю эдучев. Оставшаяся часть как раз начала переправу. Цезарь, никем не замеченный, стал лагерем поблизости. Жечь костры он запретил.

В «третью стражу» — как тогда говорили, — где-то между двенадцатью и двумя ночи, он ринулся на геллетов только с тремя легионами и устроил им кровавую баню в реке Арар. Не готовые к бою, обремененные грузом, они вообще не могли защищаться. Лишь небольшая часть спаслась из этого побоища и укрылась в ближних лесах.

Дерева было вдоволь, и на рассвете проконсул приказал строить мост через Арар.

* * *

Но это всего лишь изложенные в «Записках» голые факты, правдивые, либо правдоподобные. Автор «Записок» не хотел удовлетвориться этим. Ему требовался некий вымысел, необходимый для каждого, кто готовит себя в боги. Поэтому он с самого начала позаботился о том, чтобы факты были достаточно выигрышными, причем во всех отношениях. Уже тогда, весной 58 года, при вступлении в Галлию, он столкнулся с принципиальной трудностью: как оправдать избиение? Ведь штука в том, что в подобных обстоятельствах нельзя избежать резни, так как это не только средство для захвата добычи, но иногда дело само по себе полезное. Могущество человека возрастает пропорционально количеству совершенных им убийств. Потопы и ады были изобретены не зря, они служат государственным интересам бога. Но в обосновании акций такого рода не должно быть и тени утилитаризма. Никакой бог не заявит: я устроил ад, потому что он для меня выгоден.

Правда, в дохристианские времена покорение народов не нуждалось в особых оправданиях. Во всяком случае, никому не приходилось обосновывать его пресловутыми интересами покоряемого. Достаточно было «доблести», которая в латинском языке синоним «добродетели». В дальнейшем войны христиан с язычниками и христиан между собой обычно имели целью обращение в христианство или защиту веры, их пред-

принимали во имя высшего идеала, ради блага противника, а потому, если согласиться с их мотивировкой, суть этих войн состояла главным образом в стремлении оказать благодеяние.

Если бы Цезарь хотел не выходить за пределы общепринятого, он мог бы в «Записках» не упоминать о предложениях агрессивных действий. Однако он счел нужным, хотя бы вкратце, оправдать их. На просьбу разрешить транзит он, мол, ответил отказом, ибо помнил об убийстве консула Л. Кассия, об избиении гельветами его воинов и о том, что их провели «под ярмом». Кроме того, «он полагал, что люди, настроенные враждебно, получив возможность пройти через Провинцию, не удержатся от бесчинств и разрушений». Когда гельветы получили у секванов разрешение и тронулись в путь с намерением осесть в области сантонов, то есть очень далеко от Римской Провинции, Цезарю показалось, что такое, по его мнению, чересчур близкое соседство «людей, настроенных воинственно и враждебных римскому народу, расположившихся на открытой и богатой хлебом территории», угрожало бы безопасности Провинции. Устроил же кровавую баню на реке Аравр он, главным образом, из соображений великодушия. Во время быстрого марша, когда его легионы описывали полукруг, чтобы напасть на гельветов с запада, к нему явились послы галльских племен и молили о помощи. Огромный обоз гельветов при своем передвижении опустошает, дескать, их земли. Гельветы вытаптывают недавно засеянные поля, уводят в рабство молодежь, устраивают настоящие сражения, захватывая деревни: так изображали ситуацию послы. Это были заявления эдуев, которых за четыре года до того сенат признал официально «союзниками римского народа». В таком положении Цезарь «решил не ждать, пока гельветы, уничтожив все достояние союзников, доберутся до земли сантонов». Он двинулся и устроил баню. И что же оказалось? Жертвой внезапной атаки стали гельветы из тигуринской «волости», а именно у этих тигуринов было на совести давнее убийство консула Кассия. Произошло это «либо случайно, либо вследствие нарочитого предназначения бессмертных богов». Цезарь, кстати, «отомстил не только за оскорбление республики, но также

за личное», ибо дед его тестя погиб некогда в том же сражении, что и Кассий.

На этом оправдания агрессии заканчиваются. Всего лишь скудные и осторожные замечания, рассеянные в первых разделах хроники, но сколько в них значения! Захватчик ссылается на историческое право реванша. Позже он больше никогда не мог воспользоваться этим аргументом. Он упоминает о моральных обязательствах в отношении «союзников», которые попали в беду и которым надлежит оказать помощь. Он намекает на справедливость богов, возможно, вмешавшихся в ход событий. Даже разрешает себе признаться в своих родственных чувствах, как бы прося принять их во внимание. Но приведены также резоны практические: угроза Провинции, хлебный район, нежелательное соседство. В будущем он все свои начинания будет обосновывать практическими соображениями. Поэтому стоит обратить внимание на интонацию «я не так прост» во фразе: «решил не ждать, пока гелльветы, уничтожив все достояние союзников, доберутся до области сантонов». Цезарь любил показать, что он не так прост. При этом он следит за собой, чтобы не слишком горячиться. Тех, кто пытается его провести, он изобличает спокойно, деловито, но мимоходом, словно не желая себя компрометировать, слишком ввязываясь в это дело.

* * *

Так что же? — сказал Дивикон. — Война? Римский народ хочет войны? Если да, пусть скажет об этом прямо. Он, Дивикон, пришел, чтобы услышать собственными ушами, чего надо римскому народу. Потому что гелльветы не хотят войны. У них, правда, было намерение идти через Провинцию. Но они не пошли, зато Цезарь вторгся в Галлию и перебил много гелльветов. Разве был повод их убивать? Разве они учинили что-либо против римского вождя? В чем же дело? Может быть, Цезарю не по душе их эмиграция? Он, Дивикон, пришел сюда к римскому вождю заявить, что гелльветы готовы пойти на уступки. Если римский народ заключит с ними мир, они направятся туда, куда скажет Цезарь, и осядут в том месте, которое назначит

Цезарь. Они так сделают, потому что не хотят войны, повторял Дивикон.

Цезарь сразу заметил: варвар пал духом. Он старик. Цезаря еще на свете не было, когда он сражался с Кассием. На склоне лет он предпринял исполинское, если судить по его возможностям, дело, но быстро пал духом, после одной лишь битвы. А может быть, не после битвы? Может, ему достаточно было увидеть мост? Ибо мост на реке Арап был готов. Узнав, что в посольстве будет сам Дивикон, Цезарь нарочно выбрал для переговоров такое место, откуда открывался прекрасный вид на мост. Пусть Дивикон посмотрит на технику римского народа. Как-никак гельветы проторчали здесь двадцать дней, переправляясь на лодках, и то не успели перебросить все войско, а саперы Цезаря навели мост за одни сутки. Когда вождь гельветов глянул в ту сторону, он попытался не выдать своих чувств, но было видно, как это его ошеломило. Приступая к беседе, он весь дрожал. Война? — спрашивал он. — Неужели непременно война? Кто-то шепнул Цезарю, что Дивикону следовало бы стать на колени. Цезарь махнул рукой: зачем? Он и так уже трясется. Но он еще не сломлен, и, даже если станет на колени, вести с ним переговоры нет смысла. Этот галл соглашается на уступки прежде времени.

Старик, будто прочитав мысли Цезаря, вдруг приосанился. Надо ли понимать так, что римский вождь будет продолжать войну и преследовать гельветов, которые ни в чем не провинились? Если да, пусть Цезарь припомнит поражение римлян пятьдесят лет назад. Гельветы умели драться, и то, что тогда случилось, было не к чести римского народа. Позавчера римский вождь напал врасплох на жителей одной только тигуринской «волости» и почти всех перебил. Он, Дивикон, признает, что удар был страшный, но победа-то досталась легко, ох, как легко! Ведь никто не предвидел такого удара ножом в спину, а те, кто раньше перебрался через реку, не могли помочь соплеменникам. Это больше не повторится. Они тоже не дурачки. Римский вождь не может похвастать, что одержал победу как храбрейший на поле боя. И у римского вождя еще нет причины смотреть на гельветов с презрением. Ведь их из поколения в поколение учили другому виду боя.

Их учили полагаться прежде всего на свое мужество, а уж потом на коварство и хитрость. Это говорит римскому народу старый, седой Дивикон. Если будет война, всякое может случиться. Сейчас римский вождь стоит здесь как победитель, он выиграл сражение. Да, выиграл. А Дивикон просит его о мире. Пусть римский вождь вовремя остановится. Вот поле, лес и река, и у места этого пока нет названия, но завтра оно может получить название, и еще неизвестно от чего это название произойдет, — может, оно произойдет от поражения, нанесенного римскому народу, если римский вождь не остановится.

На это Цезарь послу: наглость. Да, да, единственное слово, которого посол заслуживает, — это «наглость». Цезарю тут даже и думать незачем, он отлично помнит некоторые случаи из прошлого, упомянутые послом с такой заносчивостью и в столь оскорбительной для римского народа форме. Но, может быть, Дивикон поймет хотя бы одно: пятьдесят лет назад римляне легко бы избежали неудачи, если бы на них не было совершено предательское нападение. Это на римлян тогда напали без причины, а не на гельветов позавчера. К тому же Кассий погиб не в гельветских Альпах, а на юге Галлии, куда гельветы не имели права вступать. Но, допустим, Цезарь хотел бы предать забвению эти старые проделки. А новые бесчинства? Разве не пытались они вот теперь пробраться через Провинцию тайком, без его дозволения и с применением силы? Он, кажется, серьезно предостерегал, как он ответит на применение силы. Если посмотреть на все их поведение, начиная со злодейского убийства Кассия и до наглых речей, которые только что произнес Дивикон, станет совершенно ясно, что в этих выходках есть последовательность. Нет, гельветы не изменились, они так же коварны, как были всегда, и еще смеют перед ним похваться. Конечно, Цезарь их понимает, тут есть чему дивиться, раз они могут годами нарушать все законы, причинять вред, совершать преступление за преступлением и не несут за это кару. Возможно, они хотели бы узнать, почему так происходит? Что ж, у бессмертных богов есть и такое обыкновение. Часто они позволяют преступникам действовать безнаказан-

но долгое время, часто дают им даже насладиться успехом, с одной лишь целью, чтобы потом большей их проучить внезапной переменой судьбы. Но довольно объяснений. Хотя они — отпетые злодеи, которым нельзя доверять, Цезарь заключит с ними мир, если они дадут заложников. Да, да, заложников. С людьми без чести и совести одного договора недостаточно. Цезарю необходима гарантия, что они исполнят свои обязательства. Кроме того, они должны возместить убытки эдуям и всем племенам, которым нанесли ущерб.

Дивикон минуту молчал. Потом ответил коротко: было не так, как говорит Цезарь. Свидетель тому римский народ. Он, Дивикон, не хотел войны. Но он ее и не проиграл. Заложников он не даст. Не одно поколение гельветов учили брать заложников, а не давать. Свидетель тому римский народ.

Сказав это, Дивикон удалился в свой лагерь. Переговоры, к удовольствию Цезаря, были окончательно сорваны.

* * *

На другой день Дивикон двинулся в путь, не трогая римлян. Цезарь — за ним. Первая стычка закончилась неожиданно. Вспомогательный конный отряд, недавно набранный Цезарем в земле эдуев, ускакал в погоне за неприятелем очень далеко, оказался в невыгодной местности, и *среди наших войск были незначительные потери*. Впоследствии это повторилось еще несколько раз. Дивикон отходил, Цезарь наступал ему на пятки, Дивикон огрызался, Цезарь не одерживал победы.

На пути к божественности бывают тяжкие минуты, когда уже точно знаешь, что, по существу, совершил ошибку, а ошибки быть не может. Этот путь должен выглядеть безошибочным.

Кроме стратегической ошибки, вскоре стал ощущаться недостаток провианта.

Как с продовольствием? — спрашивал Цезарь. — Эдуи должны были доставить хлеб. — Как с фуражем? Оказалось, что здесь, в северном климате, трава растет медленней. Хлеб? Будет, будет, — отвечали эдуи, — еще не подвезли. Так вот оно что! Дивикон отступал и, отбиваясь от Цезаря, уводил его в глубь Галлии, и это становилось все опасней, а тут в

довершение бед не подвезли провианта. Теперь угрожали уже не только *потери среди наших войск*. Могло быть гораздо хуже. Скорее всего кто-то рассчитывал скомпрометировать Цезаря, и сделать это было проще простого.

В такие минуты на пути к божественности требуется присутствие духа. Все можно возместить с лихвой, если дело идет о престиже, а он — важнее всего прочего. Потери убитыми и даже нехватку продовольствия можно компенсировать без материальных затрат, одной только умелой игрой.

Итак, ждать нечего. Подать сюда сановников-эдуев, да побольше, разговор будет начистоту. Явились. Что там с хлебом? Нет, нет, о трудностях доставки Цезарь слушать не желает. К сожалению, идет война, враг в двух шагах, и у Цезаря мало времени. Так что же? Измена? А, это тема не для публичного обсуждения. Это уже другое дело. Ну, ясно, ясно, сановники заботятся о личной безопасности. Они некоторым образом пошли на риск, сказав то, что сейчас сказали. Поэтому будем вести беседы индивидуально и конфиденциально.

Ну вот, отлично, кругом тихо, свидетелей нет, наедине легче говорить открыто. Теперь живей к делу. Кто задерживает поставки? Конкретно, как зовут этого влиятельного человека? Только без уверток, надо указать пальцем на ответственную за все персону. Думнориг? Как? Начальник конницы? Этот князь? Гм, недурно получается, провиант не доставлялся, потому что противодействовал Думнориг. Конница эдуев была разбита, потому что командовал ею Думнориг. Значит, диверсия, сознательная диверсия, сговор с врагом, не так ли? Это логично, круг замыкается. Теперь известно, в чем причина странных поражений. Мы разоблачили предателя. Вывод ясен, и что делать дальше, пожалуй, тоже ясно.

С этой минуты запахло кровью Думнорига. Пусть запах этот носится в воздухе. Сановники здорово бледнели, когда Цезарь по очереди сообщал им об измене Думнорига. Как-то незаметно он перестал задавать вопросы, ничего уже не старался выведать, он сам знал и сообщал. Кое-кто делал робкую попытку сказать слово в защиту. Надо принять во внимание смягчаю-

щие обстоятельства. С Думноригом, говорили они, дело известное, его снедают жажда власти и честолюбие. Этот человек до недавнего времени играл очень важную роль в здешней политической жизни. Когда же на арене появился Цезарь, должны были, естественно, произойти некоторые перемены в образе мыслей, должны были, естественно, взять верх новые ориентации, вследствие чего Думнориг, связанный родством с гельветской аристократией, отошел в тень, а на первый план выдвинулся его брат Дивициак, сторонник политики, какая нынче господствует. Вот подоплека этого дела. Многое здесь объясняется просто завистью, братья соперничают друг с другом за влияние, Думнориг, кроме того, наживался, беря на откуп подати и сдавая в аренду участки, теперь он боится, как бы в изменившихся условиях это не прекратилось.

Цезарь: довольно, довольно, следующий — пожалуйста, прошу покороче, да, да, уверения в вашей лояльности по отношению к римскому народу приняты во внимание, благодарю, следующий, благодарю, этого, пожалуйста, хватит, остается только послать за Дивициаком.

По-прежнему пахнет кровью Думнорига. Дивициак вошел и — в слезы. У древних это было очень принято. Плакали по любому случаю. Стало быть, вошел он, и Цезарь ему этак вежливо: каково мнение Дивициака? Заняться ли этим делом самому Цезарю или общественным органам? Вопрос этот Цезарь задает с полным пониманием чувств Дивициака. Он повторяет: он хотел бы предоставить Дивициаку на личное усмотрение решать, в каком порядке будет вынесен приговор Думноригу. Тайно или открыто? Приватным образом или официально? Что будет лучше?

Дивициак, будто не слыша слов Цезаря и продолжая плакать, только выкрикивал, что все это правда, Думнориг — дрянь, у него, Дивициака, сердце разрывается, но Думнориг — дрянь, пусть Цезарь, ради богов, не делает с этим негодяем ничего страшного, но дрянь-то он дрянь, он недостойн ходить по земле, только пусть Цезарь ничего ему не делает. Благодаря кому Думнориг так поднялся, если не благодаря своему брату? Ох, что за паршивая овца, ох, скольким этот прохвост ему обязан, всем, что имеет, обязан,

только теперь Дивициак ничего не может с Думноригом сделать, ведь что люди скажут, и если Цезарь что-нибудь сделает, так тоже скажут, что, наверное, Дивициак его предал, а он же любит этого мерзавца как брата, но что скажет народ, что скажет вся Галлия?

Непонятно было, как это все кончится: слезы Дивициака и демонстративная любезность Цезаря. Продолжало пахнуть кровью, Цезарь ничего не говорил, и от этого напряженность ситуации лишь усиливалась, а также — демонстративность поведения Цезаря. Вдруг перед глазами испуганного Дивициака появилось нечто непривычное: рука Цезаря. Цезарь протягивает ему руку! И говорит, чтобы Дивициак перестал его просить, пусть успокоится и больше ни о чем дурном не думает, Цезарь видит, что он за человек, питает к нему искреннюю симпатию и готов поставить личные чувства выше всех политических соображений. Итак, вот его, Цезаря, рука (Дивициак схватил ее своими обеими), и будем считать, что дело кончено. Последний разговор будет с Думноригом. Вызвать его.

Когда предстал Думнориг, Цезарь ему спокойно: вот материал, полученный от достойных доверия свидетелей. Пункт за пунктом: экономическое вредительство, распространение хаоса и деморализации, диверсия, деятельность в интересах врага, явная измена. Что такое? Нет доказательств? Цезарю довольно сигналов от представителей общественности. Цезарь, кроме того, считает себя человеком достаточно сообразительным и немного разбирающимся в людях. У Думнорига теперь лишь один способ спасти себя. С сегодняшнего дня пусть постарается не вызывать подозрений. А, он сам удивлен, что остался жив? Совесть все же нечиста? Ну, ладно, пока мы на прошлом ставим крест. Видимо, Думноригу всегда и во всем суждено благодарить брата. Да-да. Он остался жив только благодаря заступничеству этого достойного человека. Цезарь принципиально относится с уважением к таким людям — искренним, лояльным и справедливым. Они у Цезаря могут многого добиться.

Так этот инцидент закончился, только был отдан приказ вести за Думноригом пристальное наблюдение. Подосланные шпики должны были следить за каждым его шагом и докладывать Цезарю.

Следующие главы автор «Записок» посвятил войне, которая вскоре стала разгораться. Мимоходом он объяснил, что некий благоприятный стратегический момент был упущен по вине офицера Консидия, а не автора. Цезарь приказал занять холм, и холм был захвачен римлянами, а Консидий доложил, что — гельветами. Все тогда запуталось из-за неверного донесения Консидия, поэтому победа над гельветами была одержана не в тот момент, который был предусмотрен Цезарем, но лишь на день позже.

Это был решающий день. Чтобы заранее отнять у своих людей надежду на бегство, Цезарь изъяснял из боя лошадей, отказавшись для примера от собственного коня. Сражались долго и упорно, атакуя гельветский лагерь. Бой начался около полудня и закончился ночью захватом лагеря. Под покровом темноты значительные силы гельветов, однако, сумели ускользнуть и оторваться от римлян. Цезарю пришлось на время отказаться от преследования. Он только разослал гонцов с предупреждением, что каждая деревня, в которой гельветы получают хоть зернышко пшеницы, будет сожжена дотла. Сам он трое суток был занят подбором раненых и погребением убитых.

Управившись, он тотчас двинулся в погоню за гельветами, но по дороге встретил посольство, которое как раз направлялось заявить о согласии на капитуляцию. Цезарь счел уместным принять капитуляцию, у него уже зрели планы поинтересней, чем преследование гельветов. Не для того он прибыл в Галлию, чтобы целое лето возиться в лесах с остатками недобитого войска. Он приказал сложить оружие, дать заложников, вернуться туда, откуда они вышли: в Гельвецию. Он не хотел оставлять эту область пустой, ему там нужен был заслон от германцев, значит, Гельвеция должна быть заселенной. В мирном договоре предусматривалось восстановление сожженных гельветами городов. Прекрасное занятие для уцелевших!

Автор «Записок» отметил, что примерно третья часть гельветского народа пережила войну. Основывался он на собственных подсчетах и на захваченных в лагере документах, прочитать которые было легко, так как написаны они были по-гречески.

— Ваши земли будут освобождены.

Вожди всех областей, которым предстояло быть освобожденными, стояли перед Цезарем на коленях. Они плакали, но это, пожалуй, была опять-таки дань условностям, а возможно, и нет. Ведь у них были причины плакать и стоять на коленях.

— Ваши земли будут освобождены.

Вожди просили не разглашать их беседу. Съезд у Цезаря был тайный. Вождям было очень важно сохранить тайну, чтобы не узнал царь германцев Ариовист.

— Ваши земли будут освобождены от гнета германцев.

Ариовист в те времена был владыкой над большими областями Галлии. Часть самых плодородных земель он у галлов отнял и систематически заселял их колонистами, которых приводил из-за Рейна. Остальные области он обложил данью и всевозможными податями. Всюду, кроме того, он брал заложников, в чем и состоял главный принцип его правления. Галльские вожди говорили, что это свирепый варвар. Они больше не в силах терпеть его деспотическую оккупацию.

Это дало Цезарю возможность расширить свои планы. Он начнет войну с Ариовистом и еще до осени завоеует, по крайней мере, половину Галлии. Зиму потом переждет, а в следующий летний сезон завершит покорение. Отлично удалось организовать этот съезд просителей. Он сказал коленопреклоненным вождям, что они могут на него положиться. Однако о своих военных замыслах пока не упомянул. Он, мол, предпочитает освобождать Галлию мирным путем.

Еще он спросил, почему это все они горько плачут, преклонив колени, а вот вожди секванов стоят опустив головы и смотрят в землю. Однако секваны продолжали смотреть в землю.

Лишь тогда Дивициак, незаменимый Дивициак, брат Думнорига и вождь эдуев, выступил с речью от имени секванов. — Они стоят опустив головы, — пояснил он, — и смотрят в землю потому, что особо опутаны шантажом Ариовиста и боятся больше, чем другие. Ариовист расположился у них на квартирах. Другие

племена пользуются кое-какой свободой передвижения. Эти же не могли даже сбежать из родного края, так как присягали на верность Ариовисту, чего Дивициак, например, никогда не делал. Но как раз их молчание весьма красноречиво, а чувства не вызывают никаких сомнений.

Цезарь как будто принял объяснение Дивициака за чистую монету. Дивициак играл главную роль в организации съезда. Теперь он подчеркивал, что секваны всегда были врагами эдуев, но, пришла коза до воза, слишком уж крепко насел Ариовист на секванов. Они и пикнуть не смеют.

Ну, если так, Цезарь с легионами сперва двинется к секванам. Туда, где Ариовист стоит на квартире.

Однако еще перед выступлением в поход было передано через послов приглашение Ариовисту явиться к Цезарю для переговоров по важному делу. Ариовист приглашение отклонил, заявив, что у него к Цезарю никаких дел нет. Если же дело есть у Цезаря, пусть сам потрудится. Кроме того, Ариовист с удивлением спрашивал, чего вообще нужно Цезарю в землях Галлии, которые принадлежат одному Ариовисту.

Цезаря это не смутило, он отправил еще одно посольство. На сей раз с требованием, чтобы Ариовист никого больше не приводил из-за Рейна и возвратил всех заложников. Взамен были обещаны дружба и мир. В случае же отказа Цезарь туманно угрожал неприятными последствиями. Ариовист отвечал так же, как прежде, что это-де вмешательство во внутренние дела Галлии, что он, Ариовист, не дает указаний Цезарю относительно действий Цезаря в римских провинциях, что из-за Цезаря у него уже уменьшается поступление податей, что вследствие этого он решительно протестует, а что до угроз, то войско у него не из худших, и никаких угроз он не боится.

После этого обмена мнениями состоялось поспешное выступление в поход, причем с обеих сторон — Ариовист тоже двинулся. Цезарь, однако, его опередил, заняв лучшие позиции. У природы иногда бывает изобретательность стратега. Можно было поклясться, что окрестности места, которое Цезарь успел захватить прежде Ариовиста, природа планировала с циркулем в руке. Место это опоясывала почти полным кругом

река, а там, где окружность была не замкнута, стояла довольно высокая гора. Естественная линия обороны дополнялась стеной, сооруженной жителями города. Условия были, на взгляд, идеальные, чтобы именно здесь остановиться и подготовить армию к новой кампании.

Предусмотрительность Цезаря казалась излишней, Ариовист находился еще очень далеко. Но Цезарь знал, что делает. Задуманная акция требовала не столько военной подготовки, сколько психологической.

Прежде всего Ариовист официально именовался «союзником римского народа». Титул этот он получил от сената год тому назад, когда Цезарь был консулом. У солдат могло возникнуть беспокойство, ведь никто так и не знал толком, почему начата война с Ариовистом. Вчерашний «союзник» стал сегодня врагом без видимой причины. О гелльетах и о первоначальных мотивах похода в Галлию, собственно, уже позабыли. А ведь совсем недавно единственным врагом был Дивикон, и еще у моста на реке Арар только и говорили о том, что старику вскоре придется встать на колени. Потом все (за исключением секванов) добровольно стали на колени во время съезда просителей, и сразу же возникла «германская угроза». И уже оказалось, что римские легионы пришли в Галлию, чтобы защищать Рим от «германской угрозы». Прямо голова могла закружиться от всех этих штучек, которыми полководец потчевал своих солдат.

Но все же каждый человек себе не враг, у каждого есть свой умишко. И ежели этот человек, этаким совсем простой человечек, сидит в городке, превосходно укрепленном природой, слышит о «германской угрозе» и узнает, что вскоре ему придется покинуть превосходно укрепленный городок и идти освобождать каких-то секванов, которые, слышал он, и слова не вымолвят, все в землю смотрят, тогда этому человеку приходит в голову, что, пожалуй, лучше бы секванов этих не освобождать. И тут у этого человека начинается лихорадочная работа мысли. Он делает открытие: вождь велик, я мал, у великого, ясное дело, свои расчеты, у малого — свои, и одному нет дела до другого, я не желаю, чтобы из меня сделали кучу кровавого мяса только потому, что у великого вождя свои великие рас-

четы. Между тем приезжают с перепуганными лицами какие-то купцы, видевшие германцев, и, становясь на цыпочки, тянут вверх руку и приговаривают: «Вот такенные парни, пленных обожают поджаривать». Слушают эти толки всякие офицерики, прямо из Рима прибывшие, к войне еще не привыкшие, и со страху просто зеленеют. Наконец кто-нибудь из них бежит к Цезарю просить отпуск. Простой человек не станет просить отпуска, он его не получит, и завещание ему незачем писать, это только офицерики каждый вечер пишут в своих палатках. Плачут, рыдают над этими завещаниями, уже и не стыдятся, и, пожалуй, их слезы — совсем не условность.

Цезарь знал, что в такой ситуации у «простого человека» могут появиться самые дурацкие мысли, и знал также, что этот безымянный маленький человечек может стать препакостной помехой на пути к божественности. Ибо человек этот, хоть и мал, имеет способность умножаться, и тогда его становится чересчур много, а если он пойдет вот так шуметь и повсюду расползаться, так с ним и вовсе сладу нет. Кто стремится к божественности, должен следить, как бы вдруг не расшумелся где-нибудь маленький человечек.

Между тем в лагере поговаривали об угрозе голода (будто хлеб не будет подвезен, как не подвезли его эдуи), о лесах, в которых легионы заплутаются, а вот германцы, те покажут, на что способны, о горах, о каких-то страшных оврагах, в которых наверняка все римское войско будет взято в кольцо и перебито. Цезарь ежедневно принимал рапорты о настроениях. Наконец он услышал, что «мы не позволим сделать из нас жаркое для Ариовиста и, когда будет дан приказ выступить, не двинемся с места».

Тогда Цезарь решил сам выступить с речью.

Он сказал, что ему, мол, даже приятно иметь в своем войске столько стратегов, которые обдумывают мельчайшие подробности будущих операций. Прежде он полагал, что этими делами должен ведать он один, но теперь видит, что в армии у него главнокомандующих хоть пруд пруди. Прелестная картина. Только откуда такая уверенность, что вообще будет с Ариовистом война? Кто это им сказал? Ведь Цезарь до сих пор говорил, что намерен освободить несколько здешних

народов мирным путем, не так ли? Они же в неугоми-
мом своем воображении уже сумели не только начать
войну, но даже проиграть ее, как подобает выдаю-
щимся стратегам. Разве не слышали они, что Арио-
вист — союзник римского народа? Да, да, союзник. Ни-
что не изменилось. С чего бы это Ариовисту вдруг от-
казываться от дружбы с римлянами? Цезарь вступит
с ним в переговоры и сделает ему самые что ни на есть
справедливые предложения. Ариовист не дурак, чтобы
такие предложения отвергнуть. Вот каково истинное
положение вещей, о котором доморощенные стратеги,
видимо, не имеют ни малейшего понятия. Разумеется,
надо учитывать всякие возможности, между прочим,
и то, что в один прекрасный день Ариовист может
рехнуться и развязать войну. Но пусть из-за этого ни
у кого не болит голова. Цезарь на посту. А они,
кажется, римляне? Не так давно римляне громили мо-
гучих кимвров и тевтонов. Может, как-нибудь управ-
ятся и с этим царьком Ариовистом. Совершенно вер-
но, кимвры, тевтоны, слава воинских подвигов, рим-
ская армия, неустрашимая, непобедимая, традиции,
традиции... Что осталось от всего этого? Грустно гово-
рить, лучше переменим тему. Обсудим совершенно
резво соотношение сил. С Ариовистом неоднократно
сражались геллы и всегда побеждали. Этих самых
геллов наголову разбили римские легионы с первой
же встречи. Но не будем говорить, кто побеждал ким-
вров и тевтонов. Поговорим о ячмене. Ведь для некото-
рых это важнее всего. Будет ли подвезен ячмень? Да,
будет. Вовремя, в достаточном количестве и не мень-
ше, чем из трех областей. Кроме того, лето в разгаре,
уже созрели хлеба на полях, при надобности можно
собирать. Не слишком ли узки долины? Нет, не сли-
шком. О том, как продвигаться по территории, решать
будет, пожалуй, Цезарь, а не те, кому снятся страш-
ные овраги. Но хватит об этом. Мы не на комициях в
Риме. Мы находимся в военном лагере, где должны
царить дисциплина и дух полной готовности. Кажется,
некоторые намерены выйти из повиновения и «не дви-
гаться с места», когда будет отдан приказ выступать.
Цезаря это ничуть не волнует. Цезарь не собирался за-
тывать войну с Ариовистом и потому до сих пор воз-
держивался давать приказ о выступлении, но если так,

он отдаст приказ сейчас же и двинется в «четвертую стражу», чтобы все трусы могли остаться. Есть солдаты, которые пойдут за Цезарем без колебаний, ну, хотя бы неизменно ему преданный десятый легион. В этом легионе Цезарь уверен и, собственно, может двинуться с одним этим легионом. А трусы и предатели пусть остаются. Пока все и — до «четвертой стражи».

«Четвертая стража» еще не наступила, как к Цезарю стали приходить офицеры, представители от всех легионов. Первой, конечно, явилась делегация десятого легиона. Благодарим за отличие, у нас проступили слезы, мы поистине до последней капли крови, да здравствует вождь, *ave, ave, Caesar imperator!*¹ Затем стали подходить остальные. Докладываем, что наш легион никогда не поддавался позорному психозу страха, наш легион совсем наоборот, наш легион всегда, в общем, что касается нашего легиона, мы стараемся реабилитировать себя на поле боя, *ave, ave, Caesar imperator!* Далее: от имени такого-то и такого-то легиона заявляем, что всякие сомнения были, есть и будут нам в принципе чужды. *Ave, imperator!* Далее: о, вождь, это сплетни, не верь, о, вождь! О, вождь, мы готовы умереть, о, вождь, *ave, ave, ave.*

В «четвертую стражу» выступили в поход все без исключения, с бурными проявлениями энтузиазма. Дивизиак, хорошо знавший местность, дал ценную информацию, и Цезарь, по его совету, решил идти на Ариовиста кружным путем. Этот марш по открытой местности, подальше от горных закоулков, продолжался семь дней. Наконец патрули разведки доложили, что на расстоянии двадцати четырех миль обнаружены главные силы Ариовиста, и одновременно сам Ариовист, очень кстати, предложил устроить встречу обоих военачальников.

Можно было приступить к предварительным переговорам. Стороны согласились, что военачальники будут беседовать под открытым небом, на пригорке посреди широкой равнины. В данных обстоятельствах пригорок был нейтральной зоной, однако издали за ним с обеих сторон наблюдали. По условию, Цезарь и

¹ Здравствуй, здравствуй, Цезарь-император! (лат.)

Ариовист приехали верхом, каждый со свитой в десять человек.

Цезарь повторил свои требования, обильно уснащая их напоминаниями о почестях, которые сенат в консульство Цезаря пожаловал Ариовисту. На что Ариовист — да, конечно, почести эти он очень даже ценит, но какая тут связь с требованиями Цезаря? Если вопрос стоит так: либо почести, либо подати с Галлии, то он может сказать спасибо за эти почести. Но, собственно, о чем речь? Здесь — его провинция. Что здесь понадобилось Цезарю?

Цезарь говорил спокойно, Ариовист нервничал. Что это значит? — кричал он. — По какому праву? Речи его были сумбурны. Я выиграл войну с галлами, — горячился он. — Одна битва, и конец. Вот как я выиграл войну. Собирать подати — законное право победителя. Заложников они дали сами. Зачем Цезарь вторгся на чужую территорию? Пусть возвращается за Родан. Пусть убирается отсюда. Какие могут быть переговоры, если у Цезаря здесь нет никаких прав?

Ариовист уцепился за словечко «права» и склонял его во всех падежах. Цезаря это даже забавляло. Но вот Ариовист прибег к другому аргументу: а действует ли Цезарь с ведома Рима? До сих пор Рим никогда не вмешивался в дела Ариовиста, и римские легионы никогда не вторгались в его владения. У Цезаря есть мандат? Весьма сомнительно. Он сеет ветер на свой страх и риск, без ведома сената и вопреки воле Рима. А пожать может бурю. Если он немедленно не уйдет обратно, Ариовист объявит его агрессором и задаст ему хорошую трепку. Под конец Ариовиста прорвало. А случись что-нибудь вроде этого, — он провел пальцем по шее и издал хриплый звук, — о, случись с Цезарем что-нибудь вроде этого, кое-кто в Риме был бы очень доволен. Многие важные особы помочились бы на радостях. Ариовист это точно знает от них самих, ему иногда приходится получать почту из Рима.

Удар был нанесен метко. Проконсул поспешил переменить тему. Может, будем все-таки говорить серьезно? К сожалению, Цезарь как проконсул вынужден продолжать порученную ему миссию. Так вот, если принять во внимание историю, Галлия скорее должна принадлежать Риму, а не Ариовисту. С точки зрения

закона, Галлия независима. По мнению сената... Но что это там такое? Провокация? Цезарю сейчас донесли, что германские всадники подъезжают к нейтральному пригорку и забрасывают камнями римских легионеров. Ввиду этого Цезарь не может продолжать беседу, и вина за последствия провокации целиком падает на Ариовиста.

Сделав такое заявление, Цезарь внезапно удалился.

В лагере поднялось сильное волнение, когда вождь разъяснил солдатам, что на его усилия повести дело мирно варвар-германец ответил лишь потоком грубых вымыслов да провокационным нападением, что, впрочем, солдаты видели сами. Если бы не хладнокровие Цезаря, римляне уже были бы вовлечены в военные действия. Но Цезарь решил не отвечать на выходки провокаторов и строго запретил стрелять, благодаря чему мир пока сохранен. Случилось, однако, то, о чем он предупреждал: Ариовист оказался пустоголовым безумцем. Этот жалкий дикарь навязывает войну могучему Риму. Положение серьезное, теперь можно только ждать атаки. Что поделаешь, раз Ариовисту не терпится испытать на собственной шкуре, как умеет драться римский легионер, придется доставить ему это удовольствие. Но мы подождем атаки, сами атаковать не будем.

Прошло много дней, атаки все не было. Обе армии совершали тактические маневры, меняли позиции. Ариовист попросил возобновить прерванные переговоры. Цезарь тогда послал в германский лагерь двух офицеров, не дав им, однако, никаких полномочий. Они должны были выслушать Ариовиста, возвратиться и доложить обо всем Цезарю. Этих офицеров Ариовист арестовал, обвинив в шпионаже. И все же атаки и теперь не было. Происходили мелкие стычки отдельных отрядов. У пленных, захваченных римлянами, допытывались, почему Ариовист не атакует. Удовлетворительного ответа они дать не могли. В конце концов они сознались, что их вождь советуется с ясновидящими женщинами и что, как показало гадание, успешная атака может быть предпринята только после обновления луны.

Между тем дела с подвозом ячменя были плохи, так как Ариовист, ловко маневрируя, зашел Цезарю в

тыл и блокировал коммуникации. В этих условиях ждать новолуния представлялось неразумным. Яснови-
дящие женщины могли, чего доброго, еще переменить
свое мнение и посоветовать выждать, пока луна будет
в третьей четверти.

Посему атака состоялась, но то была атака Цезаря.

* * *

Ну, конечно, победоносная, конечно, завершив-
шаяся славной резней германцев и бегством Ариови-
ста через Рейн на случайной лодке. Так оно теперь и
пошло. Спешка, спешка... Осенние дожди и холода при-
шлось, разумеется, переждать у секванов, тех, которые
говорили мало, все в землю смотрели (потому-то и
следовало у них устроить зимний лагерь для армии),
но с наступлением лета... Спешка, спешка... Вторая
часть Галлии — бельги, эти противники импорта, не
признающие деликатесов, неприступные, суровые. Те-
перь их черед.

Дивициак и тут руку приложил, как же. Он пер-
вым вторгся в Бельгию, получив от Цезаря одно крат-
кое распоряжение: опустошать. Идти вперед и опусто-
шать все на пути. Вот он и пошел со своими эдуюми.
Он должен был отвлечь часть войск бельгов и таким
образом облегчить продвижение Цезарю. И не только
он. В этой фазе войны тактика была уже посложней.
С самого начала сдался римлянам довольно многочис-
ленный народец, живший на окраине Бельгии, но слег-
ка испорченный импортом. Выведав там, сколько еще
бельгов может взять в руки оружие, Цезарь прикинул,
что решительно их будет слишком много. Вывод?
Пусть этот народец, такой угодливый после капитуля-
ции, подерется с братьями. Все же бельгов станет
поменьше. Приказ был исполнен, но с большим скри-
пом. Народец начал вскоре слезно просить подкрепле-
ний, потому как братья за милую душу потрепали
его, а теперь стены одного осажденного городишки
еле держались под натиском бельгов. Цезарь послал
подмогу, довольно скромную, только чтобы поднять
дух у осажденных. Тем временем Дивициак в глубине
вражеского края шел от селения к селению, оставляя
после себя лишь пепелища. Хлеба горели на корню,

Ведь Дивициаку было приказано опустошать. Он двигался в тучах дыма, как сплошной огромный пожар, надеясь, что, возможно, станет — чем черт не шутит! — царем Галлии. При вести о его приближении бельги ночью покинули прежние позиции и разбежались кто куда по родным своим углам спасать их от нашествия Дивициака. Цезарь даже не рассчитывал на такое легкое продвижение. Бельгам и впрямь не хватало чего-то, что есть в странах цивилизованных, не импорта вина, но, пожалуй, основных знаний о принципах ведения войны. Уже при отступлении им был нанесен первый урон, три легиона на рассвете атаковали их тылы, и тылы эти из-за плохой связи с головой армии стали к вечеру мертвым, кровавым месивом. Дивициак же сумел спокойно возвратиться.

С той поры Цезарь брал город за городом, область за областью. Неприятель, отказавшись от сосредоточения всех сил на одной линии обороны, выиграл на этом лишь то, что его можно было уничтожать по частям. Цезарь оценил наивность противника. Он начал покорять города «наглядным» способом. Технические устройства, машинерия, осадные навесы, или так называемые «беседки», движущиеся валы и башни — все это вырастает внезапно, как бы из ничего; бельгская стража стоит на стенах, раскрыв рот, кое-кто еще посмеивается — ведь машинерия вон она где, а стены вот они, но вдруг машинерия трогается с места, движется все быстрее, быстрее, и вот она уже под стенами. Всеобщий переполох, капитуляция. Такой отличный результат давала иногда демонстрация технических устройств в этой слаборазвитой стране. Либо по-другому: легионы маршируют вслед за Дивициаком, он тоже здесь и обещающе ухмыляется, еще слегка закопченный от пожаров, он, видно, что-то знает, но не говорит, раз такую мину строит. На горизонте город. Что это? Да так, пустыки, это Братуспанций, говорит Дивициак, там одни погорельцы из окрестных деревень. Легионы торопятся, Дивициак весел, и тут навстречу выходит процессия дряхлых старцев, руки умоляюще протянуты, просят пощады. Легионы жмут вперед, вот и Братуспанций, а на стенах женщины, тоже руки протянуты, волосы распущены, груди оголены, полная капитуляция. Дивициак Цезарю: может,

даровать им жизнь? Даруют и сразу же в путь — спешка, ничего не напишешь.

Впрочем, в глубине страны дело пошло хуже. Дебри, болота, высохшие русла, разливы рек и полное отсутствие импорта. К тому же тамошние бельги, наученные опытом собратьев, заранее укрыли в недоступных местах стариков и женщин. Но зато собрали несколько десятков тысяч мужчин, способных сражаться. Потом устроили засаду. Взяли римлян в клещи. Ужасные дела творились. Цезарю пришлось самому со щитом перебегать от манипула к манипулу и во время боя провозглашать патетические призывы. Маленький человек снова пакостил. Но опять же десятый легион был на посту, и он не подвел. Бельги атаковали с неистовым упорством. Их трупы уже лежали один на другом, в несколько слоев... Живые шли по трупам в атаку. Когда падали, тотчас следующая волна взбиралась на эти трупные валы, чтобы тоже пасть. Так вырастали горы. И до конца летели с них в римлян стрелы.

Когда в горах трупов прекратилось всякое движение, война с бельгами была завершена. Осталось выполнить формальности: принять капитуляцию всех народов, живущих вдоль атлантического побережья. Для этого Цезарь послал на юг одного из своих высших офицеров. Себя он такими вещами не утруждал. Ему надо было поскорей начать пожинать плоды покорения Галлии, ведь покорение народов ведет к божественности, и это основное. Кроме того — деньги. Деньги — также лишь средство, однако кандидатам в боги деньги нужны.

Следом за легионами нахлынули купцы. Тут кстати подвернулся счастливый случай. Жители одного города скрыли часть оружия, вместо того чтобы отдать победителям, а затем устроили ночью небольшое восстание. Восстание, разумеется, было без труда подавлено, а в наказание можно было продать весь город: пятьдесят три тысячи человек. Торговцы, которым нужны были рабы, охотно закупили всех — ввиду большого предложения цены были назначены доступные. Эта сделка, не считая доходов от продажи прочих трофеев, заметно пополнила кассу Юлия Цезаря и заодно была предвестьем успешного развития торговых отно-

шений. Как видим, экспорт оказался выгодней, чем импорт.

Однако не только экономические соображения побудили Цезаря остаться в Бельгии и послать вместо себя на юг одного из высших офицеров. Галлия Галлией, она уже у Цезаря под пятой, с нею как будто уже покончено (кроме Аквитании, третьей и последней части, еще не завоеванной). Но Рим, сенат, все эти интриги, о которых знал даже Ариовист, сказавший, что некоторые важные персоны помочились бы, если бы... и так далее. Рим был в ожидании. Следовало ему толковать, что в Галлии уже все кончено. Пусть Рим сделает выводы и пусть ждет дальнейшего, того момента, когда и в Риме будет все кончено. Итак, Цезарь сел писать. Писал он, сидя на табуретке, и табуреткой была Галлия — написанное выглядело соответственно. Цезарь составлял официальный отчет для сената о ходе и результатах победоносной кампании. В сухом, но нарочито искреннем, рапорте перечислялись различные средства, примененные в ходе войны. Пусть подумают и взвесят. Цезарь писал сжато. Ах, эта искренность и эта лаконичность! Бряцание суровых, лишенных всякой мишуры, фраз и горы трупов, реки, запруженные утонувшими, сожженные селения, опустошенные земли, подкупленная совесть людей и — комментарии стратега!

Рапорт произвел должное впечатление. Сенат объявил пятнадцатидневное благодарственное молебствие, дабы отметить столь молниеносную и — как казалось — окончательную победу почти над всей Галлией. Никогда еще, за всю историю Рима, не устраивали таких длительных молебствий. Цезарь это отметил.

* * *

Вы, конечно, знаете, кем был тогда Цезарь для Рима. Все ведь помнят знаменитую пару: Цезарь, Помпей (и, возможно, еще Красса). Да, да, первый триумvirат, эти люди заправляли республикой. Но это не важно. Нас больше интересуют некий поэт и его любовница.

Не удивляйтесь. Сколько можно заниматься политикой! Особенно в Риме, где все ходуном ходит из-за

борьбы партий, из-за миссии Цезаря в Галлии, его побед и лаконичного отчета, который вызвал сенсацию и благодарственные молебствия, из-за краха старых идеалов и установления новых понятий, из-за смятения, коррупции, непрестанных интриг. Это утомительно. Тут как раз будет кстати уделить место влюбленному поэту. Надо посмотреть его стихи. Сделать это необходимо, так как в них освещены некоторые побочные обстоятельства, связанные с Цезарем. Прощу вас пробежать глазами этот один-единственный томик стихов, в большинстве очень коротких, из подручной библиотеки антиквара.

Катулл (автор томика) не был уроженцем Рима. Детство он провел в Вероне, там же пережил свои первые, провинциальные романы. В столицу он явился как подающий блестящие надежды молодой лирик. Впрочем, быть старым ему не пришлось, он умер рано, вскоре после тридцати. В Риме он познакомился с женщиной, которая его погубила.

Немного о ней. Говорили, будто она отравила мужа. Это возможно. Никто не знал вполне определенно, была ли она виновницей смерти мужа в смысле физическом. Зато несомненно, что своим поведением она убила Катулла. Звали ее Клодия. Катулл дал ей другое, тоже трехсложное имя, чтобы при надобности можно было заменить псевдоним настоящим именем, не нарушая ритм стиха. Псевдоним звучал поэтично и благородно: Лесбия. Он приводил на память поэтессу с Лесбоса, Сафо. Все римские поэты давали своим возлюбленным имена из греческой мифологии или литературы. Эта мода уже существовала во времена Катулла. Впрочем, можно допустить, что мысль назвать Клодию Лесбией появилась у Катулла одновременно со стихотворением, подражающим одной песне Сафо. Ибо его любовные стихи к Лесбии начались с перевода из Сафо. Он хотел сказать, что тот, кто сидит рядом с Лесбией, кто смотрит на нее и слышит ее смех, кажется ему равным богу или даже счастливей бога. Он добавил, что, увидев как-то Лесбию, он потерял голос. В крови у него пылал огонь, в ушах стоял звон, в глазах — мрак. Именно это он стремился сказать, но сумел выразить только с помощью Сафо. Потом он писал о воровашке Лесбии. Опять основой стал мотив, заим-

ствованный из греческой поэзии, хотя слегка измененный. Он завидовал, что воробушка ласкают. Почему сам он не птенчик? Почему не может играть с Лесбией, как это крошечное существо?

Возникла проблема помещения. Влюбленным необходимо место. Нашелся, к счастью, некий Маний Аллий, человек услужливый, обладатель подходящего жилья, которое он любезно им предоставил. Катулл на радостях рассыпался в изысканных благодарностях по адресу этого Мания Аллия. Маний предоставил им свой дом! И туда приходит она, светлая богиня!

Лесбия замужем. Это немного усложняет дело. Седовласые моралисты в городе уже сплетничают, но не надо огорчаться из-за их болтовни, она гроша ломаного не стоит. Солнце заходит и восходит, а когда для нас погаснет кратковременный свет, мы уснем, и наступит вечная ночь. Будем же целоваться! Тысяча поцелуев и сто, и снова тысяча, и еще сто, и еще тысяча, столько, сколько песчинок в Ливии, сколько звезд в небе, столько раз, чтобы любопытные не могли сосчитать, а завистники расплетничать.

Это будет любовь ненарушимая, святая, любовь — дружба и любовь — союз, *aeternum hoc sanctae foedus amicitiae*¹. Никто еще никого так не любил, никто никому не был так верен. Что? Какая-то Квинтия слышет красавицей? Ну ладно, она белолицая, высокая, хорошо сложена, но не красавица, потому что слишком грузна, без обаяния, без огонька, как же можно сравнивать ее с Лесбией? А это еще что? Кто-то сравнил Лесбию с подружкой Мамурры, этого гуляки? Что за вздор! У той девки чересчур длинный нос, безобразные ноги, короткие пальцы, она брызжет слюной, и речь ее отнюдь не упрекнешь в изысканности. Только у Лесбии нет никаких изъянов. Только Лесбия владеет всеми чарами Венеры.

Дорогой Маний, которому я стольким обязан, — признается Катулл далее, — хочу тебе еще сказать, что я готов на жертвы. Если бы Лесбии было недостаточно одного меня, я даже согласен время от времени терпеть ее измены. Я ее уважаю. Я не буду на нее брюзжать и не стану по-глупому требовать слишком многого. Эти

¹ Вечный союз святой дружбы (лат.).

ночи чудесны, изумительны. Это краденая любовь. Знаю, я получаю нечто, сейчас только отнятое у мужа, только что отделившееся от его тела. Но мне должно быть довольно и этого. Пусть Лесбия хоть ту минутку, что провела со мной, отметит в календаре, как счастливую. Поистине я хочу избежать глупой жадности и назойливости.

В элегии к Манику настроение светлое. В конце концов Юнона тоже изменяет Юпитеру, а все же его любит. Заканчивается послание оптимистически. Ведь Катулл прекрасно понимает, что брак Клодии не из числа счастливых. Поэт с легким сердцем соглашается на жертвы, которых в действительности ему не придется приносить. Кроме того, он наивен. Кажется, Лесбия дурно говорила о Катулле в присутствии мужа, а тот радовался — вот глупец. Он ничего не понял! Ведь это лишь доказательство ее любви к Катуллу. Была бы она здорова, она бы молчала. Она нездорова. Она говорит. Значит, помнит. И не только говорит. Она говорит дурное, горячится, сердится. Стало быть, любит.

Действительно ли Катулл наивен? А эта эпиграмма, в которой он старается отнестись к словам Лесбии скептически, словам, сказанным в порыве страсти? Лесбия уверяет, что не хочет быть ничьей женой, только женой Катулла, хотя бы ее добивался сам Юпитер. Но то, в чем женщины уверяют любовников, надо записывать в воздухе и быстротекущей воде. Значит, он не наивен? Он сомневается? Увы, нет. Он скорее делает вид, что сомневается. Он говорит обо всем этом с напускным юмором и невозмутимостью. Он хочет себя застраховать: вот, извольте, я обдумал все возможности, я знаю, как это бывает в жизни, я все понимаю и сумею владеть собой. Ей, наверно, только кажется, что она желала бы стать моей женой, но это ни к чему. Я согласен терпеть ее мужа.

Впрочем, муж скоро умирает.

Тут-то и начинается настоящая драма. О новом замужестве Лесбии и речи нет. А появляется на арене некий Целий Руф, которого Катулл сперва считает овым другом. Этот человек на долгое время становится любовником Лесбии.

(Как протекал их роман, от Катулла мы не узнаем. Из третьих лиц осведомлен был лучше всего Цицерон,

политик, философ и адвокат, который в суде изложил много пикантных подробностей. К самым невинным относится утверждение, что Клодия и Целий Руф вместе находились в Байях, модном в те времена месте морских купаний. Цицерон был, как всегда, бесцеремонен и с присущим ему пафосом сказал: свободная любовь, легкие увлечения, распутство, Байи, увеселения на пляжах, пирушки, гулянья, пенье, музыка, поездки по морю... Она не искала уединения, не пряталась и вообще не желала скрывать своего порочного поведения... В наименее пристойных обстоятельствах она испытывала радость, что это происходит на глазах у многих свидетелей и при полном свете дня... Не только своей походкой, но и одеждой и выбором друзей, не только зазывными взглядами и вольностью речей, но и объятьями, поцелуями, купаньями, водными прогулками, ужинами в мужском обществе — всем этим она производила впечатление куртизанки, причем куртизанки, продающейся за деньги, разнузданной и бессовестной.)

Был период, когда Катулл предпочитал не подавать вида, что замечает эту достаточно явную и как бы «официальную» измену Лесбии. Он выжидал долго. За это время Лесбия несколько раз к нему возвращалась, и ее возвращеньям сопутствовали вспышки любовного восторга. Катулл, однако, быстро набирался степенности. Он написал стихотворение, в котором просил об одном: пусть боги сделают так, чтобы Лесбия говорила правду и исполняла обещанья. Все чаще стали звучать в его поэзии раздумье и торжественный тон, а описания ласк сменила назидательность.

Вскоре поэт снова совершенно теряет голову. Возникают язвительные эпиграммы, позорящие Руфа. Неуклюже и нелепо великий поэт пытается скомпрометировать соперника в глазах Лесбии.

Он пишет эпигramму на какую-то другую женщину, находящуюся в связи с Руфом, и силится представить ее в самом дурном свете. Он решается на нечто еще более постыдное. — Не удивляйся, Руф, — говорит он, — что ни одна женщина не хочет тебе отжаться. (И эти слова не застряли у него в глотке!) Ведь от твоих подмышек разит отвратительным козлиным потом. Поистине, красивые девушки не спят

с существом, до такой степени напоминающим скотину. И наконец: Руф, я хотел видеть в тебе друга, увy, напрасно. Напрасно? Нет, я плачу ужасную цену. Ты выжег мое нутро, отнял единственное мое сокровище, оторвал ее от меня, ах, язва моей жизни, чума моей любви! Я страдаю, ибо уста, которые я целовал, ты осквернил своей мерзкой слюной. О, это не пройдет тебе безнаказанно, тебя будут знать в веках, я обещаю тебе славу. Потомство узнает, какой ты был.

А тебя, Лесбия, не львица ли родила? Не из камня ли у тебя сердце? О нет, Лесбия непрестанно обо мне говорит и непрестанно меня ругает. Значит, любит! Я тоже вечно ее проклинаяю. Потому что люблю. Пойдите, пойдите... Неправда, что я дурно говорю о Лесбии. Я не смог бы говорить о ней дурно. Не смог бы так губительно любить. Это вы там опять выдумываете... Клянусь Юпитером! Лесбия возвращается, сама возвращается, по своей воле, а я уже не надеялся, но так желал. Разве бывает большее счастье?

Miser Catulle, desinas ineptire...

Несчастный Катулл, освободись от наважденья...

Настали самые черные дни. Лесбия часто меняла любовников, а порою имела их по нескольку зараз, по мнению Катулла, — триста (полюбилось ему это число). Вилла Лесбии на Палатине стала местом непрерывных увеселений и кутежей. — Вы устроили в ее доме кабак! — кричал Катулл гостям первой великосветской львицы того времени. — А ведь там живет женщина, которую так любят, как ни одну никогда не будут любить. Я испачкаю вход вашего кабака позорными надписями. Что вы думаете? Что только у вас есть?.. Вы, презренная свора развратных волокит, особенно Эгнатий, этот испанский хам, который моет зубы мочой и смеется идиотским смехом.

Однако нельзя долго заниматься Эгнатием, вон другой соперник угрожает: Равид. Дурены! Куда ты лезешь? Под огонь моих ямбов? Милости прошу, можешь и ты прославиться, если хочешь. А это кто? Геллий? Этот негодяй когда-то соблазнил жену собственного дяди. Он блудил с матерью и сестрой. Он должен оставить Лесбию в покое, ведь она ему не родня.

О, Геллий, я, правда, хотел с тобой дружить и подарить тебе стихи Каллимаха, но этому уже не бывать.

Катулл метался, встречая в безнадежную борьбу и унижаясь неслыханным образом. Не было таких аргументов, которые он поколебался бы бросить в лицо «жалким развратникам». Поэт высоких чувств и певец сексуальной одержимости откровенно показывал свою слабость, но в то же время старался осуществить угрозы. Может, ему удастся увековечить Равида, Эгнатия и прочих? Пусть тысячелетиями терзают их, как фурии, ямбы Катулла, Эгнатиев много, но, может быть, кто-нибудь когда-нибудь захочет идентифицировать личность того, который мыл зубы мочой, — и месть Катулла свершится.

Маньяк Катулл неумоимо громил соперников, обвиняя их в ужаснейших извращениях, но суда поэта ждала сама Лесбия. Вопреки характеристике, данной Цицероном, это, видимо, была женщина незаурядная. Куртизанка, наделенная умом, размахом и воображением, она знала греческую культуру и имела склонности к литературе. Катулл называл ее «преступницей», однако не клеветал на нее, что не составило бы большого труда, поскольку Цицерон в завуалированной форме обвинил Клодию в убийстве мужа и подозрительно близких отношениях с братом. Для Катулла существовало только одно преступление Лесбии: любовные (и нравственные) муки, ему причиненные. Он знал, что делала Лесбия, даже знал, что она делала это «в переулках и на перекрестках». (Смысл, конечно, был не буквальный, а символический, и слова эти заменяли некоторое ценностное определение.) Но не в этих поступках, как таковых, обвинял Катулл Лесбию, не в них видел суть преступления, а в отказе от любви чистой и святой, от той его любви, которую ни с чем нельзя сравнить, которая, увы, уже не может быть ни добротой, ни любовной дружбой, *si optima fias* (хотя бы ты и стала совершенством), и которая никогда не кончится, *omnīa si facias* (хотя бы ты совершила все). Преступление состояло в том, что наградой за любовь были терзания. *Odi et amo*. Ненавижу и люблю. Почему, не знаю. Но чувствую, что так оно есть. Я испытываю муки распятого на кресте.

Наконец пришла последняя мысль: но ведь я был добр! Может быть, у богов есть жалость? Если такая

жалость есть, пусть они обратят взор на меня, беспорочно прошедшего через жизнь. Я уже не прошу, чтобы она меня любила. И не прошу невозможного: чтобы она стала чистой. Я хочу выздороветь сам, избавиться от этой злой хвори. Боги, верните мне здоровье за то, что я порядочный человек.

А вы, ближайшие друзья, передайте моей милой «немного злых и последних слов». Пусть себе живет и здравствует со своими кобелями, которых она обнимает по три сотни зараз и из которых ни одного не любит душой, но только терзает печень им всем. И пусть не ждет от меня любви, как бывало, ибо по ее вине любовь эта вырвана с корнем, как цветок в поле, срезанный плугом.

* * *

Политиком Катулл не был. У него не было политической программы, в политике он не разбирался, видел только внешние проявления, несущественную поверхность исторических процессов, но смысла их не понимал. Более того, не хотел понимать и не намерен был ими интересоваться. Цезарю он прямо сказал: «Во всяком случае, я не стараюсь тебе нравиться и не желаю знать, ты бел или черен». Цезаря, возможно, это даже не задевало. Цезарь с сожалением глядел на такое обскурантское отношение к политике. Но болтовня безумствующего поэта наверняка казалась ему вредной.

Партнеры встретились далеко не равные. С одной стороны — трезвейший и дальновиднейший политик, с другой — одержимый лирик, поглощенный любовью, александрийской поэзией и светской жизнью узкого, элитарного литературного круга. С одной стороны — зрелый мужчина, владеющий своими страстями и не знающий угрызений совести, с другой — молодой человек, страстно увлекающийся и моралист. (Его творчество, впрочем, обвиняли в безнравственности. Он ответил: «Автор должен быть чист, поэзия же не обязана».) С одной стороны — практик, с другой — романтик. С одной — ловкий тактик, с другой — беспомощный нонконформист. С одной — деятель, с другой — всего лишь наблюдатель.

Предметом нападок Катулла стали не политические идеи Цезаря и не его общественная, административная или военная деятельность. Это была не критика системы правления. Даже в выдвигавшихся Катуллом упреках в плане экономическом речь шла о частностях, не об основе. Основы Катулл не разглядел. Понятно, цезарианские круги, выступая против Катулла, обвиняли его в верхоглядстве, этот упрек сам напрашивался. Не раз делались замечания, что поэт имеет слабое понятие о системе политических отношений в Риме. Знаешь мало, а критикуешь, — так обрывали его то и дело. Ответом Катулла была эпиграмма-двустишие, в которой он заявлял, что не старается что-либо знать и что его вообще ничуть не волнует вопрос, белый ли Цезарь или черный, иначе говоря, какую программу представляет, потому что — и это надо было уже додумать самим — существуют более важные критерии и все явления дозволено рассматривать в ином аспекте. Весь мир ваших представлений меня не интересует — вот смысл этой краткой эпиграммы.

Катулл обладал чертой, у поэтов весьма нередкой: он слегка иронически относился ко всем сухим, чересчур рациональным дисциплинам, ко всякой формализации мышления и действий, к рутинерству и педантичной учености. Он посвятил книгу историку Непоту, с которым был дружен и которого любил. Но в посвящении этом есть что-то двусмысленное, а именно — пафос, за которым как бы прячется легкая насмешка. Раздумывая, кому бы посвятить свою «книжонку», свои «стишки», свои «безделки» и «пустячки», Катулл приходил к выводу, что посвятит только Непоту, ибо «ты, Корнелий... отважился изложить всю историю мира в трех томах ученых, клянусь Юпитером, и объемистых». Еще более явная ирония сквозит в характеристике Цицерона, красноречивейшего римлянина из всех, «какие есть, были и еще будут в грядущие годы», а также «наилучшего из адвокатов», тогда как Катулл — «наихудший из поэтов».

И вот человек такого психического склада начинает задираться с Цезарем. Помпей его меньше интересует: пожалуй, только как зять Цезаря. «Тесть и зять». Оба триумвира связаны семейными узами, и

это невероятно раздражает Катулла, словно сам факт, что триумвиры породнились, был неслыханным скандалом. Страсти Катулла всегда необузданны, а аргументы неисчерпаемы. Но единственно возможная для него оценка общественных явлений — это оценка моральная, стало быть, все аргументы, возмущенья и нападки будут в морализаторском плане. Ведь этот аполитичный поэт не интересуется ни мотивами политических действий, ни их эффективностью, вообще ничем, кроме проявлений добра и зла, которые он лично видит в ближайшем своем окружении.

Непосредственной мишенью для ударов Катулла редко бывал Цезарь, чаще его любимчики, в особенности Мамурра и Ватиний. Мамурра, саперный офицер Цезаря, удостоился наихудшей характеристики. Он оказался мотом, развратником, спесивцем, да еще пытается, видите ли, писать стихи, что вконец рассердило Катулла. Поэт чувствовал себя оскорбленным всеми претензиями Мамурры, а их было много и самых разнообразных. Мамурра желал, чтобы все видели его богатство, слепил людям глаза роскошью и беспечным обращением с деньгами, которыми сорил слишком уж явно. Он претендовал на высокое общественное положение как *важная персона*, на роль первого любовника как возлюбленный многих женщин, на роль светского человека как завсегдатай салонов, наконец, на причастность к поэзии как графоман. А между тем этот светский лев, этот король жизни, был всего лишь провинциалом из Формии. Напыщенный шут! Креатура с сомнительным происхождением! Откуда взялось все то, что эта темная личность смеет демонстрировать с таким шумом? Кто покрывает издержки? Кто оплачивает его карьеру? Цезарь, отчитайся за финансовые дела Мамурры!

Разумеется, счета подводит не Цезарь, а сам Катулл. Мамурра владеет тем, чем прежде владели косматые галлы. Да, да, Цезарь, да, современный Ромул, да, старый похабник! Ты будешь на это глядеть и этому потакать? А этот шут, заплывший изобилием, будет порхать по всем постелям таким белым голубком, Адонисом таким? Кто способен видеть это и терпеть, если не бесстыдный пожиратель состояний и плут? О, несравненный полководец, единственный в

своем роде, неужто для того затевал ты военные походы, чтобы этот холеный болван мог проживать тысячи? Разве можно это назвать иначе, как злоупотребление покровительством? Мало он растранижил, мало промотал? Почему вы потакаете этому негодяю? На что он годен, кроме того, чтобы пожирать одно состояние за другим? Во имя чего вы, толстосумы, тесть и зять, два богача, проматываете собственность города Рима?

Вторым человеком, весьма не нравившимся Катиллу, был Ватиний. На сей раз речь шла о чиновнике, тоже величине искусственно созданной Цезарем, милостью Цезаря, но более влиятельной, чем Мамурра. Ватиний, *homo novus*¹, представитель партии популяров, отличился тем, что в бытность народным трибуном в 59 году внес в сенат предложение и добился утверждения закона о предоставлении Цезарю управления Цизальпинской Галлией, а также Иллириком на пять лет с чрезвычайными полномочиями (знаменитый *lex Vatinia de Caesaris provincia*). Сам Цезарь как будто сказал, что Ватиний никогда ничего не сделал безвозмездно. Предложения Ватиния были приняты в нарушение законодательной процедуры и вопреки некоторым религиозным традициям. Ватиний ни во что не ставил авторитет сената, ради выгоды Цезаря шел на многие противозаконные действия, выказывал нарочитое презрение ко всякой законности и демонстративно нарушал обычаи. Однажды он появился в черной тоге на погребальной церемонии, тогда как полагалось надевать белую тогу. Цицерон даже обвинил его в провокации большего масштаба. Ватиний, по его словам, подговорил некоего агента к ложному самообвинению перед сенатом. Агент заявил, что намеревался совершить покушение на Помпея, а Ватинию важно было только замешать в дело о заговоре кое-каких известных особ. Несмотря на усилия Ватиния, сенат не поверил сфабрикованным обвинениям, и провокация сорвалась. Ватиний сразу же удушил агента в тюрьме, чтобы уничтожить следы.

Хотя Ватиний делал немало демократических жестов, заигрывал с народом и прикрывался именем

¹ Новый человек, выскочка (лат.).

Цезаря, его не любили, он у всех вызывал отвращение. Ему пришлось добиться постановления, чтобы во время игр зрителям не разрешалось бросать камни, но самое большее — яблоки. Устраивая игры, он как-то раз пострадал от взбесившейся публики.

Обо всех этих делишках Ватиния Катулл не написал ни слова, только в короткой фразе выразил сомнение, имеет ли еще жизнь хоть какую-нибудь ценность. Вот другое ничтожество, Струма Ноний, сел в курульное кресло. Ватиний, пробиваясь в консулы, совершает клятвопреступничество. Ну что, Катулл? Не лучше ли умереть поскорей?

Ноний этот ничем не был примечателен, кроме того, что в качестве курульного эдила восседал в знаменитом кресле из слоновой кости и что звался «струма», то есть «шейная опухоль». Ватиний действительно рассчитывал стать консулом. Это была его честлюбивая мечта, над которой смеялся и Цицерон.

Вот до какого морального упадка довел Цезарь! Катулл задыхается в этой ужасной атмосфере. Он не намерен вникать, полезны ли все *leges Vatiniae* (например, о земле для ветеранов Помпея) или нет, правы ли сторонники радикальных реформ или же консервативные оптиматы. Он на самом деле аполитичен, но ему все это непереносимо. Цезарь окружил себя плохими людьми. Что же может принести хорошего общественное движение, способствующее таким ничтожествам? Ты, Цезарь, опять будешь сердиться из-за моих шуток? А какое оправдание найдешь ты для дурной башки твоего любимчика Отона? Кроме того, ты сам знаешь, что у Нерия ляжки не мыты.

Борьба с Цезарем была неравная. Катулла, собственно, не хватало для нее идей и времени. Он ведь занимался переводами длиннейших поэм Каллимаха. Добиваясь признания у столичных критиков, он писал свадебные гимны по александрийским образцам, глубоко чуждые его таланту, но «ученые». Полемизируя с Цезарем и клеймя Ватиния, он, должно быть, часто повторял то, что слышал в своей среде за кубком вина, в банях, от других литераторов, лучше разбиравшихся в политике. Кафе тогда не было, поэтому никто не называл Катулла «политиком из кафе». Зато были бани. Катулл, этот политик из бань, — всегда и во всем поэт.

Найдется ли хоть одна черта, которой бы не доставало этой образцовой модели поэта? Он любил, ненавидел, волновался и негодовал, пил, развлекался, писал стихи по ночам, издевался над графоманами и был беден.

Его разногласия с Цезарем неожиданно закончились примирением, что отметил позже историк Светоний. Протянул руку поэт, и Цезарь охотно этим воспользовался. В тот же день он принял Катулла с большим почетом и дал в его честь обед. Но как, наверно, смешно было слушать их беседу!

* * *

Такова обстановка в Риме, с которым Цезарь более тесно контактирует в зимние месяцы, когда, покинув косматых галлов, переезжает в северную Италию. Короткая передышка, визиты многих наезжающих из Рима, чтение литературных новинок (для государства эта капля поэзии — тоже передышка). А впрочем, какая уж там передышка в водовороте интриг и политических маневров среди «важных особ», говоря словами Ариовиста! Такова атмосфера в Италии, атмосфера, надо сказать, удушливая, однако, по сути дела, обнадеживающая, да, да, именно так, хотя до божественности еще далеко. Перспективы у Цезаря неплохие. Катулл, безусловно, во многом прав, Ватиний — свинья.

Но пора уже прощаться с соотечественниками и возвращаться в Галлию, откуда приходят неутешительные вести. Оказывается, в Галлии еще далеко не все кончено, как думалось сперва. Цезарь уже это знает, и теперь у него сложилось другое представление о Галлии. Скажем прямо — Галлия не покорена. В Галлии будет восстание. Все галлы жаждут политических перемен, это, видно, у них в крови, но что может быть естественней, все люди желают свободы и ненавидят рабство. Скажем себе вслух: все люди желают свободы и ненавидят рабство; повторим этот трюизм еще раз, хорошенько затвердим, что первого люди будут желать, а второе будут ненавидеть, что никогда это не изменится, ибо измениться не может, и теперь, когда мы выполнили это нехитрое мысленное упражнение, подумаем о предупредительных мерах, то есть

о соответствующей дислокации военных частей. И добавим еще кое-что: в Галлии была допущена ошибка. В Галии надо изменить метод. Например, Думнориг теперь уже будет убит.

С Думноригом расправились только два года спустя. Времена, когда быстрота решала все, отошли в прошлое, ныне быстрота была уже необязательна, обязательной была тщательность.

После подавления первого восстания (да, восстание таки вспыхнуло и подавляли его на протяжении этих двух лет), итак, после подавления восстания стала ясна необходимость закрепить одержанные победы. И также стала ясна необходимость пустить пыль в глаза (имея в виду Рим и мнение римлян). Дело было представлено так: бунтовщикам помогала Британия, потому-то и стал возможен бунт и потому-то надо теперь навести порядок с бриттами. Римская армия постепенно сосредоточивается у западных берегов Галлии и готовится к броску на остров.

За весь тот период, когда великодушно помилованный Думнориг находился под постоянным наблюдением, в секретных донесениях отмечалось, что не происходит ничего, в чем его можно было бы упрекнуть. Беседуя с начальником конницы эдуев, Цезарь намекал, что вопрос, кто будет править эдуями, пока остается открытым и что выбор вовсе не обязательно должен всегда падать на Дивициака. Думнориг тоже мог бы справиться с этим постом. Однако Думнориг выслушивал намеки Цезаря с довольно кислой миной, как бы их не понимая. Тем временем Дивициак умер. Тогда в секретных донесениях впервые появилось знаменательное наблюденье. Думнориг проболтался, что-то брякнул при людях о предложениях Цезаря. Это повторилось несколько раз. Думнориг как будто сказал напрямик, что Цезарю, мол, желательно видеть Думнорига царем эдуев. Игра была несложная. Начальник конницы, действительно стремившийся к высшему сану в краю эдуев, старался заранее заткнуть рты своим политическим противникам, которые, по примеру Дивициака, держались проримской ориентации. Думнориг, таким образом, сам представился как человек Цезаря. Это неожиданное сообщение парализовало оппозицию. Ни у кого не было желания про-

сить разъяснений в штаб-квартире римских войск и тем более протестовать. Эдуи догадывались, что разыгрывается одна из обычных шуточек Цезаря, часто им применявшихся. Внезапная перемена симпатий, вчерашние враги куплены и стали друзьями, что ни день все переворачивается вверх дном, и с вчерашними союзниками, если у кого есть желание, можно теперь сводить личные счеты. Дело обычное и всегда возможное. Думнориг ловко сыграл на пресловутом «знании жизни». Но нет, скорее сыграл на Цезаре. Он перехватил прием Цезаря и даже — о ирония! — всего лишь повторил слова Цезаря. Но смысл был уже иной, ибо те же слова были сказаны Цезарем с иной целью.

Цезарь просто хотел держать Думнорига в запасе против Дивициака, так, на всякий случай, если бы Дивициак вдруг выказал чрезмерную решительность. Думнориг знал, что, вступая в это состязание, имеет шансов не больше, чем червяк в состязании рыбака с рыбой. И он предпочитал изображать глуповатого тихоню, который о почестях и не думает. Но так как Цезарь отправлялся в Британию, а Дивициак умер, у Думнорига появились некоторые надежды. Могло случиться, что он и эдуи останутся одни. Если прежде Цезарь тыкал кому-то в нос Думноригом, теперь Думнориг будет тыкать Цезарем. Сторонников Рима насчитывалось среди эдуев совсем немало. Было бы неприлично захватить власть, пренебрегши мнением этих людей. В поддержке остальной части народа Думнориг не сомневался, он был кумиром всех патриотов. Желая, однако, заставить молчать приверженцев Рима, он начал оглашать публично предложения, некогда сделанные ему Цезарем. Среди эдуев воцарилось уныние, но Думнориг себя застраховал. Что ни говори, он ссылался на авторитетный источник.

Как он и предвидел, штаб-квартира римских войск от опровержений воздержалась. Они звучали бы нелепо, по меньшей мере двусмысленно. Но Думнориг зато не предвидел кое-чего другого — что Цезарь пригласит его в поход против бриттов. А его вдруг взяли да и почтили таким предложением.

Очевидно, Гай Юлий, получив секретные донесения, разгадал планы Думнорига и посвятил несостоявшемуся царьку минуту-другую размышления. После

этого короткого раздумья судьба Думнорига была решена.

На войну в Британию? Думнориг попросил аудиенции и предстал перед Цезарем. На войну в Британию? Задавая этот вопрос, он демонстративно смотрел Цезарю в глаза. Цезарь спокойно подтвердил: да, на войну в Британию, силы как раз стягиваются к западному побережью, там собрались все галльские вожди, которые желают искренне сотрудничать с римлянами и пользуются доверием Цезаря. Доверием! — вскричал Думнориг. Но ведь и он, Думнориг, пользуется доверием? В ответ Цезарь вздохнул: ох, видно, он все же понял, что пользуется доверием, во всяком случае, еще недавно казалось, что понял.

Тут Думнориг снова уставился на Цезаря. В его взгляде было что-то трагическое и вместе с тем позерское. Эту безмолвную позу он выдерживал до предельного напряжения сил, затем, совершенно неожиданно, вдруг задрожал и простонал: он не может ехать! Он очень сожалеет, но не может ехать. Он сознает, какая высокая честь ему оказана, благодарит за нее и покорно просит избавить его от участия в походе. Он боится океана. Он никогда не плавал по морю, и при одной мысли, что ему придется взойти на корабль, его кидает в дрожь. Не стыдится ли он? Чего? Такого ребячества? О нет, это не ребячество. Просто он знает, что океан для него — смерть. Если он очутится на море, то утонет.

Да неужели? — спросил Цезарь. Ему очень не нравилась мина Думнорига, особенно взгляд, наглый и многозначительный. — Что это за намеки? — продолжал он. — Может быть, Думнориг не верит в надежность римских кораблей? Они очень даже прочны и, как правило, не тонут.

О, бессмертные боги, — сложил умоляюще руки Думнориг, — в надежность римских кораблей он верит. Разумеется, корабли римского вождя плавают отлично. Никто не посмеет в этом усомниться. — Так что же? — настаивал Цезарь. — А то, — отвечал эдуй, — что есть вещи, которые было бы слишком долго объяснять, так как Цезарь не знает здешней религии. Ведь каждый человек исповедует какую-нибудь религию, и Думноригу тоже это не запрещено. Если Цезарь хотел ока-

зять Думноригу честь, взяв его с собой в Британию, то Думнориг смеет заметить, что это была мысль неудачная и появилась она у Цезаря лишь потому, что он, римлянин, не знает здешней религии. Если бы знал, то не предложил бы Думноригу плавать по морю.

Тут началось сложное рассуждение на ритуально-гадальные темы. В нем было много нелогичного, но Цезарь слушал с интересом (он даже велел секретарю записать этот вздор в раздел науки). Когда Думнориг наконец умолк, Гай Юлий рассмеялся ему прямо в наглые его глаза, которые эдуй опять вытаращил, словно некие приложения к своей просьбе. Хороши сказочки! — захохотал Цезарь. — Он всегда относился снисходительно к религиозным верованиям. Но на сей раз этого, к сожалению, не будет. Если Думнориг хорошенько подумает, он сам поймет почему. Верно? Вот именно. Теперь идет война. Отношения между одним человеком и другим определяются военной обстановкой. Пусть же Думнориг уходит восвояси и больше по этому делу не является, да пусть не смотрит так дерзко на яркий свет, а то как бы ему ненароком не ослепнуть.

Когда настал день выступления в поход, все галльские военачальники, в том числе и Думнориг, послушно явились в назначенные места. Двинулись в путь. Во время марша, однако, стали поступать донесения, что Думнориг ведет вредную пропаганду. Так войска достигли берегов океана, где соединились с уже находившимися там силами. Разбили большой лагерь и принялись ждать улучшения атмосферных условий, так как ветер дул не попутный. Это продолжалось двадцать пять дней.

Секретные донесения стали весьма занятными. Думнориг, очевидно, не рассчитывал, что Цезарь, поглощенный приготовлениями к отплытию, найдет время изучать доносы. И вот в доносах появились цитаты из высказываний Думнорига, что, мол, этот массовый вывод галльской аристократии в Британию выглядит очень странно и затеян неспроста. Некоторых людей легче ликвидировать, удалив их из Галлии, чем делать это на глазах у всего народа. У кого есть хоть немного ума, тот не должен никуда уезжать. Необходимо единство. Дела, касающиеся всех, надо решать

сообща. Необходимо сотрудничество всех здешних племен. Страна не может оставаться без элиты, а ведь именно элиту хотят увезти. Договоримся же и составим план действий.

Недурные лозунги! Но Цезарь не собирался вторично предъявлять Думноригу обвинения. Это было уже ни к чему. В некий момент лучше отказаться от внешних приличий. Стало быть, изменим метод.

Надо только усилить наблюдение. К счастью, служба информации работала безупречно, и Цезарь знал о каждом шаге Думнорига.

Погода наконец переменялась, был отдан приказ грузиться на корабли. И тут, среди всеобщей суматохи, Думнориг внезапно исчез. Немедленно была объявлена тревога. Погрузку временно приостановили, пока не отыщут Думнорига. Выяснилось, что он бежал с отрядом конницы эдуч в юго-восточном направлении. Вероятно, спешил домой по кратчайшей дороге.

Цезарь, не мешкая, выслал в погоню усиленный отряд. Начальник отряда получил приказ: во что бы то ни стало догнать и задержать беглеца. Смысл приказа сводился к тому, что Думнориг не должен вернуться живым. При малейшей попытке сопротивления — убить на месте.

Погоня двигалась по свежим следам, да еще расспросила о сбежавших эдуч у схваченных по пути пастухов. Ехали около трех часов. Думнориг, видимо, не щадил лошадей. Погоня разделилась на несколько групп, две должны были обойти с боков, а одна поскакала вперед, чтобы перерезать Думноригу путь. Опасались, что эдуч может незаметно переменить направление или же отделиться от остальных всадников и исчезнуть в окрестных лесах. Он действительно попытался что-то такое сделать — следы вдруг разделились и завернули в две противоположные стороны. Это и погубило Думнорига. Группа преследователей, скакавшая вперед по прямой, выиграла в расстоянии, а Думнориг, двигаясь по кривой, проиграл. Вскоре лесные дороги пересеклись, и эдуч увидел перед собой людей Цезаря. Взмывшие лошади обоих отрядов остановились, роя копытами землю. Я свободен! — вскричал Думнориг. — Мой народ и я, мы свободны!

Поднялся шум, люди Цезаря кричали, что Думно-риг должен немедленно вернуться в распоряжение главнокомандующего; эдуи ответили, что их край не завоеван римлянами, как другие области Галлии, и что они не обязаны повиноваться римским главнокомандующим, а Думнориг повторил: мы свободны, и народ наш независим.

Между тем вокруг оратора, провозглашавшего эти патетические слова, становилось все жарче. Эдуев была небольшая кучка, вскоре их окружили плотным кольцом. Первыми почуяли опасность лошади. Они начали прядать ушами, переступая с ноги на ногу, а вождь эдуев продолжал твердить, что он свободен. Но беспокойство лошадей передалось и ему. У него про-рвалось словечко «ошибка», потом он что-то кричал о «недоразумении». Но вот рядом с ним бородатый детина ткнул мечом всадника эдуа. Всадник свалился наземь. Тотчас засверкали мечи прочих посланцев Цезаря. Стало ясно, что они намерены перебить всех эдуев. Тогда Думнориг крикнул: к оружию!

Его, однако, очень быстро прикончили. Посланный в погоню отряд возвратился и доложил об исполнении приказа. Наутро римское войско высадилось в Британии. Но экспедиция на остров большого значения не имела. Британию, конечно, не завоевали, и вообще Цезарь рассматривал все это предприятие как случайную экскурсию.

* * *

До 52 года Цезарь насажал в Галлии множество царьков. После Думнорига страну затрясло как в лихорадке, народ обезумел. Один за другим в разных концах страны вспыхивали мятежи. Всякий раз приходилось производить замирение, убивать людей тысячами, устраивать для устрашения казнь вождей и на еще дымящихся пепелищах сажать новых царей, завлеченных золотом, миражем власти либо шантажом. Все же необдуманные и безнадёжные заговоры возникали чуть не каждый день. То был нескончаемый хаос — отчаянные выходы, самоотверженность, предательство, поразительная жертвенность, скорые капитуляции, раздоры среди повстанцев, готовность

идти на верную смерть, а затем, когда брала верх апатия, покорная выдача Цезарю заложников. Страна металась как раненый зверь. Годы шли, террор и жестокость все усиливались, а смута не прекращалась.

По пустырям и развалинам, оставшимся там, где произошло замирение, слонялись полубезумные люди, умирающие с голоду и готовые на все. Жили только грабежом. Но постоянные марши войск так оголили Галлию, что грабить уже было нечего. Поэтому были готовы предаться каждому, кому понадобятся, — главарям восстаний и замирителям, честолюбивым князьям, атаманам грабительских шаек и вербовщикам Цезаря. Когда в Бельгии взбунтовались эбуроны, Цезарь не захотел подвергать легионеров опасностям трудных боев в тамошних лесах. Он просто объявил: у эбуронов каждый волен грабить. Тотчас сбежались отовсюду полчища мародеров. Даже из-за Рейна приплыли две тысячи германцев, привлеченных возможностью безнаказанного грабежа. Для них не были препятствием ни леса, ни болота. Они обчистили эбуронов, но добыча оказалась невелика, и в ярости они напали на римлян. С тех пор Цезарь не допускал концентрации таких крупных грабительских банд в одном месте. Они ведь становились силой, не поддающейся учету.

Так Цезарь боролся с Галлией до 52 года. Он подавлял бесчисленные заговоры, убивал царей и уничтожал целые народы, захватывал колоссальные богатства, из которых кое-что перепадало и преданным офицерам, и рядовым пехотинцам, и кому надо в Риме, и лояльным коллаборационистам в Галлии. В его власти находились тысячи заложников, которых он держал под стражей у эдеев; он глубоко проник в галльские интриги и умел так опутать нужных ему людей, что они повиновались ему как марионетки. Если в этом плохо организованном обществе он и встречал сопротивление, сломить строптивых было нетрудно. Ни один мятеж здесь не мог быть по-настоящему опасным. Каждую зиму Цезарь возвращался в северную Италию с надеждой, что теперь-то все покончено и что божественность вот-вот будет достигнута, надо только обернуться в другую сторону — к Риму.

Однако угрожающие события все же наступили. Это произошло, когда во главе повстанческого движения стал Верцингеториг. Тогда все переменялось.

Сила Верцингеторига основывалась на принципе: можешь ты, могу и я. Ты умеешь навести порядок, сумею и я, дай только срок. Ты сильнее, у тебя есть палачи — найдутся палачи и у меня. Ты мастер поджаривать пятки, отныне я буду сжигать на кострах. Ты выбиваешь зубы, я попробую выкалывать глаза. Ты ни перед чем не отступаешь и потому выигрываешь, не буду отступать и я. Ты платишь, я заплачу больше. Ты берешь заложников, я возьму втрое больше. До сих пор у тебя была на все это монополия, и в этом состоял секрет твоих побед; я отниму у тебя монополию, чаша переполнилась. До сих пор ты один умел всеми ворочать, теперь поумнею я. И у меня будет перед тобой то преимущество, подлец, что мое дело — святое. Творя жестокости и зверства, я буду справедливее, ибо я — избавитель, я это знаю и все знают, а ты был и всегда останешься насильником, и мои костры запылают лишь как священные огни на алтаре истины.

Верцингеториг, один из младших вождей народа авернов в центральной Галлии, не совершал ошибок Думнорига. Поняв, что в столице своего края, Герговии, ему не удастся много сделать из-за трусости соглашателей, он начал вербовать по деревням людей, которым нечего было терять, голодных бедняков, занимавшихся грабежами и готовых на все. Он создал войско из отребья, проходимцев, бандитов, бродяг и доходяг. Сразу же он завел строгую дисциплину и вскоре пошел на Герговию, захватил город, пробудил энтузиазм народа и объявил себя царем. Стояла зима. Цезарь находился в Равенне, где обычно проводил это время года. Римские отряды, рассредоточенные, стояли в основном на севере Галлии и не могли вмешаться. Верцингеториг мгновенно договорился с центрами освободительного движения в более чем десяти областях. Его эмиссары объездили всю Галлию. Атмосфера была всюду накаленная, и призыв Верцингеторига упал на благоприятную почву. За месяц большая часть Галлии признала его власть и провозгласила восстание. Верцингеториг действовал систематично. Кто хотел

присоединиться к движению, должен был прежде всего прислать Верцингеторигу заложников. Новое руководство соблюдало этот принцип с железной последовательностью. Каждая область получила разнарядку: сколько она должна доставить людей, сколько лошадей, сколько оружия, какого и в какой срок. Выполнялось это тоже под угрозой репрессий. Когда ответственные за плановое поступление контингентов и снаряжения допустили небрежность, Верцингеториг сказал: уши, которые так плохо слышат голос свободы, не должны существовать. И приказал всем виновным отрубить уши. Изувеченные, возвратились они по домам, но вызвали там не жалость, а страх и уважение к вождю. Кое-где, однако, послышались недовольные голоса. Тогда запылали первые костры. Вскоре в распоряжении Верцингеторига было многочисленное и неплохо вооруженное войско.

Получив известие о перевороте, Цезарь тотчас оставил Равенну и, хотя стояла зима, направился в Галлию. Он был почти без войска. Разъединенные легионы находились в лагерях далеко на севере, на расстоянии сотен миль. Казалось, что добраться до них через страну, охваченную восстанием, было мыслью безумца. Но Цезарь сумел очень ловко обернуться: он отвлек внимание Верцингеторига на другое направление, предприняв ложную атаку на юге, а сам тем временем совершил смелый бросок через территорию все еще лояльных эдуев и пробился на север к своим войскам. Пока в Галлии соображали, где он, собственно, находится, легионы под началом главнокомандующего пошли в наступление с севера. В такой ситуации это казалось сумасшедшим риском. Цезарю как будто следовало прежде всего подумать о выводе войск из враждебного окружения, а не о наступательных действиях. Между тем Гай Юлий начал атаковать и вскоре захватил три города в центральной Галлии. Он сильно рисковал. Самое меньшее, его армии грозил голод, так как на подвоз продовольствия нечего было надеяться, а собирать зерно прямо с полей, как обычно делали его солдаты, в феврале месяце не станешь. До нового урожая крестьяне жили впроголодь, и надо было крепко потрудиться, чтобы выжать еще что-то из этих бедняков.

Несмотря на все, Цезарь атаковал.

В это время Верцингеториг огласил ко всеобщему сведению поразительный план обороны. Народ мой! — обратился он к обитателям Галлии. — Народ мой, эта война за существование кельтов, эта война за свободу, эта священная война — последняя война. После нее войн больше не будет. Возможны только — либо победа и жизнь, либо поражение и смерть. Народ мой, будем вести эту войну не так, как предыдущие. Цезарь, вторгшись в наш край среди зимы, дошел до предела наглости. Если этот человек хочет воевать с природой, пусть воюет. Мы зато перевернем в этой природе все кверху дном. Народ мой, надо превратить нашу страну в ад. Слушай меня, народ мой. Ни единое зерно не должно попасть в руки врага, ни один кусок мяса, ни один пучок соломы. Если враг попытается завезти скот и хлеб из соседних земель, не пропустим. У нас больше лошадей, чем у Цезаря, и конница наша без труда преградит дорогу обозам. Но римлянин ищет продовольствия в беззащитных сельских хуторах. Народ мой, уходи заранее из этих хуторов и собственными руками поджигай их. Пусть сгорят дотла. Пусть враг войдет в пустыню. Он будет осаждать города, чтобы укрыться там от холода, который для него не менее страшен, чем голод. Как жгли мы деревни, так будем жечь города. Не станем повторять старой ошибки, не будем защищать города плохо укрепленные и неприспособленные для обороны. Прежние войны мы проигрывали именно из-за этого. Нынешнюю войну мы не проиграем. Народ мой, надо решиться на тяжкие жертвы, но они предпочтительней смерти и рабства, а ведь только эта участь ждет нас, жен наших и детей, если мы потерпим поражение.

План Верцингеторига был принят единодушно. Немедля галлы подожгли двадцать городов. Цезарь пережил тяжелую ночь. Вначале он не понимал, что происходит. В «третью стражу» весь горизонт кругом внезапно зарделся, взмыли языки пламени, и стало светло, как днем. Римский лагерь казался черным островом посреди этого пылающего круга. В лагере никто не спал. Все проснулись и, выйдя из палаток, дивились загадочному явлению. Цезарю вспомнилось, что у одного греческого автора он когда-то встретил

описание подобного зарева, которое иногда, было там сказано, появляется в северных краях. Но когда рас-свело и стал ясно виден дым, а ветер принес запах гари, все поняли, что источником света были пожары.

Положение сложилось такое, что выбирать было нечего. Цезарь дал приказ выступать и попытался двигаться с легионами в том же направлении, что раньше. Он увидел немыслимые картины. Горели не только города на горизонте, но также мелкие селения и хутора, даже одинокие хижины, разбросанные там и сям среди полей. На пепелищах не оставалось и следа чего-то живого. Эвакуация проводилась тщательная — полное и поразительно систематичное уничтожение всего. Никогда еще Галлия так не сражалась.

После почти двухнедельного марша римские войска, подвергаясь в пути непрерывным наскокам галльской конницы, стали наконец приближаться к богатому городу Аварик. Верцингеториг хотел и этот город сжечь. Он убеждал, что Аварик нельзя защищать и что сопротивление в этом районе создаст повстанцам только лишние трудности. Герговию, ту можно было оборонять — она находилась гораздо дальше, Цезарь бы немного проголодался, пока бы до нее дошел, а потом пусть бы попробовал форсировать обрывистые склоны холма, на котором стояла Герговия. Однако сожжение двадцати городов оказалось наибольшей жертвой, на которую был способен народ. Уж и так по всему краю блуждали толпы бездомных беженцев. Когда возникла угроза, что будет сожжен Аварик, разыгрались душераздирающие сцены. К Верцингеторигу приходили делегации и, умоляя его, ползали на коленях, падали в ноги, и Верцингеториг, у которого вдруг изменился голос, уступил. Он согласился защищать город.

Но, соглашаясь, как бы договаривал про себя: можешь ты, могу и я. У тебя есть всякие технические устройства, научусь их применять и я. Цезарь удивился, видя, что железные крюки, которыми обычно разбивали стены, становятся добычей галлов; осажденные накидывали на них веревки и с помощью коловоротов затягивали поверх стен в крепость. Цезарь приказал сооружать осадные валы. В один прекрасный день валы начали странным образом оседать.

Галлы сделали подкоп. Среди жителей города были горняки, так как его окружало много золотых и железных рудников. Но больше всего допекал легионеров голод. Верцингеториг расположил свой лагерь на некотором расстоянии от Аварика и перехватывал все римские отряды, посылаемые за продовольствием. Пробовали отправлять небольшие отряды по ночам, окольными дорогами, маскироваться, путать следы — ничто не помогало. Галлы не пропускали ни одного отряда. Только быстрое отступление или захват Аварика, где были большие запасы провианта, могли спасти римлян.

Цезарь постепенно осознавал, чем отличается эта война от предыдущих, какая создавалась напряженность и какие моральные факторы приведены в движение Верцингеторигом. Как-то случилось ему наблюдать своеобразный пост смертников на стенах Аварика. Там стоял галл, которому надлежало лить на позиции римлян горящую смолу и жир. Его яростно обстреливали. Наконец он упал. Тотчас на его месте оказался другой галл. Немного спустя удалось подстрелить и этого. В мгновение ока его сменил новый защитник. Так, один за другим, они погибали на этом посту.

Цезарь понял, что дошло до крайности. Надо было и ему пустить в ход какие-то новые психологические стимулы в своем собственном лагере. Верцингеторигу следовало ответить. Но нельзя было ответить как попало. В этой игре следовало придумать неслыханный ответный ход, какой никому не снился. Иначе не стоило начинать. Бывали минуты, когда Цезарь подумывал об отступлении. Однажды утром он обратился к солдатам с неожиданным предложением: может быть, отступим? Вы голодны, едва держитесь на ногах, так поговорим начистоту, все наши попытки взять город приступом не удаются, в конце концов можно и отступить, а в июле или в августе еще раз попытать счастья. Но солдаты не захотели снять осаду. За шесть лет войны в них что-то изменилось. Они уже ничем не напоминали тех, кто когда-то дрожал от страха перед Ариовистом. Маленький человечек исчез бесследно. Цезарь был тронут до слез. Великолепное войско! Право же, с таким войском можно решиться на все как в Галлии, так и в прогнившей

Римской республике. Это войско сумеет проложить путь к божественности, что говорить, на этом инструменте можно сыграть. Ему пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы, расчувствовавшись, не избавить своих людей от гибели. Он им сказал, что они должны беречь себя и что он счел бы себя достойным самого сурового осуждения, если бы собственные успехи были ему дороже их жизни. В заключение он добавил: если возьмете Аварик, разрешаю перебить всех жителей до единого, изнасиловать всех женщин и разделить между собой все имущество горожан. Я отсюда не возьму и гроша медного. Аварик ваш, дорогие товарищи по оружию.

Так и случилось. Аварик взяли и разрешением Цезаря воспользовались. Вопли убиваемых слышались до полуночи. Верцингеториг сказал: разве я не предупреждал? Город не годился для обороны, и Верцингеториг это предвидел. Теперь римская армия могла в Аварике отдохнуть, подкормиться и ждать лета.

Лето пришло. Цезарь, как и следовало ожидать, поспешил тогда к Герговии. Здесь другое дело, — сказал Верцингеториг, — здесь пускай атакует. Было бы, конечно, лучше спускать его с этой горы зимой, по льду, но и так он ломает себе зубы, если полезет к Герговии по крутому склону.

Верцингеториг подготовил Цезарю еще один сюрприз. Золотые рудники, которыми галльский вождь располагал в области авернов, обеспечивали его золотом, и некоторые князьки эдуев не устояли перед его дарами. Впервые в истории этой войны эдуи выступили против римлян. Дух убитого Думнорига отомстил Цезарю в весьма неподходящий момент.

Цезарь тем временем старался окружить и уничтожить войско Верцингеторига в Герговии. Война эта почему-то так складывалась, что ему постоянно приходилось сражаться на два, а то и на три фронта. Верцингеториг не заперся в стенах Герговии, но занял несколько холмов перед городом и оттуда делал вылазки, меж тем как эдуи угрожали римлянам с другой стороны. Цезарь, правда, сумел избежать прямых столкновений с недавними союзниками и даже захватил стратегически важный холм перед Герговией, а затем хотел взять другой, откуда можно уже было

атаковать саму крепость, однако прорваться к ней его legionерам удалось только раз, и то в результате приступа истерии, овладевшей женщинами Герговии во время штурма. Римским солдатам в яростной атаке удалось забраться на холм, где стоял город, и приблизиться к воротам. При виде этого несколько десятков женщин обезумели от страха. Уверенные, что их ждет то же, что было в Аварике, они начали срывать с себя одежды и бросаться со стен прямо в руки римлян. Те, что не решались прыгнуть, в иступлении метались по стенам с обнаженными грудями и бросали все, чем могли, драгоценные вещи, в основном серебро. При этом раздавались отчаянные вопли и мольбы о пощаде. Legionеры наперебой хватали серебряные сосуды, но вдруг из крепости ринулись в контратаку галлы. Женщины тотчас повернулись к своим, и жесты их были так красноречивы, что галлами овладело бешенство; сплошной лавиной, рыча и воя, они понеслись на римлян по крутому склону. Они убивали legionеров с тем мстительным наслаждением, которое присуще оскорбленным самцам. Никогда еще защитники Герговии не обрушивались на римское войско в столь яростной атаке. Тут и Верцингеториг, видя, к чему дело идет, ударил с фланга. Бой закончился крупным поражением Цезаря.

На следующий день Гай Юлий, едва успев сосчитать убитых, почему-то не сумел придумать никакой умной речи для своих солдат. Он лишь спрашивал: зачем, ну зачем надо было это делать? Кто им разрешил ввязываться в дурацкую историю с сумасшедшими бабами на стене? Чего они вообще туда полезли? Приказа у них не было. Надо же, черт возьми, немного владеть собой. Солдату и это надо уметь, не только переть слепо вперед и кулаками работать. Из-за их глупой выходки теперь надо отступать от Герговии. Вот что они натворили.

* * *

Хотя казалось, что Верцингеториг выиграл войну, закончилась она позже и конец был иным.

Конец наступил очень странно: в двух концентрических кругах с конусом посреди и Верцингеторигом

на вершине конуса. Чудо стратегии, потрясающе странный конец.

Конус назывался Алезия. То был город, так же защищенный самой природой, как Герговия, а может быть, и лучше. Высокая скала, у ее подошвы две речки, с какой стороны ни возьми, подход труден. На скале высится не просто город, а настоящая крепость. В эту крепость, вопреки своему обыкновению, вошел Верцингеториг, и Цезарь его осадил. Но вождь восстания не сидел праздно. Для него Алезия стала удобно расположенным лагерем, и оттуда он делал постоянные вылазки. Так что Цезарю пришлось хорошенько укрепить в своем лагере сторону, обращенную к городу. Пока велись эти работы, Верцингеториг, имея запас продовольствия только на месяц и желая избежать слишком долгой осады, разослал гонцов по всей Галлии с приказом подчиненным ему войскам немедленно собраться под Алезией. Ожидалось прибытие могучей армии, о чем Цезарю было известно во всех подробностях благодаря исправной работе разведки. Численность этого народного ополчения составляла примерно четверть миллиона, и вся эта громада должна была вот-вот обрушиться на Цезаря. Однако отступление от Алезии означало бы капитуляцию, причем без особой надежды на безопасное возвращение в северную Италию, ведь пришлось бы идти через землю эдуев, где продолжался мятеж. Цезарь, что и говорить, не мог признаться в поражении. Он решил еще раз дать бой на два фронта. С этой целью он укрепил также наружную сторону лагеря, придав ему вид кольца, в центре которого оказалась замкнута Алезия с Верцингеторигом. Так возник первый круг.

Хотя призывы из Алезии торопили, колоссальная галльская армия подходила очень медленно. Верцингеториг не рассчитал, что на продвижение многотысячного войска с обозами потребуется больше времени, чем для быстрых партизанских отрядов, к темпу которых он привык. Итак, прошел месяц. Цезарь завершил все фортификационные работы, его лагерь был отлично укреплен, а могучая галльская армия все не подходила.

Положение Верцингеторига неожиданно стало отчаянным. Он остался без продовольствия. Пришлось

резко уменьшить дневной паек, затем свести его к нескольким ложкам ячменной похлебки. Римляне тоже не роскошествовали — поля в этом опустевшем крае были, как правило, не вспаханы, и собирать с них было нечего. Защитникам же Алезии попросту угрожала голодная смерть, если подмога не явится в ближайшие дни. Но тщетно высматривали ее с вершины холма. В этих условиях руководство восстания должно было предпринять решительные шаги.

Предложение внес ближайший соратник Верцингеторига, известный железным нравом и глубокой преданностью идеям вождя. Он напомнил, чем была с самого начала эта война, священная война, как всегда говорил вождь. Решаются судьбы миллионов людей. Без жертв не обойтись, это ясно. Ясно и то, что в такой войне жертв не считают. Надо иметь в виду конечную цель: победу. Теперь, когда голодная смерть грозит уничтожить самый центр освободительной борьбы, бременем является гражданское население, неспособные носить оружие жители Алезии: женщины, дети и старики. Остается только один выход: съесть их. Ничего другого не придумаете (тише, тише, не перебивайте), и пусть никто не говорит о преступлении, такие слова — обычное лицемерие. Надо решиться на мужественный шаг, на великое дело, на подвиг, который потомки сочтут отнюдь не преступлением, но высшей, прекраснейшей формой героизма. Вождь, наверно, согласится с его мнением.

Глаза всех обратились в сторону Верцингеторига, но у него вдруг задрожал голос, как тогда, когда он давал согласие пощадить Аварик. Во второй раз слышали галлы эту дрожь в голосе вождя. — Я жег города! — вскричал он. Возглас этот был как будто не к месту. Присутствующие переглянулись. Лишь после минутного молчания Верцингеториг объяснил, что он жег города и отрезал уши, что он любит свободу и ненавидит Цезаря, что никто иной, а именно он, начал эту войну, что он всем пожертвовал и делал все, что мог, для Галлии, но людоедом он не будет. — У неспособных сражаться, — сказал он, — есть еще шанс спастись. Они могут выйти из крепости и сдаться в плен Цезарю, который закует их в цепи, но даст еду.

По приказу Верцингеторига женщины, дети и старики вышли из Алезии. Они знали, что им угрожает в крепости. Спустившись по склону, они стали приближаться к римским окопам. Legionеры увидели толпу женщин и детей, которые явно хотели сдаться в плен. Спешно запросили Цезаря, как быть. Принять этих несчастных? Истощены они до крайности, силятся держать руки поднятыми вверх, но не могут, плачут навзрыд и умоляют о куске хлеба. Цезарь сам пошел на передовую линию посмотреть это зрелище. Глядел он довольно долго. Какой-то центурион заметил, что, если их не принять, вою этому конца не будет, а если принять, так откуда, помоги нам Геркулес, взять для них жратвы, когда у самих нет. И так худо, и сяк нехорошо. А может, попросту их перебить? — Нет, — сказал Цезарь, — пускай бродят по лугу. — Так они ж будут выть. — Тогда можете и пострелять немного.

Когда стали в них стрелять, оказалось, что они еще способны шевелиться. Так и остались они под открытым небом, между Верцингеторигом и Цезарем, и вскоре стали есть траву.

А тем временем четвертьмиллионная армия дотацилась до Алезии и почти с ходу ударила по созданному Цезарем вокруг крепости кольцу, надеясь его прорвать. Верцингеториг, после бурных приветствий новоприбывшим, ввел в бой и своих истощенных воинов. Пока четвертьмиллионная армия издали метала стрелы, казалось, что римские окопы будут ими засыпаны до краев, а legionеры вскоре станут похожими на ежей. Но когда вслед за этой грозной подготовкой пошли в атаку люди, картина сразу переменилась. Все предполье, через которое надо было пройти галлам, оказалось усеянным западнями. Не зря Цезарь потрудился здесь больше месяца. На вид ровный луг, поросший только травой да мелким кустарником, был подобием огромного решета. Под слоем травы и хвороста таились, что ни шаг, ямы с заостренными кольями, железными крюками и другими сюрпризами в этом роде. Все это имело особые названия: «столбики», «стрекала», одна такая игрушка называлась «олень», другая — «лилия», с виду она напоминала цветок. Как напоролись галлы на всяческие

эти «лилии», так пыл их заметно охладел, а Верцингеториг, со своей стороны, посмотрел, посмотрел, да и вернулся в Алезию.

Так было в первый день, и так же в третий — один день галлы отдыхали, только один. У них были причины спешить. Лишь после двух неудачных попыток они придумали лучший маневр. Следовало воспользоваться численным превосходством. И они окружили римлян с запада, востока, юга и севера, тоже образовав круг, но больший, чем Цезарев. Так появились те два концентрических круга, внутри которых должен был наступить конец.

Вытолкнутые из Алезии гражданские продолжали молить о сострадании. Как только они приближались к римским постам, в них стреляли, и все же ночью, под покровом мрака, они опять подползали и скулили, умоляя взять их в плен. Днем было видно, как они разгребают землю, ища червей и корни растений. Некоторые хотели было вернуться в крепость, но ее защитники тоже их отгоняли. Кое-где на склонах холма уже лежали неподвижные тела умерших. Остальные быстро угасали.

Прошла неделя в тщетных попытках поломать меньший круг, устроенный Цезарем, сжимая больший круг, образованный четвертьмиллионной армией. Однако меньший круг оставался невредим, а больший начал рассыпаться. Конус, высившийся в центре обоих кругов, все еще держался. Гражданские на лугу умирали. Наконец состоялось генеральное сражение. И тут произошло нечто неслыханное. Меньший круг внезапно раздался, нажал на больший круг, и тот под его натиском лопнул, разлетелся на куски. Цезарь одержал победу. Остатки четвертьмиллионной армии в страхе рассеялись. Только Алезия, этот каменистый конус с Верцингеторигом на вершине, продолжала стоять непокоренная.

Что ж, теперь,— сказал Верцингеториг, — воины могут поступить, как пожелают. Он начинал эту священную войну не ради своей выгоды и готов умереть. Они могут поднести Цезарю его голову или выдать своего вождя живым, ему это все равно.

Вступили в переговоры с Цезарем. Он приказал выдать вождя живым, что и было исполнено.

Война закончилась. Каждый легионер получил в награду за воинские труды по одному рабу, а Цезарь написал для сената срочный отчет. Ознакомившись с отчетом, сенаторы постановили устроить двадцатидневное благодарственное молебствие.

«*Romae dierum XX supplicatio redditur*»¹, — так заключил Цезарь свои «Записки».

МИЛОСЕРДИЕ

Часть вторая

Итак, вы помните эту пару: Цезарь, Помпей. И знаете кое-что о делах в Риме. Ведь мы с вами читали стихи молодого поэта Катулла. Вам также известно о войне, вспыхнувшей потом между Цезарем и Помпеем. Окончательно покорив Галлию и разместив войско в северной Италии, Цезарь изъявил желание стать консулом, добавив, что готов разоружиться, если и Помпей поступит так же. Но Помпей предпочитал не рисковать. Вы, наверно, краем уха слышали историю о переходе через Рубикон в 49 году, когда Цезарю пришлось вести себя так, словно он приступил к игре в кости. То была, однако, серьезная игра на уничтожение республики.

Вам придется ознакомиться еще с кое-какими подробностями. О, не бойтесь, их будет не слишком много. С битвами покончено. Антиквар не собирается утомлять вас мелочной хроникой второй войны.

Когда Цезарь уже вступил в Рим, откуда республиканцы весьма поспешно удалились, произошел, рассказывают, такой случай. Цезарь попытался реквизировать государственную казну. Этому воспротивился один народный трибун, заявив, что для реквизиции нет законных оснований. Но Цезарь приказал взломать замки сокровищницы. Трибун упорно продолжал протестовать. Наконец Цезарь в раздражении пригрозил ему смертью и прибавил: сам знаешь, юнец, что мне это трудней сказать, чем сделать.

¹ «В Риме было совершено двадцатидневное молебствие» (лат.).

Запомним эти слова: *трудней сказать, чем сделать*. Они будут нашим эпиграфом при чтении «Записок о гражданской войне» Гая Юлия Цезаря. Взяты они не из его книги. Весь эпизод с казнью, в общем-то, описан Плутархом, который жил примерно полтора века спустя и, разумеется, мог быть не вполне точен в своей информации.

Однако если Цезарь действительно произнес эти слова, что было у него на уме? Чтобы понять смысл нашего замечания, надо помнить, что Цезарь покорил Галлию, применяя массовые избиения, ибо там это было ему выгодно, но Италией он собирался овладеть, применяя массовые помилования, ибо только такая политика обеспечивала ему пропагандное превосходство над Помпеем. Убийства к югу от Рубикона он считал вредными. Не для убиваемых. Для себя. Он, естественно, знал, что порой выгодно кого-то убить. Бывают ситуации, когда важней соображений пропагандных оказываются другие, например, финансовые. Дыры в пропаганде легче заткнуть, чем дыры в бюджете. За кучу денег, хранящихся в государственной казне, стоит убить одного оппозиционера — это ясно. Но сказать, что убьешь? О, тут уже надо подумать. К счастью, трибун в последнюю минуту струсил, и дело не дошло ни до приговора, ни до казни.

* * *

Первые страницы «Гражданской войны» производят впечатление текста, написанного по беглым заметкам. Филологи и историки дружно полагают, что книга не закончена. Похоже, что она так же без начала. В первом предложении автор говорит о своем письме в сенат, однако содержание письма не сообщает. (Можно лишь догадываться, что он потребовал в ультимативной форме, чтобы Помпей, который войско свое держал даже и не в Италии, а в Испании, отказался от этого войска, тогда, мол, и он, Цезарь, откажется от своих легионов и станет человеком гражданским.) Итак, тут у нас нет никакой информации. Возможно, Цезарь намеревался что-то предположить первому предложению либо его дополнить. Стиль вступительных разделов поражает сжатостью.

Теперь мы сказали бы: «телеграфный стиль». Удивительно, однако, содержание этих «Записок», и оно-то прежде всего наводит на мысль, что после незначительной ретушировки и кое-каких вставок они были продиктованы по дневниковым записям полководца. Это заметки о поведении ведущих римских деятелей, когда они узнали об ультиматуме Цезаря. Просто краткие заметки и личные характеристики.

«Консул Лентул говорит, что готов служить сенату и республике, если каждый сенатор смело и решительно выскажет то, что думает; а если все будут оглядываться на Цезаря и искать его милости, тогда он постарается подумать о себе и не будет подчиняться авторитету сената; он тоже может добиться милости и дружбы Цезаря». «...Речь Сципиона звучала так, словно то говорил сам Помпей... Некоторые высказывались более мягко, например, Марк Калидий, который предложил, чтобы Помпей удалился в свои провинции... Марк Руф повторял мысль Калидия с немногими изменениями... На Марцелла расшумелись, он оробел и отказался от своего мнения... Катона подхлестывают старые обиды на Цезаря и горечь поражения...» (Читателю даже не объясняют, о каком поражении идет речь. Катон когда-то не без помощи Цезаря провалился на выборах.) «Поведение Лентула определяется его огромными долгами, он надеется, что получит войско, управление провинцией, взятки с тех, кого поставит царями. В кругу своих он хвалится, что будет вторым Суллой, станет верховным правителем. Та же надежда руководит Сципионом... но еще и боязнь суда, афиширование своей персоны, кокетничанье с влиятельными людьми, играющими важную роль в политической жизни и судопроизводстве».

Подобные характеристики не составляют ни литератор, ни историк. Они скорее записаны человеком, глядящим на всех людей, как на кандидатов в исполнители его воли. Лишь готовящийся к диктатуре политик записывает сокращенно, в практических целях, кто что сказал, очень ли трусит, на какие гадости способен, легко ли его купить, чем можно шантажировать.

Вероятно, Цезарь вычеркнул все, что не годилось для публикации, навел порядок в подлежащих и сказуемых, добавил для связи словечко здесь и там,

и так возникло начало «Гражданской войны», а возможно, лишь черновик, предназначенный для дальнейшей переработки. В нем еще слышится эхо доносов, на основе которых автору приходилось составлять беглые и, кстати, довольно односторонние характеристики консулов, трибунов и сенаторов.

Но почему же «доносов»? Вскоре после этого к Цезарю переметнулись два крупных деятеля, которые, несомненно, представили ему всесторонний анализ политического положения в Риме. Он мог отчасти основываться на их мнениях.

В ту пору Цезарь уже окончательно дорабатывал великую концепцию своей жизни; в самой простой формулировке эта концепция должна была звучать так: диктатором Рима будет либерал, победоносные войны ведет пацифист, республику уничтожит тот, кто позволит существовать ее институтам. Для достижения этих целей нужны, по сути, только две вещи: войско и деньги. Кроме того, надо помнить, что диктаторов ставят не солдаты и не банкиры. Это делает горящий энтузиазмом народ.

Что же предпринял Юлий Цезарь до перехода через Рубикон? Он обещал разоружиться и блюсти мир при условии, что Помпей тоже разоружится. А после перехода через Рубикон? Повторил свое предложение. И не раз. Многократно.

А тем временем он продвигался на юг и без боя занимал итальянские города. И вот гарнизон помпеянцев в Корфинии решил выдать Цезарю своих командиров, сенаторов, а также всадников и перейти на его сторону. (Здесь автору «Записок о гражданской войне» представляется уместным объяснить, что он вторгся в Италию не затем, «чтобы кому-нибудь причинить вред, но чтобы защитить себя от унижений, которым его подвергают враги, чтобы восстановить в сане изгнанных из столицы народных трибунов и освободить себя и римский народ, страдающий под гнетом партийного меньшинства».) Растолковав таким образом мотивы похода на Италию, Цезарь сдавшихся ему в Корфинии рядовых солдат включил в свою армию, а командиров, сенаторов, всадников и низших офицеров освободил и распустил по домам. Да еще отдал им казну с шестью миллионами сестерций, «чтобы не

думали, будто он лучше владеет собой, когда дело идет о человеческой жизни, и хуже, когда о деньгах».

Этот факт сам Цезарь описал и комментировал, но о взломе замков сокровищницы после захвата Рима не упомянул. Видимо, и это было труднее сказать, чем сделать. Он лишь глухо обмолвился о некоем человеке, которого «подговорили враги» чинить Цезарю помехи во всем, что он ни предпримет.

В Риме, где он провел несколько дней, Цезарь поладил с сенатом, которому довольно бесцеремонно предложил совместное правление. «Но если вы из страха уклонитесь, я вас принуждать не стану и буду самолично править государством». Этим своим шагом Цезарь обернул себе на пользу ошибку Помпея. Ибо Помпей объявил, что тот, кто активно ему не помогает, будет считаться сторонником враждебной партии. Эта недалёковидность Помпея сильно помогла Цезарю. Все римляне, державшиеся пассивно и нейтрально, становились автоматически его союзниками. Побольше нейтральных! Надо каждому оставить открытым путь к нейтральности!

Но самый эффектный маневр этого гуманиста был совершен позже, в Испании. Война уже шла полным ходом. Цезарь старался лишить противника воды и помешать доставке продовольствия, но от резни воздерживался. «Им руководила жалость к жителям, которых — он это понимал — постигла бы гибель. Он предпочитал добиться своей цели, сохранив им здоровье и жизнь». Солдаты начинали роптать на такую непонятную деликатность по отношению к неприятелю. Цезарь сдерживал их пыл и гнул свою линию. Пусть лучше солдаты обеих войск вступят в дружеский контакт. Пожалуйста, я разрешаю выходить из моего лагеря и делать визиты в лагерь противника. Разрешаю также принимать у себя приятелей оттуда. Посмотрим, кто на этом выиграет и у кого первого сдадут нервы.

Нервы, естественно, сдали у начальников войск Помпея. Они быстро положили конец нежелательной деморализации, захватив и перебив всех наседавших к ним в гости солдат Цезаря. Тогда он «с величайшей заботливостью разыскал пришельцев из вражеского лагеря, оказавшихся у него, и велел их отпустить».

Часть вообще не пожелала возвращаться. А впоследствии, когда сторонники Помпея, попав в безнадежное положение под Илердой, капитулировали, Цезарь произнес патетическую речь перед обеими армиями, противопоставляя свое великодушие вероломной жестокости неприятеля, и разрешил возвратиться домой как солдатам, так и командирам, строго следя, чтобы никого из них пальцем не тронули.

* * *

Греческий историк Аппиан пишет:

«...Солдаты Цезаря под Плаценцией взбунтовались и с громкими криками стали укорять своих командиров, что война, мол, затянулась, а они не получают тех пяти мин, которые Цезарь обещал им в награду еще под Брундизием. При вести об этом Цезарь тотчас поспешил из Массилии в Плаценцию и, представ перед негодующими солдатами, сказал: «С какой быстротой я всегда действую, это вам известно не хуже, чем мне. Война затягивается не по моей вине, а по вине неприятеля, который от меня убегает. Вы, получившие в Галлии под моим водительством немалую добычу, вы, принесшие мне клятву в верности на всю эту войну, а не только на часть ее, вы покидаете меня на половине дела, восстаете против своих начальников и полагаете себя вправе приказывать тем, чьим приказам вам надлежит повиноваться. Беру самого себя в свидетели моей щедрости по отношению к вам вплоть до самой этой минуты, отныне же я применю закон предков наших: из девятого легиона, затеявшего бунт, приказываю казнить по жребию каждого десятого». В ответ раздался вопль всех солдат этого легиона, и его командиры кинулись Цезарю в ноги с мольбами о пощаде. Нехотя и медленно уступая, он все же несколько смягчил наказание — велел участвовать в жеребьевке лишь ста двадцати воинам, которые слыли зачинщиками. Так что двенадцати из них, на кого падет жребий, предстояло быть казненными. Когда же оказалось, что среди этих двенадцати был один, который даже не присутствовал во время бунта, Цезарь приказал казнить оклеветавшего его центуриона».

О бунте под Плаценцией Цезарь не написал. Если такой бунт и произошел и если децимация действительно была одним из способов поддержания дисциплины, то не в этом был источник боеспособности армии Цезаря. Значит, жалованье? Хорошо платили? Да, о выплате жалованья Цезарь весьма заботился. В Галлии он разрешал грабить захваченные города и старался, чтобы материальные стимулы усиливали энтузиазм солдат в каждой боевой операции. И все же он создал нечто, державшееся не страхом и не жадной наживы. Он создал бескорыстный фанатизм, вдохновленный культом его личности.

Помпеянцы гибли за республику, за свободу и прочие идеалы, которые, возможно, были пустышками, но во имя которых те, кто не желал пользоваться милосердием Цезаря, совершали самоубийства. Он же не давал своим людям и крох идеологии, никакой доктрины, никакого лозунга. (Будьте отважны! Я верю в вашу доблесть. Побеждайте, как побеждали уже не раз. Как это понимать?) Но он приучил их умирать по первому его слову, за *Цезаря*, тогда как никто не умирал за *Помпея*. Ему удалось выковать кадры слепо преданных людей, идущих за ним добровольно, готовых на все, чего потребует начальство, не спрашивая о причинах и целях. Его войско чем-то отличалось от других войск. Это была уже не армия, но партия избранных, с длительным стажем, сто раз купленная, сто раз запуганная, связанная с вождем на жизнь и на смерть, фанатичная и не страдавшая чрезмерной пытливостью. Люди эти, провинившись, сами предлагали, чтобы в наказание убили каждого десятого, но только не увольняли из армии.

* * *

Ох, как разошелся! Неужели этот же автор? Да ведь он в этом первом походе в Африку не участвовал и рассказывает о том, чего не видел, но как рассказывает! Куда девалась сжатость слога, теперь никто не скажет, что это выборки из записей или военные донесения, нет, изложение тут ведется на широком дыхании, прямо эпическая проза. Прежде он так мало места уделял фактам, был так лапидарен, скуп на

слова, занимался только стратегией и тактикой, а тут вдруг дает волю фантазии и придумывает длинную речь своего легата Куриона, погибшего в Африке. Стратегом и тактиком он, разумеется, остается и здесь, поскольку стратегия и тактика — его предмет, но прежде всего он литератор. В уста Куриона он, вероятно, вкладывает собственные мысли. Например: «Люди честные не должны подозревать, что им не слишком доверяют, а бесчестные — знать, что мы их опасаемся, ибо, узнав о наших опасениях, бесчестные почувствуют себя уверенней, а у честных ослабеет рвение». Почему же он лишь теперь дал себе волю, ну совершенно отпустил поводья и столько пишет о неудачах Куриона? Сантименты? Он Куриона этого любил? Размышления над могилой верного солдата? Ведь Цезарь когда-то его купил, заплатил за него долги и этим путем его приобрел. Быть может, вопреки избитому мнению, вожди больше всего любят людей продавшихся? Но описание этой неудачи в Африке и впрямь превосходно! Что говорить, перо разыгралось. Но отчего ж по такому печальному поводу?

Видимо, когда метишь в боги, о собственных поражениях трудней писать, а тема эта мучает, ведь ты человек.

* * *

С диктатурой дело неясно. Аппиан утверждает, что после подавления мятежа в Плаценции «Цезарь прибыл в Рим, и объятый страхом народ избрал его диктатором, без утверждения сената, без предварительного избрания консулом...» Цезарь это изображает иначе. Он даже не знал, что его избрали диктатором. Его в Риме не было. Только возвращаясь из Испании, он в Массилии услышал эту новость. Он никому не поручал выдвигать его кандидатуру. Проект постановления по собственному почину огласил претор Марк Лепид.

Потому-то диктатуру Цезарь удерживал всего одиннадцать дней. За это время он дозволил избрать себя консулом, «ибо то был год, когда он мог законно стать консулом». Он провел несколько неотложных декретов, урегулировал порядок возврата долгов, помиловал некое число осужденных за давние нарушения, допущенные на выборах, сделав это так, «чтобы не казалось,

будто он, как узурпатор, захватывает прерогативы народа», и отказался от диктатуры.

Ему еще предстояла окончательная расправа с Помпеем на поле боя. Но победу политическую Цезарь уже одержал.

Из всех его действий видно, что он осознал одну важную истину: если я хочу уничтожить республику, не следует начинать с атаки на ее достоинства — изъянов у нее столько, что я могу выдвинуться, борясь с ними. Защитники республики способны лишь повторять банальные истины. Эти рабы традиции и почтенных фетишей будут разглагольствовать о свободе и законности, будут возмущаться и протестовать, но сделать ничего не смогут. Бессилие старых реакционеров. Маразм, предвещающий скорую гибель. Неужели нельзя создать лучший строй? Я его создам, создам даже идеальный строй, только бы получить свободу действий, то есть полноту власти. Помпей отличается от меня тем, что не знает, каков должен быть идеальный строй, он стремится лишь к власти. В лучшем случае он объявил бы себя монархом эллинистического типа, на которых насмотрелся в Азии, но в Риме эта идея обреченная. Надо прежде всего поладить с народом, с этими толпами бедняков, надо пробудить в них надежду и добиться их поддержки, а вовсе не одобрения сенаторов, как хотел бы Помпей, и других насмерть запуганных консерваторов. Поистине, Помпей, этот тупой обладатель всех римских добродетелей, не мог бы выдумать ничего поинтересней. Я приказал забросить в его лагерь лепешки, которыми питаются мои солдаты вместо настоящего хлеба и при этом не падают духом. Он только заметил: «С какими скотами мы воюем!» Но все же он счел нежелательным, чтобы собственные его солдаты смотрели на эти отвратительные куски жмыха. Противник беззащитен перед моей лепешечной агитацией! Страж республики! Да я вовсе не собираюсь уничтожать республику и ее установления. Пускай хиреют. Эти дурацкие древние обычаи зачахнут сами собой. Зачем мне прослыть могильщиком свободы, хватит того, что я им являюсь.

К сожалению, военные дела, сражения под Дирахией и Фарсалом заполняют почти всю третью, и последнюю, книгу «Гражданской войны». Досадно, что

погиб «Анти-Катон», политическая брошюра, в которой Цезарь, вероятно, подробней изложил свое отношение к республиканским идеалам.

Жаль также, что Цезарь не успел написать продолжение «Гражданской войны». Мы, возможно, узнали бы кое-что о любви — ведь продолжение-то войны было в Египте, а медовый месяц с Клеопатрой нас очень интересует.

Нет, это пустые мечты! Цезарь, конечно, не писал бы о своей личной жизни.

Как бы там ни было, он разбил Помпея при Фарсале (это вы тоже помните из истории) и стал хозяином положения. Продолжение в Египте, а затем в другой части Африканского континента, оказалось не менее успешным. С той поры он присвоил себе всевозможные титулы, в том числе и диктатора. Титулы эти были один другого удивительней.

* * *

Отсутствие текста ставит нас в невыгодное положение. Мемуары Юлия Цезаря кончились, но биография его не завершена. Мы предпочли бы ограничиться чтением документов, написанных им лично, но, увы, оба произведения, которыми мы располагаем, — о войне с галлами и о гражданской войне, — представляют как бы два первых акта драмы, а для нас важно и ее окончание, ибо, исходя из других источников, можно полагать, что оно было весьма знаменательным. И тут-то наступают трудности.

Дальнейшее изложение — это записки антиквара. Читателю, конечно, известно различие между антикваром и историком. Антиквар — собиратель древностей, занимающийся их продажей, если какая-нибудь из древних этих вещей вызовет интерес у современной публики. Труды антиквара носят любительский характер. Им движет любовь к предмету, это несомненно. Однако читатель вполне справедливо заметит, что у слова «любитель» есть и производное значение: «человек недостаточно сведущий».

Антиквар порой чувствует себя беспомощным среди собранных им экспонатов. Приложив ухо к своим фигуркам, он слышит эхо истории, различает отдель-

ные голоса, улавливает начало или конец событий, но его обескураживают внезапные паузы, пробелы в ходе событий, как бы ампутированных, навсегда изувеченных. Ему становится не по себе среди искалеченных торсов, отбитых голов, рук, ног, которые он пытается сложить, думая, что нашел правильный способ. Вскоре он замечает ошибку.

Тогда он берется за сочинения ученых. Но тут его ждут новые трудности. К хаосу голосов, звучавших в древних памятниках, присоединяется хаос мнений исследователей. Почти каждый дает иную оценку материала. Каждый по-иному залепляет дыры, приставляет другие руки и головы. Таким-то манером историки и склеивают Цезаря, награждая его головой плановика или авантюриста, головой мудреца или полководца, благодетеля или тирана, простого смертного или претендента на роль бога.

У Цезаря были десятки, а то и сотни биографов. Он — одна из самых противоречивых фигур в истории.

Мы теперь не станем заниматься большинством связанных с ним спорных вопросов. Ограничимся проблемой божественности Цезаря.

Работу нам будет затруднять отсутствие документов, им самим написанных. Поэтому мы прежде всего вылущим из вспомогательных источников то, что Цезарь говорил о себе. Из древних биографов его сравнительно быстро и густо окружил сплетнями Светоний. (Минуло все же около полутора веков, прежде чем Светоний это сделал.) В своем «Божественном Юлии» он приписал Цезарю такое заявление: «Род моей тетки Юлии восходит по матери к царям, по отцу же — к бессмертным богам»¹. Далее небольшое рассуждение о генеалогии и вывод: «Вот почему наш род облечен неприкосновенностью, как цари, которые могуществом превыше всех людей, и благоговением, как боги...» («*Est ergo in genere et sanctitas regum, qui plurimum inter homines pollent, et caerimonia deorum*»).

Тот же Светоний замечает о Цезаре: «Он погиб на пятьдесят шестом году жизни и был сопричтен к бо-

¹ Здесь и далее цитируется по книге: Гай Светоний Транквил. Жизнь двенадцати цезарей. (Пер. М. Л. Гаспарова.) М., Изд-во «Наука», 1966. (Прим. перев.)

гам, не только словами указов, но и убеждением толпы. Во всяком случае, когда во время игр, которые впервые в честь его обожествления давал его наследник Август, хвостатая звезда сияла в небе семь ночей подряд, появляясь около одиннадцатого часа, то все поверили, что это душа Цезаря, вознесенная на небо».

Между первой и второй цитатами можно было бы поместить немало дополнительных сведений. Вслед за Аппианом и Дионом можно повторить упоминание о храме, сооруженном двум божествам: Цезарю и — кому бы вы думали? — Либерализму, если можно дать такой перевод слова *Clementia*, пожалуй, лучше всего передающий политическое в данном случае содержание понятия: В храме стояли статуи Цезаря и Либерализма, подающие друг другу руки. Сохранилась монета с изображением храма и с надписью: *Clementiae Caesaris*¹. Можно вспомнить также приведенное Дионом сообщение, которое, правда, не подкрепляется монетами, о статуе Цезаря с надписью: «Непобедимому богу». Но вряд ли свидетельства эти можно считать наиболее вескими. Многое, напротив, говорит о том, что Цезарь при жизни не притязал на роль божества в буквальном смысле. Как же примирить противоречивые данные? Хотел он быть богом или не хотел? Или же этот весьма предприимчивый человек не мог тут принять решения?

Стоило бы по аналогии задать вопрос: «хотел он быть царем или нет?» Свидетельства и в этом случае противоречивы. Трижды отталкивал он царскую диадему, когда Марк Антоний пытался его короновать. И все три раза этот демонстративный отказ от венца вызывал овации народа, но когда недотепы-трибуны, не разобравшись в его намерениях, сорвали белую перевязь с лаврового венка, которым кто-то украсил статую Цезаря (а белая лента была знаком царской власти), тогда Отец Отечества, Вечный Диктатор, Блуститель Нравов пришел в раздражение и наказал трибунов, отстранив от должности. Светоний останавливается на этой реакции Цезаря: страдал ли он, что вопрос о царском титуле был поднят так неловко? Или сожалел, что его лишили возможности самому отка-

¹ Милосердию Цезаря (лат.).

заться? Сожалел о популярности, которую принес бы ему отказ?

Что бы там ни было, Цезарь никогда не провозглашал себя царем, но в Риме почему-то были убеждены, что он это сделает. По мнению Светония, республиканцы поспешили с покушением на Цезаря, чтобы избежать неприятной ситуации, когда им пришлось бы голосовать в сенате за присвоение ему царского титула. Такое предложение ожидалось. Но так как в действительности его не объявили, встает вопрос: почему? То ли это не входило в расчеты Цезаря, то ли еще не пришло время?

Итак, мы видим некоторое подобие между проблемами божественности и царской власти. В обоих случаях отсутствует формальный акт, который четко утвердил бы Цезаря царем или богом. Откуда же столь упорное подозрение у древних (да и у наших современников), что он все же стремился к этим целям? А может быть, не стремился? Может быть, достиг?

Позволим себе еще одно отступление. Вспомним, как Цезарь уничтожил строй. Уничтожил, делая вид, что поддерживает. Ведь все республиканские институты остались нетронутыми. Да, галльские коллаборационисты, которых Цезарь ввел в сенат, сняли штаны и нарядились в тоги, но сенат существовал. Нехитрой этой операцией с костюмами был уничтожен и в то же время сохранен целый строй. Наверно, то был первый в истории пример политического маневра колоссального значения, маневра, состоящего в том, что делают вид, будто не то же самое является тем же самым. (Первый — в таком гигантском масштабе и первый, проведенный успешно, если не считать внезапной гибели Цезаря.) Цезарь, как сообщают, однажды выразился так: «Республика — это ничто, одно название без плоти и формы». Он и действовал согласно этой оценке истинного положения вещей, относясь с величайшей терпимостью к названиям.

Трудно поверить, чтобы этот реалист всерьез добивался каких-то названий для себя, зная, что народ устраивает овации, когда Цезарь от них отказывается. Можно, правда, предположить, что с течением времени у него вскружилась голова, чему единоличная власть весьма способствует. Но властью он наслаждался сли-

шжом недолго, неполных пять лет, которые провел в основном в войнах, причем без уверенности в победе. Существенно то, что он обладал властью. Ни к чему было ему ухудшать свое положение непопулярными титулами.

О божественности он размышлял много. Божественность была делом потруднее, чем царский титул. Он, конечно, понимал, что никто не может обрести божественность, издав соответствующий декрет. Этим путем можно сделаться царем, но богом — и думать нечего. Царь требует повиновения, бог — веры, ибо он лучше людей и наделен силами сверхъестественными. Бог должен совершать вещи, необъяснимые для человеческого ума. Бога почитают не по велению рассудка, а лишь тогда, когда рассудок бессилен объяснить некоторые явления. Если Цезарь хотел стать богом, следовало такие явления создать. Недостаточно было водружать себе статуи рядом со статуями богов и снабжать их сакральными надписями.

Поэтому Цезарь создавал таинственные явления. Вспомним войну с галлами — он там ни разу не ошибся. Не ошибаются только боги или их уполномоченные. Стремясь прослыть непогрешимым, человек этим показывает, что желает создать вокруг себя ореол иррационального. С этого Цезарь начал. Наступила гражданская война, и с нею *Clementia*. Что же означала *Clementia*? Нравственное совершенство, для богов весьма необходимое. Но это не все. Она означала также чудо. В Риме никто еще не вел себя так. Кто позволяет себе загадочное снисхождение к противникам, тот, очевидно, вообще с ними не считается. Гм! Что же дает ему основание не считаться с противниками? Неужто он так силен? В чем же его сила? Ведь силу материальную он как раз и не применил. У него есть другая? Какая? Это должно было вызывать тревогу.

В своем стремлении к божественности Цезарь совершил еще один знаменательный шаг. Ставкой в игре он сделал самое драгоценное: он рисковал жизнью. Бог, которого охраняет вооруженный эскорт, это, что ни говори, бог сомнительный. Неуязвимость бога должна обеспечиваться другими средствами и быть, некоторым образом, бесспорной. Богу ничто не угрожает и не может угрожать. Бог пользуется сверхчеловеческим

иммунитетом. Только в этом мог быть смысл того, что Цезарь распустил своих телохранителей. Ведь он знал о готовящихся заговорах. Но репрессий не применял, только заявлял, что об этих делах он знает и что заговорщикам лучше бы прекратить свою деятельность. В этих-то условиях он сыграл ва-банк. Он распустил конный отряд испанцев, который раньше сопровождал его в качестве личной охраны.

Читатель, возможно, согласится с антикваром, что такое решение действительно граничит с проявлением божественности. Редко случается наблюдать подобные поступки. А потому не мудрено, что этому факту дивился и древний Рим.

Раз уж Цезарь сумел приобрести столько не формальных, но существенных атрибутов божества, не так важен вопрос, было ли им запланировано официальное вознесение на небо. Он его произвел фактически, в той мере, в какой это было полезно. А о том, что произвел, свидетельствует еще одно обстоятельство. Не всякая душа становится в мнении народа сразу же после смерти человека кометой и светится семь ночей подряд. Народная астрономия таких чудес не допускает без причины.

* * *

Прошу прочесть следующий текст:

«Афинянин Аристид, сын Лизимаха, был почти ровесником Фемистокла и соперничал с ним за главенство. Каждый из них был помехой для другого. На их примере можно видеть, как демагогия берет верх над нравственностью. Хотя Аристид настолько выделялся бескорыстием, что ему единственному в истории — разумеется, единственному нам известному, — дали прозвание Справедливого, он все же был низвергнут Фемистоклом с помощью пресловутого ostracism и осужден на десятилетнее изгнание. Он, конечно, понимал, что возбужденную толпу унять невозможно. Но, удаляясь, он обратил внимание на человека, который писал на черепке, что Аристиду надо изгнать из отечества. Как рассказывают, Аристид у него спросил: «Почему ты это делаешь? Что совершил Аристид такого, что кажется тебе достойным кары?» Тот отвечал:

«Я Аристида не знаю. Мне только не нравится, что этот человек так усердно старался, чтобы его в отличие от других прозвали Справедливым». Аристид не отбыл назначенного судом десятилетнего срока. Во время нашествия Ксеркса на Грецию, примерно через шесть лет со дня изгнания, он постановлением народа был призван обратно на родину.

Таким образом, он принял участие в морском сражении у Саламина, которое произошло до истечения срока его изгнания. Был также полководцем афинян в бою при Платеях, где Мардония заставили бежать и войско варваров было перебито. В области военной, кроме этой знаменитой кампании, которой он предводил, у него больше нет памятных заслуг. Зато много их в сфере справедливости, правосудия и нравственного прогресса, и прежде всего то, что благодаря его справедливости верховное командование над морскими силами, когда Аристид вместе с победителем Мардония, Павзанием, находился в общегреческом флоте, перешло от спартанцев к афинянам. До этого и на море и на суше главенствовали спартанцы. Но тут, видя авантюрный нрав Павзания и справедливость Аристида, почти все греческие государства присоединились к Афинскому союзу и стали среди афинян избирать полководцев для обороны от варваров.

Чтобы успешнее отразить нападение, если бы варвары попытались снова начать войну, Аристиду поручили определить, сколько денег должно дать каждое государство на постройку кораблей и снаряжение войска. По его решению в Делос ежегодно поступало по четыреста и по шестьсот талантов, ибо было постановлено там учредить общую казну. Все эти деньги впоследствии были перевезены в Афины. Нет лучшего доказательства бескорыстия Аристида, чем то, что человек, ворочавший делами такого масштаба, скончался в величайшей нужде, оставив сумму, которой едва хватило на его погребение. Поэтому дочерей Аристида содержало государство, и замуж выдали их с приданным, назначенным из общественной казны. Умер же он года через четыре после изгнания Фемистокла из Афин».

Поскольку теперь речь пойдет о событиях как будто не связанных с приведенным текстом, антиквар должен объяснить, для чего он этот текст привел.

Рассматривая документы эпохи Цезаря, антиквар наткнулся на личность, непосредственно не замешанную в бурные события того времени, что показалось ему удивительным и достойным внимания, а именно — на Корнелия Непота. Антиквар уверен, что этот, стоящий в стороне немного загадочный человек еще не раз появится в наших записках.

Непот был историком. Но описывал он преимущественно события давние, в которых сам не участвовал, которые отошли в прошлое. На них он мог смотреть с некоей безопасной дистанции, мог их созерцать как нечто завершенное, достигшее развязки. В описании он на первый план выдвигал этическое содержание истории. Это интересовало его прежде всего. (Напомним, что моралист Катулл именно ему посвятил свои стихи). До нас дошла лишь одна книга Непота — «О знаменитых людях», вернее, ее отрывки. Это жизнеописания десятка с лишним греков, таких, как Мильтиад, Фемистокл, Алкивиад, и двух римлян. Сам Непот просит считать его не историком, а биографом. Ведь он пишет об отдельных людях, а не об исторических фактах в их хронологической, либо прагматической последовательности.

Уважим просьбу древнего автора и постараемся понять его намерение. Для него, бесспорно, было важно высказать определенные идеи, которые он хотел предложить своей эпохе, и для этого он пользовался примерами благородных личностей, известных ему из истории. Он не старался излагать объективную истину, как то делает исследователь. Нет, он предпочитал быть тенденциозным. Предпочитал что-то пропагандировать. Но делал это не прямо, а косвенно, на поучительных примерах. Почему он так поступал? Не мог иначе? Условия не позволяли? Возможно. Известно, впрочем, что он избегал политики, никогда не добивался должностей и не участвовал в партийных распрях. Его позиция восхищала аполитичного поэта Катулла, хотя над ученой серьезностью Непота Катулл, видимо, подсмеивался. Оба они, Катулл и Непот, вели себя довольно схоже под натиском, оказываемым на них эпохой Цезаря. Непот был даже более осторожен. Если он и питал неприязнь к божественному Юлию, то скрывал ее тщательней. А неприязнь он дол-

жен был питать — трудно представить, чтобы он одобрял деятельность Цезаря, одновременно чтя идеалы, содержащиеся в сочинении «О знаменитых людях». А может быть, он только из оппортунизма не нападал на Цезаря прямо? Отложим ненадолго ответ на этот вопрос. Со временем мы лучше узнаем Непота, раз нам предстоит заняться загадочной молчаливостью этого человека на фоне общей шумихи. Присмотримся внимательней к причинам его сдержанности, осторожным его намекам и сомнениям. Покамест мы не вправе высказывать о Непоте поспешное суждение.

Выше мы привели полностью небольшое жизнеописание Аристида из книги «О знаменитых людях».

Антиквар предлагает читателям подумать над тем, не содержит ли текст Непота какого-нибудь намека или комментария к событиям, о которых мы сейчас расскажем. У антиквара нет сложившегося взгляда на этот предмет. По его мнению, указывать на конкретные намеки, говорить «это связано с таким-то фактом, а это с таким-то» было бы слишком рискованно. Речь идет скорее об общем направлении мыслей Непота.

Надо еще добавить, что, хотя выбрано было жизнеописание Аристида, выбор этот, по сути, случаен. Содержание остальных биографий, как и жизнеописание Аристида, столь же далеко от событий, которые антиквар изложит ниже. На выбор повлияла исключительно краткость текста.



Сорок четвертый год. Иды марта. Мертвый Цезарь упал у подножья памятника Помпею.

Заговорщики сразу же пытаются выступить в сенате. Они провозглашают конец тирании и восстановление свободы, однако сенаторы слушают невнимательно и, не дослушав, в страхе разбегаются. Идеологов заговора постигает первое разочарование.

Все эти люди, в их числе Марк Брут, действовали под влиянием идейных стимулов.

Над Марком Брутом, философом, тяготело чувство фамильного долга, как над потомком Брута, некогда изгнавшего из Рима царей и установившего республику. Чуть не каждый день он находил на своем

судейском кресле таинственные надписи: «Брут, ты подкуплен?», «Брут, ты труп?» или «Ты не его потомок». Чтение этих анонимных упреков, а также Платона и греческих стоиков, подсказывало Бруту, что он должен свершить. Брут однажды написал: «Лучше никем не повелевать, чем кому-либо служить! Без первого можно жить честно, со вторым же вообще нельзя жить». С таким афоризмом в уме и со стилетом, спрятанным в складках тоги, молодой интеллеktуал пошел убивать Цезаря. Как мы помним, Цезарь удивился. Последние его слова, обращенные к Бруту, были: «И ты, дитя?»

Все заговорщики находились в плену собственных убеждений и абстрактных идеалов. Все знали только одно: надо спасти республику. Ни у кого не было конкретного политического плана на будущее. И вот Цезарь лежал у подножья статуи Помпея, а идеалы почему-то не могли осуществиться. Добродетель не вознаграждалась, свобода не торжествовала, республиканский строй сам собою не воскресал, сенат едва слушал героев заговорщиков, а потом подло сбежал.

Воззвали к обществу. Кое-кто поддержал их, в том числе некий Цинна, произнесший речь против Цезаря. Но голоса эти звучали в пустыне. Народ отнесся к перевороту сдержанно, обнаруживал нерешительность. С горсткой рабов и гладиаторов революционеры поспешили на Капитолий и там учредили свой штаб.

Немного спустя народ растерзал на улице другого Цинну, помня, что какой-то Цинна произнес ту самую речь. Толпы фанатиков напали на дома участников заговора. Цезаря похоронили с необычайными почестями и религиозным благоговением. Перед погребением сенат обсуждал следующую альтернативу: выразить ли заговорщикам благодарность или же объявить их преступниками. Прошло компромиссное предложение Цицерона: сохранить в силе установления Цезаря, воздержаться от дискриминации его личности, однако заговорщиков не карать.

Революционный бастион на Капитолии вскоре был ликвидирован. Заговорщикам пришлось выехать из Рима. Сам сенат позаботился о том, чтобы они покинули также Италию. Им предложили заняться закупкой зерна в Азии и в Сицилии.

Антиквар напоминает, что Непот жил в это время,

Мы выбрали наугад из книги Непота жизнеописание афинянина Аристиды и сопоставили эту биографию с событиями, происшедшими в Риме после смерти Цезаря. Результат оказался любопытным. Мы уже готовы склониться к тому, что Непот писал об Аристиде, держа в уме участь Брута. Внешне гипотеза наша выглядит довольно убедительно. Однако это один из тех случаев, когда антиквар, реконструируя разбитые фигурки, ошибочно полагает, будто нашел два соединяющихся обломка, пытается их составить вместе и думает: подходит! Увы, совсем не подходит, обломки эти никогда не были соединены.

Словом, только случайное сходство побуждало нас усматривать в жизнеописании Аристиды намек на события 44 года. Просто мы следили за историей Юлия Цезаря и, естественно, остановились на этой дате, поскольку она последняя. Именно тогда, в 44 году, Цезарь погиб. Однако изучать его деятельность мы начали с даты более ранней, с 58 года. (В еще более давнее прошлое мы не обязаны были углубляться — ведь нас, главное, интересовал путь Цезаря к власти, а равно то, как он становился богом.) В 58 году вспыхнула война с галлами, и покорение Галлии кажется нам первым серьезным шагом нашего героя к диктатуре и божественности. Поэтому мы и взяли 58 год за отправную точку наших исследований. 44 годом эти исследования неизбежно завершаются. К сожалению, добравшись до 44 года, мы почувствовали неудовлетворенность из-за неполноты материала. В нашем повествовании о Цезаре осталось много пробелов. Вдобавок, мы еще не знаем, как влиял Цезарь на свое окружение, почему одни сопротивлялись ему, а другие покорялись. Мы пытались было вычитать это у историка Непота, но загадочный нейтрал оставил нам, главным образом, жизнеописание давно скончавшихся героев. Мы изучили жизнеописание Аристиды и увлеклись почудившимися нам в этом тексте аллюзиями. Разумеется, мы и связали все аллюзии с 44 годом, ведь именно этот год был для нас важен.

Но содержит ли на деле жизнеописание Аристиды намеки на 44 год? Мы были бы в этом более уверены,

узнав, по крайней мере, что события других лет не подходят под это жизнеописание. Итак, попробуем взять вместо 44 года какой-нибудь другой. Например, год 58. Да, отступим снова на исходную точку и займемся 58 годом.

Любой школьный учебник по древней истории сразу же назовет нам важнейшее событие этого года: конфликт Цицерона с Клодием. Надо бы узнать подробнее об их стычке. По нашему обыкновению, мы хотели бы почерпнуть информацию из самого источника, то есть у враждующих сторон. Но увы! Все споры писателей с неписателями оказываются со временем невыгодны для последних, так как от неписателей не остается ничего, кроме нелестного мнения о них, изложенного писателями. Это и приключилось с Клодием, гонителем Марка Туллия Цицерона. Клодий не писал. Цицерон писал. Сила материальная, которой пользовался Клодий, давно перестала существовать и не окажет влияния на нижеследующие записки, за что антиквар чувствительно благодарит историю, и напротив, слово, которым пользовался Цицерон, будет изучено с величайшим вниманием. Как легко заметить, антиквар, во всяком случае, не пристрастен. Просто он не может рассматривать Клодия наравне с Цицероном. Клодий не является источником, он ничего не написал: он нам не даст о себе никакой информации. Но это не беда. Клодий утратил ценность полностью и навсегда. Антиквар не представляет себе, как можно было бы, даже при самом искреннем желании, реактивизировать некие прошлые, вполне бесспорные, достоинства Клодия, чтобы ныне они могли служить противовесом при сравнении его с Цицероном и влияли на наш приговор. Не воскресить уже гладиаторов, рабов и наемных убийц, оплаченных Клодием, не вернуть террор, подкупы, интриги, уличные бесчинства. Далеко не все отдают себе отчет, что этот принцип редукции управляет историей. Посему Клодий, которого мы здесь представим, будет лишь жалкой тенью древнего Клодия, сохранившейся, главным образом, по милости Цицерона.

Отнесемся, однако, к Клодию по возможности беспристрастно. На свете бывает мало споров, в которых права лишь одна сторона. И мы для начала приведем факт, говорящий отнюдь не в пользу Цицерона. Еще

в 63 году вдохновляемый Цицероном сенат осудил на смерть участников заговора Катилины. (Знаменательно, что против их казни тогда выступил Цезарь.) Цицерон, глубоко убежденный, что спасает не только Рим, но и весь цивилизованный мир — что он подчеркивал неоднократно, — добился своего, и конспираторов казнили. Пять лет спустя, в 58 году, народным трибуном стал сторонник Цезаря Клодий, точнее, римский патриций Клавдий. Этому предшествовали странные обстоятельства. Клодий перешел в плебейское сословие и аристократическое «ав» в своем имени изменил на народное «о». В числе нескольких декретов, им проведенных (например, об уменьшении платы за раздаваемый хлеб), было одно, направленное лично против Цицерона. Оно гласило, что всякий, кто без суда приговорил римского гражданина к смерти, подлежит изгнанию. Клодий, стало быть, выступил справедливым мстителем за прошлое беззаконие. Народ на комициях поддержал его, Цицерону пришлось покинуть Италию, Клодий послал своих людей на Палатин, чтобы они сровняли с землей дом Цицерона, после чего он это место освятил, предназначив его для сооружения Храма Свободы. Разграбили и сожгли также любимую виллу Цицерона в Тускуле. Трудно судить, в какой мере это было буйством народа, в какой — политическим актом со стороны Клодия и в какой мере — личной его местью Цицерону. Ибо, прежде чем покончить с Клодием, мы должны добавить, что у него были наклонности эротомана. Возможно даже, что эротомания брала верх над политическим расчетом. Клодий когда-то дерзнул прокрасться в женском одеянии на тайинства в честь Доброй Богини, куда не допускали мужчин, и соблазнить там... жену Цезаря, что с точки зрения политики было не самым разумным выбором. Дело пошло в суд, где Цицерон своими беспристрастными показаниями опроверг алиби Клодия. Цезарь, напротив, не поддержал обвинения, не желая терять в Клодии пособника, и только развелся с женой.

Вот и все о первом участнике спора Клодий — Цицерон.

Второй участник может выступить сам. Сохранилась его обширная переписка, которую мы теперь рассмотрим.

До изгнания, в 59 году.

«Цицерон — Аттику.

Стало быть, пущен слух, будто Клодий не сделался плебеем? Произвол, достойный времен царей! Это превосходит всякую меру. Пусть Клодий пришлет ко мне кого-нибудь за свидетельством. Я поклянусь, что Помпей рассказывал мне в Анциуме, как он присутствовал при ауспигиях по этому случаю.

Что за прекрасные письма, два сразу, доставили мне от тебя! Уж не знаю, каким подарком за добрую весть отплатить тебе, зато признаю, что я, несомненно, твой должник. Но подумай, какое совпадение! В день праздника Цереры, едва я по пути в Анциум выехал на Аппиеву дорогу, мне у Трех Харчевен повстречался мой друг Курион, ехавший из Рима, и вслед за ним твой посланец с письмами. Курион спрашивает, не слыхал ли я чего-нибудь нового. Говорю — нет. А он: «Клодий добивается должности народного трибуна...» Вот и говори о преимуществах так называемого «живого слова»! Насколько больше я узнал из твоих писем, чем из сообщения Куриона о ситуации, о сплетнях в народе, о замыслах Клодия...

Сердечно приветствую тебя, мой политик!

Философ Цицерон».

«Цицерон — Аттику.

Я сильно встревожен политическими неурядицами и опасностями, которые собираются над моей головой, а их сотни... Угрозы Клодия, навязанная мне борьба, мало волнуют меня. Думаю, что я либо смогу противостоять им, сохраняя достоинство, либо уклониться от них без малейшего ущерба. Ты, возможно, скажешь: «Достоинство? Довольно уже мы наслушались об этой старомодной добродетели. Сделай что-нибудь для меня: подумай о своей безопасности». Ах, какое несчастье, что нет здесь тебя! Ты, наверняка, ничего бы не проглядел. Я-то, возможно, ослеплен и слишком предан идеалам. Знай, никогда не существовало ничего более постыдного, более мерзкого, более отталкивающего для всех сословий, классов и возрастов, чем царящие ныне отношения. Эти демократы научили роптать даже самых смирных... Помпей, предмет моего поклонения, сам себя погубил, что мне очень больно,

Никто за ними не идет по доброй воле. Боюсь, как бы не пришлось им применить террор. Из симпатии к Помпею я с этим течением не борюсь, но и не поддерживаю его, иначе мне пришлось бы зачеркнуть все, что я делал прежде. Я держусь среднего пути. Настроения народа можно узнать в театре и на других зрелищах. Во время боя гладиаторов освистали и самого хозяина, и его приспешников. На играх в честь Апполлона трагический актер Дифил выступил с явными нападка́ми на моего Помпея. «Ты нашей нищетой велик», — эти слова он повторил, наверно, тысячу раз. «Придет пора, и за почет испустишь ты глубокий вздох», — декламировал он под одобрителъные крики всей публики. Эти стихи словно написаны на злобу дня, против Помпея, каким-то недовольным. «Когда закон и нравы не указ», а также все последующее, было встречено бурными аплодисментами и шумом. Затем появился Цезарь, и овации стихли. После Цезаря пришел Курион — сын. Его приветствовали так, как в добрые дни республики — Помпея. Цезарю это снести было тяжело...

А Клодий мой все грозитя и настроен враждебно. Пахнет скандалом... Когда умер Косконий, меня попросили занять его место по надзору за распределением земельных участков в Кампании. Это значит быть званым на место мертвого! Ничто не принесло бы мне большего позора и не было бы менее разумным из соображений безопасности, о которых ты пишешь. Ведь этих чиновников честные граждане ненавидят, я только укрепил бы вражду, которую питают ко мне негодяи, да вдобавок возбудил бы озлобление людей порядочных. Цезарь желает сделать меня своим легатом. Это был бы несколько более пристойный способ уклониться от опасности. Но я от опасности не бегу. Зачем? Лучше бороться. Однако я ничего не предпрещаю. Повторяю: ах, если бы ты был здесь! В случае крайности вызову тебя. Что еще? Только одно: я убежден, что страна погибла. Зачем же без конца увливать от этой истины...

Написал я тебе это второпях и с опаской. В дальнейшем, если найдется вполне надежный человек, чтобы послать с ним письмо, напишу обо всем яснее, если

же буду писать туманно, ты все равно поймешь. В письмах буду называть тебя Фурием, а себя — Лелием. Остальное буду излагать иносказательно».

Из изгнания, в 58 году.

«Цицерон — Аттику.

Приехал в Брундизий 17 апреля. В этот же день твои посланцы вручили мне письма от тебя, а три дня спустя другие рабы принесли еще одно письмо. Что до твоих просьб и уговоров поселиться у тебя в Эпире, горячо благодарю за сердечную заботу, которая для меня не новость. Мысль эта была бы очень удачной, когда б я мог оставаться там все время. Ведь я ненавижу переезды, бегу от людей, едва могу смотреть на свет, и уединение, особенно в таком привычном месте, не было бы для меня тягостным. Но приехать только на короткое время — это слишком далеко; во-вторых, я оказался бы всего в четырех днях пути от Аврония и его компании; в-третьих, там нет тебя...

Ты убеждаешь меня, что надо жить. Слушаясь тебя, я удерживаю свою руку, готовую нанести удар, но тебе не добиться того, чтобы я перестал сожалеть о своем решении и чтобы жизнь не казалась мне постылой. Что еще связывает меня с жизнью, если нет даже надежды, которая сопровождала меня при отъезде из Рима? Не стану перечислять беды, обрушившиеся на меня из-за подлых и преступных действий не столько врагов моих, сколько завистников. Не хочу беречь свои раны и причинять страдания тебе. Утверждаю лишь, что никогда никто не испытал столь ужасного удара, никто не имел столь веского повода жаждать смерти. Однако час, когда можно было с наибольшим достоинством умереть, миновал. В нынешних обстоятельствах смерть ничего не исправит, самое большее, прекратит муки.

Вижу, ты собираешь все политические новости, которые, по-твоему, могут вселить в меня надежду на какие-то перемены. Хотя это не бог весть что, буду, однако, ждать, раз ты так хочешь... Писал бы тебе чаще и больше, когда бы страдания не лишили меня всех умственных сил, особенно же способности писать. Мечтаю свидеться с тобой. Береги здоровье.

Брундизий, 29 апреля».

«Цицерон — Аттику.

...Меня поразило то, что ты пишешь о моей, расширяемой теперь, речи. Постарайся, если сможешь, найти для этой раны, как ты ее называешь, какое-нибудь лекарство. Написал я ее давно, возмущенный его заявлениями, сделанными незадолго до того, но речь эту тщательно спрятал и полагал невозможным, что она когда-либо выйдет на дневной свет. Как это случилось, ума не приложу. Никогда, ни единым словом, я не полемизировал с этим человеком, и речь эта написана, пожалуй, хуже, чем другие, — поэтому, думаю, можно ее представить как не мою. Займись этим делом, если видишь для меня возможность спасения. Если же я погиб окончательно, это меня мало огорчает.

Я здесь все время никуда не выхожу, ни с кем не беседую, ни о чем не думаю. Хотя я и просил тебя приехать, понимаю, что, находясь в Риме, ты сможешь чем-то мне помочь, а здесь даже слова твои не принесли бы мне облегчения. Не чувствую в себе сил больше писать, да и не о чем. Жду ваших писем.

Фессалоника, 17 июля».

* * *

Итак, беглый взгляд на события 58 года убеждает нас, что и в этом периоде нетрудно увидеть факты, которые мог подразумевать Непот, описывая жизнь Аристиды. Возможно даже, что аналогия между изгнанием Цицерона из Рима и изгнанием Аристиды из Афин еще более очевидна, чем между судьбой убийц Цезаря и трагедией справедливого грека. Во всяком случае, и Аристид и Цицерон стали жертвами демагогии. Тот же народ, который после разгрома заговора Катилины прозвал Цицерона «отцом отечества», который восхвалял его как спасителя всего мира, через несколько лет поддержал Клодия, а в прежнем «отце отечества» увидел нарушителя законов. Один и тот же поступок был сперва признан величайшей заслугой, а затем стал для того же народа преступлением. Так и Аристид на афинской площади не мог узнать, в чем его вина, кроме того что он «усердно старался» быть справедливым. Бесспорно одно: Непот поставил под

сомнение вменяемость народа, что звучит недемократично. Однако время Непота не было демократическим.

С другой стороны, и Аристид, и Цицерон, и Брут полагали, что народ, по существу, за них, и уж наверняка были убеждены, что сами-то действуют на благо общества. Трудно сказать что-либо с уверенностью о мыслях Клодия, но скорей всего этот авантюрист не питал иллюзий относительно своего единомыслия с народом. И Непот, пожалуй, предстанет не таким уж реакционером, если мы подумаем о влиянии демагогов на суждение народа, о неустойчивости чувств коллектива, о подверженности масс гипнотическому воздействию вождей. Непот ведь хотел только показать, до какой степени демагогическая пропаганда берет верх над нравственностью, *quanto antestaret eloquentia innocentiae*, насколько красноречие сильнее порядочности.

Нам, однако, не удастся уточнить аллюзии Непота и указать, к каким фактам они относятся, раз мы, после двух опытов сравнения — одного с 44 годом, другого с 58, — получили два положительных результата. Это должно навести нас на мысль, что существенной чертой аллюзии является неконкретность, относительность, возможность различных применений, обобщенность. Об этом следует помнить, дабы избежать поспешного толкования аллюзий как относящихся к тому, что сейчас у нас на уме. Ибо аллюзии скорей касаются природы общества, чем отдельных случаев.

Но если уж мы ушли вспять к 58 году и погрузились в письма Цицерона, стоит, быть может, по ним проследить дальнейшие годы, вплоть до гибели Цезаря? Как закончилось изгнание? Что думал Цицерон о Цезаре? И кем, собственно, был наперсник Цицерона, Аттик? Это выяснится со временем. Мы возлагаем надежды на Непота. Он говорит неконкретно, но знает многое.

* * *

Когда Цицерон находился в изгнании в Греции, из Рима прибывали вести то благоприятные, то огорчительные. Он впадал в пессимизм, терял всякую надежду на возвращение и носился с мыслями о само-

убийстве — если только тут не было желания эпатировать преданного друга Аттика. Стоило, однако, Атику прислать горстку новостей о развитии ситуации в Риме, о тамошних распрях и о выгодах, которые они сулят, как Цицерон тотчас оживал, писал длинные письма, давал Атику указания и снова принимал участие в игре, пусть издалека. Но то были минутные, довольно слабые вспышки бодрости. В общем-то, период изгнания он прожил в глубокой депрессии. Настроением отчаяния пронизаны все его письма тех месяцев. Поневоле спрашиваешь себя, не пытался ли этот любитель патетической фразеологии, которой полны все его речи и трактаты, принять в изгнании некую позу. Но как раз письма того времени наименее претенциозны. В них нет риторики, отточенности, длинных, на целую страницу, периодов, нет цитат из греческой поэзии или из древнеримского поэта Энния, даже отдельные греческие слова не встречаются. Чувствуется, что автор излагает свои мысли с известным трудом. Нет, это не поза, а откровенная беспомощность! Стилист, так гордившийся построением искусных периодов, теряет власть над языком, пишет слогом отрывистым, сжатым, часто корявым. Он уже не стремится вызвать восхищение. Он попросту хочет уладить кое-какие практические дела и пишет лишь с этой целью.

Прежде он, бывало, тоже писал о конкретных делах, но о других. Обязательно пришли мраморные статуэтки Гермеса с бронзовыми головами — они мне необходимы для виллы в Тускуле. Или: библиотеку никому не продавай, я сам ее куплю. Прежде он распространялся о ведении домашнего хозяйства, приводил стихи Менандра или Еврипида и как «отец отечества» посмеивался над многими политиками. Впрочем, для писем у него было мало времени, он постоянно был занят общественными делами. Он был государственным деятелем. Обязанности политические и судейские он исполнял со всем рвением во имя чтимых им идеалов. Он полагал, что защита республиканского строя — это защита цивилизации. Господство оптиматов, «лучших людей», он считал равнозначным господству должного нравственного порядка. Покушение на «лучших людей» — это преступление против самого

добра. Он не представлял себе, что попытка низвержения этого строя может быть вызвана какими-то иными стимулами, кроме пошлой жажды наживы. Некогда он пошутил, что вот и он купил дом за три с половиной миллиона сестерций, у него тоже долги, ему тоже нужны деньги, так если бы его только приняли, он, мол, готов вступить в какой-нибудь заговор против республики. Сказал он это в то время, когда Катилины уже не было в живых, но на широкие просторы истории уже выходил Цезарь. В кого из них метила шуточка Цицерона? Может быть, и в одного и в другого? Во всяком случае, по этим словам видно, сколь глубоко он верил в бескорыстие своей политической позиции и сколь низкого мнения был о позиции противников.

Но вскоре положение изменилось к худшему, влияние оптиматов ослабело, зато партия народников-популярлов начала возвышать голос. Цицерону пришла на ум идея, по нашим понятиям, отдающая манией величия. Он задумал описать «свое консульство», то есть свою борьбу с Катилиной, разумеется, в форме панегирика. «Если есть в нашем мире что-нибудь достойное восхваления, хвалите, если угодно, и осуждайте меня за то, что я не восхваляю что-либо иное. В конце концов то, что я пишу, это не *enkomiastika*, а *historika*, не панегирик, а история».

Еще где-то он утверждает: я оказал на Помпея хорошее влияние — он избавился от некоторой демифильской слабости и уже признает, что я спас республику, он же лишь оказал ей услугу; когда б я мог оказать такое же влияние на Цезаря (а этому человеку теперь подули весьма благоприятные ветры), для государства это было бы не во вред.

Но вот благоприятные ветры помогли Цезарю стать консулом на наступающий год. Цицерон же вдруг пришел к заключению, что политика — прескучное занятие. Лучше посвятить себя философии. Да, да, Атик, отныне ты будешь политиком, а я философом. (Прислал поздравление на греческом: *Kikeron ho filosofos ton politikon Titon aspadzetai.*) Недалеко от Рима есть ведь места, где и не видывали Ватиния. Только подумать! Можно бы осесть там на всю жизнь. И всерьез заняться — ну, скажем, географией. Потому

что — увы, это уже ясно — дела оборачиваются худо. Помпей явно стремится к единовластию. (Опять по-гречески: *homologumenos tyrannida syskeuadzetai*.) Что бы означал этот внезапный семейный союз Помпея с Цезарем, этот раздел земель в Кампании, это швырянье денег? Но знаешь, Аттик, мы, когда встретимся, не будем из-за этого плакать. Не будем тратить попусту время, которое нам нужней для научных занятий. Меня теперь утешает не столько надежда на лучшие времена, как было прежде, сколько полное мое равнодушие к общественно-политическим вопросам. И еще кое-что. Если мне присущи некоторая суетность и мания величия (а ведь как это здорово — знать собственные недостатки!), теперь я отчасти удовлетворен. Раньше меня тревожило опасение — не покажутся ли этак лет через шестьсот заслуги Помпея перед отечеством больше, чем мои. От этой тревоги ныне я избавлен. Моральное падение Помпея несомненно.

Бегство в область философии, конечно, ничего не могло решить, «угрозы Клодия, навязанная мне борьба, мало волнующая меня», становились день ото дня все опасней, и ситуация не располагала отделяться шутками. Где-то Цицерон еще вставит замечание: «Нет сейчас ничего более любезного народу, чем ненависть к народолюбцам»; еще позабавится фразой: «Все ненавидят больше всего тех, кому дали власть над всеми», — но в это же время Клодий, при тайной поддержке Цезаря и Помпея, готовится к решительной атаке.

Если верить Цицерону, самым тяжким ударом для него было то, что люди, от которых он ожидал защиты (в их числе Помпей), подвели, пальцем не пошевелили в его деле. Он почувствовал себя обманутым и преданным. Из Рима он выехал добровольно, прежде чем было вынесено формальное постановление об его изгнании. Мраморные Гермесы с бронзовыми головами стали добычей молодчиков Клодия. Виллу, стоившую три с половиной миллиона сестерций, уничтожил пожар. Ничего не осталось ни в Риме, ни в Тускуле, ни в Формии, где экс-политик, а ныне *ho filosofos*, имел три своих резиденции.

И вот мы видим его в Греции. Он сломлен, он помышляет о самоубийстве, он даже не заботится

о гладкости слога. Иногда пишет брату, иногда жене, чаще всего Аттику. Он требует правдивых известий. «Потому что мой брат Квинт — странный человек, он меня очень любит и все свои письма наполняет оптимизмом, боясь, очевидно, как бы я не пал духом. Твои письма различны по настроению. Ведь ты, конечно, тоже не хочешь, чтобы я терял надежду, но и не даешь поводов для надежды безосновательной».

Аттик известил, что между Цезарем, Помпеем и Клодием начались нелады. Цицерон отвечает: дерутся-то они не из-за меня. Брату написал: Помпей — лицемер. Затем пришла другая весть. Кто-то в Риме указал на то, что Цицерона изгнали не вполне законно. Можно-де будет признать противозаконным приговор в целом. Цицерон на это: приговор должен быть отменен народом. А что будет с имуществом? С домом? Можно ли вообще все это вернуть? Если нет, на что мне жизнь? Действительно, в сенат поступает предложение разрешить Цицерону вернуться. Но один из трибунов наложил вето, и предложение нельзя передать на голосование на комициях. В Галлию выехал посланец по этому делу. Он должен свидеться с Цезарем. Может быть, он привезет оттуда поддержку? Прибыли ли письма от Цезаря? — спрашивает Цицерон. — Кончилось ли все неудачей или же есть какая-то надежда? Цезарь, однако, в поддержке отказал. — «Я получил в наследство имение в несколько миллионов», — сообщил как-то Аттик. И прибавил, что, добиваясь возвращения Цицерона, пустит в ход деньги. «Прекрасно понимаю, что означает такая помощь, — ответил Цицерон. — Знаю, что не должен просить тебя о ней».

В сенат вносится еще одно предложение. На сей раз уже от имени восьми трибунов. Цицерон изучает текст. Увы, Аттик! Предложение это неудачное. Оно возвращает мне только гражданские права, чем я в нынешнем положении должен, впрочем, быть доволен. Но неужели ты не догадываешься, о чем следовало упомянуть? О доме! Кроме того, формулировки там чересчур осторожные, а пункт третий надо изменить, боюсь, что в нем таится подвох, который, чего доброго, даст возможность лишить силы закон в целом.

Однако и это «чересчур осторожное» предложение не прошло. «Видно, придется мне сгнить в опале». «Из

твоего письма и из самих фактов заключаю, что погиб окончательно. Умоляю, не оставь моих близких. Судя по тому, что ты пишешь, вскоре тебя увижу».

И тут переписка обрывается — Аттик поехал в Грецию и встретился с Цицероном. Лишь через несколько месяцев друзья снова стали обмениваться письмами — Аттик, правда, остался в Греции, где у него были обширные поместья, но Цицерон уже был в Риме. Из других источников нам известно, что все эти месяцы Клодий препятствовал возвращению Цицерона. Дело дошло до кровавых стычек на Форуме, едва не погиб брат Цицерона, в суматохе подожгли храм Нимф. Наконец, сенат и после него народные комиции приняли постановление возвратить Цицерона в Рим. Путешествие было триумфальным, изгнанника всюду встречали с овациями. Поселиться Цицерону пришлось у его брата Квинта, ведь собственного дома у него не было.

Так закончились страдания идеолога.

То, что произошло потом, надо назвать иначе. Начались страдания оппортуниста.

Антиквар употребил здесь слова «страдания оппортуниста» после долгих колебаний. Он не уверен, хорошо ли говорить с презрением о колебаниях человека стареющего, изведавшего тяжкую судьбу и глубоко разочарованного, если человеку этому приходилось противостоять силам весьма могущественным, отчасти таинственным и не поддающимся учету. Как известно, граница между оппортунизмом и здравым смыслом туманна. Если кто-то под давлением извне меняет свои взгляды, он, естественно, дает повод для нелестных подозрений. Но ведь ум не перестает работать, взгляды действительно могут измениться. Вдобавок, человек, которым мы занимаемся, поступал как оппортунист лишь в определенных обстоятельствах. По крайней мере, один раз, и когда это было всего трудней, он избрал род поведения, достойный романтика. Из побуждений морали и чести он решил защищать дело, обреченное, по его мнению, на провал. При этом он рисковал жизнью, чувствовал сам неразумность своего решения и действительно проиграл. Так, может быть, Цицерона надо бы считать исключительно светлой личностью? И, может быть, этому великому режиссеру собственных поз и жестов удалось бы осуществить

самую пылкую свою мечту и очаровать нас на века возвышенной красотой своего духа, не испортить ему спектакля его жизни божественный Юлий? Ведь если сияющий портрет Цицерона и омрачает чья-то тень, так это тень Цезаря.

Эта пара никогда не вступала в непосредственную борьбу. Наверно, предпочитали не рисковать. Они стояли во главе двух враждующих партий — Цицерон во главе оптиматов, Цезарь во главе популяров, — но вели себя так, словно их разделяет не партийная борьба, а нечто более важное. Честолюбивые помыслы обоих метили выше. Для каждого, однако, суть их была несколько иной. Цицерон в основном был мыслителем. Цезарь не понимал и не любил философии. Цезарь хотел править миром. Цицерон желал быть только наставником мира и слышать его аплодисменты. У Цезаря была невероятная жажда славы в области военной. Цицерон, когда ему однажды довелось командовать римскими воинами в Киликии, не удержался от иронических замечаний о самом себе. Оба великие партнера были неподходящей парой. Они избегали встречи лицом к лицу. Да и не было у них арены, где бы они могли это сделать со всей убежденностью, со всей страстью. Боролись они, правда, много лет. Но боролись как-то странно, ударами вслепую, увертываясь, объявляя один другому шах и делая обманные ходы. Нападали к тому же не сами, не от своего имени, а через подставных лиц, от которых могли в случае чего отречься. Цезарь нанес Цицерону удар руками Клодия. Цицерон не сумел ответить надлежащим образом. Он, правда, возвратился из изгнания, с виду одержал победу над Клодием, а по сути, был уже тогда побежден Цезарем.

Он приехал в Рим более мягким, податливым и *наученным бедой*. Он искренне изменил некоторые свои взгляды. А именно это и было нужно. Он должен был их изменить в интересах Цезаря.

Лишенный дома и имущества, он был вынужден по приезде начать хлопотать *pro domo sua*¹. Он сделал это, с чего и пошла поговорка. И не будет преувеличением сказать, что деятельность его в последующие не-

¹ Ради своего дома (лат.).

сколько лет была деятельностью pro domo sua также и в более широком, поговорочном, смысле. Дело о компенсации за уничтоженные виллы удалось решить успешно, хотя Цицерон считал, что не получил полной их стоимости. Все же он начал хлопотать еще о возмещении и иного ущерба, не материального, об оплате убытков по счету более принципиальному, о возврате положения, репутации, почестей, утраченного политического влияния.

Тут он должен был спросить себя: почему я проиграл? Какую ошибку я совершил, позволившую Клодию сокрушить меня? В письмах к Аттику мы многократно находим анализ допущенной ошибки и соответственные выводы. Внешне ошибка была только тактической. — Я опирался, — замечает Цицерон, — на недостаточно надежных союзников. Я обманулся в их оценке. Полагал, что они не подведут, а они в критический момент подвели. Я остался один. Я не сумел привязать к себе союзников, приковать их к себе такими цепями, так переплести взаимные наши интересы, чтобы полностью себя обезопасить. Стало быть, это ошибка не идеологическая. Мне как философу нечего стыдиться, но с точки зрения тактики я сыграл неумело.

При таком взгляде, однако, напрашиваются дальнейшие выводы. Итак, я пал жертвой чрезмерного доверия к людям. Каким людям? Так называемым «лучшим», оптиматам. Я доверял сторонникам определенного политического направления. Я все еще остаюсь их единомышленником в вопросах идейных, поддерживаю их движение, но я перестал доверять людям из этого движения. Минутку, минутку... В конечном счете движение составляют именно люди. Если я разочаровался в людях, могу ли я не разочароваться в движении? Да, я чувствую какую-то фальшь, таящуюся в самом существе дела, не только в характерах отдельных лиц. Речь здесь идет о движении определенного общественного класса, а моральная слабость класса говорит о моральной слабости движения. Так правильной ли политической ориентации служу я, если это ориентация разложившегося класса? Ба! А какой есть у меня еще выбор? Лучший класс? Который? Прimitивный уличный сброд? Демагогия народной партии?

Наследие Катилины? Отвратительная роль Клодия? Нет, другого нет ничего. Самое большее — Цезарь, который, во-первых, ведет игру личную, отвечающую его собственному безудержному честолюбию, во-вторых, льстит толпе. Есть еще Помпей, не меньший индивидуалист, вступивший теперь в союз с Цезарем. Но именно в Помпее я больше всего обманулся.

Из всей этой путаницы нет хорошего выхода. Я обречен держаться класса «лучших», мне нечем его заменить. Разве что заменить плохое худшим. Но этот класс меня не защитит — не сумеет и не захочет. Просто он состоит из завистливых людей, которые ненавидят меня как личность выдающуюся. В их политике нет места идее. Их политика — это прежде всего грызня между людьми, стремящимися сделать карьеру. Теперь мне надо считаться с этим больше, чем прежде. И раз у меня нет хорошего выхода, я вынужден избрать какой-нибудь выход, но, разумеется, уже без полной убежденности. Этот путь не будет прямым, зато хоть выгодным, то есть безопасным. Мудрый Атик давно советовал так поступить. Надо отказаться от лобовых атак против зла. С частью зла, если удастся, надо будет временно вступить в союз. Надо занять более удобные позиции, укрепить тыл и маневрировать.

Так размышляя, Цицерон еще не знает, что идет в сети, расставленные Цезарем. Он думает, что он перехитрил Цезаря. На самом деле Цезарь перехитрил его. Полководцу, занятому войной в Галлии, ничего другого и не надо, такая эволюция взглядов Цицерона его вполне устраивает.

Очень полезный документ! — подумал, наверно, Цезарь, получив вскоре от Цицерона «палинодию». Каково было содержание «палинодии»? Ничего конкретного мы тут не знаем. «Палинодия» — как объясняется в энциклопедии — это «литературное произведение, противоречащее по содержанию предыдущему произведению того же автора и опровергающее мнения и упреки, там содержащиеся». Итак, Цицерон прислал Цезарю какую-то «палинодию», о которой упоминает в письмах к Аттику. Зверек понемногу приручается, — подумал Цезарь. — Не будем его пугать. Он начинает есть из рук.

Цицерон же изложил дело Аттику в таких словах:

«Нет, нет! Не думай, что какой-то иной читатель и чьи-то похвалы важней для меня, чем твои! Так почему же я известную тебе вещь послал сперва Цезарю? Уж очень он настаивал, а копии у меня не было. Поверь. К тому же (чтоб наконец-то проглотить горькую пилюлю, которую я слишком долго держу во рту), «палинодия» эта была мне немного противна. Но я решил отказаться от прямолинейного, опирающегося на истину, честного поведения. Трудно поверить, сколько коварства кроется в людях, желающих стать лучшими из лучших, и они, пожалуй, могли бы исполнять эту роль, будь у них хоть немного характера. Я сам испытал это, убедился в этом, когда меня обманули, бросили и предали. Все же в вопросах политических я намеревался поддерживать их. К сожалению, они оказались такими же людьми, как всегда. Только под твоим влиянием я отчасти протрезвел. Ты скажешь, что хоть давал мне советы и указания, как поступать, но не побуждал доходить до того, чтобы писать подобные вещи. А я — клянусь богами! — хотел таким образом поставить себя перед необходимостью нового союза с Цезарем и сделать невозможным возврат к этим завистникам — ведь они не перестают мне завидовать даже теперь, когда скорее должны были бы сочувствовать. Во всяком случае, я пока был осмотрителен в разработке темы. Если Цезарь это примет благоприятно, а они будут недовольны, разовью ее шире... В общем, что говорить! Когда в сенате я выступал в их духе, они радовались, что я не согласен с Помпеем. Довольно! Раз люди, ничего не значащие, не желают меня поддерживать, буду добиваться поддержки людей, кое-что значащих. Ты скажешь, что давно этого хотел. Знаю, что ты хотел и что я был законченным ослом. Да, пора уже позаботиться самому о себе, если от них я не могу добиться любви никакими усилиями».

Одновременно Цицерон пишет историку Лукцею и советует ему заняться в своем сочинении одной-единственной темой, а именно — поведать о достопамятном консульстве Цицерона, когда был обезврежен заговор Катилины и спасена цивилизация. Тогда труд,

несомненно, выиграет в сжатости. Цицерон явно чувствует, насколько полезен был бы в этот момент выход в свет произведения, которое принесло бы ему больше чести, чем его «палинодия». И он оправдывается перед Атиком еще так:

«Если я говорю о политике правду, меня считают безумцем. Если я заявляю то, что велит необходимость, слышу прислужником. Если молчу, говорят, что я дал себя сломить и прикончить. Вообрази, сколь это мне горько!»

Как бы то ни было, в ближайшие годы он заявляет «то, что велит необходимость». Он поддерживает триумвиров — Помпея, Цезаря и Красса — в то время фактических правителей государства. Впрочем, Помпея он поддерживал и раньше. Помпей, правда, не спас его от изгнания, зато потом, пользуясь своим влиянием, помог Цицерону вернуться в Рим. Обида предана забвению, теперь говорится о «признательности за благодеяние». Зато поворот к Цезарю явно вызван оппортунизмом, хотя Цицерон и здесь ищет более достойных объяснений. Ему ведь приходится не только голосовать за Цезаря в сенате, но и брать на себя вовсе уж неприятные функции, вроде судебной защиты Ватиния. Того самого Ватиния, которого Катулл считал ничтожной креатурой и которого сам Цицерон не так давно, перед другим судом, смешал с грязью. Да, подобную перемену взглядов философу нелегко оправдать! И пятидесятилетний эрудит заявляет: лишь теперь я узнал некие вещи, и то не из книг, а из опыта. Ну, а кроме того, — продолжает он, — загляните в Платона. Ведь сам Платон полагает, что проводить любые взгляды допустимо лишь в той мере, в какой удастся переубедить сограждан. Он осуждает всякое навязывание взглядов силой. Так вот, взгляды римских граждан изменились быстрее, чем мои. Я только приспособился к среде. Многие люди, некогда противившиеся Цезарю, ныне его поддерживают. Останься я при прежних убеждениях и попробуй их навязывать другим, я поступил бы вопреки Платону.

Вывод этот отдает фальшью — поистине акробатический номер. И все же есть в нем одно искреннее признание: о влиянии на личность взглядов коллектива. Все поддерживают Цезаря! Да, раньше они были про-

тив него, но теперь-то поддерживают. Даже «лучшие». Неужто все ошибаются или же ошибался бы тот, кто выступил бы против Цезаря? Впрочем, никто не выступает. Необычайная всеобщая солидарность. Объединились Цезарь, Помпей, Клодий, Ватиний — ну и он, Цицерон. Клянусь Геркулесом, это неслыханно! Но достаточно угрожающе, чтобы отказаться от сопротивления.

Итак, мы видим, сколько различных факторов разоружают Цицерона. Видим, что, по крайней мере, один из этих факторов — собственный разум философа, который и впрямь велит подвергать ревизии устаревшие мнения и предрассудки. К этому прибавляются личная выгода, неприязнь к оптиматам, комплекс «допущенной ошибки», страх перед возможными бурями и одиночеством, наконец чувство признательности Помпею. С другой стороны, беспокоит лишь сознание позора, да как бы не потерять лицо перед историей, коль придется слишком явно отречься от идеалов, от исповедуемой этики и всей философии. Равнодействующей всех этих разноречивых тенденций становится оппортунизм.

Однако оппортунизм возможен лишь до поры до времени. А именно — пока длится необычное согласие триумвиров. Помпей и Цезарь еще действуют заодно, но вскоре они разойдутся. Наступит гражданская война, а с нею — неизбежность выбора. И тогда наш оппортунист после долгих колебаний вдруг преобразится в романтика.

* * *

Нам кажется, что рассказ о романтическом решении Цицерона надо начать с Киликии. Это небольшое государство было расположено в Малой Азии, на юго-восточной окраине нынешней Турции. Цицерон был недоволен, когда в 51 году ему, согласно с принятой процедурой жеребьевки, выпало стать правителем Киликии. И сама должность правителя ему, мол, не нравится, хотя, к сожалению, он должен сослужить эту службу отечеству, и вообще не хочется ему уезжать из Рима в такой далекий край, а главное, его тревожит, как бы пребывание в Азии не затянулось сверх

положенного годовичного срока. Возможно, впрочем, что свое недовольство он преувеличивал. Не будем безоговорочно верить его словам — этот интеллеktуал, когда ему пришлось заняться администрацией и войском, несколько рисовался, драматизируя свое положение. Кое-что в Малой Азии принесло ему все же радость. Он попытался стать правителем необычным, не таким, как все.

Еще по дороге, проезжая через Грецию, он воздал честь ее культуре, как приличествовало римлянину, который тоже мог произвести впечатление на греков. У римлян был в отношении к грекам несомненный комплекс. Они были повелителями и в то же время учениками греков. Сознали свое могущество, но также и известную примитивность.

Некий римлянин, по имени Меммий, соорудил дом на том месте, где когда-то жил Эпикур. Цицерон не разделял взглядов философской школы эпикурейцев, однако, по их просьбе, вмешался в это довольно щекотливое дело. Он признал, что Меммий как человек просвещенный мог бы и впрямь найти себе другое место, хотя ареопаг разрешил ему строить на развалинах дома Эпикура. Затем он написал Меммию деликатное письмо. Меммий поразмыслил и уступил, к великой радости эпикурейцев. Драгоценная реликвия была спасена.

Свершив это доброе дело на земле греков, Цицерон прибыл в Киликию. Он решил, что будет управлять провинцией по-благородному. Существовал так называемый Юлиев закон, изданный Цезарем. По этому закону провинции были обязаны безвозмездно доставлять римским чиновникам разные блага, вроде лучших квартир, фуража, дров. Позволим себе не пользоваться Юлиевым законом, — решил Цицерон и запретил это также своим подчиненным. Он застал провинцию нищей, разоренной грабительским хозяйничаньем своего предшественника. Он был потрясен и написал Аттику: «Всюду слышу одно. Никто не в состоянии выплатить подушный налог. Жители уже распродали все свое добро. Эти стенающие города, эти рыдания! Здесь творились злодеяния, достойные не человека, но дикого зверя. Люди просто потеряли охоту жить». В этих условиях, вероятно, немалое удивление вызы-

вало то, что правитель Марк Туллий Цицерон живет на собственные средства. Во время служебных поездок он приказывал предоставлять ему самое большее «четыре постели и крышу над головой». Порой обходился и без этого — спал в палатке.

Вскоре он узнал и о других заботах провинции. Предшественник распорядился выслать в Рим делегатов от разных городов, чтобы они восхваляли его за оказанные Киликии благодеяния. Финансирование такой благодарственной миссии, разумеется, было для городов дополнительным бременем. Можете считать себя свободными от этой обязанности, — заявил Цицерон, — я уверен, что качества прежнего наместника и без того хорошо известны в Риме.

Таковы были маленькие радости философа на государственной должности в далекой Киликии. Он управлял гуманно, уменьшал налоги, отменял ростовщические проценты и наслаждался собственным великодушием. Некоторое беспокойство причинили ему воинственные племена горцев и, главное, угроза нападения парфян. Пришлось выступить в поход против свирепых варваров. В письме к Аттику он пошутил: «Я разбил лагерь на том же месте, что и Александр Великий, полководец поискусней меня или тебя». Но парфян он побаивался. К счастью, они переменили планы и сами удалились.

Все это было отчасти даже увлекательно. Он, впрочем, не переставал сетовать на столь чуждые его натуре обязанности и тревожился, что беспорядки на границе могут побудить сенат задержать его в Киликии дольше одного года. Однако его отозвали вовремя. И тогда, снова проезжая по Греции, он вдруг сообразил, что лучше бы ему не покидать Киликии. В Италии как раз назревала гражданская война.

Союз Помпея с Цезарем не мог длиться вечно. Что тут было делать Цицерону? Надо стать на чью-либо сторону. Прошли те добрые времена, когда ему удавалось так славно жить в дружбе с обоими кандидатами на единовластие и ни с кем не ссориться. Теперь же встала необходимость принять решение четкое и весьма рискованное — все равно, поддержит он Цезаря или Помпея. И лишь то самое, прежде проклинаемое, пребывание в Киликии избавляло его от прямого участия

в схватке, то есть от необходимости высказать свое мнение.

Кого выбрать? Помпея? Следовало бы его. То был бы выбор честный и принципиальный, говорящий о верности идеалам, доказывающий, что, по существу, Цицерон никогда не изменял прежним своим убеждениям. Ведь он все же ухитрился не голосовать в пользу Цезаря, когда речь шла о делах наиболее щекотливых. В такие моменты он предпочитал попросту исчезать из Рима. Он ведь согласился лишь на частичный компромисс и мог бы еще выйти из него достойно. Но, но... Он должен Цезарю деньги, восемьсот тысяч сестерций. Значит, надо эту сумму обязательно вернуть, чтобы долг не стал помехой в политике. Есть и другой долг — долг чести, благодарность Помпею. В древности ценили дружеские связи человека с человеком. Политику тогда понимали скорее как отношения между отдельными лицами, а не группировками, представляющими различные идейные направления, поэтому и в политике и в личных отношениях придерживались одних и тех же критериев. Требовали постоянства, верности данному человеку, платы добром за добро — это было нравственно, это говорило о достоинстве человека. Исходя из этого, надо выбрать Помпея.

Да вот беда, в Цезаре, в этом авантюристе, стремящемся к тирании, таится что-то загадочное, сила непонятная, но покоряющая. Он победит! Если вспыхнет война, Цезарь победит, а Помпей проиграет. Собственно, предсказать с уверенностью нельзя — у Помпея достаточно сил, он мог бы победить, но Цицерон чувствует, что будет иначе. А тот, кто будет побежден Цезарем, вероятней всего, погибнет или, в лучшем случае, подвергнется проскрипции, лишится имущества и пойдет в изгнание. Возврата оттуда уже не будет. Покоритель Галлии кое в чем отличается от Клодия. Между прочим, решительностью действий, а также тем, что апелляция на его приговор вряд ли будет возможна.

Лучше всего было бы сохранить нейтралитет. Но как? Ведь по приезде в Рим надо сразу же сделать заявление в сенате. Состоится голосование. Будут вызывать поименно:

Dis, Marce Tulli, прошу высказаться, Марк Туллий. Что тогда? Извините, погодите немного, пока я встречу с Аттиком. Нет, этого сказать нельзя. Тут не место для уверток. Так что же делать? Quid dicam? Contra Caesarem? ¹

Не только боязнь роковых последствий мешала Цицерону выступить contra Caesarem. Были и другие причины. В пользу Помпея говорил нравственный долг, в пользу Цезаря — вот так диво! — разум. Да, да, эволюция взглядов Цицерона зашла чрезвычайно далеко. Он, вероятно, чувствовал, как не ко времени пришлось это внезапное прозрение. В конце-то концов, что означает «хороший» или «лучший»? Каков истинный смысл этих основных политических понятий, применяемых всеми, даже Аттиком? Конечно, отдельные личности могут быть «хорошими», но в общественных конфликтах важно, существуют ли «хорошие» классы ² и почему они столь «хороши», что ради их защиты надо бороться. Может быть, сенат «хорош»? О да, это видно по результатам его блестящих действий. Может, «хороши» откупщики общественных налогов, эти профессиональные живодеры, всецело преданные Цезарю? Может, крупные финансисты? Нет? Ну, так, может быть, крестьяне? Но крестьяне хотят только одного: чтобы их оставили в покое. Они легко согласятся на монархию и на любую форму власти, только бы жить спокойно. Так о чем разговор? Почему не дать консульство Цезарю и не оставить ему командование армией, как он желает? Честолюбие Цезаря надо было сдерживать раньше, а теперь уже нечего разжигать кровопролитие.

Все это прекрасно, но что скажет Цицерон в сенате? Dis, Marce Tulli!

И он решился. Он скажет не то, что думает! Скажет то, что думает Помпей! Как он поступит? Вопреки убеждению и собственной воле. Пойдет, как корова за стадом. Этими словами он определяет свое поведение в интимном письме Аттику.

¹ Что я скажу? Против Цезаря? (лат.)

² На Цицероновой латыни: «Nam singulares sunt boni viri. Verum in dissensionibus ordines bonorum et genera querenda sunt». Ad. Att. (VII, 7) (Прим. автора.)

Неужели, как корова за стадом? Нет, в его поведении будет нечто романтическое, он примет решение трагическое. Даже выждет, пока трагизм положения достигнет предела, пока обстоятельства станут уж все трудными. Цезарь уже вступил в Италию. Помпей обнаруживает полную неподготовленность к войне. Он отступает, оставляет страну беззащитной на растерзание более ловкому противнику. Он намерен обороняться в Испании и в Греции. Цицерон все медлит, отчасти рассчитывая на то, что переговоры восстановят мир. Живет в деревне, в Формии, откуда пишет Цезарю и Помпею. Оба отвечают ему любезно.

«Помпей — Цицерону.

Письмо твое читал с удовольствием. Еще раз убедился в твоём стойком, мужественном поведении, когда дело идет об общественном благе. Консулы уже прибыли в мою армию в Апулии. Во имя твоей исключительной и преданной любви к республике настоятельно прошу приехать ко мне, чтобы мы вместе обсудили, как защищать страну от врага. Полагаю, что ты поедешь по Аппиевой дороге и вскоре прибудешь в Брундизий».

«Цезарь — Цицерону.

Хотя нашего друга Фурния я видел лишь мимоходом и не мог с ним ни поговорить, ни выслушать его спокойно, так как спешил догнать ушедшие вперед легионы, все же я немедленно пишу тебе и отсылаю Фурния, чтобы передал мою благодарность. Впрочем, мне уже не раз случалось это делать. Думаю, что и впредь буду часто тебя благодарить — столь ценные услуги ты мне оказываешь. Надеюсь скоро добраться до столицы, и прежде всего хотел бы свидеться там с тобой и воспользоваться твоим советом, дружеским расположением, авторитетом и всесторонней поддержкой. Еще раз прошу извинить за поспешность и краткость письма. Остальное узнаешь от Фурния».

Цезарь действительно занял Рим, Цицерон же принял его приглашение лишь частично. Он встретился с Цезарем, но не в Риме, и отказался присутствовать в сенате, хотя Цезарь приказал явиться всем сенато-

рам. Беседа шла туго. Нам известен подлинный отрывок этого диалога.

Цезарь:

— Так приезжай и действуй в пользу мира.

— По собственному разумению? — спросил Цицерон.

На что Цезарь:

— Неужели я должен давать тебе инструкции?

Цицерон:

— Я буду стоять за то, чтобы сенат не соглашался на твой поход в Испанию и на переброску войск в Грецию. Буду также высказывать сочувствие Помпею.

— Нет. Такой речи я не хочу.

— Догадываюсь, — сказал Цицерон. — Поэтому-то я и не хочу появляться в Риме. Либо произнесу речь в таком духе, — ведь если я там буду, о многих вещах я не смогу умолчать, — либо не поеду.

— Ты должен еще об этом подумать, — заключил Цезарь.

Несколько раз они обменялись письмами. Цицерон также медлил принять приглашение Помпея. Цезарь тем временем двинулся в Испанию. Цицерону не хотелось признаться себе, что он поддается чарам Цезаря. Но в душе он был восхищен, загипнотизирован быстротой, умом и либеральным поведением этого человека с железной волей. Стало быть, вот он какой, этот полководец, бросивший вызов республике? И никого еще не убил? Да, он скоро привлечет к себе всех. Достаточно послушать, что говорят простые люди в деревнях и маленьких городах. Они трясутся лишь за свои участочки да хибарки, за жалкие свои гроши. Они уже боготворят Цезаря, которого недавно боялись. И, увы, привели к этому прискорбные грехи и ошибки республики.

«Цезарь — Цицерону.

... Как ты правильно предполагаешь, я менее всего склонен к жестокости... Меня мало тревожит, что те, кого я отпустил на свободу, перешли, как я слышал, на сторону противника, чтобы снова воевать со мной. Сильней всего желаю одного: пусть я останусь верен себе, а они себе».

«Цезарь — Цицерону.

Я твердо знаю, что ты не сделаешь никакого поспешного и неразумного шага, но тут пошли разные слухи, и я решил тебе написать... Может ли благородный человек и добрый гражданин избрать что-либо более достойное, чем держаться вдали от внутренних распрей в стране? Были люди, одобрявшие эту идею, но не сумевшие ее осуществить из-за связанных с нею опасностей. Ты же видел не раз доказательства моей симпатии и дружбы. Для тебя поэтому нет пути безопасней и достойней, чем сохранение нейтралитета».

И именно теперь, когда Цезарь явно дарует ему право на нейтралитет, когда ширится молва о неудачах республиканской армии в Испании, когда сам Цицерон перестает верить в победу Помпея и только утешается верой в то, что «тирания должна пасть, она может продержаться самое большее полгода, ибо, согласно Платону...» и так далее, когда здравый смысл, казалось бы, убеждает остаться в Италии, именно теперь, при наименее благоприятных обстоятельствах, Цицерон решает сбежать к Помпею. О легальном выезде нечего и думать. Марк Антоний, всевластный наместник Цезаря, заявляет Цицерону напрямик: пропуска не получишь. Ты должен обратиться непосредственно к Цезарю.

Сильно опасаясь, что его могут схватить, Цицерон обманывает бдительность Антония и на небольшом суденышке тайно отплывает от берегов Италии.

В этом решении оппортуниста-романтика есть что-то поразительное. словно после многих лет глухой борьбы с Цезарем, после досаднейших поражений, которые ему приходилось изображать как свои успехи, Цицерон внезапноотреагировал с силой, не уступавшей той силе, что все время его ломала. Наконец-то он нанес удар!

Сразу добавим: удар последний и, подобно всем прочим, как бы не замеченный Цезарем. Цицерон, собственно, подоспел лишь к краху Помпея в Греции. А также к глубокому краху своих идеалов. Прибыв в лагерь Помпея, он совершенно разочаровался, увидел там одно лишь тупое упрямство, бездарность и жажду выместить все на нелояльных гражданах. Возможно, ему вспомнились слова «тирана»: «Пусть каждый

останется верен себе». Возможно, он себя спросил: кто сражается во имя чего? Республиканцы — во имя террора? «Тиран» — во имя терпимости?

Как бы то ни было, сразу же после битвы при Фарсале он возвратился в Италию, причем с поспешностью необычайной, будто торопился зачеркнуть недоброе прошлое. Встречи с Цезарем пришлось ждать около года. Победитель находился в Египте, где он не пожелал взглянуть на поднесенную ему голову Помпея и наказал услужливых убийц. Позже он любил Клеопатру.

Цицерон, разумеется, получил у Цезаря прощение, после чего занялся философией, но теперь уже всерьез и надолго — до гибели божественного Юлия.

* * *

Их стили! Оба ведь писали. Быть может, судить о характере человека по его стилю рискованно, но, когда имеешь дело с двумя столь необычными образцами стиля, трудно удержаться от искушения.

Наикратчайшее в истории официальное донесение о завершенной войне, *veni, vidi, vici*¹, считается просто остротой, ибо содержит всего три слова. В книгах Цезаря есть описания других военных походов, насчитывающие не намного больше слов. Три слова или, скажем, тридцать — различие не столь существенное. Но почему-то никто не рассматривает эти более длинные отчеты как забавы остряка.

Так писал Цезарь. Краткость в словах и в мыслях. Процесс письма не служил ему, как другим авторам — например, Цицерону, — для упорядочения несозревшей мысли. Цезарю надо было вначале понять, лишь затем он писал. О каждой вещи он знал ровно столько, сколько надо было, чтобы высказать конкретное суждение. Если же не знал, то не начинал фразы. У Цицерона иначе. Он начинал знаменитые свои периоды, доверяясь интуиции. Смысл периода появлялся из дебрей языка, отыскивался как бы на ощупь. Цицерон долго кружит над предметом, описывая спирали и проделывая сложные эволюции. Стил Цезаря — это

¹ Пришел, увидел, победил (лат.).

быстрый марш к намеченной цели по прямым, то есть самым коротким путям. Никаких колебаний, никаких блужданий — стиль должен обнаруживать непогрешимость пишущего. Ни к чему и литературные прикрасы. Они свидетельствовали бы о мелких слабостях автора, а этого следует избегать. Вообще автору надо избавиться от субъективных черт. Пусть он попросту не существует как автор, пусть уступит место герою, которым, собственно, является он сам. Не должно быть видно, как автор пишет, должно быть видно, как он действует. Всякая субъективность может показаться спорной и побуждать к дискуссиям, поэтому надо создать нечто безличное, совершенно объективное и тем самым неоспоримое. Итак, не будет местоимения «я», не будет первого лица. «Цезарь сделал», «Цезарь сказал», «Цезарь решил» звучит лучше, чем «я сделал», «я сказал», «я решил». Рассказчик говорит не от себя. Его сообщение как бы отождествляется с действительностью благодаря употреблению соответствующей языковой формы.

Однако язык — еще не все. Если хочешь представить действительность в правдоподобном виде, изложение должно быть объективным во всех отношениях. Цезарь знал, сколь вредна для пропаганды явная тенденция. Итак, описание событий, по возможности беспристрастное и всегда бесстрастное. Искусно подражать правде, хранить то холодное безразличие, которое присуще самим фактам. Факты невыгодные можно иногда опустить, но читатель этого не заметит, если создать впечатление, что рассказчик вовсе не заинтересован что-то скрывать, а что-то выставлять напоказ. Рассказчик вообще ни в чем не заинтересован. Он лишен чувств, подобно стеклу зеркала. Он — всего лишь техническое орудие.

Цицерон как стилист был полной противоположностью Цезаря. Цицерон — кокетливый актер, сплошное «я», мое прекрасное «я», сплошные гримасы, поклоны, улыбки, ужимки. Совсем другой способ покорить читателя. Цезарь, тот писал, тщательно процеживая мысли и потчуя читателя питательной гущей. Все отцеженное надлежало принять к сведению. Более широкого сотрудничества Цезарь от читателя не ждал. Цицерон же приглашал к сотрудничеству, открывал

свою душу и показывал, какие сложные механизмы в ней действуют. Ах, позер! Не сообщить что-то стремился он, но, главное, чтобы все видели красоту его души. И потому он еще обрамлял ее всяческими декорациями, принаряжал эту свою душу, пускал пыль в глаза. Ни одно дело не было у него таким однозначным и четко решенным, как у Цезаря. Ах, нет! — казалось, говорит он. — Ничего мы пока еще не выяснили, интеллект мой работает без устали, надо нам еще поразмыслить, примите, пожалуйста, участие в трудах возвышенного моего ума, еще минута, и вы узнаете, насколько я мудрей, чем вы думали. Вот намерек, таящийся в каждом Цицероновом периоде, в этих предложениях на целую страницу, которые чаще всего излагают какую-нибудь лично с ним случившуюся историю, как-то извиваются, дразнят, словно балансируя на краю пропасти, создают целый театр, разыгрывают то драму, то комедию. Выспренность, пафос, эквилибристика — вот суть этого стиля. Мелодика, ритм, напыщенность и богатая бутафория должны ошеломить читателя. Бесчисленные реминисценции, стихотворные цитаты непрестанно напоминают: мне об этом деле известно куда больше, чем я сейчас сказал, у меня в запасе кладезь знаний, я вижу относительность всего, оцените же мой подвиг — я преодолел скептицизм и провозгласил определенный взгляд. Да, вы можете спокойно довериться моему выбору.

В одном письме Цицерон признался брату, что Цезарь отозвался нелестно о некоем сочинении Цицерона. Сильно огорченный, он спрашивал: что, собственно, не понравилось Цезарю? Содержание? А может быть, стиль?

Сам он никогда не сказал дурного слова о стиле Цезаря. Даже отмечал, что это прямо-таки великолепная манера.

* * *

Но пора ответить на вопрос, который возник в процессе трудов антиквара и, возможно, заинтересовал читателей. Кто был Аттик, этот бездеятельный человек неизвестного рода занятий и неопределенных стремлений? В чем заключалось его не вполне ясное, но,

кажется, важное участие в ходе истории? Неужто многолетний адресат Цицерона ничего не желал? В такое время? Среди таких людей? Но откуда же он среди них появился? И почему Цицерон писал именно Аттику? Их переписка составляет целые книги, но она — односторонняя. Существуют только письма Цицерона. Ни одно письмо Аттика не сохранилось. Тем более странное впечатление производит диалог этих двух друзей. Цицерон непрестанно говорит, волнуется, кричит — другая сторона непрестанно молчит. Может показаться, что Аттик был только мифом, таинственным созданием фантазии, понадобившимся Цицерону из соображений психологической правды. Корреспондент, который молчит, интеллеktуал, который ничего не творит, политический гений, который не действует, — в общем, фигура, которой на деле нет, которой он лишь адресует свои самые сокровенные мысли. Предмет постоянного восхищения. В известной мере — недостижимый идеал. Человек, созданный для того, чтобы к нему вечно взывать: приди, помоги, объясни, посоветуй, реши, потому что ты понимаешь, умеешь, знаешь и всегда прав.

Но Аттик действительно существовал. Полагают, что он свои письма к Цицерону уничтожил, опасаясь неприятностей, которые мог навлечь на себя, если бы стало известно, что он писал. Зато в своем архиве он сохранил письма, полученные от Цицерона. Мы не знаем, подверглись ли его цензуре невыгодные для него строки. То, что какие-то письма пропали, а между дошедшими бывают большие промежутки, могло быть вызвано иными причинами. Однако Аттик всегда отличался осторожностью. Он умел жить в мире со всеми, стоя над политическими распрями. Он был величайшим приспособленцем эпохи. И делал это весьма достойно, возведя приспособленчество в ранг искусства. Люди думали: вот человек благородный, мудрый и независимый. Такую характеристику, полную восхищения и преклонения, дал Аттику Непот. Вспомним, что мы в свое время уже обратили внимание на своеобразную позицию Непота по отношению к событиям его времени. Ведь именно Непот последовательно осуществлял эту тактику: он не участвовал в игре, а лишь предавался созерцанию и размышлениям над нрав-

ственностью истории. Среди всеобщего смятения он сохранил свое, особое место, с которого терпеливо при-сматривался к миру. Тем временем республика скончалась, бессильные и весьма бездарные ее защитники погибли, зато рождались удачливые и хорошо вооруженные боги новой эры. (Мы употребили здесь множественное число, так как Непот жил долго, он пережил не только Юлия Цезаря, но до него еще Мария и Суллу, а после него — Антония, и видел начало правления Октавиана.) И, пожалуй, среди современников никто не привлекал Непота так сильно, как Аттик, Великий Стоящий-в-стороне. В его честь Непот написал восторженный панегирик. Можно предполагать, что таким способом историк восхвалял собственное поведение.

Знайτε же, что Аттик — по словам Непота — человек совершенно необыкновенный. Уже в юные годы он проявил себя как чудо-ребенок. Что за способности! Что за интеллект! Изумительная память сочеталась с умением мыслить самостоятельно. Сверстники — среди них Цицерон — не могли поспеть за ним в науках, но искренне им восхищались. Богатый отец Аттика рано умер. То были времена Суллы и Мария, разразилась гражданская война; Аттик быстро пришел к выводу, что настала самая подходящая пора продолжить занятия, и выехал в Афины. Уже тогда он понял, что иначе невозможно будет сохранить собственное достоинство и не подвергнуться гонениям какой-либо из враждующих сторон. Однако же он оказал финансовую помощь Марию, когда тот, объявленный врагом государства, покидал Италию.

(Тут краткое отступление. Мы затруднялись определить род занятий Аттика, но, пожалуй, не ошибемся, назвав его финансистом.)

Сулла ближе познакомился с Аттиком в Греции и был очарован этим всесторонне одаренным юношей. Он хотел увезти Аттика в Рим, тот отказался:

— Я не могу пойти с тобой против тех, кого покинул лишь для того, чтобы не пойти с ними против тебя.

Таков был дебют Стоящего-в-стороне. Не о государственных должностях и обычной карьере думал этот молодой человек, но о том, как бы проплыть по

«бурным волнам политики» и остаться хозяином своих поступков, что — на взгляд Непота — ничуть не легче, чем «совершить успешное плавание по бурным морским волнам». Это сравнение крепко застряло в уме Непота, вскоре он повторит его в другой форме. Он спросит: «Почему кормчий, спасший корабль от бури и рифов морских, пользуется особым почтением? И почему не прославить, как нечто выдающееся, ум человека, плывущего среди столь многих и страшных политических бурь и причаливающего без потерь?» Непот ставит вопрос неудачно. Кормчий у него спасает корабль, а политически нейтральная личность — только себя самого; поэтому легко ответить, что заслуги этих двух несопоставимы. Да, мы восхищаемся моряком, спасшим во время бури пусть даже не корабль, а собственную жизнь. Но мы подозреваем, что в политике подобное спасение связано с какими-то недостойными или, по крайней мере, не придающими чести поступками.

Это чувствует и Непот. Ведь он хочет доказать благородство Аттика. Да, — говорит он, — Атик был трезв, он был рационалистом в жизни, но «трезвость» не всегда означает «ничтожество». Напротив. И здесь перед нами именно такой особенный случай, когда ум и порядочность взаимосвязаны. Только это приводит к благим результатам. Например, в бытность свою в Афинах финансист Атик охотно давал займы грекам. Но взимал долги полностью и в срок. Трудно вообразить более правильное поведение в этих делах. Оно выгодно для займодавца, так и для должников — не нарастают обременительные проценты. Кроме того, подчеркивает Непот, Атик бесплатно раздавал зерно.

Однако самое важное — не это. Главное, надо оценить особую форму участия в политике, которой придерживался Атик. Ибо не следует думать, что он во все не вмешивался в политику. Вмешивался, и не раз и не два, но не затем, чтобы поддержать дело какой-нибудь партии, получить выгоду для себя или повлиять на ход той или иной интриги. Его вмешательство всегда имело характер гуманный, бескорыстный, подлинно внеполитический, было вызвано стимулами моральными, в политике не идущими в расчет, но для

Аттика важными. А именно — он давал деньги. Кому? Тем, кто проигрывал. Такую помощь получил, отправляясь в изгнание, Цицерон, так был поддержан Брут, когда после неудавшейся попытки возратить республиканский строй ему пришлось покинуть Италию. Это не назовешь помещением капитала в прибыльные политические предприятия. Аттик не продавался силам торжествующим и имеющим надежды на будущее, он стремился лишь облегчить участь побежденных. Это больше всего восхищает Непота.

В общем, Аттик был индивидуалистом. Он не поддавался обычаям среды, снобизму, традиции, моде — короче, никаким ходячим нормам поведения. Вопреки римской традиции, он не добивался должностей и титулов. Никогда ни на кого не подал жалобу, не подписался под чьей-либо жалобой, никогда не искал правды в судах и не был привлечен к суду. У него не было личных врагов. Непот даже утверждает, что он не лгал. Взамен он ото всех требовал искренности. Вопреки моде, он не купался в роскоши. Ни тогда, когда имел два миллиона, ни тогда, когда получил в наследство пять раз столько. После смерти дяди он унаследовал дом на Квиринале. Прелесть этого дома была не в изысканной архитектуре. Красота была в дереве. Старый этот дом пленял не роскошью, а вкусом. Аттик ничего там не перестроил, сделав лишь самый необходимый ремонт.

Много лет он провел в Греции. У него были владения в Эпире, он любил греческую культуру, говорил по-гречески, как прирожденный афинянин, хотя и латинская его речь отличалась необычным изяществом. Он замечательно декламировал на обоих языках. Подбирал себе рабов греков, умеющих хорошо декламировать, искусных чтецов, библиотекарей — словом, людей образованных, которые нужны были ему для издательской деятельности. На устраиваемых им приемах беседовали в основном о литературе и слушали стихи.

Он написал книгу. Стало быть, не ограничивался профессией банкира. Для гения это было бы произведение довольно среднее, для наблюдателя переходного периода оно весьма показательно. Он просто составил хро-

нологический указатель важнейших событий. Труд этот погиб. Но Непот отметил его и отозвался с похвалой. И еще раз выступил Аттик в роли историка. Сделал он это, без сомнения, для Цицерона, всю жизнь мечтавшего, чтобы чье-нибудь перо прославило его достопамятное консульство. Желаящих не нашлось, и тогда Цицерон, как мы помним, попробовал сам написать о себе. Аттик понял эту великую слабость своего друга. Непот сообщает, что среди оставленных Аттиком сочинений был, кроме упомянутой хроники событий, также небольшой очерк на греческом о консульстве Цицерона. Стало быть, Аттик написал для Цицерона то, чего так хотелось другу.

Любопытно, знал ли Аттик какие-либо неудовлетворенные желания? Был ли доволен жизнью? Устроился он, надо признать, почти идеально. У него была своя жизненная программа, установка, свой эпикурейский взгляд на мир. И ему удалось прожить жизнь по программе. Он на практике испытал все преимущества исповедуемой им философии. К тому же у него было очень-очень много денег. И было чувство превосходства над злосчастливым его временем. Он избежал разочарований, постигших Цицерона, не метался, как Катулл, не проиграл, как Помпей, и не умер, как Цезарь. Мы, разумеется, не знаем, достаточно ли ему было этого для счастья. Но, пожалуй, нам уже ясна причина прямо-таки благоговейного чувства Цицерона к Аттику.

Видимо, Аттик чем-то импонировал Цицерону, чем-то привлекал его, тревожил своей эпикурейской независимостью. Цицерон искал способ противостоять времени, но не мог найти. Аттик знал такой способ. Цицерон говорил: нет, я этот способ не применю. Аттик снисходительно молчал. И всегда наступала минута, когда Цицерону приходилось признать: Аттик, я уже приближаюсь к твоему способу, ибо получил горький урок. Такое положение длилось годами. Обаяние Атика неизменно оставалось в силе. Мы знаем, что пережил Цицерон в гражданскую войну Цезаря с Помпеем. Аттик же, которому к началу войны было — как пишет Непот — «около шестидесяти, воспользовался привилегией, даруемой возрастом, и никуда из Рима не двигался».

Что бы ни думали мы о поведении Аттика, надлежит помнить, что современники склоняли пред ним голову. Пылкий Цицерон и флегматичный Непот письменно воздали ему честь. Уважал Аттика и божественный Юлий.

ЛЮБОВЬ

Часть третья

Сразу после смерти Цезаря некий болтливый наперсник диктатора открыл публике странный замысел, с которым якобы носился под конец жизни ныне убитый «отец отечества». По словам Гельвия Цинны — так звали этого сплетника, — Цезарь хотел получить право на многоженство, для чего разработал проект особого закона. Цинне был отдан готовый текст и распоряжение представить его, в отсутствие Цезаря, на одобрение народа. Новый закон предусматривал, что Цезарь сможет иметь столько жен, сколько захочет, и таких, каких захочет, без всяких ограничений, якобы для обеспечения себе потомства.

Светоний, у которого мы почерпнули эту информацию, не доискивается, правдива ли она. Это уж мелочи, как бы говорит он. Так или иначе, Цезарь был человеком исключительно любвеобильным. Сосчитайте-ка его романы: Постумия, Лолия, Тертулла, Муция — все жены знаменитых людей. Да еще та, которую он любил больше всех: Сервилия. Ну и многие чужеземки, например, королева Мавритании Эвной. И опять же та, которую он любил больше всех: Клеопатра. Мы, понятно, назвали только самых достойных. Ибо о Цезаре мало сказать, что он был любвеобилен. Он был эротоманом. Кроме светских дам, он любил и дам менее утонченных. А как пели о нем в армии? «Эй, мужики, берегите баб, мы везем плешивого кобеля». Кое-когда на устах у солдат были и другие, еще более компрометирующие песенки, но о них позже.

Пока же мы приведем краткую хронику фактов, которые произошли в нескольких спальнях, либо со спальнями были как-то связаны, и о которых также можно сказать, что они имели историческое значение.

Факт первый, героический. Цезарю еще нет двадцати, а он уже год женат на Корнелии, дочери Цинны, но другого Цинны, более знаменитого и, возможно, известного читателю со школьных лет, выдающегося деятеля, приверженца демократов и Мария, противника Суллы. И вот диктатор Сулла приказывает юному Цезарю развестись с Корнелией. Цезарь не повинует. Из любви? Есть доказательства, что немного спустя, через три года после женитьбы, Цезарь легко перенес добровольную разлуку с Корнелией и сумел очень даже недурно устроиться. Конечно, три года после женитьбы и один год — не одно и то же. Особенно в таком юном возрасте. И все же антиквар видит в этом поступке Цезаря скорее сознательную тренировку характера и проявление решительности не в любви, а в политике. Цезарю тогда довелось скрываться, спать каждую ночь в другом месте, агенты Суллы даже схватили его, но он дал им взятку. Это помогло. Он сбежал. Со временем дело как-то замяли. Намечавшийся развод с Корнелией не состоялся.

Факт второй: красота. Он был высокого роста, стройный, с темными, живыми глазами, приветливым, даже веселым взглядом, только рот был великоват. Одевался изящно, вообще заботился о своей наружности. Не толстел. С годами становился все худощавей и бледней. Цицерон якобы сказал: «Всякий раз, как увижу эти так тщательно уложенные на его голове волосы, мне не верится — особенно когда он почесывает их одним пальцем, — что у этого человека могла появиться столь преступная мысль уничтожить строй Римской республики». Вероятно, Цезарь был красив.

Факт третий: Постумия. Одна из знатнейших римлянок. Он с ней спал. Событие не слишком важное.

Факт четвертый: Лолия. То же, что и выше.

Факт пятый: Тертулла. Событие, о котором мы не можем умолчать. Тертулла — жена Марка Красса; а ведь Марк Красс вместе с Помпеем и Цезарем — это весь состав первого триумвиата. Времена более поздние, Цезарь, наверно, уже слегка побледнел и похудел, он не юноша, да к тому же не кто иной, как он сам, сколотит первый триумvirат. Он втянет туда Красса, человека денежного. Он объединит Красса с Помпеем. Он-то знает, насколько Красс необходим,

Было бы очень плохо, если бы этот крупный капиталист вздумал помогать только Помпею. Красс, точнее, капитал Красса, должен поддерживать все в равновесии. Но у Красса есть Тертулла, которая нравится Цезарю. Нравится? Не то слово! У нас нет никаких оснований употреблять его здесь. Просто Тертулла оказалась на пути Цезаря. Из-за этого самого союза с Крассом и Тертулла подвернулась. Как поступить? Рискнуть? Последствия могут быть самые неожиданные, а дело идет о судьбе Рима. Но в таких случаях надо сперва действовать, а потом думать. Итак, Цезарь соблазняет Тертуллу. Думает ли он потом? Потом уже не над чем думать. Антиквар допускает, что любовники легко договорились только об одном: Марк никогда не узнает. Цезарь мог бы прибавить: благо отечества требует, чтобы Марк никогда не узнал. ^

Факт шестой, схожий с пятым, но все же иной. Помпей занят борьбой с пиратами и ведет на Востоке войну с Митридатом. Его долго нет в Риме. Он теперь на вершине славы: величайшие победы, богатейшие трофеи, сильнейшее влияние. Цезарь по уши в долгах, он все еще не может сравняться с Помпеем. Ни денег, ни солдат, да и славы куда меньше. Надо любой ценой поддерживать и укреплять выгодный союз с Помпеем. Но пока славный этот воин борется с пиратами, его жена в столице скучает. У Муции уже трое детей, она — как бы это сказать? — женщина в соку, ей, возможно, требуются впечатления определенного рода. Цезарь доставит ей эти впечатления. Он не в силах упустить случай. Эта интрижка его странным образом привлекает. Когда он в будущем снова встретится с Помпеем, у него будет тайное сознание своего превосходства. Он взглянет и подумает: твоя Муция принадлежала мне. Этакое тайное мужское самодовольство. Подобная победа над Крассом была бы смешна, Красс как соперник не идет в счет. Там дело только в Тертулле. Здесь же — некий негласный успех в борьбе с подлинным конкурентом. Важно, что это успех физический.

И в целом история с Муцией складывается иначе, чем с Тертуллой. Дело получает огласку. Любопытный Цицерон, который всегда знает, кто с кем спит, будет иметь новую тему для остроумных намеков. Поблагода-

рим философа! Ах, нет, не философа. Государственного деятеля! Этот человек, одержимый манией величия, воображает, что достигнет великих политических успехов, сидя под чужой кроватью и прислушиваясь, скрипит ли она. Он всегда так поступал. Да ладно, ладно... Пусть он так воюет со всякими посредственностями, но не с Юлием Цезарем.

Но вот как быть с Помпеем, который все же узнает? Посмотрим на его реакцию. Захочет ли он отнестись к этому серьезно или ему выгодней будет притворяться, будто он ничего не знает. К сожалению, Помпей, когда оскорбится и заупрямится, бывает способен на величайшие глупости. Он может даже развестись с Муцией. Это, пожалуй, не страшно, только бы он окончательно не сдурел, и не порвал с Цезарем.

Конечно, произошло, как он предвидел. Помпей вернулся и заявил, что ему все известно. Значит, забыть дело не удастся. Помпей, правда, вел себя осмотрительно, лишь сказал о Цезаре: «Этот Эгист». Эгист был любовником Клитемнестры, жены Агамемнона. Забавно, что имел в виду Помпей? Что он — Агамемнон? Или, быть может, что Эгист, то есть Цезарь, его убьет? Говорят, он произнес эти слова с глубоким вздохом. Тем временем в городе уже поговаривают о разводе Помпея с Муцией. Так называемое общественное мнение одобряет развод — не без заслуги Цицерона, который от радости потирает руки. Да, надо что-то сделать, чтобы Помпей позабыл об оскорблении. Всего лучше придумать для него какое-нибудь увлекательное занятие. Немного ловкости — и это можно осуществить. Главное, не надо торопиться. А почему бы Помпею не переменить жену? В этой мысли самой по себе нет ничего дурного, и она могла бы оказаться прямо-таки великолепной, если умело подойти. Когда несколько лет тому назад скончалась Корнелия, Цезарь взял в жены Помпею, кузину Помпея, и это оказалось весьма удачным политическим шагом. Почему бы не повторить этот прием в несколько ином варианте? Юлия, дочь Цезаря, помолвлена с неким Сципионом. Кандидат в зятья не слишком завидный. Так пусть уж лучше женится на Юлии Помпей. Немного жаль, правда, отдавать Юлию как выкуп Помпею. Но сыщется ли для нее более подходящий муж? Кто? Да,

кажется, этот выбор — самый удачный среди всех возможных. В известном смысле Юлия будет отдана Помпею вместо Муции, но лишь в известном смысле.

Факт седьмой: лысина. О постепенном уменьшении количества волос на голове Юлия Цезаря свидетельствуют многие историки. По их словам, Цезарь терял власть над собой в трех случаях: когда вспоминал о том, что Александр Великий в его возрасте уже правил половиной мира, а он еще не совершил никаких значительных завоеваний; когда узнавал о смерти храброго солдата; когда думал о своей лысине. У нас, к сожалению, нет информации о том, как влияло образование лысины на ход любовных связей Цезаря.

Факт восьмой, странная встреча Клодия и Помпеи в доме лысеющего Цезаря во время тайных религиозных радений. Первый подобный случай в Риме. Причина неслыханного скандала. На устах у всех один вопрос: возможно ли, чтобы Клодий, без ведома и помощи Помпеи, обманул бдительность прислуги и в женской одежде прокрался в ее дом? И все же его там обнаружили. Так зачем же он туда пришел? Верховный жрец, Гай Юлий Цезарь, разумеется, отсутствовал, ибо мужчинам не разрешалось принимать участие в празднестве в честь Доброй Богини, которое в этот день справлялось как раз в доме Верховного жреца. Все убеждены, что Верховному жрецу наставили рога. История забавная — два записных бабника, чьи политические интересы совпадали, столкнулись на романической почве. В таком деле Цицерон, конечно, тут как тут. Бедняга и не подозревает, как крепко обожжется. Он идет в суд, свидетельствует против Клодия, обвиняет его в профанации культа Доброй Богини, делает серьезное лицо, выступает принципиально, хотя на самом-то деле, наверное, чуть не лопается со смеху. Клодий до конца дней не забудет речи Цицерона. Он будет мстить целых десять лет подряд. Между тем Цезарю совсем неинтересно раздувать дело. Что он выиграл бы, добившись наказания для Клодия? Лысина увеличивается, завоевания не свершены, а Клодий еще сгодится для особых поручений. То, что он сделал с Помпеей, это уже было и прошло. И Верховный жрец заявляет суду, что абсолютно ничего не было. Клодий, после его туманного

объяснения, оправдан. Все согласны, что неуместный шум в городе надо унять. Один Цицерон чувствует себя довольно неловко после злосчастной своей речи.

Но Цезарь больше не желает жить с Помпеей, о чем узнают все. Так все же во время празднества в честь Доброй Богини что-то было? Нет, нет! — подчеркнуто отрицает Цезарь. — Не было ничего, кроме ложных подозрений. — Почему ж развод? — Потому что моя жена должна быть вне всяких подозрений, даже ложных.

Факт девятый: подарки Сервилии. Сервилию, уверяет Светоний, Цезарь любил больше всех, о чем свидетельствуют улики финансовые. В первый раз он подарил ей жемчужину стоимостью в шесть миллионов сестерций. Во второй... Ах, нет, об этом чуть погодя, это уже, пожалуй, будет факт особый, десятый. А пока остановимся на жемчужине.

История с жемчужиной произошла в 59 году. Римлянин сказал бы: *Caesare consule*, в консульство Цезаря. После многих тощих лет это был год тучный, по крайней мере, первые месяцы. Ему предшествовало прибыльное назначение в Испанию, где Цезарю в качестве пропретора было поручено управление одной из двух провинций. Он там спровоцировал войну с соседними племенами, дал несколько победоносных сражений и наконец-то нажился. Возвратившись в Рим с приличными трофеями, он прежде всего выплатил весьма неприятные долги. Одновременно он нашел человека, готового финансировать его избрание в консулы, получил, кроме того, изрядный куш за поддержку египетского царя — при столь благоприятных обстоятельствах он мог подарить Сервилии жемчужину.

Всякий, конечно, поймет, что подарки, ценность которых превышает некий предел, не бывают бескорыстными, даже у людей склада Цезаря. Так в чем же было дело? Видно, Сервилия дорожилась. Она, правда, не могла предложить красоту первой свежести — когда она получила жемчужину, позади уже было тридцать девять весен. Несомненно все же, что в этом возрасте она сохранила весьма недурную наружность и — как сказали бы мы сейчас — сексепильность. К тому ж она могла дорожиться и по другим причинам. Она ведь продавала Цезарю добродетель

римской матроны, аристократическую спесь и отчасти собственного брата. Ибо единоутробный ее брат, Катон Младший, к которому властная Сервилия относилась почти по-матерински, был ходячей совестью республики, на которую Цезарь готовил покушение. Запятнать добродетель Сервилиии означало в какой-то мере запятнать добродетель этого благородного патриота. Цезарь хорошо рассчитал: все это не могло обойтись дешевле, чем в шесть миллионов сестерций.

После развода с Помпеей он искал новую подругу жизни, хотел жениться в третий раз. В таких обстоятельствах лысина вынуждала — хочешь не хочешь — потрясти мошной. Возможно, что Сервилия, после смерти мужа женщина свободная, входила в список кандидаток в жены. Но даже если о браке и не думали, эту связь в глазах общества можно было оправдать легче, чем какую-либо другую. Любовники имели моральное право располагать собой. На их пути не стояла никакая побочная связь. И Цезарь пошел на открытое, прямо-таки демонстративное ухаживание за Сервилией, что было ему нужно из-за ореола, окружавшего незапятнанное чело Катона. Впрочем, женщина столь влиятельная, как Сервилия, всеми уважаемая и играющая большую роль за кулисами политической жизни, заслуживала высших знаков любви.

Современники признали, что Цезарь влюбился в Сервилию, но чувствовали что-то странное в их отношениях. Преподношение жемчужины истолковали как безумство влюбленного. Объясняли поступок Цезаря склонностью этого человека к широким жестам. Он всегда был расточителен. (В течение года умудрился промотать испанские трофеи и должен был влезть в новые долги.) Дело, однако, приняло еще более странный оборот, когда Цезарь вскоре женился на другой, а именно на восемнадцатилетней девице Кальпурнии. Эта женитьба также имела некоторый политический смысл, но обошлась без дорогих подарков.

Позднейшие биографы, по большей части греки, люди с особым типом воображения, старались приукрасить секрет Цезаря и Сервилиии, усложняя его чертами столь же сенсационными, сколь драматическими. Возможно, под впечатлением обстоятельств гибели диктатора, которого заколол кинжалом Брут,

они обратили внимание на тот неоспоримый факт, что Брут был сыном Сервилиии. И пошли дальше: то, что происходило между Цезарем и Сервилией в 59 году, было, мол, лишь продолжением более ранней связи. Оба тайно любили друг друга еще в молодости, и после этих-то ночей любви появился на свет Брут. Тогда становится понятной слабость Цезаря к Сервилиии, или, точнее, слабость к собственному сыну. Возглас: «И ты, дитя?», обращенный умирающим Цезарем к Бруту, надо тогда понимать дословно — в этот миг сын убивал отца.

Но, вероятно, это плод литературной фантазии греков, любивших сенсации и бешеные страсти.

Все же между Цезарем и Сервилией, несмотря на его брак с Кальпурнией, что-то продолжалось. Непонятная какая-то связь все тянулась. Десять лет спустя, уже во время гражданской войны, когда Сервилиии было под пятьдесят, римлян ошеломило еще одно проявление щедрости Цезаря по отношению к той же самой женщине.

Тут мы не можем пройти мимо одного замечания и должны продолжить перечень фактов. Что мы и сделаем.

Факт десятый, или злая острота Цицерона. Новый подарок был поднесен в не прямой форме. Он не был вручен, как жемчужина, ибо на этот раз речь шла о земельном владении. Цезарь просто устроил для Сервилиии покупку этого поместья на аукционе за смехотворно низкую цену. Подарок был вполне явный. И тут-то выскочил Цицерон со своим каламбуром. Он сказал: «Сервилиия приобрела это поместье еще дешевле, чем вы думаете. Она выложила только одну Третью». А дело в том, что дочь Сервилиии звалась Третья (Терция). Видимо, Цезарь, теперь изрядно облысевший, уже не так пылал чувствами к пятидесятилетней Сервилиии, но разве не мог он разглядеть знакомые черты прежней красавицы в лице ее дочери? Не напоминала ли ему «одна Третья» юные годы и былые восторги? Сервилиия же, не задумываясь, приобрела земельную собственность за свою живую и — что ни говори — не поврежденную временем копию.

Такую вот сделку совершила с Цезарем сестра Катона Младшего и мать Брута в то время, когда

республика клонилась к упадку, между прочим, из-за отсутствия великих идей, которые могли бы вдохнуть жизнь в одряхлевший строй. Катон и Брут, однако, погибли, защищая республику.

Факт одиннадцатый: Эвноя. Об этой связи антиквару известно очень немного. Эвноя была женой Богуда, царя Мавритании. Цезарь встретил ее во время африканской войны. Другой тип лица, оливковая смуглота тела, экзотика! Другой взгляд, другая постель, другие благовония и ожерелья. Что еще? Возможно, мысль: а как было бы в Индии? Или же тоска по европейской цивилизации?

Факт двенадцатый, которым мы сейчас займемся, подвергся всестороннему обсуждению многих новейших авторов, тогда как римские и греческие историки описали его довольно лаконично. Очевидцы едва упоминают об этом двенадцатом факте. Сам Цезарь в своих «Записках» полностью о нем умолчал. Только Цицерон негодует, как обычно, перед Аттиком по поводу этого двенадцатого факта. Но связь эта считается самой значительной. И уже давно установлено, что, будь у героини этого романа нос чуть длиннее, судьбы мира сложились бы иначе. Речь идет, конечно, о Клеопатре.

Попросим читателя вспомнить некоторые исторические подробности. Цезарь победил Помпея при Фарсале, а затем, преследуя бегущего противника, прибыл в Египет. Здесь он узнал, что Помпея уже нет в живых. С явным облегчением он приступил к осмотру Александрии. Возникли беспорядки — египтяне считали свою страну независимым государством и не могли спокойно смотреть на сопровождавших Цезаря ликторов. Он же ходил по городу как ни в чем не бывало, слушал философов и делал вид, будто знать ничего не знает. В Египте у него была одна-единственная цель: вытянуть из царской сокровищницы побольше денег под предлогом, что недавно скончавшийся царь был должен Риму довольно значительную сумму. Кроме того, он хотел отдохнуть. До него дошли слухи о спорах между царевичем Птолемеем и его сестрой Клеопатрой из-за наследования трона, но это мало его интересовало. Клеопатры тогда в Александрии не было.

«Она же, — пишет греческий историк Дион, — вначале пыталась добиться у Цезаря поддержки против ее брата через третьих лиц, но вскоре провела о его склонностях (а он был великим сладострастником и вступал в связь со многими, точнее, с каждой, что встречалась на его пути) и тогда послала к нему нарочного с вестью, что она, мол, стала жертвой коварных друзей и просит позволить ей лично изложить ему свое дело, дабы он их рассудил. Была же она образцом красоты среди женщин и находилась в расцвете молодости, голос у нее был дивный, и она умела пленить своими чарами любого; и вот она, эта звезда, созданная, чтобы ею любоваться и ей повиноваться, эта девица, умеющая поладить даже с мужчиной, довольный пожившим и немало любившим, — короче, существо необыкновенное, — решила, что лучше всего ей встретиться с Цезарем, возлагая всю надежду на свою красоту. Поэтому она попросила свидания и, получив согласие, разоделась и приняла такой вид, чтобы его ослепить своей дивной красой и в то же время разжалобить. С этим намерением она приехала в Александрию (она находилась за городом) и ночью, тайно от Птолемея, явилась во дворец. Цезарь, увидев ее и только услышав голос, исходивший из ее уст, тотчас потерял власть над собой в такой мере, что еще до рассвета приказал вызвать Птолемея и попытался их примирить. Так несостоявшийся судья превратился в защитника этой женщины».

Цезарю все же не удалось отстоять интересы Клеопатры без кровопролития. Войну в Египте он затеял именно ради нее. Однажды он там едва не утонул, бросившись вплавь по морю, как рассказывают, с книгой в руке, которую он держал над водой, чтобы не замочил. В другой раз ему пришлось сильно страдать от жажды, так как египтяне засыпали каналы и накачали в запасные резервуары морскую воду — римляне были вынуждены целую ночь рыть колодец. Он сжег семьдесят два египетских судна и ненароком — часть александрийской библиотеки, в чем тоже не признался в своих «Записках». Но в конце концов он разбил войско Птолемея, и, когда побежденный брат Клеопатры утонул в Ниле, Цезарь смог в награду вкушать ничем не омрачаемых наслаждений. Клеопатра угово-

рила его поплыть вместе в Верхний Египет. Цезарь страны не знал, помнил, пожалуй, лишь исторический репортаж Геродота о путешествии по Нилу до Элефантины. И так, они поплыли.

Открывавшиеся их взорам пейзажи относят к числу прекраснейших в мире. Начало пути еще не предвещало тех красот, которые их ждали дальше. Плоская равнина Дельты и безоблачное небо: вначале только это и было. Они пока предпочитали миловаться в царской каюте, обставленной с восточной роскошью и такой утонченностью, что сам Цезарь, привыкший как-никак к европейской умеренности, был, наверно, чуть смущен. Сказочное это гнездышко любви, плывущее по Нилу, все же производило впечатление на покорителя мира. Ничего подобного ему не довелось испытать ни в Греции, ни в Малой Азии. Юная царица — подобие Изиды или Мут и Хатор, девушка чем-то сродни богам, — отдавалась ему как небожительница. Он посадил ее на трон и прекрасно знал, что произошло это по его милости, но и она, полубогиня, в какой-то мере делала его богом. История вроде бы смешная — ведь трудно принимать всерьез этот любовно-религиозный спектакль, и все же невольно поддаешься необычному волшебству. Такую вот странную иллюзию создала Клеопатра на своем судне. «Они часто пировали до рассвета», — деликатно пишет об этом Светоний.

Чем дальше плыли они вверх по реке, тем заметней изменялся пейзаж. Равнина Дельты осталась позади, теперь по обе стороны были лишь узкие полосы зелени вдоль берегов Нила, да купы финиковых пальм, здесь и там высились построенные фараонами древние храмы, и в небе виднелись стайки ибисов. Через некоторое время и эти пейзажи кончились, зато скалы, которые раньше маячили только далеко на пустынном горизонте, стали больше, они приблизились, подошли к самой воде. Антиквар, понятно, не может с полной уверенностью сказать, о чем тогда думал Цезарь, но предполагает, что о памятниках. (Топографические данные позволяют выдвинуть на этот предмет достаточно обоснованную гипотезу.) В окрестностях острова Элефантины и вблизи Первого Порога сам рельеф почвы внушает мысль о памятниках, особенно

если перед этим вы осмотрели и, конечно, запомнили статуи Рамсеса в Фивах. И вот, у Первого Порога загадка этих колоссов вполне проясняется для каждого, кто туда плывет, — что уж говорить о Цезаре! Можно не поддаваться очарованию отраженных в Ниле огней, можно даже устоять перед причудливой красотой скал, их плавных очертаний в воде, но и самый сухой рационалист не может тут не подумать о том, что каменные Рамсесы существуют ведь в самой природе. И Цезарь, которого все же волновала проблема памятников в широком масштабе, понял, что фараонам грешно было бы не воздвигать своих статуй, когда вокруг, насколько хватает глаз, было так много подходящего материала. Он плыл мимо черных гранитных блоков и замечал, что они удивительно напоминают исполинов. Казалось, и обрабатывать тут нечего. Прямо выбирай да ставь на постамент.

С любовницей-полубогиней, сам почти бог, плыл Цезарь все дальше вверх по реке, среди каменных гигантов, этих почти готовых памятников. Впрочем, в Верхнем Египте все было гигантским, и об этом обязательно надо помнить, рассматривая историю необычной любви Цезаря к Клеопатре. Лишь в кульминационный момент, когда они приближались уже к Эфиопии, как называлась таинственная страна к югу от Египта, случилась неприятность. Среди солдат объявились признаки недовольства. Ибо вслед за влюбленной парой ехала армия, которой хотелось поскорей обратно в Италию, где им должны были выплатить жалованье. Шел уже девятый месяц пребывания Цезаря в Египте, и, возможно, у Первого Порога, несмотря на возвышенное настроение Цезаря, раздавались песенки о «плешивом кобеле». Как бы там ни было, вождь под влиянием солдат решил повернуть обратно.

Роман, однако, не закончился. Можно было бы даже патетически заявить, что любовь эту прервала только смерть. После отъезда Цезаря из Египта Клеопатра родила ребенка и вскоре отправилась туда, где находился он, то есть в Рим. Цезарь ждал ее приезда с нетерпением, хоть легко догадаться, что визит египетской царицы не прибавлял ему популярности у римских граждан. Все знали о личных целях этой

встречи. Диктатор принял гостью с величайшими почестями. Клеопатра поселилась среди садов за Тибром, и не было никаких признаков, что она намерена возвратиться в Египет. Цицерон написал Аттику полное желчи письмо: ненавижу царицу, очень она о себе воображает, ее управляющий, этот Сара, он, знаешь ли, не только подлец, но еще и держится со мной высокомерно, сама царица — наглая баба, не могу об этом думать без глубочайшего возмущения, в конце концов у каждого есть самолюбие, у меня тоже, и я бываю обидчив. Цезарь ни на что не обращал внимания. Наконец-то он достиг вершины могущества, во-дружал самому себе памятники, правда, поменьше и в другом стиле, он делался богом и даже — что почти невероятно — одержал частичную победу над лысиной. А именно — он получил в порядке исключения привилегию носить лавровый венок не только во время триумфов, но и в обычные дни. С той поры он носил венок постоянно, чтобы скрыть лысину.

Воспоминания о поездке к естественным монументам у Первого Порога и любовные наслаждения с Клеопатрой привели к тому, что Цезарь как-то обмолвился о преимуществах Востока, где, мол, легче управлять страной. Подобное наблюдение, впрочем, сделал и Помпей в Азии — такая мысль уже носилась в воздухе. У Цезаря были смутные, скорее фантастические идеи, которые он не пытался и, вероятно, даже не хотел осуществлять. Но, видно, о них проговорился — в Риме шли толки о безумных замыслах божественного Юлия. Столицу империи перенесут в Александрию! Этот слух передавался из уст в уста. Некоторые называли другой город: нет, не в Александрию, а в Илион. Но присутствие Клеопатры убеждало, что, пожалуй, все-таки в Александрию. Произошло еще кое-что, и весьма знаменательное: после долгого раздумья Цезарь наконец дал согласие, чтобы недавно родившийся сын Клеопатры носил имя Цезарион. Было отчего встревожиться. Люди спрашивали себя: что же, собственно, таится в этой увенчанной лаврами голове? Неужто Рим будет подражать египтянам или персам? Неужто Запад покорится Востоку?

В такой атмосфере сын Сервилии, Марк Брут, и совершил всем известное дело: убил Цезаря.

У Кальпурнии перед этим были дурные сны, возможно, из-за Клеопатры, и она говорила мужу, чтобы в день мартовских Ид он не шел на заседание сената, случится, мол, беда. Какой-то прорицатель тоже советовал диктатору остерегаться мартовских Ид. По дороге в театр Помпея, где уже поджидали заговорщики, Цезарь встретил этого прорицателя. «Ну что? — сказал Цезарь. — Иды марта наступили». — «Но не прошли», — вполне резонно возразил тот. Час спустя божественный Юлий был мертв. Клеопатра приказала упаковать полученные от Цезаря подарки, после чего отплыла в Египет.

* * *

Если бы не одна песенка, можно бы на этом покончить с обзором любовных связей, ограничившись двенадцатью указанными фактами. Ведь мы дошли уже до смерти любовника. Смерть оборвала последний, вероятно, прекраснейший его роман. Но Светоний приводит еще солдатскую песенку, которую нельзя оставить без внимания. В связи с содержанием этой песенки надо снова вернуться вспять к юности Цезаря.

Так вот, когда Сулла столь жестоко обошелся с Цезарем, потребовав его развода с Корнелией, Цезарю, хотя дело уже было улажено, опротивело жить в Риме на глазах у деспотичного Суллы, и он выхлопотал должность у претора, собиравшегося в Малую Азию. Вскоре они туда прибыли. Случилось так, что претор поручил Цезарю доставить из Вифинии какие-то суда. Исполняя распоряжение, молодой человек явился ко двору вифинского царя Никомеда, где был принят необычайно тепло. Одно это вызвало толки, к тому же Цезарь немного загостился у Никомеда. Возвратившись, он через несколько дней заявил претору, что хочет еще раз съездить в Вифинию — у него, мол, там дела, надо получить деньги, причитающиеся его клиенту. Претор, разумеется, дал согласие, и Цезарь снова застрял у Никомеда. Там его случайно увидели римские купцы, проездом остановившиеся в Вифинии. Тогда-то и пошел слухок: Цезарь-де прислуживал царю за столом, наливал вина, и вообще там были одни юноши и среди них Цезарь, и одет-то он был в

пурпур, а потом его увели в какой-то покой, и там-де он спал, а у Никомеда-то ложе из золота, и, словом, можно сказать, что некий римлянин стал царицей Вифинии. Сплетни эти тянулись потом за Цезарем десятилетиями, стали неисчерпаемым источником для полемических выпадов партии оптиматов. Проникли эти сплетни и в солдатские песни как весьма забавная тема. Во время триумфа в честь победы над Галлией Цезарь горделиво въезжал на Капитолий, сорок слонов шествовали справа от колесницы и сорок слева, пылали факелы, воины несли роскошные трофеи, шли пленники, шел скованный цепью Верцингеториг, а где-то в хвосте звучала песенка:

Цезарь галлов покоряет, Никомед же Цезаря,
Торжествует нынче Цезарь, покоривший Галлию,
Никомед не торжествует, покоривший Цезаря.

Антиквар вынужден заметить, что тем самым божественный Юлий предстает перед нами как педераст. Антиквар признает это с неохотой, ибо успел составить себе о Цезаре другое мнение. А именно — он видел в этом стальном характере классические мужские черты. Не подозревал он Цезаря и в непоследовательности. Теперь вся эта модель порядком расшатана.

Но как было на самом-то деле? Поверим Светонию? Поверим Куриону Старшему, одному из заклятых врагов Цезаря? Курион где-то выкрикивал о божественном Юлии: «Это муж всех женщин и жена всех мужчин». Признаем ложе царя Вифинии тринадцатым фактом и сделаем соответствующие выводы?

Минутку, минутку... А где же другие аналогичные факты? Почему-то никто не может их назвать. Все доводы вечно топчутся вокруг Никомеда. Если уж говорить обо «всех» мужчинах, следовало бы привести имена хотя бы двух человек, а то все один и тот же. Но мы напрасно ищем второго. Только раз Светоний вскользь упоминает о чьей-то злобной сплетне, что, мол, еще один мужчина, а именно юный Октавиан, якобы стал жертвой любовных домогательств Цезаря, но сам Светоний этому не верит. Итак, мы только слышим бранные эпитеты, вроде «царская подстилка», и

ничего более конкретного не можем узнать. У римских сенаторов явно не хватало изобретательности, как обычно у консерваторов. Даже Цицерон тут разочаровывает.

Возможно, какой-то намек скрыт в упоминании Светония о красивых рабах. Цезарь тратил много денег на покупку красавцев-невольников и в то же время, видимо, стыдился этих покупок, так как запрещал заносить их в кассовые книги. Но он покупал также красивые статуи. Всегда ли записывались в книгах счета торговцев произведениями искусства? Величайший тогдашний римский лирик Катулл, у которого в кошельке свистело, весьма язвительно высказывался о финансовых делах Цезаря. Стало быть, сообщения о миловидных рабах ничего не доказывают.

Больше объясняет молодость. Да, конечно, ведь фавориту Никомеда было двадцать лет. Он очень интересовался тайнами жизни. Одну из них он и узнал в Вифинии, удовлетворился этим опытом и больше никогда его не повторил. Это отнюдь не непоследовательность, но проявление сознательного подхода к жизни, глубокая систематичность, сочетающаяся с искусством отбора. Систематичность, потому что он испробовал все. Искусство отбора, потому что ограничился одной пробой. Пришлось не по вкусу: он и решил, что достаточно знания, вкуса же искал в другом. А уж он-то умел выжимать самое вкусное из дней будничных и иных, не столь будничных. Он жил быстро. Торопился. Но жизнью пользовался как мог полней. Он умел не только добывать женщин, страны, деньги, власть, божественность, но также умел воспользоваться всем этим лучше, чем кто другой. Посвящение в тайны секса, которое лишь удовлетворяет жажду знания, происходит в молодости. Цезарь управился с ним в надлежащий срок. Пора наслаждения жизнью, и заодно период, когда можешь выбирать удовольствия, наступает потом. Он это время использовал всесторонне. Любовное покорение Египта, блаженство с Изидой на Ниле в обществе каменных Рамсесов, заготовок для собственных его памятников, это, как вы понимаете, не детская забава. Он и это сумел пережить как зрелый мужчина.

Неизвестно, помышлял ли он действительно о законной монополии на многоженство, как утверждал Гельвий Цинна. Если думал, то намерение свое не успел осуществить. Подобная привилегия, подкрепленная авторитетом закона, составляющая одну из основ строя, была бы, несомненно, любопытным плодом житейского опыта любовника и диктатора.

НЕНАВИСТЬ

Часть четвертая

Прямо не верится, что это писал Цезарь. Какие плоские аргументы! Какая мелочность! Как он мог до этого дойти? Клевета, грубая ложь, сплетни из третьих рук — все в целом на уровне мелкого пасквилянта. Видно, тот стоял у него костью поперек горла, и Цезарь, не в силах ее выкашлять, так оплевал себя. Как крыса, полез издыхать на помойку, сучил ногами в нечистотах, лишь на это он еще был способен, он, Юлий Цезарь, он, брызжащий слюною *Divus Julius*¹, совершенно обессилевший из-за этого чудака, который проиграл.

Возможно, ошибка? Возможно, он написал другому? В самом деле — на Капитолии памятники, у Первого Порога памятники, на голове лавры, и весь он такой необыкновенный, безграничный, четыре триумфа, *veni, vidi, vici*, в его постели Клеопатра, весь мир склонился, дрожа от страха или восхищаясь великодушием диктатора, а Цезарь роется в помойке. Противники побеждены. Помпея, главного врага, убили египтяне. Цезарю осталось лишь устроить торжественное погребение отрубленной головы. Цицерон уже присмирел и прижал ушки. Ах, да, он провозгласил хвалу тому, из-за кого Цезарь брызжет слюною, но сделал это даже без уверенности, что Цезарю будет неприятно. Теперь он, говорят, обдумывает послание Цезарю с дружескими советами — он возомнил себя Аристотелем и решил, что может оказывать влияние на Александра Великого своей эпохи. Усердно тру-

¹ Божественный Юлий (лат.).

дится над этим посланием, утром выбрасывает то, что написал накануне, — в общем, работа идет. Безвредная мания. Цицерон уже не в счет, он не противник, а скорее сотрудник, пусть себе сочиняет послания, они наверняка будут напичканы комплиментами. Выходит, врагов нет. Может, их вообще никогда не было? Или все же остался один — тот? Настоящий противник? Не Помпей, не Цицерон, только тот? Лицемер, разгуливавший босиком? Но ведь и он уже мертв. Или остался как противник загробный?

Право же, трудно поверить в такую бездарную борьбу Цезаря с тенью. Дело не в клевете и жалких вымыслах, примененных в борьбе. Поражает ее неуместность. Кого он хотел убедить? Он, всегда такой объективный! Он, человек дела, он, стремящийся к безличности стиля, он, который, как зеркальное стекло, отражает факты, только факты, он, не ведающий страстей, он, техническое орудие для провозглашения бесспорных истин. Откуда вдруг это бессвязное бормотанье? Или же Плутарх извратил слова подлинника? Ведь мы читаем не Цезаря, сам документ погиб, мы находим лишь изложение некоторых фрагментов у Плутарха. Однако это подтверждается еще кое-где; да, так и было, Цезарь пытался, как крыса, кусать пятки, да еще чьи — тени! Пусть бы хоть наносил удары спереди — в голову, в грудь, но нет, куда ему, не достанет, не дотянется даже до икр, ну, настоящая крыса, а тот — огромный, босоногий, благородный. Выступи Цезарь против того с рассуждением, с доводами против благородства, со своими идеями против добродетели, представь он хоть клочок собственной своей концепции жизни, хоть обрывок другого мировоззрения, и скажи: это разумней. А он кричит: у того, благородного, было в руках сито. Нет, это не спор между кухарками, в крысе еще есть что-то демоническое. «У того, благородного, было в руках сито, когда жгли останки его брата, — говорит крыса. — Он собрал прах и просеял сквозь сито. Он искал в пепле крупницы золота».

Так и видится холодный пот на лбу Цезаря, когда он это выдумывает.

Того звали Марк Порций Катон. Впоследствии ему дали прозвище «Утический» или «Младший», чтобы отличить от прадеда, Катона Старшего. В молодости он с Цезарем не боролся. Он просто был контрастом Цезарю, только и всего. Станный был человек. Он раздражал людей неистовым своим нравом, но внушал уважение. Он казался фигурой из другого мира. Как-то не вписывался он в свое время, — отчасти подражая прадеду, хоть с опозданием в сто лет, когда общество уже не понимало догм древнего цензора. Он хранил верность отжившим принципам и понимал их слишком буквально. Лучше бы ему удовольствоваться легендой, блистать одним именем, в чем, собственно, и состоит задача аристократии, — помнить, что слава имени была в прошлом надлежаще обоснована и доказательств повторять не следует. Пусть бы титул заменил практику. Что говорить, на улицах Рима появлялись десятки патрициев в изящных носилках, они не ходили пешком, а уж босые и подавно. Они вели себя как нормальные люди. Катон же исполнял роль «наилучшего», точно следуя определению (коль я зовусь «наилучшим», я должен быть им). А так как он еще звался Катон, то соблюдал принципы прадеда. В довершение он читал греческих стоиков.

Вот так, без сандалий, без туники гулял он по Форуму. Голову не покрывал ни летом, ни зимой. Иногда приходил в сенат весь замерзший, запорошенный снегом и стряхивал там с волос льдинки. Говорили, что он начисто лишен чувства юмора и это как будто проявлялось уже в детстве. Рассмешить его было трудно, он выслушивал шутки молча или отвечал на них серьезно. Если же в конце концов начинал смеяться, то уж смеялся, и смеялся, и смеялся — долго, до упаду. Было в нем что-то граничившее с тупостью, это замечали часто, но никто не решался сказать вслух. В глазах общества образ его был какой-то двойственный. Его принципиальность временами казалась отсутствием воображения. Муравьиное трудолюбие — бездарностью. Добавьте неслыханное постоянство. Катон не менял платья и не менял мнений. Он редко раздражался, но уж если это случалось,

тогда повторялось то же, что со смехом: хоть по натуре он был добр, смягчить его не удавалось никому.

Эта черта в известных обстоятельствах делала его жестоким, но жестокость логически вытекала из нравственного постоянства и потому не вызывала возмущения, а скорее удивляла.

В день, когда Катон и Цезарь впервые столкнулись на заседании сената, Цезарь занял более человечную позицию, зато Катон всех восхитил последовательностью. Это было 5 декабря 63 года. На основе произведений Цицерона, Саллюстия и Плутарха, а также собственных домыслов антиквару удалось воссоздать события этого дня следующим образом.

Катон явился в Храм Согласия озябший, задолго до начала заседания, что также было его привычкой. Пока собирались сенаторы, он читал, не отрывая глаз от табличек, но вот на трибуну взошел консул Цицерон. Лишь теперь Катон взглянул на Цицерона. Уголкем глаза он заметил сидевшего рядом, тщательно причесанного Цезаря. Катон слегка вздрогнул, он, впрочем, решил не смотреть в сторону Цезаря. Он был уверен, что этот франт участвует в заговоре. Не хватало только доказательств. Фульвия, любовница одного из катилинарцев, ничего не донесла на Цезаря, хотя выдала всех остальных заговорщиков, а также план поджога столицы и склад оружия. Послы аллоброгов, задержанные два дня назад на Мульвийском мосту с документами заговора, тоже не доставили материалов на Цезаря. Но Катон знал: франт находится в числе поджигателей. Ему надлежит быть в тюрьме и ждать казни. Там его место, не в сенате.

Словно бы в насмешку, франту доверили совсем иную функцию. По решению сената он уже два дня держал под домашним арестом катилинарца Статилия. Слишком уж ему доверяют. Всего несколькими сенаторам было поручено охранять арестованных, и Цезарь оказался в числе стражей. И вот он явился на дебаты о наказании преступникам, явился судить, хотя следовало бы судить его самого. Еще не так давно заседал в сенате Катилина, пока Цицерон не указал на него пальцем, не воскликнул: «Он еще жив?» Неужели это повторится? Катилина выехал, его приспеш-

ников схватили позавчера, а Цезарь намерен сидеть спокойно, охраняемый всеобщим лицемерием? Ведь суть дела понимают все. Связи франта со сторонниками путча, кажется, несомненны. Но никто не желает углубляться, сама мысль о том, что Цезарь тоже причастен к заговору, ужасает. Все предпочитают, чтобы правда — да спасут нас бессмертные боги! — не была доказана. Достаточно того, что уже известно, — вчера поступили доносы на Марка Красса, надо наконец остановиться, не расширять информации о масштабах заговора, по крайней мере, не расширять открыто, надо делать вид, что все закончилось и не захватило тех вершин, на которых находится фронт.

Но Катон не мог примириться с трусостью сенаторов. Его вынуждают участвовать в чем-то мерзком. Ему и Цезарю придется сидеть рядом, как сидят они теперь. Равенство с преступником? Делать невинные глаза в нравственно позорных обстоятельствах? Катон на такое не годится. Все его умственные силы устремились в одном направлении: найти доказательство вины Цезаря. Это должно удасться, надобен только случай, — может быть, даже здесь, в сенате.

Цицерон между тем произнес вступительную речь: да соизволят отцы сенаторы обсудить род наказания для заговорщиков. Сенату, конечно, ясно, что масштабы замышлявшегося катилинарцами злодейства превосходят человеческое разумение. Поджог Рима, резня оптиматов, насильствие их жен, поругание весталок, призвание аллоброгов из Галлии. Пожалуй, довольно. Надо определить кару соразмерную преступлению. Согласно принятой процедуре, первым выступит Децим Силан, консул, избранный на будущий год.

Децим Силан был мужем Сервилии, сестры Катона. Он сказал то же самое, что думал Катон: что тут, конечно, можно говорить лишь о высшей мере наказания. Ведь речь идет о губителях отечества. Эти люди решили стереть с лица земли родной город и все истинно римское. Известно, как предки карали за измену родине. С преступниками надлежит поступить, согласно священной традиции предков.

Мнение Силана показалось естественным. Впоследствии четырнадцать сенаторов поддержали предложение Силана о смертной казни. Катон уже предвидел

следующий пункт программы. Сейчас взойдет на трибуну Цезарь. Польется поток наглой лжи. Франт горячо присоединится к мнению предыдущих ораторов, ведь другого выхода у него нет. Ни один преступник, будь ему каким-то чудом дано право заседать в сенате, не станет публично оправдывать преступление. Вождь демократов, Юлий Цезарь, до сих пор рассчитывал на народ, позабыв, что народ, уж во всяком случае, не мечтает поджариться на пожаре, а этим и угрожали ему, без сомнения, замыслы катилинарцев. Теперь вождь демократов уже на народ не надеется. Поэтому мы сейчас услышим весьма суровое и насквозь лживое осуждение заговора.

Действительно, Цицерон уже обратился к Цезарю с установленной формулой: *Dic, Cai Juli*. Говори, Гай Юлий.

Но в этот момент у входа в храм появился какой-то человек. Цезарь не выступил с речью. Видимо, дело было важное, раз этого человека пустили. В заседании произошел непредвиденный перерыв — оказалось, что принесли письмо Цезарю, и Гай Юлий еще с минуту медлил, как бы готовясь начать речь и стараясь еще дочитать письмо. Франт умел делать несколько дел сразу. Катон сидел так близко, что мог наблюдать все эти маневры с письмом. Письмо, как видно, было краткое. Цезарь прочел его быстро. Но выражение лица у него не изменилось. Катон знал — фронт всегда владеет собой.

Когда Цезарь спрятал письмо и начал говорить, смысл его речи был таков, что слушатели ушам не верили. Сперва вообще было трудно понять, к чему клонит длинное вступление. Цезарь говорил о преимуществах объективности. Здесь, мол, в сенате, ни к чему такие чувства, как ненависть, симпатия, жалость или гнев. Что до предков, — кто-то, кажется, упомянул о древних традициях? — то предки умели не поддаваться страстям и потому, например, во время пунических войн, щадили карфагенян. Следует подчеркнуть этот достойный подражания исторический прецедент. Есть и другие. Катону хотелось заметить, что, действительно, есть и другие и что истории известен также его прадед, который советовал безо всякой пощады уничтожить Карфаген, о чем Цезарь, конечно, слы-

шал. Но было все еще неясно, к каким выводам намерен прийти оратор. А Цезарь продолжал: мы собрались, чтобы определить наказание соразмерное преступлению. Возникает вопрос — существует ли соразмерное наказание? Если существует, Цезарь готов на него дать согласие. Но так как злодеяние превышает все человеческие понятия — а такая формулировка тоже была, — следовало бы, возможно, отказаться от соразмерного наказания и прибегнуть к обычным статьям закона. В том, что говорили до сих пор отцы сенаторы, есть один не вполне понятный момент. Красноречиво и патетически нам живописали картины страшных бедствий: похищают девиц, вырывают из рук матерей младенцев, город пылает, бряцание оружия, горы трупов, потоки крови и слез. Картина, что говорить, ужасающая, но с какой целью ее столько раз нам здесь рисовали? Не затем ли, чтобы сенаторы стали противниками заговора? В таком случае усилия были излишни. Сенаторы и так — противники заговора по той простой причине, что собственные беды никому не кажутся незначительными, и нет смысла специально расписывать людям грозящие им страдания. Лучше бы напомнить, сколь серьезная ответственность лежит на сенаторах. Возьмем человека такой высокой нравственности, как Децим Силан (тут Цезарь весьма лестно отозвался о муже Сервилии). Кто может не оценить подобный характер и подобное самообладание? К сожалению, сегодня Децим Силан проявил неуместную нервозность. Неужели его, несколько необычное, предложение подсказано страхом перед беспорядками? Но ведь у нас есть Цицерон, мы знаем прозорливость нашего консула, мы уверены, что безопасность отечества охраняют достаточно сильные и хорошо вооруженные стражи. Надеемся, что Силаном руководил не испуг, но впечатлительность и ошибочное убеждение, будто можно найти кару соразмерную преступлению. Нет, смертная казнь — не соразмерна. Что есть смерть? Естественная необходимость и облегчение. (Теперь Цезарь говорил для Цицерона, как бы подмигивая ему: ну-ка, любезный мой философ, уж ты-то, верно, знаешь, что об этом думают твои учителя стоики.) Ни один разумный человек не страшится смерти, люди мужественные встречают ее с

радостью, смерть — это просто отдых от страданий. (Да, да, любезный философ, мы эту болтовню наизусть знаем, не сомневайся.) Словом, предложение Децима Силана не обеспечивает должного наказания и не согласуется ни с традицией, ни с законом. Ибо надо добавить, что, по закону, римских граждан нельзя подвергать казни без суда.

Цезарь словно бы закончил. Эффект речи был ошеломительный. Сенаторы замерли, даже Катон прямо-таки онемел. Цезарь же умело выждал минуту-другую, а затем задал риторический вопрос: не вытекает ли из сказанного им, что он хочет оставить задержанных без наказания. Отнюдь нет. Их надлежит заточить в тюрьмы и разместить в разных италийских городах, а имущество конфисковать. Приговор должен быть бессрочный и ни при каких обстоятельствах не подлежать апелляции. Всё.

Катон меж тем задумал решительный шаг. Франт хватил через край. Несколько перепуганных ораторов тотчас заявили, что Цезарь их убедил и они, мол, теперь против смертной казни. Катон знал: пока будет поддерживаться эта фальшивая игра, в которой Цезарь рядится патриотом и каждый говорит не то, что думает, истина и достоинство никогда не победят. Надо сорвать личины — примерно так решил Катон. Пусть воцарится ясность. Доказательство вины Цезаря все же нашлось. Собственно, хватило бы и одной его речи — это явная защита убийц и поджигателей. Но есть более бесспорное доказательство. Поскольку Цезарь высказался против смертной казни после получения таинственного письма, можно сказать с уверенностью, что в письме этом что-то есть.

Пока Катон готовился к решительному шагу, в храме зазвучали слова консула: «Я вижу, отцы сенаторы, что лица и взоры всех вас обращены ко мне», — после чего Цицерон, не скупясь на театральные жесты и похвалы в свой адрес, произнес речь, которая вошла в историю как «Четвертая речь против Катилины». Но при всей эффектности речь эта была бессодержательна и не сыграла существенной роли в ходе событий. Немного спустя сломился Децим Силан. Изумленный Катон выслушал туманное объяснение, что его шурин, по сути, думал, а чего отнюдь не думал. Мол,

он, Децим Силан, думал и говорил, что поддерживает высшую меру наказания, но это вовсе не означало в данном случае смертную казнь. Как известно, для римского гражданина самое тяжкое наказание — это не смерть, а тюрьма.

Как известно? Кому известно? Разве что людям малодушным? (Наконец-то Катон дорвался до трибуны и начал свою речь с нападок на шурина.) О злосчастная страна! О край великих предков и ничтожных потомков! Очнись, Децим, пробудитесь и вы, сенаторы, от этого позорного сна, поймите опасность положения! Мы толкуем не о налогах, не о помощи союзникам. Катилина схватил нас за горло, речь идет о существовании Рима! В таких делах, Децим, не меняют мнений, теперь не время для двусмысленных речей, в таких делах надо иметь только одно, честное и смелое мнение. Но произошло нечто еще более чудовищное, чем увертки Децима Силана. Здесь, в сенате, выступает враг республики. Подлость и лицемерие надеются восторжествовать. Цезарь пытается защищать преступников. У вождя демократов на устах громкие фразы, а в складках тоги он прячет доказательство измены. Да, отцы сенаторы, Цезарь получил тайное письмо, доставленное нарочным. Он прочитал его украдкой и спрятал. Кто прислал письмо? Что там написано? Пусть Цезарь покажет!

В рассуждении Катона была только одна ошибка. Катон ошибался, полагая, что Цезарь участвует в заговоре. Катон горячился все сильнее, у Цезаря выражение лица не менялось, и так продолжалось некоторое время на глазах у всех сенаторов, заседавших в Храме Согласия. Вот Цезарь, кажется, пошевелил рукой — верно, хочет достать письмо, но еще колеблется.

Он знал, кому отдаст письмо, что из этого получится и какие последствия это будет иметь для того. Ведь тот — воплощение добродетели. Тот — сама безупречность, ходячая нравственность — внушает благоговение одним своим родовым именем. Тот — символ чистоты, до брака он не коснулся тела женщины. Аскет, идеал, святой; однажды, когда он явился в театр, изменили программу, чтобы не показывать обнаженных танцовщиц. Тот узнал, деликатно отказался

смотреть представление, не желая портить зрителям удовольствие, и был за это награжден аплодисментами. В его присутствии не касаются неких тем, не произносят неких острот и, разумеется, не делают ничего неприличного. Теперь же *тот*, который никогда не лгал, который в каждом деле был честен, чужд лицемерия, чужд корысти, *тот* святой Катон, перед всеми сенаторами, прямо в глаза, открыто и демонстративно упрекает Цезаря в коварстве и измене, требует здесь же, сейчас же показать письмо, потому что неизвестно, мол, от кого оно, быть может, от Катилины.

Однако Цезарь получил письмо не от Катилины. Только наивный Катон мог подумать такое, он всегда видит в людях и фактах «или-или». Этот ревнитель принципов неспособен представить себе мир менее примитивно. Для него не существует промежуточных положений, относительности взглядов, для него все — либо черное, либо белое, иначе действительность не соответствовала бы схеме, и тогда пришлось бы носить сандалии, не отмораживать себе ушей и спать не обязательно с женой — полная катастрофа! Цезаря действительно кое-что связывало с Катилиной, но это было давно, пока еще Катилина не спятил. У Цезаря честолюбия чуть побольше и методы чуть потоньше, он не станет, как простой ремесленник, участвовать в поджоге города, нет, он еще не рехнулся. И все же, когда Катон вот так стоит перед Цезарем, дрожа от возмущения и протягивая руку за якобы преступным письмом, когда этот маньяк весь багровеет, вдохновляемый непреклонной своей верой и нерушимыми принципами, Цезарь не уверен, о, далеко не уверен, что то, чем он сейчас угостит Катона, будет достаточным аргументом.

Но он воспользуется этим аргументом, начнет борьбу, раз уж Катон сам подал неожиданный повод. Надо же в конце концов хоть оцарапать этого Катона, решил он, — позже он будет кусать яростней, только бы причинить боль. В общем-то, он давно готовился вот так куснуть Катона в самое чувствительное, самое заветное — в его добродетель, в его идеалы. А Катон уже который раз подряд выкрикивает, чтобы Цезарь показал письмо, — надо же все-таки выяснить, кто есть кто и кто к кому пишет. — Ну что ж, ладно, —

говорит Цезарь. — Не будем из этого делать секрет. — Он подает Катону письмо. — Письмо от твоей сестры Сервиллии. — Лишь теперь выражение его лица изменилось, он усмехается. — Да, мне иногда пишут женщины.

Укус все же попал в точку. Катон взял письмо и начал читать, будто еще не доверяя. Заволновался и Децим Силан, но читать письма не стал. Катон вскоре вышел из себя. — Забери его себе, — рявкнул он, — забери, ты, ты... — он запнулся, — ты, пьяница! — Пьяница? Все знали, что Цезарь как раз не пьет. Намек на какую-то пирушку с Сервилией? Конечно, могла быть и пирушка, но эпитет прозвучал нелепо, хотя и двусмысленно.

В тот день, 5 декабря 63 года, Катон больше не говорил о Цезаре. Он сказал о другом. Сказал, что преступление, которое мы, отцы сенаторы, должны сегодня здесь осудить и за которое должны покарать, можно обсуждать, лишь пока оно не свершилось. Пусть помнят об этом отцы сенаторы! Если б это преступление свершилось, некому было бы за него преследовать и суд над ним никогда бы уже не состоялся. Пусть отцы хорошенько над этим поразмыслят! Пусть отцы подумают о преступлениях возможных, еще не свершенных, пред которыми правосудие окажется бессильным, если хоть чуточку заколеблется, хоть чуточку запоздает. Пусть отцы перестанут быть рабами удобств, наслаждений, денег, приспособленчества, влиятельных людей и слов. Увы, слова давно утратили истинное свое значение. Меры, цель которых продлить угрозу массовой резни, называются милосердием, наглость — отвагой, издевательство над священнейшим чувством, чувством справедливости, — заботой о законности. Пусть отцы посмотрят получше, и увидят дела, не слова! Пусть отцы очнутся ото сна!

После этой речи сенат согласился с предложением Катона и осудил узников на смерть.

* * *

А теперь акт второй. Опять Катон и Цезарь, но в другой ситуации. 63 год позади, за это время много воды утекло. Цезарь был претором, затем поехал в Ис-

панию, одержал военные победы, набил мешки золотом, и вот он возвращается в Рим. Год 60.

Ситуация сложилась такая: Цезарь стоит у города, Катон находится в городе. Цезарь думает: я буду консулом. Катон: нет, Цезарь не будет консулом. Цезарь опять же думает: я войду в город и отпраздную триумф. Катон: нет, он не проведет солдат по городу. Цезарь продолжает думать: у республики старомодные принципы, как у девицы из хорошей семьи, а я вот возьму да ущипну ее, впервые полапаю, попробую, погляжу, разрешит ли. Катон: когда все погрязло в неправде, должен быть хоть один человек, готовый скорее умереть, совершить безумный поступок, чем стать подлецом. Цезарь: ну, наверно, разрешит не все, но я погляжу, насколько уступит, это полезно знать.

Вот такой спор идет между ними через заставу. Да, через заставу, в 60 году Цезарь еще не может войти в Рим с армией, еще слишком рано, и он ждет, чтобы ему назначили триумф за победы в Испании, тогда он войдет законно. Но в то же время он хочет добиваться консульства. И тут опять поперек дороги становится закон — кандидат должен лично присутствовать при выборах. Время подгоняет, завтра надо появиться в Риме и выставить свою кандидатуру, а разрешения на триумф все еще нет. Республика не пускает, что ж, Цезарю это понятно, он не будет давать волю рукам, коль республика — такая недотрога. Он тоже не из робких. Покамест он послал другое предложение, в Риме у него есть свои люди, они уладят дело, он ведь просит всего лишь права выставить свою кандидатуру в консулы заочно. Он, как положено, остановился у ворот, так пусть же кое-что сделают и для него, чтобы он мог быть кандидатом, не присутствуя в городе.

Катон чувствует, чем пахнет замысел Цезаря. Самое невинное начало часто приводит к самому печальному концу. Начнется с одной уступки, как будто исключительной, как будто сделанной только один раз — для Цезаря, чтобы он стал кандидатом заочно, — из стены законов, охраняющей республику, вынут один кирпичик, и зашатается вся стена. Катон еще не догадывается, что везет Цезарь из Испании. Ему не-

вдомек, что Сервилия вскоре получит жемчужину в шесть миллионов сестерций и что в эту сумму будет включен и он, Катон. Он в таких комбинациях ничего не понимает, они слишком чужды его образу мыслей. Но он видит, как к республике подбирается авантюрист, он знает, в какое трусливое время живет, какие ныне творятся дела. И он станет на страже и будет стоять до последнего вздоха. Он не упадет в обморок, сил у него хватит.

Да, все вокруг готовы склониться, готовы принять безропотно наглое требование Цезаря, никто уже и слова не вымолвит, разве что ленивое «пусть». Поэтому протестовать должен Катон, а Цезарь пока ждет у ворот.

И в этом-то суть новой ситуации: Цезарь у стен города нервничает, считает часы, оставшиеся до захода солнца, а Катон, в городе, все говорит и говорит, и тоже считает часы, и уверен, что не упадет в обморок. Цезарь рассказывает взад-вперед, думает о подарках для Сервилии, чтобы скомпрометировать Катона еще сильнее, чем тогда, письмом, а Катон торчит на трибуне, он знать не знает о подарках, но и на расстоянии он не дает Цезарю сдвинуться с места. Сенат должен выслушать оратора до конца, тем временем солнце зайдет, будет слишком поздно и разрешение на заочную кандидатуру нельзя будет дать. Цезарь постепенно смиряется, он видит, что тени кипарисов стали уже совсем длинными, солнце все ниже, из Рима никто не является с желанной вестью, ну, что поделаешь, видно, Цезарь проиграл. Катон говорит без усталости, никто его не слушает, в июне дни такие длинные, надо крепиться. Катон говорит, что взбредет на ум, только бы подольше, только бы растянуть до вечера. Цезарь, победитель Испании, с мешками золота, которые ему нужны для триумфа, для консульства, для Сервилии, должен капитулировать — и перед чем? Перед законом?

Закон — это миф, бредни Катона; в конце концов сам Катон превращает закон в пошлый балаган, позволяя себе мучить сенат своей болтовней целый день, только бы не приняли какого-либо постановления. Так перед чем же капитулирует Цезарь? Перед законом или перед злоупотреблением законом? Но ведь совер-

шенно ясно, что не в законе тут дело, и, право же, нечего терзаться угрызениями совести, если отнестись к закону не всерьез. Однако Катон выигрывает. Почему? Неужели он лучше Цезаря понимает, как злоупотреблять законом?

О, это мы еще посмотрим. Пока что Цезарь меняет план. Катон не упал в обморок, но Цезарь может просто-напросто отказаться от триумфа. Он въедет в Рим как частное лицо, явится на выборы, он будет консулом.

* * *

И только вступив в должность консула, он перешел в атаку. Смешная борьба, — думал он, — смешной противник, ну какой успех могут иметь в наше время прямолинейность и самоотверженность, которыми щеголяет Катон? Обществу не нужна чистая совесть, люди хотят хлеба, необходима земельная реформа. Чуждачества моралистов никого не накормят. Катон может сколько угодно стоять на трибуне и говорить, этим зрелищем народ не успокоишь. Другое дело цирк, всякие там львы, гладиаторы — да, острые ощущения помогают забыть о желудке, не то что речи этого безумного идеалиста, выходки этого зануды. Впрочем, против речей есть простое средство, нужно только решиться на один смелый шаг. Что мы и сделаем при первом удобном случае.

Итак, новоизбранный консул занялся подготовкой к распределению благ. Прежде всего Сервилия получила жемчужину, этого он не упустил. Для бедняков он предусмотрел раздачу участков на весьма справедливых основаниях. Отцы многодетных семейств должны были получить землю в первую очередь. Для себя, независимо от земельной реформы, он предназначил самый большой надел: всю Галлию. Катону же оставил идеалы. Это уже была программа, достойная гения, это уже совершался скачок в божественность, этот план не напоминал обычную погоню за чинами да общественными почестями, нет, он был переходом к акции совершенно нового типа, никогда еще в Риме не виданной. (Антиквар напоминает читателю, что близился 58 год, а год этот, как мы давно установили,

был датой, с которой все началось.) Теперь явно требовались какие-нибудь акты насилия, моря крови, горы трупов — и, действительно, уже недалеко было до завоевания Галлии. Но пока приходилось ждать утверждения законов о разделе участков и о передаче Галлии под власть Цезаря. Дело подлежало компетенции сената, но решал его также народ. И тут Катон повторил то же, что делал всегда: он стоял, говорил, но, главное, стоял, стоял самоотверженно, подчеркивая, что он, Марк Порций Катон, всегда стоит на страже, не дрогнет, он тут стоит и будет стоять.

Цезарь видел его на трибуне. На сей раз противников не разделяли рогатки. Цезарь спокойно наблюдал за Катоном, даже испытывал некое удовлетворение от того, что Катон был непохож на всех, был такой отчужденный, странный, одинокий, был совершенно один. До сих пор никто, кроме Катона, не протестовал против проекта законов. Другие пытались затянуть дело, прибегали к уверткам, вели наблюдение за небом и заявляли, что, мол, знамения неблагоприятны, надо, мол, отсрочить обсуждение. Один лишь Катон отважился на эту отчаянную речь. Какое безумие! — думал Цезарь. — На что он, собственно, рассчитывает? Неужели доведенное до крайности бессилие восторжествует над силой? Возможно ли быть настолько бессильным, чтобы благодаря этому стать сильным? Странное понимание законов физики. Оно годится для элеатов, но в Риме большинство народа еще не сошло с ума, во всяком случае, он, Цезарь, — человек нормальный. Пожалуй, пора уже доказать это Катону и всем собравшимся. Пусть же отношения между Катоном и Цезарем и возможности обеих сторон предстанут такими, каковы они есть на самом деле. Слабая сторона должна наконец испытать естественные следствия слабости, а сильная сторона — показать, на что она способна.

Если б Катон перестал говорить, он еще мог бы избежать конфуза. К сожалению, он заупрямился. Видно, решил опять говорить до вечера. Лицо горит, стиль возвышенный, усвоенный на уроках у философа Афинодора, в глазах вера: «озаряй меня, дух прадеда», — и, как всегда, отсутствие чувства действительности,

детская наивность! Однажды, когда Катон впервые влюбился, пол-Рима едва не умерло со смеху. Девушка взяла его только с досады, чтобы забыть прежнего любовника, который внезапно ее оставил. Катон же отнесся к этому делу с присущей ему серьезностью. Конечно, любовь, конечно, «никого, кроме тебя, до последнего вздоха, с чувством нельзя играть», сразу жежниться, и какая чистота, какое благородство! Девушка согласна, что еще ей остается? Катон на седьмом небе. Вот-вот свадьба. Между тем любовник узнает обо всем, и ему становится немного жалко. В один прекрасный день он возвращается, говорит, что любит по-прежнему. Девушка падает ему в объятия: «Спасибо, Катон, за все, свадьбы не будет, до свидания». Тот сходит с ума. Как это — свадьбы не будет? Они же договорились. Брак, конечно, состоялся бы, не появившись этот, третий. По какому праву он встает между влюбленными, если сам отказался? Это непорядочность, разбой, преступление! Почему за такие злодеяния не карают? Надо идти в суд! Эту мысль невозможно было выбить у него из головы. За каждое преступление следует карать, — кричал он. Друзья с трудом его убедили не подавать жалобу. В этой истории весь Катон. Он пойдет в суд, потому что какая-то девушка предпочла, видите ли, спать с другим! Он верит в нерушимость законов, требует ее, убежден, что законы и впрямь всемогущи. Теперь он будет стоять на страже, протестовать против проектов законов Цезаря. Нет, дудки, не будет он стоять. Цезарь его сдвинет с места. Как? О, очень просто.

Долго не раздумывая, консул Юлий Цезарь подзвал одного из своих ликторов. Надо подойти к трибуне и снять с нее Катона. Снять? Просто снять? Ликтор словно поперхнулся. Ах, да, просто снять. А потом? Потом его надо отвести в тюрьму.

И ликтор пошел и «снял» Катона с трибуны. Разыграно это было при общем молчании, никто не защищал сенатора, все только опустили глаза. Прежде, когда Катон еще стоял, многие переговаривались — длинные речи Катона никогда не выслушивались с чрезмерным вниманием. После же «снятия» вдруг воцарилась тишина. Слышались только шаги Катона и — будто эхотопанье конвоирующего ликтора. Но в этой тишине,

в столь благоприятных акустических условиях, Катон на ходу снова начал говорить. Может быть, он хотел, чтобы это выглядело как продолжение речи, но на самом деле раздавались только бессвязные выкрики. По-забыты уроки философа Афинодора, предложения прерываются долгими паузами, сенаторы еще ниже опустили головы, а Катон кричал, чтоб они ни под каким предлогом не одобряли законов, чтоб подумали, что с ними будет, если и дальше все пойдет так, как шло до сих пор. О себе он не упоминал, он шел в тюрьму, покорясь своей участи, он лишь давал последние указания тем, кто оставался на свободе. Но вот тишину нарушил смутный шумок. Сенаторы встали с мест. По-прежнему никто не говорил ни слова (кроме Катона), но сенаторы явно собирались выйти вместе с арестованным. Движениехватило постепенно всех, но и теперь все смотрели в землю и молчали. Вскоре за Катонм вслед потянулось безмолвное шествие. Шли медленно, не очень уверенно, словно не зная, зачем идут. Всего минуту назад Катон, протестовавший на трибуне, казался бессильным и незначительным, вокруг шли обычные разговоры вполголоса, слушатели зевали. и Цезарь был потенциальным хозяином положения. Теперь Катон вдруг вырос, потому что его выводили из зала, и уже важно было не то, что он говорил, но то, что вскоре он должен был умолкнуть.

Цезарь, бог весть почему, испугался онемевшей толпы. Кое-кто медленно поднимал глаза. Станные взгляды — страх, удивление, даже отвращение и как бы попытка угадать будущее. Они словно предвидели, что Цезарь плохо кончит. «Снятый» и отправленный в тюрьму Катон побеждал, была в нем, видно, какая-то непонятная сила, которая снова увлекла толпу и помогла ему выиграть.

Поэтому консул, вопреки логике (а это с Цезарем редко случалось), подозревал одного из трибунов и приказал догнать Катона. Он шепнул трибуну, что тот имеет возможность уладить дело по-иному. Катон и ликтор, вот так, как они идут, должны направиться не в тюрьму, а к дому Катона. Произошло, мол, недоразумение. Никакого ареста не было. Катон — свободен, и, наверно, ему, после такой изнурительной речи, захочется отоспаться у себя дома.

С годами стало понятно, что было в Катоне: задатки божественности. Ну, разумеется, несколько иной божественности, чем Цезарева, не столь алчущей жертв (если не считать казненных катилинарцев), менее властной, скорее из сорта покорных и тихих, быть может, и не полной божественности, а только ее части, святости. Как бы то ни было, Катон творил чудеса: достаточно вспомнить загадочные поражения Цезаря в обстоятельствах, явно суливших победу. Был он, выходит, не просто святым, но порой обнаруживал некие сверхъестественные свойства, тревожил этой загадочностью. Аскет с чертами сверхчеловека, пророк Римской республики, первый до Христа кандидат на место босоногого бога-мученика, достойный стать объектом культа. Никакая грязь к нему не приставала, не помогла и жемчужина, подаренная Цезарем сестре Катона, Сервилии, любовная эта связь оказалась бесполезной, на Катоне ничто не оставляло пятен, как вода на стекле. Тогда Цезарь придумал другую ловушку. Он воспользовался Клодием. (Этот человек после злощастной истории с Помпеей был ради Цезаря способен на многое.) Под видом почетного назначения Клодий втянул Катона в весьма неблагоприятную миссию. Катону пришлось поехать на Кипр и таким образом удалиться из Рима. Но это не все. Миссия на Кипр была связана с возможностью небольшой войны на острове и с финансовыми делами, а в таких обстоятельствах не мудрено и поскользнуться. Цезарь рассчитывал, что там наконец-то какая-нибудь грязь да прилипнет к святому Катону, что случится хоть что-нибудь не вполне ясное и чистюлю можно будет обвинить в нечестности. В Риме об этом нечего было и думать. Все помнили, с какой педантичностью Катон когда-то исполнял обязанности квестора. Он изучил ради этого бухгалтерию, занимался финансовыми законами, чтобы контролировать каждого писца и положить конец злоупотреблениям. На собственные деньги он скупил старые кассовые книги времен Суллы, рылся в них, пока не отыскал записи о выплатах в течение ряда лет доносчикам и наемникам диктатора; Катон приказал вернуть все до гроша, принести собственно-

ручно в государственную казну. Он не принимал подношений, неизменно отсылал их дарителям, будь то хоть царь, преследовал даже тень подкупа — ну, сущий бог, не человек.

На Кипре он предотвратил войну. Финансовые дела решил по-своему, не получив ничего для себя лично. Он только собрал немалую сумму для государства. Все счета он вел аккуратно, но на обратном пути, во время остановки на Корсике, матросы плохо присыпали огонь, вспыхнул пожар, и сгорели так тщательно составленные счета. Клодий ликовал. Он сразу же обвинил Катона в умышленном уничтожении счетов и в хищении. Но вызвал этим у сограждан лишь чувство неудовольствия. Кто кого обвиняет? — спрашивали римляне. — Клодий Катона? Да это смахивает на насмешку!

Цезарю пришлось искать другое средство против святости Катона. Боги не выносят друг друга, тем более кандидаты в боги. Их соперничество — самое ожесточенное и наименее сознательное. Здесь соревнование было исключительно драматическим — Катон оставался невредим, но ничего не приобретал, зато Цезарь приобретал постепенно все, но никак не мог отыскать у Катона ахиллесову пяту. В какой-то год Цезарь помешал ему получить консульство. Святой выслушал весть о результатах выборов совершенно равнодушно, играя в мяч. (Впоследствии, в «Записках о гражданской войне» Цезарь ухватился за этот эпизод и написал: «Катону не дают покоя старые обиды и поражение на выборах». Ничего больше он в святом не увидел.) Впрочем, и Помпей не знал, что делать с Катон. Быть может, будет удачным решением какая-нибудь матримониальная комбинация? Все равно какая: дочь Катона или племянница, для самого Помпея, для его сына или для обоих сразу, это уже не важно, о подробностях договоримся, во всяком случае, можно бы что-нибудь такое состряпать. После развода с Муцией Помпей, обозленный на Цезаря, обратился к семье Катона с брачными предложениями. Катон нахмурил брови: нет! Поблагодарил за честь, но сказал, что ею не воспользуется. Он не из тех, кого можно привлечь с помощью спальни. Тогда Цезарь предложил

Помпею свою дочь Юлию. Ключуло. Помпей на несколько лет был пристроен. Но Катон остался нетронутым.

Наконец вспыхнула война, самый подходящий случай уничтожить Катона. Он, понятно, стал на сторону Помпея — ведь Помпей должен был спасти республику. По сути же, оба враждующих вождя чувствовали, что Катон занимает свою особую, третью, позицию. Что ж он сделает в случае победы Помпея? Ясно что. Прежде всего призовет победителя сложить оружие. Можно заранее себе представить патетические речи на эту тему. И Помпей держался с Катоном осторожно. Он не доверил Катону начальство над флотом, предпочитая не вооружать фанатика, способного на все ради защиты возвышенных мифов. А если бы победа досталась Цезарю? Цезарь знал, что достигнет полного торжества, только лишив Катона задатков божественности. Значит, надо было и об этом подумать. Сажать в тюрьму или убивать конкурента он не собирался. Он уже убедился в неэффективности таких способов борьбы. Убить Катона означало бы даровать ему бессмертие в глазах всего мира. Оставался лишь один путь: именно теперь, во время войны, когда человек легче всего становится зверем, когда рушатся крепости и добродетель, поставить Катона в какое-нибудь отчаянное положение, постараться, чтобы он сам в него попал и погиб, сделать из его характера кашу, топить его, топить, а потом сжалиться над бывшим святым, одержать верх, не физически, нет, одержать верх морально, стать для него великодушным спасителем, собрать эти ошметки человеческой души в кучку, повезти в Рим и показать — пусть все видят, каков Катон и каков Цезарь. Если это не произойдет, Катон выиграет гражданскую войну, хотя бы Цезарь и разбил Помпея.

Но этого не произошло. В Утике (от которой пошло прозвище «Утический») Катон совершил самоубийство, прежде чем Цезарь успел явить свое милосердие. Публичное признание Цезаря над телом Катона, как оно ни театрально, было, возможно, вызвано шоком: «Катон, я завидую твоей смерти. И ты ведь позавидовал мне, не позволив тебя спасти».

Шок быстро прошел. Надо было продолжать действовать, то есть бороться с умершим. Слишком уж бо-

жественную смерть он себе устроил, ее оценили все. Но как действовать, как бороться с таким противником? Да, он оказался более грозным, чем Помпей, чем Цицерон, даже чем давно скончавшийся поэт Катулл.

Четыре триумфа. Наконец-то Цезарь вознаградил себя за учиненную ему давнюю несправедливость, за тот первый, несостоявшийся триумф, сорванный некогда Катонем. Вознаградил с лихвой, четырежды. Он приказывает нести карикатуры того, наслаждается их видом. Приказывает также раздавать деньги, зерно, масло; платит, кормит, поит, устраивает пиры на рыночных площадях. Льются рекой лучшие вина. Фалернское для народа! Но улица выпивает фалернское и все же возмущается — зачем, мол, великий Цезарь разрешил насмехаться над покойником, зачем карикатуры на Катона, ведь тот был хорошим человеком, героем, прямо-таки святым. Увы, улица права. Ничто не защитит Цезаря от бессмертия того. Божественный Юлий становится меньше ростом, когда заходит речь о том; божественный Юлий — жалкий карлик рядом с Марком Порцием, да еще карлик немного рехнувшийся. Ибо он должен кусать, он не в силах сдержаться, он как раз пишет теперь безнадежный пасквиль на Катона. Название: «Анти-Катон». Он перечеркивает всю жизнь того, чтобы ее оплевать. Он все еще ищет ахиллесову пяту, хотя знает, что не найдет. Повторяются старые приемчики, и раньше-то негодные, — все равно повторяются. Опять о Сервилии, уже бесцеремонно, бесстыдно, не щадя ни эту женщину, ни ее дочь Терцию, ни самого себя. Да, да, он, Цезарь, проделывал с Сервилией некие вещи. С сестрой Катона, с гордостью рода! Можете себе представить, каков был брат, если сестра попросту распутничала! И опять о деньгах, об этом Кипре, да так несерьезно, все шито белыми нитками: Катон-де не отчитался в доходах. И еще какие-то упреки, а для подтверждения — ничтожные людишки, сущие нули с мелочными претензиями, в роли свидетелей. И новый аргумент: он дурно обошелся с женой — все это из-за похоти. Однако аргументы — негодные. Надо кусать сильнее. Цезарь хочет быть львом. Но не может, он и на крысу еле тянет. Надо забрызгать могилу Катона так, чтобы эта грязь навсегда приросла

к его имени, осталась в памяти, хотя бы Катон был на деле кристально чист. Не искать недостатков, найти великий светоч его жизни. Замарать этот светоч. Был у него великий светоч? Да, конечно, он любил брата. С детства они воспитывались вместе, учились, позже путешествовали вместе, только Марк шел пешком, а брат Квинт ехал на коне, но все знали, что эти двое крепко любят друг друга, только Марк не употреблял благовоний, которыми душился брат. И вот, несмотря на такие различия, несмотря на суровый нрав Марка, они создали из своих отношений великий светоч, быть может, единственный в жизни Катона. Смерть Квинта была внезапной. Молодой стоик тогда плакал горькими слезами. Он справил похороны (это вдобавок случилось на чужбине, внезапное одиночество было ужасно), поставил памятник из фассосского мрамора, потратил на это огромную сумму: восемь талантов. О любви братьев помнили долгие годы. Она вошла в поговорку.

И вот теперь Цезарь сделал уже известное нам разоблачение: Катон, мол, просеял прах Квинта сквозь сито, ища золото. Но эта клевета не могла помочь, исход борьбы с Катоном был ясен, прежде чем Цезарь начал писать свой безнадежный пасквиль. Напрасно пытался божественный Юлий изменить исход борьбы. Тот увековечил его нерушимо своим глубоко продуманным концом.

ОКОНЧАНИЕ, СОГЛАСНО ПЛУТАРХУ

Утику, город, расположенный на берегу Средиземного моря в окрестностях нынешнего Туниса, превратили в крепость. Поставили вокруг башни, выкопали рвы, починили, где требовалось, стены и обнесли их частоколом. Эти работы указывали на то, что ожидается длительная осада и что врагу намерены оказывать упорное сопротивление. В действительности эти приготовления были излишни — никто в Утике, кроме одного человека, не думал всерьез о сопротивлении. Этим человеком был сам военачальник, Катон.

Он стоял лагерем в Африке уже много месяцев. Все это время, вопреки римским обычаям, он ел не

лежа, а сидя. И вообще ложился только ночью, чтобы спать. Такой порядок был им заведен в знак траура после поражения республиканцев при Фарсале. Оттуда, из Греции, он и приплыл в Африку, где против Цезаря собирались новые силы. Он решил присоединиться и продолжать борьбу. В республиканских отрядах тогда еще царил боевой дух. Солдаты даже хотели поручить Катону верховное начальство над всем войском, но Катон полагал, что есть кандидаты более достойные, и верховное начальство взял на себя Сципион, а Катон укрепился в Утике, собрав большие запасы провианта и оружия. Потом на африканский берег высадился Цезарь, и борьба возобновилась. Катон советовал избегать сражений в открытом поле, изводить неприятеля набегами и оттягивать время. Сципион был другого мнения. Полагаясь на численное превосходство своего войска и на конницу своего союзника, нумидийского царя, он решил дать сражение. Весть об исходе боя принес ночью в Утику внезапно появившийся гонец.

Он прибежал с криком, что при Тапсе была страшная битва, и что все, все пропало. Он сам участвовал в бою, потом три дня добирался до Утики. Битва окончилась полным поражением. Лагерь республиканцев в руках Цезаря. Сципион и нумидийский царь бежали с горсткой воинов, остатки армии рассеялись кто куда. Цезарь вот-вот нагрянет в Утику. О том, чтобы сдержать его победоносное наступление, нечего и думать. Там, при Тапсе, была настоящая бойня. Спасайся кто может.

В городе началась паника. Обезумевшие римляне кинулись к воротам с одной мыслью — бежать, бежать из города. В темноте глаза у страха особенно велики, тем паче когда тебя внезапно разбудят. Все боялись Цезаря, но еще сильнее — пунийцев, жителей Утики. Сципион, опасаясь измены, как-то решил их на всякий случай перерезать, но Катон тогда назвал план Сципиона варварским безумием, и никто не был убит. Теперь же, когда беглец из-под Тапса поднял крик о разгроме республиканцев, можно было ожидать, что местные жители попытаются что-нибудь предпринять, дабы снискать милость Цезаря. И римских граждан охватил страх. Но Катону удалось повернуть их от

ворот обратно, объяснив, что вести о поражении, вероятно, преувеличены. Надо выждать до утра и тогда уж принять решение. Утром Катон сообщит согражданам всю правду о положении крепости и подскажет, что делать. Пусть доверятся ему. В ближайшие часы им не грозит никакая опасность.

Остаток ночи и в самом деле прошел спокойно. Суматоха улеглась, возгласы изумления и ужаса стихли. После восхода солнца Катон созвал в храме Юпитера «совет трехсот». Так называли римских граждан, обосновавшихся в Утике. Занимались они торговлей или отдачей денег в рост. Кроме них, в Утике находилось еще много сенаторов из Рима, но «советом трехсот» именовались только торговцы и дельцы, которых насчитывалось около трехсот человек.

На лице Катона не было и тени смятения. Он принес с собой книгу и монотонным голосом стал читать нечто вроде инвентарной описи, будто выступал на собрании торгового общества, а не на военном совете. Зерна на складах столько-то, перечислял он, хватит на несколько лет, панцирей столько-то, стрел и вооружения разного рода столько-то, людей, способных носить оружие, такое-то число. Он знал, с кем говорит. Эта публика любила считать. Но и он любил открыто и честно подсчитывать все, как есть. Эта инвентарная опись не была с его стороны демагогическим ходом или хитростью, он просто говорил правду. А может быть, читал завещание? Так или иначе, с продовольствием и вооружением дело обстоит хорошо. Несколько хуже с людьми, способными сражаться. Надо теперь обсудить, что выгодней — бороться или сдаться Цезарю. Он знал, что эта публика любит считать. И тут уж подсчитывать будет не он. Это сограждане должны сами обсудить меж собой. Он, однако, поймет каждого, кто пожелает сдаться. Возможно, что сдаться — единственный выход. Но если кто-то предпочтет рискнуть жизнью и продолжать сражаться за свободу, он не только от всей души поддержит этот выбор, но будет таким человеком восхищаться, пойдет вместе с ним и поведет его в бой. Одно может он заявить с полной уверенностью. Окончательный выбор должен быть сделан совместно всеми собравшимися. Что бы они ни постановили, им, сплоченным,

будет легче и бороться с Цезарем, и снискать его милость в случае, если решат сдаться. Катон готов и эту возможность принять в расчет. Что еще может он им сказать? Положение не представляется ему безнадежным. Республика переживала и более страшные катастрофы. Цезарю, несомненно, придется снова отправиться в Испанию, где восстали республиканцы во главе с сыновьями Помпея. Рим не привык ходить на поводу. Раньше или позже там вспыхнет революция. Если они продержатся с оружием в руках, их ждут жизнь и радость. Если падут в борьбе, это будет прекрасная смерть. Больше Катону нечего им сказать. Сograждане, надеется он, разрешат ему в заключение помолиться вместе с ними богам об успешном осуществлении тех решений, которые будут приняты.

Военачальник произвел на «совет трехсот» хорошее впечатление. Было ясно, что он призывает к обороне, однако речь звучала так, словно он пустил в ход еще не все доводы и скрывал какие-то мысли, не связанные прямо с военными делами. Это тронуло сердца «совета трехсот», они чувствовали в недомолвках Катона нечто возвышенное. И они не захотели унизиться в глазах человека со столь несокрушимой силой духа. Все стали кричать, что они — в его распоряжении. Кто-то предлагал Катону свое имущество, наличные деньги и драгоценности для спасения республики. Другие вторили с не меньшим пылом: да, да, они обложат себя налогом, принесут деньги, пусть Катон ведет их, они готовы драться до последней капли крови. Наконец послышалось предложение отпустить рабов. Раз не хватает людей, способных носить оружие, можно освободить рабов и включить их в отряды. — Наши предки, — сказал Катон, — этого не делали. Но теперь каждый волен поступать по своему убеждению. Если кто-либо освободит рабов, Катон готов принять их в отряды.

Тем временем военачальника известили, что стража заметила скачущего к городу всадника. Катон покинул храм Юпитера и пошел выслушать сообщение. Всадник отрекомендовался как посланец конного отряда солдат, уцелевших после сражения при Тапсе. Отряд уже подходит к Утике. Едва успел военачаль-

ник выслушать это донесение, как явился второй на-
рочный из того же конного отряда. Его сообщение
звучало иначе: отряд желает уйти к нумидийскому
царю. Вскоре появился третий всадник. Он заявил,
что отряд не знает, как быть, и в город входить не
хочет, опасаясь местных жителей.

Того часа или двух, в течение которых Катон вы-
слушивал гонцов и не присутствовал в храме Юпи-
тера, оказалось достаточно, чтобы настроение «совета
трехсот» изменилось. — Хорошо сенаторам отпускать
рабов, — говорили там, — но как отпустить их нам,
торговым людям? Дело тут в профессии, да, да,
отнюдь не в материальном ущербе, мы не раз доказы-
вали свою готовность на жертвы, но просто есть
закон профессии: раз мы торгуем рабами, мы не мо-
жем их освобождать, это было бы против всякой ло-
гики, никто не рубит сук, на котором сидит. Но по-
стойте, стойте, — рассуждали они дальше, — о чем
это мы тут толкуем? О свободе для рабов? А сами-то
мы кто? И где мы находимся? Не будем ли мы через
час-другой червей кормить? Марк Порций, правнук
великого цензора, он, конечно, человек весьма достой-
ный, ничего не скажешь, но мы-то, клянусь Геркуле-
сом, разве мы — Катоны, или святые, или герои? Нам —
быть Катонами? Нам, обыкновенным гражданам?
С какой такой стати? Что он себе думает, этот Марк
Порций? Надо ему выложить все, как есть. Ну, ясно!
Героизм, республика, тра-та-та, все это прекрасно, но
суть-то в том, чтобы каждый из нас хорошо выгля-
дел. Лицом, лицом, а не перед историей. Вот что
услышит от нас Марк Порций. Мы, торговцы, не
встречаем в политику, мы честно занимаемся своим
делом, и мы — не Катоны. Кого мы, собственно, бо-
имся? Цезаря? Но ведь Цезарь отпускает пленных на
свободу. Уже не раз отпускал. Выдадим Цезарю се-
наторов вместе с рабами, которых эти сенаторы по-
спешили отпустить. Так будет лучше всего. Тогда
Гай Юлий, человек, умеющий быть благодарным за
оказанные услуги, скажет: «Амнистия, для вас, граж-
дане, амнистия», — уж наверняка он это скажет.
А зачем сенаторы освобождали рабов? Ну, ладно, не
выдадим сенаторов — можем с этим подождать. Выда-
дим? Нет? А пока пошлем к Цезарю парламентаров.

Военачальника известили, что сенаторы освободили рабов и что торговцы из «совета трехсот» говорят, что они, мол, не Катоны. Но военачальник притворился глухим. Он лишь посоветовал записать имена тех, кто отпустил рабов, установить также количество освобожденных и пополнить ими реестр воинов, ибо гарнизон должен знать, какими силами располагает. Затем он призвал сенаторов и велел им удалиться из города. Сам он тоже пошел с ними. Они направились к тому месту, где, по сообщениям гонцов, стоял отряд недобитков. Вступили в переговоры. Стой стороны выехали навстречу офицеры. Группа сенаторов уехала на пригорке. — Не желает ли отряд присоединиться к защитникам Утики? — спросил Катон. — Это было бы разумней, чем искать в горах нумидийского царя, уж не говоря о том, что негоже оставлять на растерзание тирану беззащитных отцов сенаторов, которые вот здесь ждут, на пригорке, и тоже просят о помощи. Запасов в Утике много, — твердил Катон, — столько-то зерна, панцирей, амуниции, дома там каменные, поджога можно не бояться. Офицеры в ответ: солдаты деморализованы поражением при Тапсе, повинуются приказам неохотно, но пусть Катон не думает, что они идут на службу к нумидийскому царю ради жалованья, не в том дело, они просто не доверяют местному населению. Вот если Катон выгонит или перебьет весь этот карфагенский сброд, они готовы войти в Утику и охранять отцов сенаторов. Такие условия ставят не они, офицеры, но солдаты отряда, положение угрожающее, понятно ли это Катону? Сенаторы — я слезы. Тут кто-то прибежал к Катону из Утики и доложил, что в городе хаос. «Совет трехсот» готовит заговор. Офицеры торопили: так наведет ли Катон порядок с местными жителями? Их солдаты не могут ждать. Военачальник отвечал: ничего, возможно, все это недолго протянется. — Но там, в Утике, — доносят военачальнику, — назревает открытый бунт, собираются послать к Цезарю делегацию, хотят сдаться. — Ничего, — повторял Катон, — напрасно они спешат, военачальник сейчас возвратится. — А отряд всадников? (Сенаторы плакали.) — Отряд пока остается вблизи города, там, где стоит сейчас.

Но всадники не остались. Немного спустя Катон сам сел на коня и пустился вдогонку. В первый раз за всю африканскую кампанию он воспользовался лошадью. До тех пор он ходил пешком, по привычке и в знак траура. Теперь поехал верхом. Он уже понял, что оборонять Утику не сможет. Между беседой с офицерами и погоней на верховом коне он успел побывать в городе и пытался успокоить «совет трехсот», они же спросили, неужели он человеческую жизнь не ставит ни во что. Они и не думают сражаться с Цезарем. Довольно этого тра-та-та о республике — и они изобразили звук трубы. — Не волнуйтесь, — заверил Катон, — все останутся живы. Между тем отряд недобитков уже ушел далеко. Катон догонял их на коне. Все останутся живы, — решил полководец, — «совет трехсот», сенаторы, рабы, местные жители и отряд недобитков, все, кроме Катона. Наконец на песчаной равнине за склоном холма он увидел удаляющийся эскадрон. Нет, они должны остановиться, прежде чем перейдут на службу к нумидийскому царю. Надо спасти сенаторов, эскадрону нельзя разрешить уйти. Иначе «совет трехсот» выдаст сенаторов Цезарю. Вот Катон уже догнал всадников. Пусть останутся в Утике, хоть на один этот день, — умолял он офицера. — Хоть до вечера. Даже не замедлили хода. Скакали вперед. Им ничто не грозит. Катон хватал лошадей за недоузки, поворачивал к городу. Им ничто не грозит, они тоже останутся живы, они и местные жители, сенаторы и торговцы, — говорил он, хватая офицера за оружие, — пусть только на сегодня выставят стражу в нескольких пунктах города и последят за порядком. — Ладно, — сказали они, — сделаем, при условии, что до темноты все кончится. Ведь гарнизон сдаётся, верно? И в городе хаос, как водится перед капитуляцией, — ну что ж, может, в суматохе что-то им перепадет?

В Утике у всех на устах: «Цезарь, Цезарь». Каков же он, этот завоеватель мира, что сейчас придет? Кого послать во всеподданнейшей делегации? Люди утешали друг друга надеждами на то, что Цезарь — великий человек. Значит, им будет амнистия. Уже обсуждали, какими знаками покорности умиловить победителя. Военачальника и теперь обо всем инфор-

мировали. Даже обещали начать вооруженную борьбу, если бы Цезарь не пообещал пощадить Катона. Ибо делегация (делегация, к сожалению, должна пойти, об этом уже говорилось, мы — не Катоны), да, делегация будет просить амнистии также для Марка Порция, причем в первую очередь (в этом военачальник может не сомневаться). Катон согласился, что делегацию надо выслать. Он посоветовал не медлить. Но решительно воспротивился тому, чтобы обращались к Цезарю с просьбой об амнистии для него, ибо амнистия применяется к людям, совершившим преступление. Он же не считает себя преступником. Преступник — Цезарь, это, конечно, всем ясно. И еще одно: оказывать милосердие можно только побежденным, а Катон себя побежденным не чувствует. Напротив, он полагает, что в течение всей жизни побеждал Цезаря, ибо попросту был справедлив.

Пока в Утике у всех на устах было: «Цезарь, Цезарь», а Катон произносил эту речь, возможно, последнюю, пока определяли, кто будет возглавлять делегацию (Цезарь, Цезарь, только не Гай, а Луций, свойственник Гая, на счастье оказавшийся в Утике), и пока решали, что Луцию Цезарю надо сразу упасть в ноги Гаю Цезарю и целовать ему руки, сенаторы спустились в гавань, чтобы приготовиться к бегству через Средиземное море, а всадники из отряда недобитков принялись грабить местных жителей. Прибежал Катон и с голыми руками накинулся на одного из грабителей. Этого оказалось достаточно — настолько странное было у Катона выражение лица. Прочие всадники побросали добычу наземь, и грабеж сразу прекратился, после чего всадники без шума покинули Утику. Никто за ними не гнался. Военачальник приказал запереть все ворота, кроме выходящих к гавани. Сам он стоял в гавани и наблюдал за отъездом сенаторов. До темноты он все прощался с ними.

Настал час омовения, ужина и беседы с философами (так пишет Плутарх). С должностными обязанностями Катон управился. К столу он пригласил двух философов, один из которых был стоиком, другой — перипатетиком. Пили вино — разумеется, сидя, а не лежа, ибо траур продолжался. За ужином стали спорить о смысле понятия свободы. На этот предмет были

высказаны два взгляда. Стоик утверждал, что, вопреки видимости, свободу человеку обеспечивают лишь разум и добродетель. Люди безнравственные не могут быть независимы. Эти узники своей плоти поистине подобны рабам. — Давайте попросту рассуждать здраво, — говорил стоик, — и мы увидим в странных парадоксах моей школы элементы чистой истины, которые невозможно опровергнуть, как бы ни обманывал нас материальный мир. Ибо вопрос о свободе нашей решается не в мире вещей, а в мире идей. Перипатетик возразил: хватит уже разглагольствовать об этих стоических крайностях, которые его прямо бесят. Нравится нам это или нет, но, кроме идей и разума, существует нечто такое, как природа человека. К чему же тогда вечно твердить: «давайте попросту рассуждать здраво», если на практике мы должны также быть реалистами? Тут вмешался Катон и не дал перипатетику закончить. — Природа? — кричал он. — Значит, тело? Значит, всяческая грязь? Природа против разума? — О нет, — пытался еще защищаться перипатетик. — Речь идет о чувстве счастья. Счастье — понятие весьма сложное. Жить чистым разумом человеку не дано, это привилегия богов. — Вот именно! — загремел голос Катона. — Достигнуть этой божественности! Высвободить душу из тела! Только в этом истинная свобода!

Собеседники поняли, что Катон, вероятно, выразил ту мысль, которую не высказал утром, в храме Юпитера, когда его слушал «совет трехсот». Они ужаснулись и смолкли. — Итак, что слышно в гавани? — спросил военачальник, будто внезапно смутившись.

В гавани — ничего особенного. Отчалили последние сенаторы. Будет буря, — сообщили военачальнику. — О, буря... Это плохо. Да, да, на море поднимается ветер. А эти бедняги плывут при такой ненадежной погоде. И те, всадники, пробираются по пустыне.

Военачальник еще проверил посты, совершил небольшую прогулку босиком и сказал, что идет спать. Перед сном, однако, велел принести ему книгу Платона о бессмертии души. После философского спора он, мол, хочет проверить некоторые подробности. Он

лег с «Федоном» в руках и читал увлеченно. Вот, вот, Сократ за несколько часов до смерти доказывает с помощью поразительных аргументов те самые истины, которые Катону всего нужней. Если человек желает что-либо познать в чистом виде, ему надлежит освободиться от тела и одною лишь душой созерцать самую суть действительности. Чувственные, или телесные, впечатления отдаляют от познания и всегда вводят в обман; когда же душа прервет всякое общение с телом, у нее как бы устремятся руки к сути бытия, и она прикоснется к истине. А совершенная душа — это и есть разум. И ничего иного это выражение не означает, кроме непогрешимости разума. Вся жизнь жаждущего мудрости состоит в том, чтобы подавлять в себе телесное. Верно говоришь, Сократ, — замечает Кебет. — Ты в высшей степени прав, Сократ, — говорит Симмий. — Душа вечна: она существовала до рождения человека (приводится много доказательств) и будет существовать после его смерти (тоже что-то вроде доказательства, и превосходного, — цикличность возникновения и исчезновения, замкнутые очертания круга, наверно, и тут ты прав, Сократ). А лучше всего душе, то есть разуму, там, где ничто телесное ему не мешает, — в загробном мире. Половина книги. Половина книги — великолепное рассуждение и убедительные доводы. Но вдруг Кебет и Симмий перестают говорить «ты прав, Сократ», а только замечают: «Мы боимся быть тебе в тягость, Сократ, да как бы тебя не огорчить теперь, в этот трудный час». А палач готовит яд. Но разве, — продолжает Симмий, — душа не умирает, когда умирает тело? Ведь приведенное тобой, Сократ, доказательство бессмертия души можно применить к чему-либо иному; например, можно также утверждать, что гармония лиры будет существовать даже тогда, когда мы лиру ломаем, порвем струны и когда эти кусочки дерева сгниют. Но ведь это невозможно. Гармония, видно, погибает вместе с лирой. Так неужели душа не погибает вместе с телом? Сократ делает большие глаза, и Катон делает большие глаза. Но Сократ сразу же усмехается, и Катон тоже пытается усмехнуться. Ну что ж, найдем лучшие доказательства, сейчас станет ясно, сколь неудачно это сравнение с лирой. Яд между тем ждет.

Но что это? Где меч Катона? Меч всегда висел на стене у ложа. Нет меча, как раз теперь, когда Симмий заговорил о лире, обнаружилось, что нет меча.

Прибежавший на зов слуга не отвечает на вопрос, кто забрал меч. Катон пытается читать дальше. Слуга стоит и молчит. Катон как ни в чем не бывало буркнул, что слуга может идти, только пусть принесет меч, чтобы все было на месте. Слуга вышел.

Возьмемся за дело иначе, — говорит Сократ, — будем исследовать не факты, познаваемость которых слишком сомнительна, но слова, ибо в словах лучше выражается истина всякого бытия. Сами по себе понятия, отношения между понятиями — вот настоящий материал для философа. — Правильно, — говорят Кебет и Симмий. — Мы с тобой согласны, — говорят они. — Этот способ кажется нам очень убедительным. — Как вы думаете, — спрашивает Сократ, — мирятся ли меж собой противоположности — малое и большое, тепло и холод, четное и нечетное — или же не мирятся? Не мирятся. Наделяются ли вещи качествами — например, малость присваивается малым предметам, краснота — предметам красным? Разумеется. Чем же должно быть наделено тело, чтобы тело было живым? Душой. А есть ли что-нибудь противоположное жизни? Есть. Что? Смерть. Подумаем еще, может ли четное принять форму нечетности? Не может. А может ли другая идея, именно душа, принять форму своей противоположности? Нет. Значит, душа бессмертна. Да. Стало быть, это доказано? — И вполне убедительно, Сократ, — говорит Кебет. — Все с этим согласятся, клянусь Зевсом, все люди, а тем паче боги. — Катон тоже согласен (Сократ выпивает яд), да и как мог бы Катон не согласиться с этим учением, Катон не только согласен, Катон поддерживает это учение всей душой (Чего вы так плачете? — спрашивает Сократ, — в чем дело?), Катон и Сократ познали все истины, все доказательства (а может быть, словесные спекуляции никогда ничего не доказывают?), Катон торопится, кричит: *где меч?*

Прибежал слуга без меча. Катон рассвирепел. Кто посмел оставить его без меча как раз тогда, когда подходит Цезарь с целой армией? Измена? Он вскакивает и ударяет слугу по лицу так сильно, что разбивает

себе в кровь руку. Прибежали встревоженные криками домочадцы, среди них стоит и перипатетик. — Что это значит? — негодует военачальник. — Они, что же, считают его невменяемым? С каких пор? Они подозревают его в неразумных намерениях? Поэтому убрали меч? Так пусть же представят хоть какие-нибудь разумные доводы, пусть что-то *докажут*, если он заблуждается. Ах, они молчат? Они, философы? Стоик способен только шмыгать носом? Перипатетик прирос к полу? Так, может быть, прав Цезарь? Пусть философы представят доказательства того, что Цезарь прав. Не могут? А может быть, они смогут объяснить, но так, чтобы это не нарушало основ философии, почему Катон в этой ситуации не должен лишить себя жизни (будем откровенны). Ага! Этого они тоже не могут обосновать. Ну, а если у них нет аргументов, нечего применять насилие. Пусть убираются и не хнычут тут.

Вскоре после ухода философов принесли меч. Сделал это мальчик. — Теперь я хозяин положения, — сказал Катон, кладя меч возле ложа. Он был один в комнате, но предполагал, что за ним подсматривают. Затем он принялся читать «Федона» во второй раз. Наконец уснул.

Проснулся он около полуночи, позвал лекаря, попросил перевязать пораненную руку. Послал кого-то в гавань. Вскоре военачальнику доложили, что из гавани отплыли все. Только вот ветер дует порывистый и волна высокая. Военачальник велел одному из своих подчиненных снова отправиться в гавань и ждать там, в случае чего — доложить. Вдруг приключится беда, кто-нибудь неожиданно возвратится.

На рассвете известили, что в гавани все спокойно.

Уже пели петухи (пишет Плутарх), когда Катон, выслушав последнее донесение, приказал закрыть дверь, — он хочет поспать остаток ночи. Но едва затворили дверь, как он схватил меч и нанес себе удар пониже груди.

Рука, однако, была опухшая и плохо ему повиновалась — удар оказался слишком слабым, Катон не скончался сразу; в агонии упал он с ложа, опрокинув стоявший рядом с ложем столик со счетной доской. На шум ворвалась прислуга, поднялся крик, все до-

мочадцы сбежались в спальню, где увидели корчившегося в крови Катона. Он был еще жив, глаза у него были открыты, только из живота вывалились внутренности. Все окаменели от ужаса. К Катону приблизился лекарь. Он хотел было вложить обратно в брюшную полость неповрежденные внутренности и зашить рану. Но Катон вдруг очнулся. Он понял, что собираются с ним делать; оттолкнув врача, он собственными руками вырвал внутренности и разодрал рану, после чего тотчас испустил дух.

На этом записки антиквара заканчиваются.

1961

К ЗЕМЛЕ ПРИПИСАННЫЙ

I

Снова что-то потянуло меня к этой стопке бумаг — протоколам следствия и показаниям свидетелей. Я обратился к ней, хоть и без особой нужды, ибо дело Войцеха Трепы знал хорошо, до мельчайших подробностей, и понимал, что эта стопка бумаг, столько раз уже мной перечитанных, ничего нового мне не скажет. Все-таки я протянул руку и подвинул ее поближе. И вот опять передо мной чистый машинописный текст, несколько недель назад снятый с новой, электрической пишущей машинки, которую мы получили недавно, когда канцелярии прокуратур начали оснащать удобным современным оборудованием. Вместе с машинкой появился новый телефон и три пружинящих стула, сделанных из металлических трубок. На таком стуле я сижу сейчас и читаю уже известные мне первые фразы протокола следствия и свидетельских показаний по делу Войцеха Трепы, 1906 года рождения, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, — читаю еще раз то, что уже знаю на память, в чем нисколько не сомневаюсь и что для меня, прокурора, не может иметь большого значения. Впрочем, теперь все факты, относящиеся к делу Войцеха Трепы, подтвердились, и оно не представляет сложности. Да и сам Войцех Трепа уже ничего не путает и ничего не отрицает. Пожалуй, между судьями и обвиняемым возникло взаимопонимание и согласие, то согласие особого рода, какое может воз-

никнуть только между судьей и обвиняемым. Осталось выслушать показания нескольких свидетелей, речь защитника и речь прокурора, последнее слово обвиняемого и — приговор. Разве только обвиняемый еще что-нибудь выкинет, но, кажется, он уже больше ничего не выкинет. Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, как будто успокоился. В первые дни процесса он вскакивал с места, часто начинал говорить, когда его не спрашивали, прерывал судью, и тому приходилось призывать его к порядку, и только после строгого замечания снова усаживался на широкой удобной скамье подсудимых между двумя милиционерами. Но теперь он успокоился, так как все выяснилось и убийства он не отрицает, — все было именно так, как показало судебное разбирательство.

Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, признал себя виновным во всем, что предъявлялось в обвинительном акте, и ему, пожалуй, стало легче, поэтому и держится он спокойно; лишь иногда откинет со лба темные, уже с проседью, поредевшие волосы или проведет рукой по худощавому застывшему лицу. И только. Сидит спокойно на широкой скамье подсудимых и смотрит.

Протоколы следствия кончаются страницей, на которой четким шрифтом новой электрической машинки напечатано, как и где его арестовали. Само собой разумеется, речь идет о втором, последнем аресте, который привел его на скамью подсудимых, а не о том, давнишнем, первом, о котором тоже упоминается в протоколе, когда обвиняемый за недостатком улик отделался предварительным заключением. Я знал, что после протокола этого второго ареста открою страницу с показаниями болтливого старика свидетеля, который во время допроса совсем некстати углубился в историю семьи Войцеха Трепы и вспомнил его деда Матеуша. Этот экскурс старика свидетеля не мог иметь большого значения в деле Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, и потому должен рассматриваться судьей и прокурором как нежелательный отголосок прошлого, ибо факты подтвердились и юридическая сторона дела ясна. История деда обвиняемого занимала две странички машинописи и начиналась со слов: «Я хорошо знал

семью Войцеха Трепы, хорошо знал его деда Матеуша, который уехал в Америку, когда Войцеха еще не было на свете». А потом шло пространное описание того, что произошло с этим дедом, как он вернулся из Америки и как обменял доллары, привезенные оттуда, на австрийские деньги и положил их в банк, чтобы набирали кое-какие проценты, пока он присмотрит землю. Деньги в банке пропали из-за девальвации, а того, что деду Матеушу выплатили, могло хватить на теленка или, самое большее, на телку.

В этих показаниях болтливого свидетеля содержалось еще немало и других сведений о старом Матеуше, но мне было достаточно упоминания о деньгах, заработанных им в Америке. Казалось, кто-то написал о марках моего деда Яна, который тоже положил в банк все, что скопил, работая по строительной части в Саксонии. Я быстро подсчитал, что мой дед умер двадцатью двумя годами позже, чем дед обвиняемого, подсчитал, хотя мне это было ни к чему. А потом прикинул, что сам я моложе обвиняемого Войцеха на двадцать три года. Вот как получилось, что я произвел эти «обмеры времени» и нашел в нем место для деда обвиняемого и для моего деда, а также для себя, прокурора, и для обвиняемого Войцеха. Так получилось, что, сидя за дубовым прокурорским столом, я взял на себя труд, хотя как прокурор мог не делать этого, разместить во времени двух дедов и двух внуков. Когда умер мой дед, я был ребенком, а когда он потерял в банке свои марки, меня еще на свете не было, и я не мог ничего знать и ничего не узнал бы, если бы позднее, уже став подростком, не услышал об этом от своего отца. Однажды отец подробно рассказал мне, как дед отдал эти марки, заработанные в Германии, в банк. Если бы он не отдал этих денег в банк, то мог бы купить превосходный клочок земли на угоре — на склоне холма, где ни дождь, ни засуха и никакая другая напасть не погубят посева. Он мог бы купить и владеть не двумя, а четырьмя моргами. И у него было бы четыре морга, не отправься он в тот памятный день в город и не отдай деньги банковскому служащему. Но он отдал, а ведь мог не отдавать и сразу купить эту полоску земли. Если бы он по необходимости отдал

деньги в банк, ему было бы легче, но его не неволили. Страшнее всего было именно то, что его никто не принуждал, что он располагал свободой выбора. Десять лет он пролежал на спине под старыми железнодорожными вагонами, потому что ремонтировал подвижной состав. Никто не хотел за это браться, а он брался, потому что поле на угоре никогда не подмокало и не пересыхало. Он мог стать хозяином этого поля, но не стал и уже не будет им. Лучше бы вовсе не существовало этой возможности, но вся беда заключалась в том, что она была, и от этого помутилось у моего деда в голове. То, что в банке он сунул руку в карман, вытащил деньги и отдал их в кассу, — а мог не отдавать, — было хуже всего, из-за этого он и лишился разума. Дед смеялся и везде искал свои деньги: в бороздах на поле, на чердаке, взбирался на стропила в риге и шарил в соломе на крыше, ему казалось, что он их там спрятал. Он ускользал из дома во время грозы и ждал, когда сверкнет молния, чтобы при вспышке ее увидеть то место, где спрятаны деньги. Его больной мозг отказывался примириться с тем фактом, что он сам отдал деньги в банк и они там пропали. И у него родилась мысль, будто можно найти деньги, те самые деньги, на которые он хотел купить поле на угоре, мысль о том, что можно вернуть то время, когда он еще не отдавал этих денег в банк и мог купить на них два морга. Он кротко улыбался и говорил: «Ну, вот я и вспомнил, куда их спрятал». И тогда, счастливый, он бежал на своих тощих, скрипучих, как сухие сучья, ногах в дровяник или на конюшню, вытаскивал там мох из щелей или, согнувшись, искал под кормушкой; не найдя ничего, кроме пыльной паутины, он становился задумчивым до следующего приступа счастливого озарения.

Пожалуй, можно сказать, что болезнь подарила ему на склоне лет много счастливых минут, полных веры и надежды. Последние свои месяцы, а может, только недели или даже дни — отец не сказал мне об этом определенно — дед проводил на пригорке за гумном, откуда открывался широкий вид на поля. Сидел он на этом пригорке, окликал людей и, показывая рукой на бескрайнюю равнину, говорил: «Поглядите-ка

вон туда, далеко-далеко». Когда люди спрашивали, что же он там увидел, дед только повторял: «Посмотрите туда, вон туда, далеко-далеко». Умер он внезапно, на этом пригорке: смерть была легкая, ведь он, наверно, даже не знал, что умирает, а может, знал...

И мне пришло в голову, что было бы лучше, если бы у обвиняемого Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, дед был такой же, как у меня; то есть если бы дед Матеуш помешался, потеряв доллары, которые привез из Америки. Сойди он с ума, болтливый старик свидетель рассказал бы об этом на следствии. И тогда обвиняемый очутился бы в выгодном положении, ведь защитник не преминул бы ухватиться за этот факт и уже знал бы, что делать. Сумасшедший дед — находка для обвиняемого, ибо всегда можно сказать, что он пошел в деда и страшное преступление совершил, будучи не в своем уме. Прокурор и судья обычно оспаривают это, так как подобные обстоятельства мешают им действовать быстро, четко и сурово. Но защита не уступила бы и настояла на необходимости психиатрической экспертизы. Судья вынужден был бы согласиться, разбирательство отложили бы, и возникла бы надежда, надежда не для меня, а для обвиняемого Войцеха, сына Юзефа и Катажины.

Я перелистал еще несколько страниц обвинительного заключения и протоколов следствия и натолкнулся на показания других свидетелей, в которых тоже больше говорилось о Войцехе и его семье, нежели о самом деле. Впрочем, о том, за что теперь судят Войцеха Трепу, лучше всего мог рассказать он сам, потому что преступление было совершено без свидетелей. В показаниях же больше говорилось о семье обвиняемого и о нем самом; были также даты, которые снова напомнили мне, что между мной, прокурором, и обвиняемым двадцать три года разницы в возрасте; это значит, что я, мой отец и дед, вся моя семья передвинуты на какие-то двадцать с лишним лет вперед по отношению к семье обвиняемого. Раздумывая об этом, я прихожу к выводу, что для дедов этот разрыв во времени не мог иметь существенного значения; но только для дедов.

Все, что было в материалах следствия о первом преступлении Войцеха Трепы, исходило от самого обвиняемого, он один знал, как все произошло, — свидетелей убийства не было.

Стоя перед судом навтыжку, он охотно и даже с воодушевлением рассказывал все. И когда он вот так стоял, было видно, что он высок ростом и слегка сутуловат. К самому факту преступления он приближался в своих показаниях медленно, останавливаясь на всевозможных подробностях. Порой на какой-нибудь мелочи он задерживался с таким увлечением, что могло показаться, будто никакого убийства вообще не было и идет не судебный процесс, а вечер воспоминаний о прошлых временах. И только замечания судьи: «Это не относится к делу» или: «Об этом вас не спрашивают, обвиняемый», — заставляли Войцеха Трепу возвращаться к мотивам преступления. Говоря о совершенном убийстве спокойно, так, словно это было лишь выполнение долга, он то и дело возвращался к годам детства и ранней юности, к тогдашнему Войцеху Трепе, который еще не убивал и даже не думал, что станет убийцей; или, по крайней мере, к тому Войцеху, каким был до того погожего дня 23 июня 1930 года, когда совершил убийство и выполнил, как он дал понять в показаниях, свой долг.

Войцех Трепа родился 15 мая 1906 года, а первое убийство совершил 23 июня 1930 года. Мне тогда не было и года, ибо я родился в августе двадцать девятого. Обвиняемый был вторым сыном в семье Юзефа и Катажины Трепов. Потом у них родилась дочь, которой дали имя Ядвига. После крестин дочери Юзеф Трепа, отец нынешнего обвиняемого Войцеха, а тогдашнего трехлетнего Войтуся, или Войтека, вышел из дому и тропинкой через сад направился к хлеву, чтобы подбросить охапку свекольной ботвы большой рыжей корове. И когда он задавал корм и, казалось, ничто не мешало ему в этом привычном, бездумном выполнении ежедневной череды хозяйственных дел, одно из которых состояло в том, чтобы подбрасывать скотине свекольную ботву, его единственная большая рыжая корова повернула голову, и он увидел в ее глазах едва

уловимую тоску, повергшую его в ужас. В деревне начался падеж скота, и тоскливо поникшая голова коровы напомнила ему об этом. Не надо многого, достаточно такой едва заметной тени грусти в глазах коровы, чтобы крестьянин, хозяин всего двух с половиной моргов земли, почувствовал, что он-то жив и на свете живет ради того, чтобы поминутно протаптывать тропинку в саду, и заглядывать в хлев, и смотреть на тяжелую, опущенную голову коровы, и гадать, падет она или нет; не сдохнет, не околеет, а именно — падет, потому что о коровах в таких случаях говорится «падет» или «пала»; когда же говорят «падет», «пала», а не «сдохнет», «сдохла», то говорят, как надо, ибо этим словом воздают должное милостивице-корове.

И Юзеф Трепа, отец Войтека, нынешнего убийцы, а также отец еще одного мальчонки, постарше Войтека, четырехлетнего Сташека, нынешнего Станислава Трепы, живущего в деревне близ западной границы, и отец только что родившейся Ядвиги, ныне фабричной работницы, живущей с внебрачной дочерью, несколько дней кряду бегал взад-вперед по этой узенькой тропинке в саду. В хлеву сгущалась тяжелая, почти осязаемая тоска, а в доме младенец сучил ножками и улыбался бессмысленной и потому жестокой улыбкой.

Так появление на свет Ядвиги было отмечено событием, которое означало гораздо больше, чем просто рождение ребенка: гибелью коровы Юзефа Трепы. И в деревне будут помнить этот день не потому, что у Юзефа Трепы родилась дочь, а потому, что пала его рыжая корова. Долго крестьяне будут вести счет дням и определять время по тем датам, когда пала чья-то корова или случился пожар. Но корова еще не пала, хотя голова ее низко опущена и задние ноги дрожат. Передние пока твердо упираются в землю, а задние дрожат, словно струны, которые рванула чья-то сильная рука. Если бы задние так же твердо упирались в землю, была бы надежда, но они дрожат — и надежды нет. Надежды нет, и корова падет. Дни в ту пору стояли погожие; но это не имеет значения, когда нет надежды. И все-таки, если выйдешь из хлева, где вот-вот должна пасть твоя единственная корова, то почувствуешь, как спину пригревает солнце, ибо нервы твои станут тогда особенно чувствительны к малейшему прикосновению; и

может случиться, ты улыбнешься при мысли, что тебе так мало надо, и, вероятно, даже станешь подтрунивать над собой.

Жена Юзефа Трепы, Катажина, в то время, когда корова вот-вот должна была пасть, пыталась отвлечься хлопотами по хозяйству: она готовила корм свиньям, приносила и ставила на плиту чугуны с водой и картошкой, разжигала печь, а потом снимала с плиты готовую картошку, высыпала в корыто, добавляла мякины, а может, и немного отрубей, толкла и уносила в хлев. Войтек и Сташек не хотели сидеть с Ядвигой и удирали за ворота в поле — они уже знали: если корова болеет и вот-вот падет, надо держаться подальше. Отец приходил из хлева, садился на лавку и говорил: «Корове еще хуже». Его жена, Катажина, ничего на это не отвечала, только быстро толкла картошку в корыте или ставила на плиту большой чугуны. Тогда муж повторял: «Корове еще хуже...» — потому что хотел вырвать у жены силой хотя бы одно слово. И, подавленная его настойчивым: «Корове еще хуже», — она наконец отвечала: «Падет корова», — хотя и знала, что Юзеф ждет от нее иных, обнадеживающих слов. Но обнадеживающих не было. Они появились бы, если бы у коровы перестали дрожать задние ноги, но они дрожали все сильнее, и передние тоже начинали слегка дрожать. Корова пала у них на глазах. Стояла, пока могла; потом задние ноги подломились, и она рухнула на бок. Какое-то время она еще жила, но жизнь едва теплилась в ней и сразу оборвалась. Тогда Юзеф успокоился — свершилось то, что должно было свершиться. Он спокойно наклонился над коровой и принялся сдирать с нее шкуру, которую продал потом евреям, а мясо пришлось закопать — оно было дряблое, тощее...

Не знаю почему, но я подумал, что меня тогда еще не было на свете; это могло случиться в 1909 или 1910 году; впрочем, пожалуй, в 1909, так как Ядвига была моложе Войтека, ныне обвиняемого Войцеха Трепы, на три года, а обвиняемый Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, родился в 1906 году. В деревне сказали бы, что тогда даже воробьи еще не предвещали чириканьем мое появление, да и как им было чирикать, если я родился спустя двадцать лет после того

дня, когда у Юзефа Трепы пала рыжая корова, ну и соответственно после для рождения Ядвиги. Следовательно, обо мне тогда даже воробьи не чирикали в той деревне, где я увидел свет и которая находилась в пятидесяти километрах от родной деревни обвиняемого. Воробьи могли чирикать и предвещать мое, прокурора Анджея Табора, рождение не ранее 1928 года. Но пока что сегодня, когда пала рыжая корова, минуло два года, идет год 1911, и у Юзефа и Катажины Трепов есть уже телка, которая через год станет коровой. Старший их сын пойдет в школу, когда эта телка станет коровой. Все любят телку, гладят ее, чистят пучком соломы, заглядывают в глаза, ведь и года не пройдет, как она станет коровой. А когда уже год была коровой эта черно-белая телушка и Юзеф обнес новым ивовым плетнем маленький сад, пошел в школу Войтек. Через три года пойдет в школу Ядвига, которой исполнилось четыре года и которая стережет утят от ворон. Ей четыре года, и она знает, как безгранично терпелива ворона; она знает, как белый день становится ночью, и все куда-то исчезает, и словно разверзается земля, когда отставшего утенка уносит ворона. Ядвиге четыре года, и она уже многое знает о жизни, ибо видела ворону, медленно и плавно, словно торжественно, скользящую в воздухе, чтобы похитить утенка; черную ворону с пепельной вставочкой на спине и крыльях. И хотя потом кричит вся деревня, и вслед этой черной вороне с обоих берегов несутся хриплые и визгливые голоса, и хотя порой ворона пугается этих криков и роняет утенка в воду, и утенок остается жив и здоров — все равно навсегда остается в памяти эта важная ворона, неторопливо уносящая утенка, ну и, конечно, эта красная царапина — кровавая полоска в том месте на бледно-желтой лапке утенка, где ее сжимал клюв вороны. Это навсегда останется в твоей памяти, если ты стерег уток, с этим пойдешь в жизнь, с этим будешь подрастать. Безразлично, кем ты станешь, может быть, даже воеводским прокурором, — все это останется в тебе, если в раннем детстве на тебя взвалили непосильное бремя, заставили оберегать утят от вороны.

Юзеф радовался, что Ядвига караулит утят, и это была какая-то чрезмерная, преувеличенная радость,

словно умение караулить утят в возрасте четырех лет — нечто из ряда вон выходящее, он радовался, потому что четырехлетняя Ядвига не ела даром хлеба; а потом, наравдовавшись, отправлялся, шагая тяжело и вразвалку, на свою полосу, чтобы там покопаться, шел ладить изгородь, стругать рубанком штакетник или молотить на своем или чужом гумне... В ту пору Юзеф был еще молод, ходил в расстегнутой рубашке, а в марте или, самое позднее, в апреле снимал сапоги и ставил их за шкаф — с ранней весны он ходил босой и обувался только тогда, когда шел в костел или на ярмарку. Он был тогда молод, и эта появившаяся впоследствии вертикальная морщина на лбу была еще едва различима, словно только намечалось место, где позднее залегла складка. А ныне... ныне Юзефу восемьдесят лет, и ему пришлось ехать в город и идти в суд, чтобы видеть, как судят его сына Войцеха, которому уже пятьдесят четыре, а скоро минет пятьдесят пять лет, за первое убийство и за это второе убийство. Он приехал в суд, хоть все ему говорили, что это ни к чему; но он заупрямился, заупрямился и крикнул: «Поеду!» Тогда его подвезли на подводе до железнодорожной станции, он сел в поезд и приехал. Я видел его на процессе, а также в моем кабинете, — он пришел неожиданно, — и наверняка увижу его завтра или послезавтра, когда я, воеводский прокурор, буду произносить мою первую обвинительную речь. На суде он сидел среди публики. Я смотрел на него, потому что его блестящий лысый череп, отмеченный уже печатью смерти, притягивал мой взгляд. Чувствовалось, что у него огромное превосходство над людьми, среди которых он сидел, а может, и над всеми, находившимися в этом обширном зале. Этот знак, эта печать смерти, давала ему превосходство над другими и делала их бессильными перед ним. Судья тоже смотрел на него, потом взглянул на подсудимого, на его сына, и сказал: «Обвинительное заключение гласит, что подсудимый Войцех Трепа, сын Юзефа и ныне покойной Катажины, урожденной Багелувны, поздним вечером 23 июня 1930 года совершил убийство...» Так начал говорить судья; а позднее задал этот извечный, тысячи раз повторяющийся в судах вопрос — тот вопрос, который уже не должен исходить от флегматичного судьи, так

как он давно висит в воздухе как нечто материальное, почти зримое и осязаемое, вопрос, а вернее, вежливый приказ: «Обвиняемый, расскажите суду, как все произошло...» Подсудимый встал, чтобы ответить, и отец, старый Юзеф, тоже встал, хотя его никто ни о чем не спрашивал и ему разрешалось только слушать. Несколько минут, показавшихся всем очень долгими, они оба стояли молча и смотрели друг на друга. Они не смотрели на судей, хотя подсудимый должен смотреть на судью, да и отец, раз уже он встал самовольно, должен был обратить взор в сторону судейского стола; но они смотрели друг на друга, вглядывались с таким удивлением, будто прежде не были знакомы и только сейчас познакомились по-настоящему. Словно этот краткий миг в суде значил больше, чем пятьдесят с лишним лет, которые они прожили бок о бок; словно лишь в это краткое мгновение в зале судебных разбирательств обвиняемый узнал в лысом иссохшем старце своего отца, а восьмидесятилетний старец в пятидесятичетырехлетнем обвиняемом — своего сына. И эти их годы, их возраст приобретали особый смысл здесь, в зале суда. Все было бы иначе, если бы в этом зале отец средних лет стоял вот так, лицом к лицу, с обвиняемым сыном-юношей; такому отцу суд, пожалуй, и не разрешил бы встать. Судья просто сказал бы ему вежливо: «Прошу сесть, пусть стоит только обвиняемый...» Но здесь стояли восьмидесятилетний отец и сын пятидесяти четырех лет, то есть уже, собственно, не отец и его сын — а два старых человека: и все-таки отец и сын. Этому старцу судья не мог сказать даже самым учтивейшим тоном: «Присядьте, пожалуйста». Ибо старик жил в своем, ином времени, и его лысая высохшая голова была уже отмечена печатью смерти, неизбежной в такой глубокой старости. Старик уселся сам, не проронив ни слова, а подсудимый начал рассказывать, что случилось в тот день, 23 июня 1930 года, то есть тогда, когда мне, нынешнему воеводскому прокурору, не исполнилось и года, ибо я родился в августе двадцать девятого.

Передо мной лежит обвинительное заключение, и я могу без труда, забавы ради, установить, сколько лет отделяет различные события моего детства от детских впечатлений обвиняемого Войцеха. Не знаю, как

это получилось, но я увлекся такими вычислениями и сопоставлениями; зачем-то я вдруг подсчитал, что мне привелось сторожить утят от вороны в 1933 или 1934 году, то есть с того времени, когда так же караулила утят Ядвига, сестра обвиняемого, прошло двадцать лет или, вернее, двадцать один год. А с того времени, когда за утятами приглядывал Войтек, прошло еще больше лет, потому что Войтек пас утят раньше Ядвиги, а Сташек раньше Войтека. Я невольно улыбнулся при мысли, что воеводский прокурор занимается столь несерьезным делом, и даже пожурил себя за то, что пытаюсь уточнить, когда и кто караулил уток, словно это какие-то важные исторические даты, вроде дат объявления войны и заключения перемирия. Но тут снова стал припоминать, когда же я получил от отца покупавшиеся непременно «на вырост» сапоги с голенищами, какие в прежние времена покупали деревенским ребятишкам, поступавшим в школу; и я снова принялся высчитывать, когда эти сапоги купили мне, а когда — Войтеку, ныне обвиняемому Войцеху Трепе, сыну Юзефа и Катажины. Я мог получить эти сапоги в 1936 году, поскольку тогда пошел в школу, а Войтек, ныне обвиняемый Войцех, получил эти сапоги в 1913, потому что он пошел в школу в 1913 году. Нынешнему дважды убийце, а тогдашнему семилетнему мальчонке, которого при крещении нарекли Войцехом, отец, вероятно, купил сапоги в городе, в ларьке на ярмарке. Сапоги висели рядом на жерди; отец купил ему тогда эти сапоги «на вырост», как мне, в другом маленьком городе, купил такие же сапоги мой отец двадцать три года спустя. Войтек был рад и радовался бы еще больше, будь сапоги ему впору, но они непременно были велики, чтобы в них поместилось еще по пучку соломы. Эти сапоги были велики — на радость отцу, матери, деду и бабке, чтобы все предки могли спокойно спать в сырой земле. Они должны были быть велики ради спокойствия многих поколений. Ныне, как воеводский прокурор, которому уже за тридцать и которого сразу же после войны, то есть в 1945 году, послали на учебу и научили всевозможным премудростям, я лучше разбираюсь в том, как обстояло дело с этими слишком свободными сапогами. Таков был наказ всей истории крестьянства, наказ, с которым рождались дети

и умирали старики,—наказ покупать и носить сапоги, которые немилосердно велики, чтобы в них можно было натолкать соломы и после этого они еще оставались бы свободными, чтобы они были малость свободными даже после того, как сунешь в них ноги, обернутые толстыми портянками, а может, и старыми кроличьими шкурками. Но когда обуеешься, натянув их за спрятанные в голенищах ремешки или холщовые ушки, впихнешь в них ноги со всеми портянками и кроличьими шкурками и зимой, в мороз, выйдешь со двора, то подумаешь степенно, как старик, что вот ты обеспечен сапогами на долгие годы. А потом отправляешься кататься по льду на подковках с шурупчиками. И когда вдруг остановишься на минутку под корявой вербой, которую какой-нибудь прадед посадил для тебя, когда остановишься под этим черным, потрескавшимся деревом и посмотришь на свои тоненькие ноги в широченных голенищах, то подумаешь, что надо поскорее вырасти, чтобы ноги в сапогах не походили на «мешалки» в ушате; вообще надо быстро расти, и все должно быстро миновать, вся эта жизнь должна очень быстро миновать, чтобы не требовалось много сапог. Большие сапоги покупались не только детям, но и старикам, хоть ступни у них не растут, а, скорее, съеживаются и усыхают, но и старикам покупали просторные сапоги, словно и у стариков ступни могли еще вырасти.

В таких больших, с широкими голенищами сапогах и явился ко мне отец подсудимого Войцеха. Пришел он неожиданно, в первый же день процесса. Я не ждал его визита, ибо родственники обвиняемых не ходят к прокурорам, а держатся адвокатов; но он пришел. Я сидел за столом, как сейчас, когда дверь вдруг отворилась и на пороге появился Юзеф Трепа, отец Войцеха, обвиняемого в двух убийствах,—высокий, худой, лысый и мудрый, как старая птица, исполненный молчаливой мудрости. И тогда, стоя в дверях моего кабинета, он заговорил, преодолев все внутренние преграды и препоны. Он произнес старческим хриплым голосом: «Я по делу моего сына», — он назвал «сыном» пятидесятичетырехлетнего, сидящего и уже немного сгорбленного человека. Не здороваясь, без обращения, прямо: «Я по делу моего сына». Начал сра-

зу с этих слов. Я указал на стул и произнес банальную, избитую фразу: «Присядьте, пожалуйста». Но он не сел. Только подошел ближе к удобному креслу, в котором я сидел, и снова заговорил: «То, первое, было ведь тридцать лет назад». Он сказал «то, первое», что означало то, первое убийство; но слово «убийство» он опустил — и так было ясно, о чем идет речь. Я поднялся, так как он стоял передо мной и должен был наклонять свою лысую голову, чтобы сказать мне это. И опять прозвучал его голос: «Второе получилось из-за первого, а с тех пор минуло тридцать лет». Эта фраза была для старика слишком длинной и, очевидно, утомила его, так как он снова замкнулся в себе и умолк. Ему хотелось сказать еще что-то, наверняка хотелось, но все эти внутренние преграды не давали ему проронить ни звука. Поэтому он стоял и молчал; я тоже стоял и молчал. И лишь после длинной паузы я обратился к старику. Собственно, я лишь повторил те несколько слов, которые он уже произнес: «Да, то, первое, было тридцать лет назад». Я тоже опустил слово «убийство», полагая, что в разговоре с ним не следует произносить это слово; достаточно уже самого факта — тяжелого, гнетущего, — слова тут не нужны. От одного такого тяжелого, гнетущего факта, вдребезги разбивающего жизнь, будто перехватывает горло, его нельзя определить словом. Потом меня вызвали к междугородному телефону, и старик сказал: «Так я пойду». Он счел, видимо, что самое важное из того, о чем собирался говорить, он сказал — эту несколько загадочную, но все же понятную, лаконичную и недоговоренную фразу: «То, первое, было ведь тридцать лет назад». А затем: «Второе получилось из-за первого». И немного погодя: «А с тех пор минуло тридцать лет». Он счел, вероятно, что раз уж сказал это, то сказал самое главное, ибо еще раз повторил: «Так я пойду...» И, застучав своими сапожищами, вышел, а я направился в соседнюю комнату, к телефону. В окно я видел, как отец обвиняемого Войцеха Трепы в своих огромных сапогах шагал по рыночной площади; как дошел до противоположного конца рынка и свернул на улицу, ведущую к станции. Он остановился, посмотрел на что-то, потом пошел дальше: узкая спина старика все удалялась, и мне вдруг захотелось открыть окно и

крикнуть: «Погоди, старина, вернись, потолкуем еще, уж слишком мало мы разговаривали, ведь мы, собственно, и не говорили вовсе». Но его узкая спина виднелась уже на улице, которая вела к железнодорожной станции, а потом исчезла, так как улица делала поворот.

III

Потом старик сядет в поезд и сойдет на полустанке среди полей, где его будет ждать телега. Он сядет в телегу и окинет взглядом поля, ибо ничто не может помешать ему оглядывать поля.

А потом, наверно, телега повезет старика низиной мимо тех старых ив, таких же старых, как он, а может, еще постарше, где нынешний дважды убийца Войцех Трепа сорок с лишним лет назад играл и прыгал, лазал на деревья за воробьиными гнездами, качался на ветвях и мастерил из тонких веток свистульки. Эту низину деревенская детвора облюбовала для своих забав. Здесь ребятишки могли в полнейшей безопасности свистеть на пищалке, свернуть голову воробью, а также приглядываться к тому, что у них между ногами, и дрожать от нетерпения на этой грани между познанием и неведением. Но в конце концов их находила в ивняке бабка Антонина; старая Багелева, мать матери Войтека, Сташека и Ядвиги, прозванная бабкой Антоськой. Она умела находить ребят в этой низине и загонять на работу. Это была высокая, костлявая старуха, внушавшая детям страх своим крутым нравом. Она, как и большинство деревенских старух, справляла малую нужду стоя, но делала это чаще других, так как у нее было неладно с мочевым пузырем, поэтому и вся жизнь ее в ту пору состояла из бесконечных остановок где-нибудь у вербы или забора. Она поступала так не из бесстыдства, а просто мирясь с необходимостью. Если она нагибалась, то лишь затем, чтобы поднять с ничейной общинной земли сухую хворостину, отнести ее домой и растопить ею печь. Суть была в том, чтобы эта сухая хворостина не пропала втуне, не истлела и не потрескалась от жары, чтобы она не почернела и не раскрошилась бы на ней кора, чтобы она не обратилась в прах и не оказа-

лась втоптанной в землю, не стала бы землею; ведь тогда будет поздно, и ее уже не найдешь, не похвастаешь перед всей деревней тем, что несешь эту сухую хворостину и мудро, по-хозяйски употребишь ее на растопку.

Старуха жила и была злая оттого, что смерть ее не берет. Скрипела она, словно старое высохшее дерево, и часто скорбно сетовала: «И когда это смерть придет за мной? — а потом с надеждой: — Того и гляди, в сырую землю лягу, — а потом со злостью: — Не приходит смерть». И тут же спешила к плетню или к дереву или прямо там, где стояла, справляла нужду. У нее где-то был припрятан новенький красивый резак; дети знали, что у нее есть нож, и предполагали, что он спрятан где-нибудь на печи; они охотно добрались бы до него и поэтому тоже ждали ее смерти. Все в доме ждали бабкиной смерти, вся деревня ждала и желала бабке Антоське смерти, потому что желала ей добра, хотя бабка и была злющая. Но бабка жила себе да злилась. Без конца гоняла она ребятишек из низины работать, потому что была она радетьельницей земли, пашни, полей, которые тянулись от околицы далеко до соседней деревни. Бабка Антоська была радетьельницей коровника, конюшни и хлева, ясель и корыта для свиней, неубранного навоза. И поэтому неустанно заставляла ребятишек работать. Она все больше ожесточалась, становилась такой злой, что, казалось, любила только конский навоз, который находила на дороге и босой ногой подталкивала на свое поле, а вернее, на поле дочери и зятя; она подталкивала этот навоз ногой, уже не в силах наклониться; теперь она не нагибалась даже за сухими хворостинами; к мочевоmu пузырю и ревматизму прибавилась еще какая-то засевшая невидимым гвоздем в пояснице боль — то ли какая-то спайка, то ли растяжение, — которая не дает согнуться, колет и раздражает тело. Если бы бабка могла наклониться, она подняла бы этот сухой навоз руками и бросила бы на поле, чтобы его удобрить; на поле дочери, зятя, внуки и внуков, а вернее, как выяснилось позже, на поле внука Войцеха и внуки, нынешней фабричной работницы, Ядвиги Трепы — Ядвиги Трепы, ибо у нее не было мужа и она носит фамилию отца. А вернее говоря, большая часть этого поля при-

надлежит сейчас старому холостяку, дважды убийце Войцеху Трепе. Меньшая же часть досталась правнучке бабки Антоськи, Зофье Трепе; Зофья тоже Трепа, ибо она внебрачная дочь Ядвиги и носит фамилию матери. Станислав Трепа, старший сын Юзефа и Катажины, брат Войцеха и Ядвиги, получил большое хозяйство где-то на западной границе и отказался от своей доли в отцовском наследстве.

Если бы бабка Антоська могла наклониться, она подняла бы этот навоз и бросила его на середину поля, чтобы было понадежнее, чтобы он лежал там, размок от дождя и впитался в землю, чтобы потом на этом месте выросла самая зеленая, высокая и густая рожь или пшеница. Так она доказывала свою любовь к детям и внукам, эта злая бабка, доказывала для себя самой, не напоказ, и поэтому, идя по полю, она сталкивала сухой навоз на вспаханную и заборонованную землю и тотчас же забывала об этом.

Где-то на печи у нее был спрятан новенький нож. Ребята знали, что он на печи, но не забирались туда, боясь бабки; приходилось ждать, а бабка не умирала; она жила и злилась, оттого что жила. И лишь когда все уверовали, что бабка Антоська проживет еще долго-долго, пришла смерть. И этот переход, скачок из бытия в небытие, совершился как-то неприметно. Словно судорогой свело и тотчас отпустило ее. Собственно, это была даже не судорога, а будто небольшое усилие, необходимое, чтобы перешагнуть узкий и неглубокий ров, или передвинуть на несколько сантиметров какой-нибудь предмет, или моргнуть глазом — не более того; остается еще затаенное, самое сокровенное, последнее содрогание, но вот и оно позади.

Дети забрались на печь и нашли нож с красным закругленным черенком. Ножи бывают разные, но такие, с закруглением на конце черенка, считаются самыми лучшими и красивыми. Если бы там, на печи, оказался нож с обычным желтым, сужающимся к концу черенком, с лезвием, на котором не выгравирована буква «Т», оставалось бы только усмехнуться, ибо такой нож не мог иметь никакого особого значения в твоей жизни, так же, как и нож с простым бледно-желтым черенком. И если бы случилось, что на этой печи ты обнаружил нож с темно-коричневым черен-

ком, сужающимся к концу, с четырьмя тоненькими, более темными полосками, то и этот нож не делал тебя важной персоной, ведь бывают еще ножи с красным черенком, выточенным утолщением на конце, с нержавеющей лезвием и буквой «Т» на нем. Именно такой нож нашли ребята на печи, когда умерла бабка Анто-ська. А если ты нашел такой нож и завладел им, с этой самой минуты ты уже не просто кто-то, ты уже кое-что значишь для деревенских ребят, раз ты обладатель такого ножа и у тебя умерла бабка.

Отцу придется раздобыть вторую лошадь, ведь нельзя везти гроб на кладбище на одной лошади, тем более что гроб повезут на санях — время зимнее и на-мело пропасть снегу. Лошади почуют санную упряжь и рванутся с места, потому что они привыкли в сан-ной упряжке идти рысью, но отец, шагая рядом, при-держит вожжи, и лошади, как и подобает на похоро-нах, пойдут медленнее. Юзефу наверняка захочется сесть в сани и сказать этой горстке взрослых и детей, чтобы и они тоже сели или уцепились за сани и под-держивали гроб; ему захочется подхлестнуть лошадей и рысью въехать на кладбище, потому что холодно; но он так не сделает, ибо полагается ехать медленно — гроб может, в крайнем случае, лишь дрогнуть или слегка покачнуться на подложенных под него охапках сухой картофельной ботвы. Вот почему отец пойдет рядом с санями без кнута — когда едут на кладбище, кнут оставляют в конюшне, а провожающие, несколь-ко взрослых и ребятишек, поплетутся следом. Юзеф будет поминутно покрикивать на лошадей, которые идут недружно, а это ему не нравится; незаметно — все-таки похороны — дернет то одну, то другую вожжу, разъяренный тем, что лошади его не слушаются. По-том из своего дома на минутку выскочит ксендз в шубе, благословит в костеле гроб и торопливо прово-дит его на кладбище, потому что зима и мороз, кото-рый хорош для мертвых, живым докучает. С кладби-ща уж все непременно поедут в санях. Усядутся на охапках ботвы, на которой стоял гроб. Юзеф огреет лошадей вожжами, и они помчат во весь дух в дерев-ню, а люди прокатятся в свое удовольствие. Грусть, вызванная этой кончиной, будет грустью приятной, по-тому что в доме теперь не так тесно — в малень-

кой горнице и кухне делается просторней. В доме станет посвободнее, и поэтому скорбеть будут скорее по обязанности.

Это было в 1918 или в 1919 году — значит, уже после войны; нынешнему обвиняемому Войцеху Трепе было тогда двенадцать или тринадцать лет, то есть до того послеполуденного часа, а вернее, до того вечера или даже до той секунды 23 июня 1930 года, когда он убил, оставалось еще тринадцать или двенадцать, а может быть, всего одиннадцать лет, ну и сколько-то там часов, минут и секунд. Стало быть, уже не двадцать четыре года и тридцать девять дней отделяли день убийства от того дня, когда родился младенец, которого окрестили Войцехом, потому что это имя понравилось его отцу Юзефу Трепе. Но уже с той минуты, когда Войцех родился, а может, даже в те годы, когда его еще на свете не было и не было ни отца его Юзефа, ни матери Катажины, ни деда Матеуша, ни бабки Антонины, — может, уже тогда время, постоянно урезающее и сужающее полосы пахотной земли, толкало Войцеха на это преступление, и он поддался, не в силах сопротивляться, и совершил преступление, о котором позавчера так исчерпывающе рассказал на суде. Он стоял немного сутулый, смуглый с седоватыми поредевшими волосами, с детски голубыми глазами. Ровным голосом он рассказывал, как шел из города до места убийства. В тот день он был в городе на ярмарке, куда отправился, чтобы купить цепь, которой обматывают груженную бревнами телегу, — он вскоре собирался съездить в лес. И он поехал бы через несколько дней в лес, если бы не убил; он приготовил бы телегу, взял бы с собой короткий распор, поставил бы боковины, намотал бы на одну из них цепь, а потом поехал бы за бревнами. Но он убил, и поездку в лес пришлось отложить. Тогда, на ярмарке, он и не думал, что убьет; до убийства оставалось несколько часов, а ему и в голову не приходило, что он станет убийцей. Он не собирался убивать и тогда, когда возвращался с ярмарки по насыпи вдоль реки, позванивая купленной цепью, и этот приятный звон сопровождал его всю дорогу. И даже когда до убийства оставался какой-нибудь час, он наверняка не думал о том, что убьет. Ибо это произошло внезапно и, пожалуй, заняло менее часа. На

самое убийство потребовалось, разумеется, не более нескольких секунд, но предшествовавшие ему молчание, ирония и тихие, вежливые слова — вежливые, чтобы усилить иронию, и возрастающее возбуждение, все стадии отчаяния, вначале еще осознанного, а потом последняя вспышка, уже, пожалуй, в беспамятстве, — на все понадобилось менее часа.

У меня нет оснований не верить, что все происходило именно так, ибо Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, признал себя виновным, а мог бы не признаться, если бы не сдали нервы, а вернее, если бы он не почувствовал потребности признаться и, возможно, даже некоторого облегчения при мысли о чистосердечном признании, в противном случае было бы трудно доказать его первое преступление. А если уж он признался в убийстве, то есть в достойном наибольшего осуждения проступке, в котором мог и не признаваться, то и обстоятельства, при которых был совершен его проступок, конечно, изобразил так, как это происходило на самом деле. Он рассказал о них спокойно, — быть может, это было спокойствие побежденного отчаяния; в таком случае, он превосходит, хотя и слишком поздно, поборо отчаяние, так как о своем преступлении говорил спокойно, словно о переживаниях детства и ранней юности, когда ему было восемь, двенадцать, пятнадцать лет.

Рассказ о его юности напомнил мне время, когда мне было пятнадцать лет; кончилась вторая мировая война, и меня захватил круговорот событий; я попал в школу, на разные курсы, в том числе на подготовительный курс в университете, и, наконец, на юридический факультет.

Размышляя над этим, я пришел к выводу, что пятнадцать лет — это та точка, та грань, до которой жизнь обвиняемого Войцеха и прокурора, то есть моя, схожи. До этого времени разница в двадцать три года между мной и обвиняемым ничего не значила, а приобрела она огромное значение лишь на грани между пятнадцатым и шестнадцатым годом жизни прокурора и теми же годами жизни убийцы. Ибо дважды убийца Войцех Трепа, когда ему исполнилось пятнадцать лет, даже не заметил и не мог заметить этого рубежа, потому что в его жизни ничто не изменилось: доля мно-

гих поколений готовила его к двум преступлениям, и он покорно приближался к тем дням, когда совершил первое и второе убийство.

Я подумал о том, что если на протяжении пятнадцати лет жизнь обвиняемого и моя, прокурора, складывалась одинаково, то и я, прокурор, мог бы пойти тем же путем, что и обвиняемый, а Войцех Трепа, вынуждаемый обстоятельствами и своим отчаянием, брел и добрел до преступления. Значит, и я мог бы прийти к тому же, если бы меня вдруг не выбили из этой колеи и не отправили из деревни, из тесной хаты и многодетной семьи в среднюю школу, а затем в университет.

Вот какое я сделал открытие, перелистывая обвинительный акт и показания обвиняемого и свидетелей. Я сделал это открытие внезапно, встал из-за стола и прошелся несколько раз от окна к дверям и обратно. Мне хотелось подумать еще немного об этом открытии, о том, что и я, прожив до пятнадцати лет в тех же условиях, что и Войцех Трепа, мог совершить преступление и меня могли толкнуть на это условия жизни моей и моей деревни, как толкнули они на преступление обвиняемого Войцеха Трепу, сына Юзефа и Катажины.

Продолжая эту игру в сопоставление сходных ситуаций, теперь уже не имеющих серьезного значения, скорее занятных, но все-таки страшных, я понял, что если бы год 1945 не перевернул всю мою жизнь, то, могло стать, я разделил бы судьбу обвиняемого. И, снова отдавшись воображению, я сделал еще одну перестановку во времени и представил себя на месте Войцеха Трепы, а Войцеха Трепу — живущим в мое время. Эта перестановка, лишенная, конечно, всякой реальной основы, породила в моем воображении возможную ситуацию: я, нынешний прокурор, сижу на скамье подсудимых между двумя милиционерами, обвиняемый Войцех Трепа сидит на месте обвинителя, то есть на моем месте. Но все это, разумеется, не имеет значения и скорее просто игра в сопоставление некоторых фактов наших биографий — и я и Войцех начинали жизнь с того, что пасли утят и гусей.

И все-таки, прохаживаясь от дверей к окну, я по-прежнему с увлечением сравнивал мою жизнь

с жизнью подсудимого Войцеха Трепы, хотя мне это было не нужно и могло лишь внести путаницу в мою работу прокурора, обязанного считаться только с реальными фактами. Я улыбнулся, подумав, до чего можно дойти, когда мысленно переставляешь людей на шахматной доске времени.

Потом, читая и перечитывая обвинительный акт, я понял, что примерно на рубеже, прошедшем в жизни Войцеха совсем незаметно, ибо иные были времена, а для меня решающие, ныне обвиняемый Войцех, а тогда пятнадцатилетний Войтек впервые встретился с жившим в соседней деревне Стефаном Дураем, который был на год старше его и которого он спустя много лет убил. Они встретились между двумя деревнями на дороге, на которую им пришлось возить песок и щебень. Пожалуй, это было в 1921 году; Войцех тогда не знал еще его фамилии, а позднее узнал фамилию и имя и стал звать его Стефеком; спустя годы он многое познал и убил Стефана Дурая. Там, на дороге, один говорил другому: «Поддай-ка еще назад телегу», или: «Высыпай этот щебень здесь», или: «Заровнять надо эту рытвину, подсыпь сюда песку», или: «Подгони лошадь». А все-таки потом, когда пройдет много лет — а время должно было пройти, — настанет такой день, час, а может быть, даже минута, когда один убьет другого. Собственно, уже тогда, на дороге, они могли потолковать об этом, если бы знали, что должно произойти позже, по прошествии некоторого времени. Будь им это известно, Войтек мог бы тогда сказать Стефеку: «Посмотри на меня, взглядишь хорошенько, запомни мое лицо, запомни, как я улыбаюсь, как помогаю тебе возить щебень, посмотри на мои руки — руки обыкновенного человека, белые от каменной пыли, посмотри внимательно на эти руки — они убьют тебя». А Стефек тогда, на дороге, мог бы ответить: «И ты посмотри на меня, взгляни мне в глаза, видишь, как я радуюсь, когда лошадь перетащит через колдобины подводу со щебнем,» как я улыбаюсь, приглядишься — ведь ты убьешь меня». Но они не знали, что с ними будет спустя многие годы, и не задумывались над этим, — занятые работой, они возили на дорогу песок и щебень.

А потом ежедневно на другом краю поля появлялись две маленькие темные фигурки Юзефа Трепы и его старшего сына Сташека. Ежедневно в сумерки возникали эти две точки на другом краю поля — мужчины возвращались с работы на насыпи. А потом, огромные и обессиленные, они валились в кухне на стулья, и слышались их точно разбухшие от гордости слова, обращенные к Катажине — жене и Катажине — матери: «Дай чего-нибудь поесть». Только это и скажут работающие на насыпи. И стоило им бросить: «Дай чего-нибудь поесть», — как женщина, словно одержимая, начинала суетиться и стряпать. Жена Юзефа и мать Сташека, Войтека и Ядвиги начинала суетиться, как одержимая, исполняя обряд приготовления пищи для работников, вернувшихся с насыпи; это был именно обряд, и смысл его заключался не только в том, чтобы накормить двоих, развалившихся на стульях работников, а скорее в том, чтобы воздать должное работе на насыпи — этим тачкам, полным земли, которые нужно было вкатывать по доске на самый гребень насыпи. В старых штанах отца был карман, глубокий и широкий, до самой прорехи, пропахший чем-то затхлым — землей, потом и мочой, — в который вечно набивался песок; в нем хранились погнутые гвозди, бечевки, гайки и полученные за работу на насыпи деньги. Этот воючий карман в старых штанах вместе с заработанными деньгами ежедневно в сумерки возвращался с другого края поля домой, а на рассвете уходил из дому и исчезал за этими полями. В воскресенье воючие штаны с карманом лежали на старом столе в сенях, а в понедельник с восходом солнца снова отправлялись на насыпь.

А потом насыпь нарастили, и работа кончилась. Позже случалось еще много всякого; хворал Сташек, и тревожные, беспомощные и все же что-то прикидывающие взгляды домашних ощупывали больного. Бабы поставили ему банки и чем-то растерли, но это не помогло. Поэтому родные не спускали с него глаз, всматривались и что-то прикидывали. Нет хуже этой навязанной необходимости прикидывать, этих тайных, подспудных расчетов, от которых не отобьешься, этиж

беспомощных, слезливых взглядов, желания спасти жизнь и одновременно настойчивой мысли о том, что — умри он — два с половиной морга земли останутся только на двоих. Они страдали оттого, что приходилось так думать, но, вопреки их воле, два с половиной морга внушали им такую мысль, когда они смотрели на больного. Эти подсчеты властно овладевают тобой, и, хотя ты весь съеживаешься и знаешь, что уступить им подло, хочешь сохранить свое достоинство и отчаянно защищаешься, ты не в состоянии избавиться от них. Когда Сташек выздоровеет, эта настойчивая мысль перестанет преследовать его родных; эта арифметика, эти подсчеты — деление сначала на три, а потом на два — исчезнут, и вместо них опять начнутся другие, неторопливые дотошные хозяйственные подсчеты, связанные уже не с жизнью и смертью человека, а с жизнью и смертью животных и растений.

Довольная улыбка Юзефа Трепы и оживление в семье, когда к Ядвиге придет кавалер, еще впереди. До того как на лице Юзефа появится эта улыбка, его исказит зависть, да и все лица в доме Юзефа Трепы побледнеют от зависти при виде новой красной черепицы на крыше соседа. И вспыхнет ненависть, но не к соседу, кроющему черепицей крышу, а к самому себе и к своим близким за беспомощность. Из зависти родится грусть, и ты будешь бесконечно долго сидеть, сложив руки на коленях, — покорно сидеть на пороге дома или на козлах в дровянике, а в дремлющем мозгу будут медленно проплывать исполненные трагического бессилия картины, которые так и не вырвут мысль из оцепенения: какая-то убитая птица с раскрытым навсегда клювом, сломанный крюк в бревне на сеновале, поверженный молнией вяз, загнанный собаками заяц, поросенок, которого сожрала собственная мать, сожрала из любви и боязни, как бы ему не причинили зла.

И будут еще, а собственно, уже были — ибо все это уже минуло и осталось позади — многочисленные и однообразные хлопоты по хозяйству, дни и месяцы, когда гнешь спину на пашне, на гумне, бьешь земные поклоны зерну и навозу; крестьянские босые ноги, корявые, почерневшие, покрытые трещинами ноги, ступающие по земле, воде и дерьму, униженные ноги, удел которых горше участи других частей крестьян-

ского тела. Эти ноги, приближающиеся к ограде, которая отделяет сад от полей, эти руки, вцепившиеся мертвой хваткой в жерди изгороди, это тело, распластавшееся на ограде, и глаза, жадно всматривающиеся в поля, — этот мужик, впившийся в забор, распятый на нем, как паук на паутине, мужик над густо исписанной страницей полей.

Все это было, миновало, и уже близок день, когда появится рослый красавец кавалер с великолепной фамилией Котуля и великолепным именем Кароль и в доме Трепы начнется почти не проявлявшееся внешне, затаенное оживление. Обвиняемый Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, рассказал суду об этом первом, а вернее, об этих первых визитах Кароля Котули в их дом. Судья и я, прокурор, выслушали его внимательно — показания обвиняемого имели значение, хотя все это происходило задолго до первого преступления, не говоря уже о втором. Шел год 1928 или 1929, то есть меня тогда еще не было на свете или я только родился; первое преступление совершилось в июне 1930 года. Описывая суду эти визиты Кароля Котули к Ядвиге, обвиняемый сказал: «Мы радовались, что он пришел».

Войцех употребил это бескровное, обтекаемое и безликое определение «мы радовались». Если бы он помнил все лучше и описал эту минуту подробнее, то сказал бы, что отец улыбнулся, когда светлый чуб мелькнул над плетнем, и улыбался все время, пока чуб двигался вдоль изгороди, пока не открылась калитка и не появился сам стройный кавалер. Эта, казалось, бездумная улыбка, затеплившаяся после скрупулезных подсчетов, словно прилипла к лицу Юзефа и держалась до того вечера и ночи, когда выяснились некоторые другие обстоятельства. Но до этого вечера еще далеко, и Юзеф благосклонно и одобрительно улыбается. Говорит он мало и не о том, о чем хотел бы. Он, Юзеф, говорит: «Будет ведро — свезем сено», — а хотел бы сказать: «Кавалер пришел к Ядвиге — первый сорт». Говорит: «Хорошо бы убрать сено», — а хотел бы сказать: «Нам ко двору такой зять, как этот Кароль Котуля; я бы поставил новую ограду и крышу покрыл заново, если бы только этот Котуля сказал: «Я женюсь на вашей дочери». На свадьбу заколол бы боровка, все равно уж; выволоч бы из хлева этого боровка

и ахнул бы его обухом между глаз, вонзил бы в него нож, а потом наделал колбас...»

Ядвига Трепа, фабричная работница, которой сейчас пятьдесят один год, а в то время девятнадцатилетняя или двадцатилетняя девушка, убежала в хату, едва красавец кавалер появился за забором, и там нетерпеливо ждала, когда он войдет.

Чтобы представить себе тогдашнюю Ядвигу, пришлось бы разгладить ей морщины на лице; надо было бы упрятать набухшие жилы на руках, сделать маленькими руки, убрать шишки на ступнях и распрямить сутулую спину. Пришлось бы, если бы это было возможно, повлечь ее против течения в потоке времени и вернуть из 1961 года в 1928 или 1929, когда появился этот красавец кавалер.

А едва он появился, снова начались неизбежные расчеты.

Четыре или пять голов — порой вместе с Ядвигой, а иногда без нее, — склонившихся над столом или над полом в кухне или в горнице, а в сущности, склонившихся над этими их двумя с половиной моргами, прикидывали все пока еще благодушно, не торопясь. У этого Котули земли не густо, но он единственный сын, значит, хоть и беден, а все-таки, по сути дела, богат, потому что на него одного придется три морга, которые он унаследует от отца. Поэтому он, возможно, и не запросит большого приданого; может, не станет требовать многого, собираясь жениться на Ядвиге, красивой стройной девушке. Он наверняка не будет вырывать кусок из горла, и парням останется порядочный надел. А Ядвиге можно еще и телку отдать, потому что в хозяйстве теперь уже есть и корова и телка: с 1910, а может, с 1911 года до года 1928 либо 1929, то есть за тот период, когда была война и много других событий, хозяйство Юзефа Трепы немного окрепло; они теперь прикупают траву, которая растет на насыпи, кроме коровы, держат телку, и если так пойдет дальше, то, может, у них будут и две коровы.

Обвиняемый Войцех Трепа, рассказывая суду о первых визитах Кароля Котули, употребил выражение: «Мы радовались, что он пришел». Он даже улыбнулся, этот дважды убийца, когда произнес «мы радовались», он улыбнулся так, что на миг показалось — это еще

тогдашний Войцех, Войцех в 1928 или 1929 году; убийца улыбнулся так, что в зале в какой-то момент все вздохнули с облегчением. Словно время повернуло вспять и возвратился 1928 или 1929 год, когда можно было надеяться, что красавец кавалер, святая Ядвигу, не потребует много земли.

Но потом обвиняемого снова захватило монотонное течение судебного разбирательства, он уже не улыбался, он и себе, и всем присутствующим напомнил, что сейчас 1961 год; апрель 1961 года — уже скоро год, как я женился на дочери профессора коммерческой академии и вошел в эту профессорскую, из поколения в поколение профессорскую семью. Я переступил порог блестящей профессорской квартиры в черном костюме и черных, уже не больших, а как раз по ноге узконосых ботинках, вернее, полуботинках. Приближается годовщина моей первой брачной ночи, годовщина тех минут, когда я переступил порог спальни, где меня ждала в постели дочь профессора торговой академии, жена Анджея Табора, еще районного прокурора, но уже получившего назначение на пост воеводского прокурора. Через минуту я войду в спальню и обниму мою жену. Я, зачатый на колченогой кровати, на соломе, покрытой грязным холстом, через минуту скользну в белую воздушную постель и обниму нежное тело моей жены, дочери профессора торговой академии. Моя любовь к этой женщине и ее любовь ко мне — возмездие за судьбу моего отца, матери, деда, бабушки и всех моих предков. Я никому не признаюсь, что в моей любви к жене и в ее чувстве ко мне я нахожу частицу возмездия, и никому не признаюсь, что в моем праве любить жену, дочь профессора торговой академии, я вижу одно из благ, которые революция распределяет между людьми, рожденными на грязной подстилке. И в том не признаюсь, что наши объятия я считаю не менее веским доказательством перемен, происшедших после 1945 года, чем бумажка, извещающая меня о назначении на должность воеводского прокурора. И того никому не скажу, что на ребенка моего, который еще не родился и появления которого жду сейчас, когда идет процесс Войцека Трепы, я тоже буду смотреть как на возмездие за долю отцов, дедов и тех моих крепостных предков, кто пахал на волах барские

земли. И в том не признаюсь, что я еще не в состоянии вздохнуть с облегчением, ибо и в супружеских узах, и в будущей обеспеченной жизни моего ребенка я вижу возмездие. Я не могу изведать того облегчения, которое станет уделом моего сына или дочери, ведь и я еще приписан к земле, но уже иначе приписан, чем Войцех Трепа, дважды убийца, чьи показания лежат сейчас передо мной, и я просматриваю эти страницы машинописного текста, повествующие о первых визитах красавца кавалера Кароля Котули. Из этого краткого и довольно общего рассказа обвиняемого следует, что весь 1928 и 1929 годы и, пожалуй, еще отчасти 1930 год были удачными для семьи Трепы. Кавалер навещался к Ядвиге, толковал с ее отцом, Юзефом Трепой, которому было уже под пятьдесят, иногда разговаривал со всей семьей, но пока о мелочах, не о женьтибе. Порой помогал матери Ядвиги, Катажине, принести охапку клевера. С Войтеком и Сташеком болтал о всяких мужских делах — и так постепенно вращался в семью Трепы этот красавец кавалер, единственный сын, который получит после смерти отца три морга, ибо у его отца столько земли. А тот вечер или, скорее, ночь, когда кое-что выяснится, пока довольно далеко, и кажется еще, будто ничто не может помешать этой незаметной смене поколений в доме Трепы.

То, что случилось позднее, достаточно подробно изложено в показаниях самой Ядвиги Трепы, некогда красивой и стройной девушки, которой ныне уже за пятьдесят и которая работает в городе и живет с внебрачной дочерью. Она, предмет ухаживаний Кароля Котули, знает больше других, и ее показания приняты во внимание судом и прокуратурой. В своих показаниях она не останавливалась на добрых временах первых визитов кавалера, а перешла к тому периоду, когда с лица Юзефа Трепы исчезла улыбка и оживление в доме сменилось нервозностью. Она давала показания без слез и той плаксивой многословности, которая зачастую присуща показаниям родственников обвиняемого. В ее показаниях, сухих и отрешенных, чувствовался человек, потерявший иллюзии и знающий, что ничего не вернешь, человек, который хочет сказать об этом напрямик и даже в назидание суду. Когда ей надо было коснуться того, что она отдалась Каролю

Котуле — ведь не аист же принес родившегося позднее ребенка, — Ядвига сказала: «Потом я пошла с Каролем в рощицу, что за насыпью, и там все произошло». Она произнесла это одним духом, не сделав паузы после слова «потом». Но дрогнула ее рука, не опущенная свободно вдоль тела, а напряженно и неестественно согнутая в локте; разумеется, это не занесено в протокол, ибо в протокол таких вещей не записывают, протоколист их, пожалуй, даже и не замечает, он записывает только слова. Дальнейшие показания свидетельницы Ядвиги Трепы втиснуты в несколько машинописных страничек и представляют собой хороший информационный материал для суда, так как рисуют довольно зримую, хотя разбросанную и неполную картину второго, то есть плохого периода визитов красавца кавалера. Однажды вечером во время веселого разговора Котуля вдруг выпалил: «Дайте за Ядвигой два морга». Юзеф, его сыновья, Катажина и, наверно, сама Ядвига приняли это за шутку и заставили себя улыбнуться; но тут же они должны были спохватиться, — а возможно, это и не шутка, — и смекнуть, что в таком случае обоим братьям, отцу и матери останется только полморга. Пожалуй, парни тоже подумали, что если Котуля возьмет два морга, то им на двоих выпадет только полморга. В тот вечер Котуля больше не касался этой темы, а потом ушел, оставив их с этой шуткой, а может, и не шуткой: «Дайте за Ядвигой два морга». Они сидели в кухне, на стене висела закопченная керосиновая лампа. Дверь из кухни в сени была открыта, из сеней на улицу тоже, — стоял теплый весенний вечер. Большой бурый кот лежал на пороге и смотрел во тьму, в сад, он что-то в этой темноте видел. Кот распластался на пороге и терпеливо всматривался в темноту, а темнота из сада вползала в сени и тревожила кота. Юзеф сказал: «Котуля сегодня пошутил», — и взглянул на Катажину; Катажина поняла, что должна ответить, и все услышали, как она сказала, а вернее, повторила слова Юзефа: «Котуля сегодня пошутил». Сыновья тоже кивнули головами, подтверждая, что Котуля пошутил; а потом вдруг все четверо посмотрели на Ядвигу, которая сидела на пороге горницы; в их взглядах был вопрос: «Шутил Котуля или нет?» Но Ядвига сказала только: «Почему

вы на меня так смотрите?» Те четверо не настаивали, тогда в кухне боялись слов, чтобы ненароком не спугнуть шутку и не обнаружить правду. Бурый кот прыгнул с места и бесшумно скользнул в сад, а они отправились спать. Сташек и Войтек — на сеновал, а Юзеф, Катажина и Ядвига — в горницу. На одну кровать уляжется Юзеф и, прежде чем уснуть, скажет: «Пошутил сегодня Котуля». Мать и дочь лягут на другую кровать и притворятся спящими. Им многое надо бы сказать друг другу, но они не в силах выдать из себя ни слова. Одна будет долго размышлять о том, как спросить, да и другая поломаёт голову над тем, как признаться; но наконец уже нельзя будет вынести этой не дающей заснуть мысли, что так много нужно сказать друг другу. Среди ночи запищит птица, до которой доберется бурый кот, а Катажина прикоснется своим холодным телом к горячему телу дочери и спросит: «Почему не спишь?»

В показаниях на следствии Ядвига упоминала об этом ночном разговоре с матерью и немного остановилась на нем, но на суде она сказала коротко: «Я призналась матери, что у меня будет ребенок». О том, что мать, узнав эту новость, разбудила отца, на суде Ядвига тоже не сказала, хотя на следствии и упоминала. Суд, конечно, знал это обстоятельство, но не настаивал, чтобы она вспоминала о нем: оно не имело большого значения и было не самым важным дополнением к тому существенному факту, имевшему место весной 1930 года — того года, когда обвиняемый Войцех Трепа совершил первое убийство, — что двадцатилетняя Ядвига Трепа была беременна. То, что ночью Катажина разбудила мужа, было для суда сущим пустяком, и то, что она крикнула глухим и сдавленным голосом: «Проснись, старик!» И то, что она еще раз или два крикнула: «Проснись, старик!» — так как он не просыпался и продолжал храпеть, не вносило ничего существенного в дело, и суд не настаивал на подробном изложении того, что произошло весенней ночью 1930 года в горнице Трепов. Не было существенным дополнением и то, что отец, разбуженный наконец криком Катажины, сел на кровати и тотчас же услышал: «У Ядвиги будет ребенок!» И то, что он долго молчал, молчал до той минуты, когда в окне обозначается чер-

ный крест рамы и бурые коты, насытившиеся птицами, укладываются спать на сене, а птицы, которым повезло — уцелевшие несъеденные птицы, — начинают петь; и то, что он молчал вплоть до этой минуты, не было учтено при сборе вещественных доказательств преступления. Все это, самое большее, может лишь статься как выплывший из прошлого туман, где-то наряду с вещественными доказательствами. Но сказанное Юзефом, эти три слова, произнесенные после долгого молчания, этот вывод: «Котуля не шутил», — имели, пожалуй, какое-то значение в ряду вещественных доказательств, ибо судья обратился к свидетельнице Ядвиге Трепе со словами: «Сперва отец, а потом все в доме пришли к выводу, что Кароль Котуля, требуя два морга, не шутил». Это было так очевидно, что Ядвига даже не ответила «да», а лишь утвердительно кивнула головой; и суд, который в принципе не признает ответа на языке жестов, простил Ядвиге, — она в тот момент слегка повернула голову и взглянула на обвиняемого, на этого дважды убийцу, на своего брата Войцеха, и суд понял ее молчание, когда она смотрела на брата. Немного погодя судья заговорил снова: «Кароль Котуля не шутил, когда потребовал два морга?» На что Ядвига ответила: «Кароль тогда не шутил».

Позднее, размышляя над этим, я пришел к заключению, что Котуля находился в том выгодном положении, которое позволяло ему правду выразить в форме шутки, он мог позволить себе такую роскошь, красавец кавалер мог позволить себе это, однажды ночью в роще обеспечив себе выгодное положение, которого уже никто не мог его лишить. Поэтому он с улыбочкой и вроде бы шутя сказал Юзефу и Катажине: «Дайте два морга». А Юзеф, Катажина и их сыновья могли только растерянно и беспомощно улыбаться.

V

Так думал я об этом, хоть и знал, что, размышляя подобным образом, я превышаю свои полномочия и осложняю себе задачу как прокурору. Но я именно так представлял себе происшедшее и по-прежнему размышлял на эту тему, мысленно перемещая людей из одного

времени в другое, я опять вернулся к той ночи, когда выяснилось, что Ядвига беременна. Видно, Юзеф той ночью понял все преимущества красавца кавалера, потому что после долгого молчания он сказал: «Котуля не шутил». Когда эта ночь минет, Юзеф пойдет в дровяник, сядет на козлы и примется стругать штакетник, дожидаясь момента, когда можно будет взглянуть на живот Ядвиги; Катажина, как всегда, постарается отвлечься, возясь с кормом для свиней, и тоже будет подкарауливать Ядвигу, чтобы посмотреть на живот дочери; а Сташек запряжет кобылу, уже с высоты телеги увидит проходящую по саду Ядвигу и устанется на ее передник; Войтек будет выбрасывать навоз из хлева, но и он разогнется и, не выпуская из рук вил, внимательнее, чем обычно, посмотрит на Ядвигу. Когда Ядвига придет наконец за дровами, Юзеф подымет с козел и шепнет ей: «Поди сюда, ты, стельная», — но не станет ждать, пока она приблизится к нему, а сам подойдет и ударит ее по лицу и еще раз шепнет: «Ты стельная, ты супоросая!» Ядвига, не проронив ни звука, выйдет из дровяника, а Юзеф молча сядет на козлы, чтобы не наделать шума в деревне. Ядвига вернется с дровами на кухню, Юзеф снова начнет стругать штакетник.

Но невозможно до бесконечности стругать штакетник, ведь нельзя же вечно сидеть верхом на козлах, настанет минута, когда подумаешь: «Пойду в поле», — а потом мелькнет мысль: «Делать там нечего, моросит затяжной дождь, а все-таки пойду», — затем скажешь себе: «Я должен пойти и увидеть поле, которое вижу каждый день, должен пойти, хоть и льет дождь, потому что Котуля потребовал за Ядвигой два морга. Я отдал бы Ядвиге, моей дочери, этой суке, два морга... но у меня всего два с половиной морга и два парня — Сташек и Войтек». А если этот красавец кавалер потребовал два морга, то на тебя в дровянике могло снизойти озарение, ты должен был подумать: «Пойду в поле поглядеть, что к чему, пусть себе льет дождь», — ты должен был крикнуть самому себе: «Пойду, потому что надо пойти». И ты пойдешь, ибо требование красавца кавалера покажется тебе достаточной причиной для того, чтобы пойти под дождем в поле. Ты согнешься, набросишь на голову мешок и пойдешь. Встанешь

под невысокой дикой грушей и окинешь землю оценивающим взглядом. И самая твоя большая, на целый морг, полоса на пологом склоне покажется тебе превосходной. Тебе она очень понравится, эта полоса, ты сравнишь ее с другими наделами и решишь, что твоя все-таки самая лучшая, и улыбнешься. Ты пожалеешь, что сюда, под грушу, не пришли с тобой красавец кавалер и его отец: будь они тут, ты показал бы им этот участок в целый морг, им это поле наверняка понравилось бы. Тогда ты бы сказал: «Я отдам этот морг, но больше не дам ничего». Они могли бы в ответ одобрительно кивнуть головой. А тебе, когда ты стоишь под грушей, ничего другого и не надо — только бы красавец кавалер и его отец, кивнув головой, сказали бы «да», когда ты им покажешь полосу на угоре и скажешь: «Этот морг я отдам Ядвиге и Каролу».

О том, что ты, Юзеф, в тот дождливый весенний день 1930 года стоял под грушей, никто из свидетелей не обмолвился ни на следствии, ни на суде. Но о встрече двух семей под этой самой грушей тоже весной 1930 года говорили и обвиняемый Войцех Трепа, и свидетельница Ядвига Трепа, и еще один свидетель, который, правда, не был при этом разговоре, но видел, как несколько человек шагали туда по меже, а позднее отец красавца кавалера, Миколай Котуля, рассказал ему, о чем шла речь там, под грушей. Свидетель запомнил даже, в каком порядке шли они к этой груше. Сомнительно, чтобы он так хорошо помнил, кто за кем шел, но сказанное им было правдоподобно и потому занесено в протокол. По его свидетельству, первым шагал Юзеф Трепа, за ним его жена Катажина, затем Миколай Котуля, красавец кавалер, потом Ядвига, а в самом конце Войтек. Когда они подошли к маленькой дикой груше — об этом рассказал уже не тот свидетель, который сообщил, в каком порядке они двигались, а обвиняемый Войцех Трепа и свидетельница Ядвига Трепа, — Юзеф поднял свою заскорузлую тяжелую руку, показал на морг земли — самую лучшую, удобно расположенную полосу, и сказал отцу красавца кавалера: «Я им отдам этот морг», — и Катажина повторила за ним: «Мы им отдадим этот морг», — чтобы поддержать заявление мужа и чтобы Миколай Котуля и красавец кавалер не сомневались, что эта по-

лоса будет принадлежать Ядвиге. Тогда Миколай Котуля улыбнулся, и его сын, обеспечивший себе выигрышное положение, тоже улыбнулся, а Юзеф опустил руку, которой все еще показывал на поле; он опустил ее рывком, спохватившись, что слишком долго держит руку протянутой в сторону этой полоски земли. А Миколай Котуля, ничего не говоря, только по-прежнему как-то загадочно улыбаясь, повернулся и показал на другую полосу Юзефа Трепы, полосу в полморга, и сказал: «Давайте еще и это». А потом, все так же вкрадчиво улыбаясь, он повернулся в другую сторону и показал еще одну полосу в полморга и снова проговорил: «И это тоже».

Судья и прокурор, то есть я, понимаем, что эти подробности, сохранившиеся в памяти, — лишь частица длинного разговора, который произошел весной 1930 года под маленькой грушей-дичком и который, как показали свидетели, ни к чему не привел и только подчеркнул разницу в положении обеих семей. Теперь красавец кавалер, его отец, а также наверняка и мать доподлинно убедились, что Юзеф хочет отдать дочери, которая должна войти в их дом как жена и сноха, только один морг. Юзеф, Катажина, Ядвига и парни поняли, что Кароль и его родители не уступят и будут требовать морг земли на угоре, полморга у большого выгона и еще полморга на опушке, то есть всего два морга. Они могут настаивать и не спешить, могут молчать целыми месяцами, потому что у них есть преимущество, о котором позаботился их сын.

А семейство Трепов должно поторопиться со своими попытками убедить Котулей ограничиться одним моргом, им нельзя мешкать, потому что Ядвига ходит в свободно повязанном фартуке и для отвода глаз держит под ним сложенные накрест руки — будто из-за них и оттопырился фартук. Эта четко определившаяся разница в положении обеих семей была заметна уже в тот раз, когда они кончили разговор под карликовой грушей-дичком и молча возвращались с поля. Свидетель, помнивший, в какой последовательности они шли межою к груше, пожелал снова блеснуть памятью и рассказал, что, когда они возвращались, первым шагал Миколай Котуля, за ним мать Ядвиги Катажина, потом красавец кавалер, Ядвига и ее отец

Юзеф, и Войтек плелся последним, как и поначалу, только отстал еще больше. Свидетель говорил об этом с огромным волнением, — вероятно, по его мнению, то, что возвращались они в другом порядке и Войтек отстал еще больше, уже тогда имело свое значение, свое глубокое значение.

Однако о том, что делалось в доме Трепы после возвращения с поля, ныне могут поведать, да и то в общих чертах, лишь Ядвига Трепа, обвиняемый Войцех Трепа, Станислав Трепа, брат обвиняемого, ну, и, может быть, восьмидесятилетний старик, их отец. Моя фантазия, фантазия крестьянского сына и прокурора, воссоздала наиболее правдоподобную картину событий тридцатилетней давности, собрав воедино эти показания и восполнив пробелы в памяти свидетелей и обвиняемого.

Тишина и безмолвие царили в доме Трепы в первые минуты после возвращения семейства с поля. Катажина тотчас же принялась готовить корм свиньям и толочь в корыте картошку, — ее пугала тишина, а более того мысль, что эта тишина будет продолжаться вечно. Наконец глава семейства решился произнести слова, нелепые и беспомощные и, может, именно потому испокон веков повторяемые всеми людьми, — слова по-человечески понятные и такие бесчеловечные: «Что теперь будем делать?» — и взглянул на Ядвигу, которая стояла, слегка откинувшись назад, с уже заметно округлившимся животом. будто напоминавшим, что фартук пора сделать свободнее. Юзеф посмотрел на нее и плюнул, а она с плачем убежала в горницу и хлопнула за собой узкую дверь, отделяющую горницу от кухни. Тогда Юзеф позвал: «Ядвига, иди сюда!» И когда она не откликнулась, позвал еще раз: «Вернись на кухню, Ядвига!» Она вошла, уже не плача, только с красными пятнами под глазами, и тогда впервые за несколько месяцев посмотрела отцу прямо в глаза, и, хотя ничего не сказала, было понятно, что теперь она станет вырывать у него эти два морга, что она на стороне красавца кавалера, что она может еще больше откинуться назад, хлопнуть рукой по своему выпяченному животу и крикнуть: «Дайте два морга, чтобы не было безотцовщины!» Или может произнести мягко, улыбаясь: «Вы должны дать два морга, чтобы не было

байструка». Она может даже ничего не говорить, а просто бесстыдно выпятить свой живот, и это будет означать то же самое, что и слова: «Дайте два морга, а то будет байструк». Ибо она уже сделала этот единственный решающий шаг и оказалась за пределами плотины, барьера или границы, создаваемой стыдом, богобоязненностью, семейными узами и с детства впитанным суеверием, мешающим преступить линию, очерченную вокруг человека краской ангельской близны, — линию, которая и есть эта плотина, барьер или граница. У нее уже развязаны руки, и она может пойти на поле, поднять ком земли, поцеловать его и ударить им отца, мать, брата — каждого, кто приблизится, чтобы отнять у нее змлю. Юзеф, очевидно, все это понял, и, когда Ядвига вернулась в кухню уже не заплаканная, а с холодным, решительным взглядом и сурово посмотрела ему в глаза, он сказал: «Ядвиня». Он не называл ее так уже несколько месяцев, а может, и лет, а может, с того самого времени, когда она четырехлетней девчонкой стерегла утят от вороны. Он сказал «Ядвиня» этой суке, так как ему, наверно, пришлось по сердцу ее отвага, бесстыдство, с каким она выпятила свой набухший живот, ее дерзкий взгляд. А может, он просто побоялся, побоялся неплачущей, неотчаивающейся Ядвиги. Может, он пожалел ее, пожалел эту злую, вырывающую у него землю Ядвигу, Ядвигу, готовую ударить мать и отца комом священной земли с полосы, что занимает целый морг на склоне, с полосы в полморга, что у большого выгона, и с полосы в полморга на опушке. Может, он пожалел свою дочь именно сейчас, когда она больше не плакала, пожалел, ибо слезы — это слишком мало, ведь не плач, а богохульная и бесстыдная решимость были высшей формой отчаяния.

Разумеется, на суде об этих подробностях не было речи. Для суда они не представляли интереса, и потому судья не прибегал к тем мягким, настойчивым уговорам, которые он обычно применяет, когда заинтересован в детальном выяснении каких-либо обстоятельств. Он не обращался к обвиняемому Войцеху Трепе и свидетельнице Ядвиге Трепе, учтиво убеждая: «Пожалуйста, расскажите об этом детальнее». Или, чтобы было понятно: «Прошу рассказать суду подроб-

нее, как все было». Суд отказался в этой части показаний, как, впрочем, и в некоторых других частях, от мягких и настойчивых просьб и убеждений, всегда сопутствующих подготовке приговора и необходимых для наиболее точного воссоздания самих фактов. Суду было достаточно того, что Ядвига Трепа стала на сторону красавца кавалера и тоже вырывала у родителей и братьев эти два морга. И уж вовсе он не интересовался тем, что вся деревня знала о событиях в обоих семействах и окружила дом Катули, а особенно дом Трепы, настоящей стеной из глаз и ушей. Суду было совершенно безразлично, что деревня знала об этом споре из-за поля, о беременности Ядвиги, об иронии красавца кавалера, которую отточила и обострила жажда получить два морга. Все это не имело для суда большого значения, не мог же он вникать во все мелочи — достаточно моментов и поважнее в этом развивающемся вместе с жизнью и, как жизнь, длинном деле Войцеха Трепы. Поэтому суд не принял к сведению, а если бы и принял, то ему было бы безразлично твое, Юзеф, единоборство со всей деревней, разгоревшееся из-за того, что она хотела дознаться обо всем, происходящем в твоём доме, а ты не хотел с ней делиться; суд не принял в расчет твою отчаянную и тщетную попытку сохранить в тайне то, что невозможно уберечь, попытку, которая, увы, не более чем бессмысленный героизм, ибо деревня уже пядь за пядью обнажила твою тайну, сорвала с нее все покровы, а ты все еще, выполняя свой долг, заслоняешь лицо руками. Но люди уже отрывают от лица твои руки, хотят заглянуть в глаза, ведь им хочется знать все о тебе и твоём доме. И в конце концов ты оказываешься лицом к лицу с деревней, хранящей молчание, но всеведущей, — деревней, которая вдруг обрушивается на тебя со своими советами и подавляет ими, а потом люди снова точно воды в рот набирают, они прохаживаются мимо словно бы равнодушно, но все знают, они снуют вокруг тебя вроде бы с сочувствием, но все им известно; деревня любопытная, наглая, взбудораженная всевозможными догадками, а потом утомившаяся, удовлетворенная, довольная своей осведомленностью. Конечно, в судебном протоколе твоя, Юзеф, борьба с деревней за сохранение тайны заслуживает

лишь такого краткого упоминания: деревня знала о положении в семье Трепы и в семье Котули и в основном была на стороне Трепы, хотя некоторые считали, что прав Котуля.

Но еще один разговор, состоявшийся позднее в доме Трепы, — если его можно назвать разговором, — до некоторой степени мог бы, пожалуй, заинтересовать суд, ибо он был лучшим доказательством того, что всех их, то есть семью Трепы и семью Котули, тиранили эти два морга — полоска на угоре, полморга у большого выгона и полморга на опушке.

Юзеф поднялся и замер, широко расставив ноги, посреди кухни, и все поняли, что он будет говорить об этих двух моргах. Он обратился к Сташеку и тихо, но быстро и, словно стараясь застигнуть врасплох, спросил: «Ты бы дал ей эти два морга?» — и, не дожидаясь ответа, обратился к Войтеку с теми же словами: «Ты бы дал ей эти два морга?» И опять, не дожидаясь ответа, повернулся к лохани, в которой Катажина мыла картофель для свиней, и спросил жену: «А ты бы дала ей эти два морга?» Но все молчали, ибо не могли ответить на этот вопрос, уж слишком он был труден, чтобы дать на него ответ. Может, Юзеф расценил их молчание как знак согласия или только вид сделал, ибо крикнул: «Тогда ступайте и разберите или сожгите хлев, конюшню и овин — все это не понадобится, когда у вас будет полморга земли; чего ждете, ступайте, сорвите скобы с крыши, валите стены овина, конюшни и хлева, ведь мы будем хозяйствовать на клочке в полморга, и все, что соберем, уместится на повети». Юзеф особенно подчеркнул слово «хозяйствовать», ибо сказано это было с иронией. Смешон и горек был тот несколько шутовской пафос, с которым он призывал их вершить черное дело, ломать хозяйственные постройки; он возлагал на них разрушительную миссию, посылая уничтожить собственное хозяйство: «Берите корову и телку и идите с ними на базар, выведите кобылу и продайте ее, продайте телегу, плуг и бороны, потому что будете хозяйствовать на полоске в полморга». На кухне стояла тишина, а он читал проповедь и измывался над своими сыновьями, над женой и особенно над собой. Тебе, Юзеф, очень хотелось поиздеваться над собой, ведь ты пола-

гал, что владелец половины морга достоин лишь издевки, такой хозяин должен сам посмеяться над собой, пойти к людям и сказать им: «У меня полморга, можете издеваться надо мной». Ты считал, что люди вправе смеяться над тобой, раз у тебя только полморга, да и сам ты имеешь на это полное право, если остался всего-навсего с половиной морга.

Раздумывая над этим, я не могу избавиться от мысли, что время опоздало для этих двух семей или, может быть, напротив, обе эти семьи слишком поздно добрались до 1961 года, с тридцатилетним опозданием вошли они в тот год, когда я, воеводский прокурор, выступаю обвинителем по делу Войцеха Трепы.

Красавец кавалер в том году, когда я стал воеводским прокурором, мог бы отказаться от земли своих предков, на которой в 1930 году он преклонял колени перед началом сева, чтобы осторожно пересыпать зерно из мешка на холстину. Он мог бы поступить так, как мои братья, которые оставили отцовский надел и ушли на заводы. И теперь их только коробит при виде покосившихся, обветшалых стен хлева, прогнивших кормушек и сломанной веялки в овине моего отца; их раздражает родительское хозяйство, и, возможно, они, как, пожалуй, и я, предпочли, чтобы его не было, ибо оно уже не последняя спасительная соломинка, а скорее бремя, от которого трудно избавиться.

И если бы старец с голым черепом, отец обвиняемого Войцеха Трепы, Юзеф Трепа, мог сбросить с себя тридцать лет и сегодня, то есть в 1961 году, быть пятидесятилетним мужем и отцом, ему не пришлось бы так смирять себя и так нелепо и вымученно улыбаться, потребуй какой-нибудь нынешний красавец кавалер, собирающийся жениться на его дочери, два морга. Юзефу Трепе не пришлось бы больше так смирять себя и опасаться, что шутка окажется правдой; для него это не имело бы такого огромного значения, окажись он ныне, то есть в 1961 году, в таком же положении, как ранней весной 1930 года. Но сейчас Юзеф вряд ли попал бы в подобное положение, ведь уже нет или осталось совсем немного таких красавцев, которые вырывали бы из горла у будущего тестя два морга земли, улыбались иронически и требовали: «Дайте за

дочерью два морга». А если бы даже нашелся такой красавец, унаследовавший от отцов преклонение перед землей, яростную отцовскую страсть к приобретению земли и столь же яростное желание гнуть спину на своей полоске, то ты мог бы такому кавалеру, берущему в жены твою дочь, дать эти два морга; потому что тебе дали бы еще, прирезали бы земли из бывших господских угодий, как дали ее моему отцу и моему сыну Войцеху, ныне обвиняемому. Но ты замешкался и слишком поздно пришел в эти годы, все твоё семейство запоздало, а Катажина, твоё жена, не дошла даже с опозданием — ты похоронил её в 1944 году. И если бы я снес рискнул в своём воображении представить вас во времени и захотел бы увидеть твою жену в 1961 году сорокапятилетней, как в 1930 году, мне пришлось бы не только отнять у неё тридцать один год, но и воскресить её, ибо семнадцать лет нет её на белом свете. Игра фантазии допускает многое, значит, я мог бы представить твою жену Катажину, перенесённую из 1930 года в нынешний, и она даже могла бы предстать перед моим мысленным взором, согбенная над корытом и размешивающая корм для свиней, но уже отвечающая на твой, Юзеф, вопрос: «А ты бы отдала Ядвиге эти два морга?» Сегодня твоё работающая жена Катажина могла бы ответить: «Давай отдадим им эти два морга, пусть потрудятся, нам будет легче». Сегодня она могла бы оказаться в таком положении, как моя мать, которая уговаривает моих младших братьев, чтобы они остались в деревне и обрабатывали землю, а они не хотят оставаться, так как предпочитают работать на заводе.

Меня уже не развлекают, как прежде, а утомляют и угнетают воскрешение и омоложение людей, эта привычка выхватывать из глубины времени и перебрасывать в моё время; признаться, меня даже пугает, что столько их, этих опоздавших, а вернее, что для столькоих запоздало время. И всё же я мысленно пробегаю десятилетия и снимаю бремя тридцати с лишним лет с Ядвиги, которой сейчас уже пятьдесят один год, чтобы увидеть её двадцатилетней в 1961 году. Могло бы вовсе не быть этой беременности у двадцатилетней девушки, а если уж и была бы, то не у двадцатилетней девушки, а у двадцатилетней замужней

женщины, так как не было бы причин откладывать свадьбу. И если бы даже двадцатилетней девушкой Ядвига была беременна, а красавец кавалер не захотел жениться на ней, то это нежелание сразу бы обнаружилось, ведь в 1961 году его нельзя было бы объяснить требованием двух моргов земли.

В подобном случае в 1961 году ее, по крайней мере, так долго не терзали бы несбывшиеся надежды.

Мне трудно отказаться от этой дьявольски грустной игры со временем и перестановкой в нем людей; да и как откажешься — ведь сними я бремя тридцати лет с обвиняемого Войцеха Трепы и представь его в 1961 году таким, каким он был ранней весной 1930 года, я избавил бы его от бремени тех минут, когда совершилось преступление, то есть снял бы с него бремя двух убийств.

Кажется, фантазия уводит меня, прокурора, слишком далеко; уводит слишком далеко прежде всего как прокурора, а не как крестьянского сына, сына деревни, земли, сына деревенских околиц или как еще там можно сказать. Долг повелевает, чтобы я вникал в суть дела Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, обвиняемого в совершении двух убийств, и до конца придерживался только основных фактов, не отклоняясь от них слишком далеко.

Сейчас я просмотрю еще две страницы протоколов и свидетельских показаний и снова остановлюсь на показаниях сестры обвиняемого, Ядвиги Трепы, которая упоминает о том, как они вместе с отцом были в доме Котули.

Состоялся этот визит примерно через неделю после встречи обеих семей в поле под карликовой грушей-дичком. Юзеф сказал: «Ядвига, пойдем к Котуле...» Он произнес только это, но и для этого требовалось большое мужество; Ядвига поднялась с порога, и они пошли, без дальнейших слов, не задумываясь, не обсудив дела. Катажина и Войтек — Сташека тогда не было — остались в кухне и слушали, как затихают их шаги на лестнице, а потом прислушивались к тишине; воцарившейся в кухне, прислушивались к тишине и звукам — к стуку, позвякиваниям и шорохам, доносившимся со двора, и в этой тишине снова и снова мысленно воскрешали шаги Юзефа и Ядвиги, а потом

они действительно слышались на лестнице, и отец с дочерью вошли в кухню. Юзеф и Ядвига могли не рассказывать, как там все происходило и о чем толковали; Ядвига и ее отец Юзеф могли избавить себя от отчета о визите, нанесенном Котуле, — Катажина и Войтек и без того уже поняли, как прошла встреча, они поняли это из молчания Юзефа и Ядвиги. Говоря точнее, тишину, царившую в кухне и во дворе, нарушали только шаги Юзефа и Ядвиги, когда они уходили и когда возвращались; ничто больше не нарушало ее, никто не проронил ни слова, только эти шаги спугнули тишину; и все-таки Катажина и Войтек знали, что произошло у Котулей, потому что Юзеф и Ядвига молчали. Это означало, что ни выпяченный живот Ядвиги, ни грустное лицо Юзефа, словно бы демонстрировавшее в тот вечер сознание позора всего рода Трепов, не помогли добиться уступки. Старый Котуля, его жена и их сын, вся эта троица, одержимая жаждой заполучить два морга, увидев отца и дочь такими, какими они явились, лишь явственнее ощутила аромат земли, той полосы на угоре, полоски у большого выгона и другой полоски в полморга на опушке; увидав грустного Юзефа и его беременную дочь, все трое пуще прежнего воспылали надеждой на то, что земля Трепы сольется с землей Котули, и, наверно, с трудом сдерживали улыбку при виде отца и его дочери, пришедших напомнить о ее беременности и о позоре семьи. Теперь уже старый Котуля и его жена могли с большей развязностью и упорством требовать этих двух моргов, и они наверняка требовали, потому что Юзеф и Ядвига молчали, вернувшись от них в тот вечер. Они, несомненно, подавили Юзефа и Ядвигу своим упорством, но, собственно говоря, не было ни подавляющих, ни подавленных, потому что обе семьи жили под бременем борьбы за два морга.

Тот вечер, когда Юзеф и Ядвига вернулись от Котулей, был, верно, самым тихим вечером в семье Трепы. Все молчали. Бурый кот снова уселся на пороге сеней в углублении, вытоптанном ногами нескольких поколений, и смотрел умными мерцающими глазами на этих странных молчаливых людей; потом он уставится в темноту, будет вслушиваться и ждать, пока уснут птицы. Немного погодя он метнется в сад,

подождет там на ветке груши, пока птицы и люди погрузятся в сон, а когда убедится, что все спят, встретится, встанет на лапы, распластается на ветке и бесшумно поползет вверх; потом прильнет брюхом к ветке, затаится, облизнется, высунув короткий язычок, шевельнет хвостом и, прежде чем минет секунда, сделает резкий прыжок; птицу, которая спала на самом конце ветки, он сперва схватит когтями, затем вопьется в нее зубами и оборвет птичий писк. Утром снова встанут люди, и никто не догадается, что кот сожрал птицу.

Утром Юзеф сказал, что не желает больше видеть Котулей, а Ядвига закричала, что должна получить эти два морга; Катажина подняла голову от лохани и долго смотрела на дочь, а Войтек и Сташек отправились с лошадыю в поле.

VI

Все, что творилось в доме Трепы после визита Юзефа и Ядвиги к Котулям, живо интересовало суд, который старался теперь не упустить ни одной подробности и, разумеется, если это было возможно, так направлял показания обвиняемого и свидетелей, чтобы, сохраняя хронологическую последовательность, представить себе возможно более полную картину событий, непосредственно предшествовавших первому убийству. Но после визита к Котуле в доме Трепов, собственно, ничего не происходило и не могло произойти, ибо все попытки поладить были сделаны, и уже прошло то время, когда еще можно было пытаться что-либо предпринять или хотя бы надеяться, что один, а не два морга уйдут вместе с Ядвигой; и хотя, в сущности, ничего не происходило, суд упорно старался заполнить событиями пустоту, предшествовавшую первому убийству, но у суда ничего не получилось, да это было и невозможно — ведь ничего не изменилось, а если что-то и происходило, то в душах человеческих, каждой порознь. А то, что в них творилось, не проявлялось внешне даже тогда, а тем более не могло обнаружиться теперь, на суде, спустя тридцать лет.

Время, непосредственно предшествовавшее первому убийству, совершенному обвиняемым Войцехом, было спокойным, семейство Трепов с обычной обстоятельностью без помех вело хозяйство. Можно сказать, что это семейство доверчиво вручило свою судьбу бегу времени, доверилось сменяющим друг друга минутам и наконец выбрало ту форму отчаяния, которая не превращает человека в посмешище. Однако суд, все еще алчущий фактов, хотел заполнить этот пустой период, насильно заполнить его событиями, и потому снова и снова повторялись настойчивые требования судьи: «Постарайтесь вспомнить, обвиняемый». Или: «Постарайтесь вспомнить, свидетель». Постоянно слышались растерянные, а потом все более уверенные ответы обвиняемого и свидетелей, сформулированные кратко: «Не помню». В конце концов бесплодная настойчивость утомила судью, а поскольку у прокурора, то есть у меня, никаких вопросов не было, он перешел к самому преступлению; подробно и даже несколько напыщенно судья напомнил о некоторых обстоятельствах убийства, а потом, словно отказавшись от этой скрупулезности и торжественной позы, мягко, даже просительно предложил обвиняемому дать показания.

После тянувшихся довольно долго показаний Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, которые были, собственно, беседой между обвиняемым, судьей и прокурором, то есть мной, я часто раздумывал над тем, помышлял ли обвиняемый об убийстве раньше или произошло оно в результате минутного возбуждения, выключающего здравый смысл. И всегда приходил к выводу, что первое убийство не замышлялось заранее. Никакого замысла не существовало, пожалуй, даже в тот момент, когда обвиняемый Войцех, возвращаясь домой с цепью, купленной на ярмарке, подошел к реке и увидел вытащенную на берег лодку, а подле нее Кароля Котулю. Другими словами, можно поверить обвиняемому, и я, как прокурор, склонен верить, что, оставшись один на один с красавцем кавалером в тот вечер, он и не думал воспользоваться создавшимся положением. Я отдаю себе отчет в том, что не должен так легко этому верить, сам удивляюсь и спрашиваю: «Почему?» — и сразу же могу себе ответить, ибо и меня гнетет бремя тех

времен, которые коснулись меня в детстве и ранней юности; ответ на вопрос, почему я склонен верить показаниям обвиняемого, я нахожу, лишь выкарабкавшись из-под тягот тех лет, лишь стряхнув пыль той эпохи, с которой совпала молодость обвиняемого Войцеха. Тогда я нахожу ответ, почему верю обвиняемому, почему готов поверить, даже если он солжет, и почему не рассердился бы на него, если бы изобличил во лжи.

Перевозчика тогда на берегу не было, Войцех и красавец кавалер вскочили в лодку, чтобы переправиться на другой берег; кто умел править веслом, мог перебраться на другой берег без перевозчика и там оставить лодку; у перевозчика была другая, поменьше, и в случае необходимости он добирался до большой лодки. Так даже удобнее, когда на каждом берегу по лодке, поэтому ничто не мешало без перевозчика переплыть реку в большой лодке.

Обвиняемый рассказал суду, как они стояли в лодке, — это ему запомнилось; он стоял на корме и правил веслом, а красавец кавалер с шестом стоял на носу. Обвиняемый помнил и то, как в тот момент, когда оттолкнулся от берега, лодку подхватило течением и понесло вниз: было половодье и река взыграла. Однако он погрузил весло глубоко в воду, сопротивляясь течению, а красавец кавалер помогал шестом, и нос лодки медленно повернулся, куда следует, и лодка заскользила к противоположному берегу. Стенело, вода сделалась черной, хотя на самом деле была мутно-коричневой и вспененной. В тальнике начали отзыватьсЯ ночные птицы; оба они гребли хорошо, и лодка быстро двигалась к берегу. Потом, когда лодка выплывет на середину этой широкой реки, где она особенно глубока и стремительна, Войцех и Котуля не выдержат молчания и тьмы, спустившейся на воду и окружившей их лодку. И красавец кавалер задаст до смешного нелепый в такую минуту вопрос; он выберет самый нелепый, самый неподходящий в такой тьме и на глубокой бурной реке вопрос: «Как поживает Ядвига?» Войтек ему ответит, но, прежде чем ответить, коротко улыбнется, пристально посмотрит на него и вдруг перестанет владеть собой; можно бы предположить, что, и перестав соображать, он сохранит улыбку вплоть до той секунды, когда ответит. Но,

пожалуй, улыбался он только мгновение. Он впился глазами в красавца кавалера, прежде чем ударил его веслом, и тот упал в глубокую реку, откуда его извлекли только через несколько дней; этот мимолетный взгляд был необходим, чтобы красавец кавалер в последнюю минуту жизни ясно понял, что послужило причиной этого удара, и не обижался в этот последний миг, чтобы он успел простить того, кто ударил его веслом и столкнул в воду, и чтобы признал, что Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденный Багелувны, вправе совершить этот поступок, выполнить свой долг.

Мне, как прокурору, пожалуй, не следует так думать, я даже обязан предостеречь себя от склонности к подобным мыслям и фантазиям; и я предостерегаю, но тщетно, ибо мне снова становится горько при мысли, что для тех двоих, оказавшихся на глубокой и быстрой реке июньским вечером 1930 года, время запоздало, и все, что произошло на этой реке, тогда еще имело свои причины, не было лишено смысла и потому свершилось. Войцех слишком поздно явился в годы моей молодости, слишком поздно пришел в мое время и, словно узелок с грязным бельем, принес в него свою жизнь.

Эта детская, возможно, несерьезная игра моего воображения, занятого перестановкой поколений во времени, произвольно обращающегося с годами, часами и секундами, которые я пересыпаю, как разноцветные горошины из одного горшка в другой, наверняка завершится чувством грусти, ибо вечно сталкиваешься с теми, кто опоздал в лучшие времена, кто слишком поздно доплелся, дополз и доволоч свою жизнь, связанную в грязный узелок. И это чертовски грустно, что постоянно кто-то опаздывает, что всегда на подходе какой-нибудь обладатель замызганного узелка. Да и ты, хоть обитаешь в светлую эпоху и считаешь, что тебе повезло и твое время лучше, чем время Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, все-таки знаешь, что текут дни, часы и секунды, а ты бежишь, мчишься во весь дух к лучшим временам и тоже опаздываешь, ибо они всегда впереди.

Кароль Котуля мертв, его ударили веслом по голове, и он упал в воду, и лишь несколько дней спустя

его труп вытащили из реки и похоронили на кладбище, и уже выяснено все, что произошло в этой лодке, и суд переходит к дальнейшим фактам, а меня мысли снова оттесняют назад, к тому времени, когда первое убийство еще не было совершено. Я снова вижу Кароля Котулю — стоит этот красавец кавалер с шестом в руках и помогает Войцеху вести лодку к противоположному берегу. Я вижу его и хочу предостеречь, чтобы он не задавал Войцеху этого нелепого вопроса, ведь это наивный и глупый вопрос, слишком наивный и глупый, принимая во внимание крошечную тьму, глубокую реку и тяжелое весло в руках Войцеха. Но он задал этот вопрос, и Войцех уже поднял весло из воды, чтобы описать им в воздухе круг и ударить красавца кавалера по голове и этим ответить ему; и лопасть весла уже над водой, и с нее падают в реку последние капли, но еще есть время, и Котуля может избежать удара, и вот я ему советую сказать такие слова: «Греби дальше, Войтек, ведь я не виноват, я только очень близко к сердцу принял наказ моего времени и хочу выполнить его любой ценой; а наказ гласит: держись за клочок земли и желай землю». Но Котуля так не скажет, ибо ему неведом смысл этих слов, и умрет. Войцех тоже не понимает, что и он, подобно Котуле, обуреваем жаждой и готов яростно, до последнего вздоха, отстаивать маленький клочок пашни и убить; он убьет, мстя за опозоренную сестру, но на самом деле по необходимости, ради навязанной ему страсти к клочку земли. Убьет себе подобного, убьет союзника, который должен был стать врагом.

Тогда, во время следствия, Войцех Трепа не признался в убийстве Котули, доказательств не было, но подозрения падали на Войцеха, и он просидел под арестом несколько недель. Свидетелей не было, а он не признался — хватило выдержки не признаться, и его освободили.

Тридцать лет он скрывал эту тайну; тридцать лет жил со своей тайной, то есть жил только наедине с собой, а следовательно, бывал особенно одинок на людях, даже когда ему случалось разговаривать с людьми, — этот факт вдруг угнетающе навис над залом, и надо было поскорее задать вопрос обвиняемому, краткий и четко сформулированный, чтоб уз-

нать о том, как жилось Войцеху Трепе со своей тайной, как спалось, как он стругал при этом штакетник, убирал хлеб и пахал; как он сидел с этой тайной на пороге, запрягал лошадь и зачесывал падающие на лоб черные, преждевременно поседевшие волосы. Это было любопытно, волнующе и к тому же важно для пользы дела. Но суд, конечно, не обнаружил своего любопытства, ибо он обязан задавать вопросы с предельной объективностью. Обвиняемый отвечал как-то странно, несвязно, торопливо подыскивал слова, которых ему не хватало. Но суд не любит молчания, и обвиняемому приходилось в спешке подыскивать слова — неожиданные и неподходящие слова, — наброски, контуры, силуэты, которые я только теперь стараюсь оживить для себя, наполняя смыслом и увязываю между собой; я размышляю об улыбке Войцеха Трепы, тридцать лет не сходившей с его лица, об этой пытке, которой он подвергал себя, заставляя постоянно улыбаться; ты должен улыбаться все время, ибо ты убил и только один знаешь об этом, только тебе одному дано знать об этом убийстве. Ты должен улыбаться, тебе нельзя быть грустным и подавленным, ибо ты боишься, что тебя заподозрят; и это тяжелее всего — нельзя позволить себе грустить, ты лишен возможности предаться грусти и отчаянию. Самое скверное, что ты обязан радоваться, а предпочел бы грустить, впасть в отчаяние; но не можешь позволить себе такой роскоши, как отчаяние, ибо приговорен к улыбке, сам обрек себя на эту вымученную улыбку, чтобы сохранить в тайне убийство. А хуже нет держать такое в тайне, — тогда, даже обтесывая какое-нибудь бревно, привезенное из лесу, приходится работать особенно чисто и аккуратно: ведь ты убил, и люди смотрят на тебя и могут заподозрить; значит, ты не можешь позволить себе кое-как обтесывать балку, кое-как стругать штакетник или ставить изгородь, потому что на тебя смотрят, — может, и не смотрят, но ты знаешь, что могут смотреть из-за забора, сквозь щели в стене овина, из-за вербы. Если бы ты не убивал, мог бы сделать это как бог на душу положит, распрямиться, и передохнуть, и непринужденно оглядеться вокруг. Но ведь ты, Войцех, сын Юзефа и Катажины, ты убил, и теперь суд хочет знать, как тебе

жилося с этой тайной, как ты уживался с ней целых тридцать лет.

Хорошо, что уже осталась позади та минута, когда в зал суда вошли отец и сестра Ядвига и увидели тебя сидящим на широкой скамье между двумя милиционерами; ведь они тридцать лет не знали, что ты убил, потому что ты держал это в тайне, и узнали об этом только тридцать лет спустя, когда ты убил вторично; и они пришли в зал суда, узнав тебя теперь с новой стороны; они не заговорили с тобой, а только все приглядывались к тебе, и ты оказался сообразительным и сразу понял — они этими взглядами говорят тебе о том, что им стало известно, словно тебе невдомек, что ты убил и ждал этого известия от них. Но теперь все это уже миновало.

И снова я должен напомнить Анджею Табору, воеводскому прокурору, то есть себе самому, что отклоняюсь от сути дела и, впадая в какое-то ребячество, все усложняю. Я одергиваю себя, но заранее знаю, что это предостережение ни к чему не приведет и я буду по-прежнему делать перестановки во времени и описывать слишком широкие круги возле этого банального убийства, точнее, двух убийств, совершенных Войцехом Трепой, сыном Юзефа и Катажины; и постараюсь перехватить этот взгляд Ядвиги Трепы, сестры обвиняемого, новый взгляд, брошенный на брата, после того как тридцать лет спустя она узнала, что он убил ее жениха, обворожительного кавалера, отца ее внебрачной дочери, ныне уже взрослой девушки Зофьи Трепы. Хорошо, что уже остался позади тот взгляд сестры, в котором она передала брату приговор времени и сказала ему, хоть не проронила ни единого слова, что время лишило убийство, а вернее, два убийства всякого смысла, что время посмеялось над ним. Она говорила ему этим взглядом, а пожалуй, это я так объяснил себе ее взгляд, облек его в слова: «Зачем ты убивал, если по воле времени причина убийства стала нелепой? И ты утратил также свой грозный ореол убийцы и сделался смешным: ведь, убивая первый раз, ты якобы мстил за бесчестие сестры, на самом же деле вся суть заключалась в морге земли, а второе преступление вытекало из первого, значит, и тут замешан лишь морг земли».

Так я объяснял себе взгляд сестры обвиняемого; в нем уже можно было прочесть глубокое понимание причин убийства и поэтому выразить их другими словами: «Я знаю, что ты покорился своему времени, что время твоими руками совершило убийство и погребло моего жениха, заставило меня страдать, отчаиваться и с сиротой на руках каждый вечер приходить на могилу возлюбленного и отца моего ребенка. А новое время, наставшее слишком поздно, — ибо ты уже убил, и могила разверзлась, — предало осмеянию первопричину твоих убийств, уготовив совсем иную роль моргу земли, в том числе и нашим полоскам на уторе, у выгона и на опушке. По воле нового времени ты, ныне владеющий пятью моргами, которые получил из господских угодий, и двумя отцовскими — ведь Сташек перебрался в другие места, а я живу в городе, и мне, вернее, моей дочери, принадлежит лишь небольшая часть отцовской земли, — ты, хозяин семи моргов, отвечаешь за свои давнишние деяния, за деяния владельца клочка земли менее одного морга — столько пришлось бы на твою долю при разделе, — то есть отвечаешь не за себя, а как бы за поступки кого-то другого, — словно Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, отвечает за два убийства, совершенные другим Войцехом Трепой. И все-таки Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, отвечает за свои преступления, ибо нет двух Войцехов, сыновей Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, а есть только один — сначала хозяин неполного морга, а позднее — семи моргов земли.

Но хорошо, что у обвиняемого уже позади и этот взгляд сестры, и вопрос судьбы, заданный мягким, очень мягким тоном, скорее даже не вопрос, а утверждение: «Обвиняемый знал, что сестра брала ребенка на руки и вечерами ходила на могилу Кароля Котули?» Войцех Трепа ответил: «Да». Ведь иначе он и не мог ответить, так как действительно знал, что Ядвига, когда ребенок родился, часто брала его на руки и под вечер или в сумерках отправлялась на кладбище и подолгу просиживала там у могилы своего жениха. Свидетели рассказали, что она посадила цветы на этой могиле, и они выросли пышные и красивые, она ча-

сто поливала их, а воду приносила из колодца со двора ксендза; а еще свидетели рассказали, что, уходя за водой, она оставляла ребенка на подстилке у могилы, и девочка копалась в земле, играла с цветами, а когда мать долго не возвращалась, она сползала с подстилки и взбиралась на могилу, и порой ее видели сидящей в цветах на могильном холмике и улыбающейся, как выразились свидетели, «очень умно». Иногда Ядвига приходила на кладбище поздней порой, когда уже было темно: с тех пор как похоронили красавца кавалера, она перестала бояться кладбища ночью и, если задерживалась по хозяйству, приходила на могилу в потемках. В таких случаях девочка, пока мать приносила воду, сидела в темноте на могиле, но не плакала, а только копалась в земле, глядела по сторонам или что-то лепетала на своем непонятном полуптичьем-получеловечьем языке. Свидетели рассказали также, что ей полюбилась могила, ведь там было красиво, и, когда девочка подросла, она протягивала ручонки по направлению к кладбищу, напоминая матери, что пора туда пойти.

Обвиняемый, конечно, знал, что сестра ходила на кладбище, да и мог ли он этого не знать: ему не раз доводилось видеть, как она с ребенком на руках открывала калитку и выходила на дорогу, которая вела не только на кладбище; прислонившись к стене хлева, он долго смотрел на стройную спину сестры и наблюдал, куда она так поспешно направляется, и хоть знал, что она свернет на тропинку, сокращая путь к кладбищу, все же его не оставляла слабая надежда, что Ядвига не пойдет туда. Но она всегда сворачивала на эту тропинку, чтобы побыстрее попасть на кладбище.

Суд терпеливо, а вернее, нетерпеливо, с какой-то ненасытной жадностью выслушивал показания об этих хождениях Ядвиги на могилу красавца кавалера — ведь это проливало свет на то, как обвиняемому жилось со своей тайной. Все это имело для суда большое значение, ибо суд уже задал себе существенный вопрос: что привело обвиняемого ко второму убийству, совершенному через тридцать лет после первого убийства — второе убийство произошло в декабре 1960 года.

Я думаю сейчас о 1934, 1935 или же о 1936 годах. Мне было пять-шесть или семь лет, и я гордо выходил из возраста, когда караулят гусей и уток, и начинал интересоваться лошадьми, телегой, плугом и цепами, а обвиняемый Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, уже прочно сжился со своей тайной и как бы приспособливался отвечать на вопросы, которые осторожно задавали ему здесь, в зале суда, в 1961 году.

Войцех ехал на телеге за снопами мимо кладбища и сидел, прислонясь к боковине; он натянул вожжи, и лошади пошли медленнее, хотя дорога была ровная и можно было ехать быстрее; но Войцех натянул вожжи, потому что его тайна велела сделать так, будто не он, а кто-то другой его руками натянул вожжи, и телега медленно проехала мимо высоких берез, растущих на краю кладбища; и тогда перед его глазами проплыла могила, невыносимо пестрая, утопающая в цветах; собственно, не могила проплыла перед его глазами, а телега медленно проехала мимо могилы; потом он вдруг заметил, что кобыла мотнула головой, вожжи зацепились за хомут; и то, что вожжи запутались и перекосились, ему не понравилось, он стегнул кобылу. Так ему это пришлось не по нраву, что он стегнул кобылу еще раз, и она напряглась от боли, потом опять стегнул и постарался быстрее высвободить вожжи, зацепившиеся за хомут. И этот пустяк, какая-то безделица — перекосившиеся вожжи, — внезапно приобрел огромное значение. Но не надейся, что, распутав их, ты почувствуешь облегчение; вот ты уже их высвободил, а тебе не лучше, и ничего, собственно, не изменилось, кроме того, что теперь у тебя перед глазами две ровные линии да набрякшие на крупе кобылы следы ударов кнутом, и ты только диву даешься, почему тебе не терпелось распутать вожжи.

На суде обвиняемый Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, рассказывал иначе о том, как проезжал мимо кладбища и смотрел на могилу красавца кавалера; сказанное выше — мои слова, а вернее, домыслы. Обвиняемый же сказал

только, что неоднократно видел и эту могилу, и цветы на ней, проезжая на телеге или проходя мимо кладбища на поле. Он не особенно распространялся и тогда, когда судья спросил его, ходил ли он к той широкой реке и переправлялся ли через нее на лодке. Вопрос о реке также был задан судом ради того, чтобы выяснить, как жилось обвиняемому с его тайной.

Войцех Трепа много раз после той ночи видел реку — ведь ему приходилось смотреть на нее, приходилось показывать людям, что он не боится этой реки, что приближается к ней спокойным, ровным шагом, а на воде видит лишь хлопья пены да плывущие по течению сухие черные ветки, только это видит, и ничего более. Он вынужден был делать так, чтобы люди не заподозрили, будто он видит еще что-то, когда смотрит на реку, когда переплывает ее на лодке и держит в руках то самое весло, которым убил.

Так медленно, но последовательно суд узнавал, как обвиняемому жилось с его тайной, от которой разламывалась голова; как с ней работалось на своей усадьбе, как спалось. Спалось беспокойно, будто не один человек лежал на постели, а двое — один спал, а второй караулил спящего и бодрствовал, ибо и во сне можно было что-то видеть. Летом Войцех спал на сеновале в конюшне. Ночью к нему иногда приходил большой бурый кот, разъявшийся пожиратель птиц, и укладывался возле его подстилки; и тогда на сеновале оказывалось двое убийц, каждый со своей тайной. Войцех протягивал руку, прикасался к его шерсти и был счастлив, потому что мог наконец отжаться горю; но он тотчас же представлял себе людей, их лица, бледные, розовые, красные, гладкие и в морщинах, лица, как двери, запертые на замки, засовы и задвижки, лица, за которыми ничего не разглядишь. Нет хуже этих человеческих лиц, спокойных, неразгаданных, словно наглухо запертые двери, словно запотевшие стекла. Там, за ними, что-то есть, но ты не знаешь что, и это просто невыносимо; невыносимо, так как ты не можешь заглянуть и узнать, что кроется за этими лицами, хоть и очень хочешь разгадать, ибо это для тебя важно, ведь ты убил. Это так важно, что порой кажется, ты готов разбить вдре-

безги такое лицо, словно запотевшее стекло, полагая, что тогда сможешь увидеть, что за ним скрывается, порой у тебя чешутся руки разбить ничего не говорящее, каменное лицо отца и склоненное над вонючей картошкой сморщенное, всегда одинаковое лицо матери; ты не пощадил бы и замкнутого лица брата, и словно бы довольного своим горем, кичащегося своим горем, но также наглухо запертого лица сестры. Порой тебе кажется, что ты мог бы разрушить и сжечь все постройки на своем дворе, разрыть и иссушить землю на своем поле, лишь бы дрогнули, лишь бы открылись человеческие лица и люди показали себя.

Во время следствия и на процессе не было, конечно, таких патетических признаний и никто в такие подробности не вдавался, но кое-что обвиняемый сказал, и можно было заключить, что, совершив убийство, он уже иначе, с подозрением, вглядывался в человеческие лица, тщетно ожидая, что хоть один мускул дрогнет в них и он уловит скрытые от него мысли.

VIII

Тщательно знакомясь с фактами, которые так или иначе говорили о двойной жизни обвиняемого, оберегавшего свою тайну, суд не мог обойти периода войны и не задать вопроса: «Что вы делали в те годы, обвиняемый?» Войцех долго думал, не зная, как ответить: во время войны, он, собственно, ничего не делал, просто жил со своей тайной. Война не страшила его — во время войны не было необходимости особенно оберегать свою тайну, она словно затерялась среди множества убийств, тяжесть бесчисленных преступлений как бы поглотила ее. И все-таки он носил в себе эту тайну, она продолжала жить в нем, и потому даже война не принесла ему избавления.

Суд, обязанный придерживаться фактов в хронологической последовательности, перешел к 1945 году и первым послевоенным годам, когда тайна Войцеха Трепы снова стала непомерно тяжелой и мысли его были полны только ею; тогда эта тайна начала

угнетать сильнее, чем прежде, и еще труднее было о ней жить.

Если у тебя прибавляется земли, тебе прирезают пять моргов из господских владений, и это большое поле ты присоединяешь к своему ничтожному наделу, тебе хотелось бы радоваться и не иметь никаких тайн, которые обрекают тебя на притворную, необходимую для прикрытия этих тайн радость. Но у тебя есть горькая тайна, и даже пять моргов господской земли не приносят тебе радости, оттого что ты обречен и дальше хранить ее от людей. Тебе нужно оберегать ее особенно чутко именно теперь, когда ты обрел лучшую жизнь, когда прирезали пять моргов из барских угодий и можно на рассвете подойти к изгороди и полюбоваться своей землей. На рассвете твоя земля кажется белой, потому что она подернута туманом, и ты боишься ее, ибо не радуешься по-настоящему, и любишь даже этот страх, который охватывает тебя, когда велят протянуть руку, и прикоснуться к земле, и взять себе большой надел. Эта земля внушает страх, так как она слишком легко тебе досталась и ты можешь приблизиться к ней не с залитым потом лицом и натруженными руками. Тебя даже пришлось уговаривать взять ее, и ты сейчас страдаешь оттого, что эта земля, как тебе кажется, не принадлежит тебе, — слишком уж легко ты можешь свернуть со своей межи на эту бывшую господскую землю и сказать: «Моя». «Моя» ты говоришь о ней не очень часто — ведь для этого нужна большая смелость; нужно быть очень смелым, чтобы о наделе в пять моргов, не разделенном межами, сказать: «Это моя земля».

Настает время, и ты отправляешься на свое поле, ведя корову и лошадь, а твой отец и все семейство тебя сопровождают, все идет своим чередом, как и должно быть, когда ступаешь по полю, по пашне: земля подается под твоими ногами, мелкие комья вдавливаются глубже, крупные остаются на поверхности, черви скрываются под ними, по борозде промелькнет, прижимаясь к земле, заяц или перелетит на другое место встревоженная птица, все идет своим чередом, и ты перестаешь бояться, останавливаешься, готовый отдаться наконец огромной чистой радости, протягиваешь за ней руку и вдруг спохватываешься —

тебе нельзя радоваться, ведь ты Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, и ты не вправе по-настоящему радоваться, ты обрек себя на притворную улыбку. Именно теперь, когда у тебя много земли и ты можешь распахать межу, отделяющую твою полосу от господских угодий, можешь завести трех коров и двух лошадей, теперь ты еще больше страшишься, чтобы люди не разгадали твоей тайны, и оберегаешь ее любой ценой. Ты должен сохранить в тайне убийство, которое вдруг, когда ты получил господскую землю, потеряло всякий смысл; ты понял, что, если бы весна 1930 года была весной 1945 года, ты не совершил бы этого преступления, ибо для него не было бы оснований: земли хватило бы и для тебя, и для твоей сестры Ядвиги; может быть, ты когда-нибудь подумал, что время, эти пятнадцать лет, казнило тебя и миловало, но даже это милостивое время оказалось суровым, так как запоздало и пришло к тебе уже после убийства. Для тебя, Войцех, запоздало то туманное утро, когда мужчины, что посмелее, взяли колышки и вышли делить господскую землю. В полях тогда было тихо и туманно, делившие землю то появлялись, то снова исчезали во мгле; а робкие, прильнув грудью, животом, всем телом к изгороди, сгорали от желания обладать этой землей, но боялись прикоснуться к ней, хотя те, на поле, делили землю для них. Потом туман рассеялся, открылись просторы полей, и притаившиеся за плетнями не выдержали и покорились желанию обладать землей; затрещали изгороди, заскрипели калитки, и крестьяне бросились на господскую землю, чтобы взять ее.

Суд, выслушивая показания свидетелей и обвиняемого, касавшиеся первых послевоенных лет, был терпелив и не прерывал, когда события жизни Войцеха Трепы давались на широком фоне, хотя, конечно, слушание дела затягивалось. Но это было необходимо для получения исчерпывающего ответа на интересующий суд вопрос: как обвиняемому жилось с его тайной, особенно в послевоенные годы. Суду это не было безразлично, напротив, так как он уже обратился к фактам, имеющим отношение ко второму преступлению, совершенному Войцехом Трепой, сыном Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны; суд кое-что

заметил, за что-то ухватился и уже не упустит; а это, разумеется, связано с тем, как обвиняемому Войцеху Трепе, сыну Юзефа и Катажины, жилось с его тайной; ибо это кое-что объяснило суду, облегчило его задачу и помогло направить разбирательство по удобной и не слишком извилистой тропинке прямо к 29 декабря 1960 года, то есть к тому дню, когда обвиняемый Войцех Трепа убил во второй раз. Поэтому, когда речь шла о том, чтобы получить такие сведения, суд становился то мягким, то решительным, то очень терпеливым. Поэтому, когда в ответах обвиняемого и свидетелей попадались любопытные подробности, судья вежливым жестом просил протоколиста тщательно их записывать; протоколист яростно набрасывался на страницы и острым карандашом быстро заседал белые полосы бумаги равнодушными и жестокими черточками, завитушками, узелками и змейками стенограммы, которые становились знаками преступления, убийства и крови.

Меня раздражало холодное, равнодушное, замкнутое и послушное лицо протоколиста, его чисто вымытая рука, держащая остро отточенный карандаш, и невозмутимость, с которой он жил в бесстрастном мире стенографических знаков. Но я недолго думал об этом, потому что обвиняемый, отвечая на какой-то вопрос, рассказал, как крестьяне боялись делить и брать господскую землю, а мне вспомнилось, как я, тогда пятнадцатилетний парнишка, боялся города. В 1945 году я неожиданно попал в город. Учитель считал меня способным, и меня отправили в учебное заведение, куда я был принят так же легко, как легко Войцех Трепа получил землю. Разница между мной и обвиняемым Войцехом Трепой заключается в том, что 1945 год, переломный год моей жизни, наступил, когда мне было пятнадцать лет, а обвиняемому — под сорок, и он давно уже был убийцей, поэтому все перемены в жизни Войцеха Трепы после 1945 года не только не могли зачеркнуть случившегося в июне 1930 года, но даже не были в состоянии помешать второму убийству. Обвиняемый Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, вошел в жизнь, которая началась после 1945 года, отмеченный 1930 годом, и с этой отметиной неуклонно шел

к совершению второго убийства. Меня же 1945, вернее, даже 1944 год застал с тем жизненным опытом, который приобретается, когда караулишь утят от вороны, разбрасываешь на поле навоз, пашешь, молотишь, ешь кисловатый ржаной хлеб; это был весь багаж, с которым я вошел в 1945 год, и этот год, может быть, уберег меня от иного, более тяжелого опыта, но не смог спасти обвиняемого Войцеха Трепу, который уже взвалил на себя самую тяжелую ношу.

В 1945 году я оказался в школе в большом городе. О деревне мне напоминала только земля в цветочных горшках на окне общежития, несколько больших старых деревьев в парке и две белки, вернее, мелькавшие среди деревьев шкурки — белки были собственностью всех горожан, и приходилось довольствоваться лишь мелькавшими шкурками.

Мне довелось пережить мимолетный испуг, продолжавшийся до того момента, пока я не простился с парнишкой, которому была мила деревенская нищета, то есть простился с самим собой, когда я много понял и сказал этому парнишке, то есть самому себе: «Прощай, приятель, я уйду от тебя».

Но вот на этом процессе дважды убийцы Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, я снова встретился с этим парнишкой, влюбленным в свою деревенскую беду, то есть с самим собой, и внимательно пригляделся к нему; я убедился, что он не ушел, хотя я и сказал ему: «Прощай». Нас двое, мы удобно устроились в прокурорском кресле и вдвоем обвиняем Войцеха Трепу.

Я боюсь себя, того парнишки, ибо он говорит мне, прокурору, что надо простить Войцеха Трепу, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны; а я, прокурор, отвечаю, что должен наказать Войцеха Трепу, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны. Но я, подросток, влюбленный в трухлявые балки дома и конюшни, сержусь за такой ответ на себя, прокурора. И снова я, прокурор, уступаю, хотя и боюсь этой уступки и хотел бы снова сказать себе, подростку: «Прощай, приятель». Я прощаюсь, но безуспешно, потому что этот подросток не уходит, и я, прокурор, слышу его горький шепот: «Прокурор Анджей

Табор, обращаюсь к тебе я, босоногий пастушонок, который погоняет лошадей во время пахоты и молотит зерно, я, Анджей Табор». Смешно, что он говорит мне об этом и обращает мое внимание на руки восьмидесятилетнего старца Юзефа Трепы, отца обвиняемого Войцеха, обращает внимание на его изуродованные, узловатые, большие руки, такие большие, что ими можно прикрыть обе страницы уголовного кодекса.

В суде пока еще не говорится подробно об обстоятельствах второго убийства, которое совершил обвиняемый. Суд пока еще осторожно приближается к этому второму убийству, но уже не может избежать искушения и не употребить слов «второе убийство», конечно, произнесенных пока в соответствующем контексте, во время показаний обвиняемого Войцеха и свидетелей; суд не избегает и другого искушения — напоминать время от времени дату второго убийства, 29 декабря 1960 года. Собственно, суд уже осторожно и внимательно знакомился с фактами, приближаясь ко второму преступлению Войцеха, и, пожалуй, скоро перемахнет через те годы, которые еще не затронуты в показаниях. Он поступит так, поскольку ничего важного в те годы уже не происходило, а если что случалось, то было лишь повторением пережитого после первого преступления.

Но прежде чем перейти ко дню второго убийства, той минуте, тем секундам, а может быть, единственной секунде, когда совершилось второе преступление, суд узнал о смерти Катажины Трепы, матери обвиняемого Войцеха, которая скончалась в 1944 году. Катажина умерла до раздела господских земель, ей не суждено было прийти на свое, не разделенное межами поле в пять моргов, поглядеть на землю и наговориться о ней досыта. Она умерла, и пошли прахом все те многие годы, когда она молча готовила корм свиньям, как бы сознательно приберегая слова для долгого разговора на захватывающую тему. Она могла бы наговориться досыта, получив пять моргов господской земли; но она умерла раньше, чем представилась эта возможность, которой, наверно, ждала всю жизнь, склоняясь над лоханью с дымящейся картошкой и тихонько обещая себе наговориться вволю, когда подвернется случай. Она умерла, немного не дожив до

такого случая, и уже не ступила на господские поля, когда все осмелели и бросились на эту землю, чтобы находиться по ней досыта, а потом вспахать ее и забороновать. Всю жизнь приберегая слова впрок, она так и не поговорила ни разу, умерла до того, как появилась возможность нарушить молчание и наговориться вволю. Так кончилась эта нелепая жизнь, сплошное ожидание повода для разговора о добрых делах; так кончилась молчаливая трагическая жизнь этой женщины, приберегавшей и хранившей слова до подходящего случая.

Хорошо, что мать умерла раньше, потому что обвиняемый Войцех Трепа, вынужденный вечно хранить свою тайну, почувствовал облегчение; не было больше матери, склонившейся над корытом и лоханью, молчаливой, невозмутимой, но словно настаивающей: «Скажи, Войтек, это ты убил Кароля Котулю?» Теперь он мог не бояться тщедушной и худенькой матери, которая бесшумно сновала между домом и хлевом, держа лохань с дымящейся вареной картошкой двумя или тремя пальцами за ушки и склонившись от ее тяжести немного вбок; теперь он мог не бояться молчаливой матери, которая даже молчанием своим спрашивала: «Войтек, это ты убил Кароля Котулю?» Он уже мог не бояться матери, всегда носившей широкую длинную юбку, матери, которая наклоняется в хлеву над перегородкой и выливает из лохани корм свиньям, матери, которая не смотрит на него и ничего не говорит и все-таки постоянно словно преследует его взглядом и вопросом: «Войтек, это ты убил Кароля Котулю?» Трудно было не ответить на ее молчаливый настойчивый вопрос, который так и не прозвучал и поэтому был еще требовательнее, но он должен был выдержать и не ответить, он не мог сказать матери, что убил Кароля Котулю, потому что она, конечно, простила бы его, а он не вынес бы ее прощения, да и ей не по силам была бы тяжесть этого прощения. Поэтому хорошо, что мать умерла, и он может не бояться ее доброго, спокойного, всепрощающего лица. Да и для нее лучше, что она умерла, ибо ей не придется прощать своего сына-убийцу, она никогда не узнает, что в минуту ее смерти сын Войцех, обвиняемый в совершении двух убийств, почувствовал

облегчение, потому что мог уже не отвечать на ее молчаливый вопрос: «Войтек, это ты убил Кароля Котулю?» — на вопрос, который он мысленно задавал себе, так истолковывая ее молчание.

Конечно, на суде никто подробно и много не говорил о матери обвиняемого — ни он сам, ни свидетели; это я, воеводский прокурор Анджей Табор, узнав о смерти Катажины Трепы, дополнил для себя краткие и сдержанные показания обвиняемого и свидетелей.

Так же для себя я расширил и дополнил лаконичные показания, относящиеся к отъезду брата обвиняемого, Станислава, на западные земли.

Станислав Трепа уехал из родной деревни осенью 1945 года и вместе с другими крестьянами поселился неподалеку от западной границы. Там он женился и получил довольно крупный надел.

Из скупок показаний можно было заключить, что Станиславу Трепе, сыну Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, и брату Войцеха Трепы, была в тягость родная семья и родная деревня и он ждал случая, чтобы уехать. Он принадлежал к тем, кто был сыт по горло убожеством и ничтожностью мирка, ограниченного горизонтом, и им владела жажда преступить эту линию. Пожалуй, он сознательно отступился от окружавшей его нищеты и убожества, от трухлявых бревен, соломенной стрехи и гнили. Станислав уехал, а Войцех остался, и на него записали пять моргов господской земли. Войцех не хотел покидать родную деревню. Он сказал об этом на суде совершенно определенно. Когда судья спросил, не собирался ли обвиняемый уехать из деревни, тот ответил просто: «Нет». Ничто не могло заставить Войцеха уехать из деревни: ни разливающаяся время от времени река, которая несет на своей поверхности клочья пены и становится тогда мутно-коричневой, а ночью кажется даже черной, ни лодка с веслом — его перевозчик все еще не выбросил, хотя оно давно уже выцербилось; ни раздающееся каждой весной пение ночных птиц в тальнике; ни весь заросший цветами могильный холм, выделяющийся среди других могил; ни гибкая и стройная фигура сестры, которая так и не насытилась любовью и старалась возместить ее

странным образом, болезненно ухаживая за могилой и постоянно приходя с ребенком на кладбище. Войцеха не заставил уехать даже этот незаконный ребенок Зоська, которая с детства привыкла играть на могиле и полюбила одиночество на кладбище, когда мать уходила за водой, чтобы полить цветы. Напротив, Войцех словно дал какой-то нелепый обет, запретив себе и думать об отъезде: ты не можешь оставить эту реку, могилу, сестру, племянницу. Наверно, он дал такой обет, потому что не оставил свою деревню, хотя и мог это сделать, взял пять моргов господской земли и радовался им, но радость была бы полнее, если бы не его тайна.

Суд, незаметно, постепенно и все-таки с жестокой последовательностью приближающийся ко второму преступлению, совершенному 29 декабря 1960 года, узнал и о том, что сестра обвиняемого, Ядвига Трепа, и ее незаконная дочь Зоська тоже уехали из родного дома. Это произошло в мае или июне 1950 года, спустя пять лет после отъезда брата Станислава и через двадцать лет после первого убийства, совершенного Войцехом. Ядвиге было тогда уже лет сорок, а ее незаконной дочери Зоське — двадцать. Казалось, что Ядвига никогда не расстанется с могилой своего возлюбленного, будет жить неподалеку от праха любимого, память о котором с безнадежным упорством она словно старалась оживить в цветах. И все-таки она уехала в ближайший город вместе с дочерью, осталась там и начала работать на ткацкой фабрике. Женщина не первой молодости, привязанная к деревне, уехала, оставила могилу своего возлюбленного — и это нельзя было объяснить только тем, что она знала ткацкое ремесло, которому научилась в ранней юности. Суд хотел знать настоящую причину такого решения и забросал ее множеством вопросов, которые все вместе значили: «Почему свидетельница уехала из своей деревни?» А все ее ответы сводились к одному: «Как-то так сложилось, что я уехала». Суд не удовлетворился ни этим ответом, ни объяснением, что в городе у Ядвиги были лучшие условия жизни, там же начала работать и ее дочь; суд не находил это объяснение исчерпывающим и хотел знать, не было ли решение об отъезде как-то связано с обвиняемым Войцехом Трепой, ее братом.

Суду, однако, пришлось удовлетвориться тем, что она ответила раньше.

Но меня это не удовлетворило, и позже я довольно долго думал об отъезде Ядвиги Трепы; и вот сейчас, сидя над протоколами показаний, снова думаю об этом, хотя и знаю, что не приду ни к какому определенному решению. Был ли это внезапный бунт против исполненного печали поклонения могиле, против болезненного, языческого служения воспоминаниям или вдруг вспыхнувшая ненависть ко всему окружающему: к деревне и к своему замшелому двору, к участкам земли, к ступе и невыносимо скрипевшей калитке, ко всем своим близким, к отцу и матери, к могиле любовника, к цветам на ней и к покоившемуся в ней праху... А может быть, из отчаяния вдруг родилась надежда, безумная надежда, которая приказала ей бежать от воспоминаний, не желать их и даже возненавидеть...

Мне казалось, что так можно понять причину внезапного отъезда Ядвиги Трепы, и, как обычно, я всем не по-прокурорски усложнял все, раздумывая над этим решением Ядвиги, да и вообще над всей ее жизнью. Я думал о ее судьбе особенно много, когда она давала показания перед барьером, отделяющим зал от суда, когда говорила о своей тяжелой жизни, о своем горьком уроке и самоотречении, и суд чувствовал себя обязанным спуститься с высоты закона из уважения к ее горькому опыту и горькому знанию жизни. Такое же чувство внушал суду ее отец, восьмидесятилетний старец, он возбуждал это чувство уже отметившей его печатью смерти, которую носил с достоинством, а она, его дочь — любовница красавца кавалера, — горьким опытом, о котором она говорила открыто, искренне и тоже с достоинством.

Думая о сестре обвиняемого, Ядвиге Трепе, я понял, что она любила своего красавца, любила его одного, любила страстной, животной и потому безрассудной любовью, прекрасной и верной. И мне кажется, что она вырывала у отца те два морга и была готова целовать комья земли с того клочка пашни и бросить их в каждого, кто посягнет на те два морга, только ради того, чтобы сохранить любовь красавца кавалера, которого всегда ждала с нетерпением и радовалась, когда его великолепная шевелюра плыла над изгородью, пока он

приближался к калитке и входил во двор; чтобы не потерять этого красавца кавалера, который столько раз приходил на свидания в зарослях тальника за насыпью, у широкой реки, где потом был убит.

Я думал и о Кароле Котуле, который тоже, вероятно, любил Ядвигу, но не мог освободиться от коварно и насильно навязанной ему временем власти маленького клочка земли, не мог избавиться от языческого почитания земли. Он не был способен сбросить тяжкое бремя этого долга и вслепую брел, чтобы исполнить его, на радость родителям, дедам и прадедам, покоившимся в могилах. Он любил Ядвигу, но боготворил и клочок земли; он делил свое чувство к Ядвиге с первобытной любовью к земле, которая родит пшеницу, рожь и другие злаки и щедро одаряет сладостной усталостью и заботами — этой долей непрозревших.

В своих мыслях, совсем не подобающих прокурору, я опять вернулся к той далекой поре, когда обвиняемый Войцех Трепа еще не совершил первого преступления и когда я только что родился или мое появление предвещали воробьи. А ведь я, прокурор, выступающий обвинителем по делу Войцеха Трепы, должен думать сейчас скорее о той солнечной и теплой осени, когда обвиняемый начал подозрительнее, чем всегда, всматриваться в лица людей; ему казалось, что люди хотят выведать его тайну, и каждое непроницаемое или улыбающееся лицо словно спрашивает: «Войцех, это ты убил Кароля Котулю?» — либо даже не спрашивает, ибо в вопросе может быть еще тень сомнения, а выражает уверенность: «Это ты, Войцех, убил Кароля Котулю!» Или бросает жестокое обвинение: «Ты — убийца!»

Но он мог ежедневно видеть большое, сплошное поле, раскинувшееся на семь моргов, которое уже не разделяла узкая межа, поросшая пучками травы. То была граница между его участком и господскими угодьями; в свою очередь, разделенная на две узкие зеленые полосы невидимой чертой, она, однако, служила вполне реальным целям, ибо одна кромка межи принадлежала помещику, а другая мужику; ведь помещик «по справедливости» делил межу на две полосы и одну из них присоединял к своим обширным владениям.

И это ежедневно открывавшееся взору большое, не разделенное межами поле делало тайну Войцеха тягостнее, он готов был любой ценой защищать ее от любопытного мира, задуть даже тень подозрения, только бы не лишиться возможности смотреть из-за ограды на свое поле.

Когда он видел свою землю, это широкое ровное поле весной, видел, как земля дышит, будто уставшее животное, и от нее валит пар, он, наверно, думал: «Никто не должен знать, что я убил».

Когда он, прищурив глаза, смотрел на свою землю летом, а летом она напоминала окраской засохшую и порывевшую на солнце кровь, он, наверно, думал: «Никто не должен знать, что я убийца».

Когда осенью он смотрел на свои семь моргов и видел туман, а после того, как туман рассеивался, — картофельное поле с жухлой ботвой, кое-где еще зеленые стебли, испещренные ржавыми полосками и зелеными прожилками, сухие свернувшиеся листья, которые чуть шевелил ветер, он, наверно, думал: «Никто не должен знать, что я совершил преступление».

Зимой, когда все живое пряталось в земле, под снегом, он тоже часто смотрел на поле, на свои семь моргов. И, глядя на эту мертвую землю и утаптывая сапогами снег или разрывая его, он, наверно, думал: «Никто не должен знать, что я убил Кароля Котулю, что я веслом ударил его по голове и не помешал ему свалиться в воду».

Войцеха, хозяина семи моргов, тайна угнетала сильнее, чем Войцеха, обладателя крошечной полоски земли — менее одного морга, которой он владел бы, если бы все осталось по-старому.

Я снова вернулся к этой солнечной, теплой осени 1960 года, когда обвиняемый особенно настороженно и подозрительно всматривался в лица людей и чувствовал себя затравленным, потому что у него бывали — как определил эксперт, вызванный по требованию защиты, — приступы страха и маниакального психоза. Случалось, что, обрубая ивовые ветви, он вдруг прерывал работу и бежал за угол конюшни или хлева, — ему казалось, что там кто-то стоит и смотрит на него; только проверив и убедившись, что там никого нет, он мог заставить себя вернуться и продолжать ра-

боту. Порой он бросал работу во дворе, уходил в темный дровяник, закрывал за собой дверь и долго сидел в потемках; позже он и здесь не находил покоя из-за щели, эдакой светлой полоски в стене, сложенной из неотесанных и непригнанных бревен. Узкая полоска света между бревнами в стене дровяника беспокоила Войцеха, поэтому и в сумраке дровяника он не мог отдохнуть. Лучше уж было сесть на чурбан для колки дров, который стоял во дворе под широким навесом, сесть так, чтобы можно было свободно наблюдать за окружающим, видеть проходящих людей, а сзади чувствовать себя защищенным безразличием жующих солому и сено животных: лошадей, равнодушно уставившихся на край навеса светло-кариими навывкате глазами, испещренными ржавыми точками, и коров, взирающих на мир большими блеклыми глазами с невозмутимостью мудреца, которого ничем не удивить.

Сидеть на этом чурбане под навесом было лучше, чем в сумраке дровяника, где в стене между бревнами просвечивала полоска света; еще лучше сесть на пороге коровника или конюшни, где все щели были тщательно законопачены мхом, — тогда сзади была совсем надежная темнота, да и перед собой он видел немного — небольшую утоптанную площадку, куда выбрасывали навоз, прежде чем сгрести его в кучу. Сидеть на пороге конюшни или на чурбане под навесом гораздо лучше, чем прятаться в сумраке дровяника, но спокойнее всего пойти в чистое поле; в поле Войцех не боялся, что его застанут врасплох, потому что было видно далеко вокруг: расплывчатые очертания изгородей с одной стороны, дорога и ровная линия деревьев — с другой, насыпь — с третьей и чистая линия горизонта — с четвертой; со всех сторон его защищало пронизанное светом открытое пространство, и ему здесь было лучше, чем в темноте. Но, видимо, в мире есть места и получше, их можно найти — ведь должны же они быть, и там, по всей вероятности, гораздо безопаснее, нужно только искать, идти, бежать и искать, тогда, может быть, и найдешь.

Но, кажется, я опять слишком увлекся и забыл об этой погожей осени 1960 года. Я должен все время помнить об этой сухой и, как ее бездумно называют, золотой осени, потому что обвиняемый тогда чаще, чем

прежде, приходил на берег реки к перевозу и из кустов наблюдал за перевозчиком, который переправлял людей с одного берега на другой. Из рассказа свидетелей и обвиняемого об осени 1960 года суд узнал, что обвиняемый зачастил тогда к берегу широкой реки, — разумеется, для суда это было важное обстоятельство. Обвиняемый ходил на реку уже не время от времени, когда в этом действительно появлялась необходимость, он зачастил туда по каким-то ему одному известным соображениям. Суд и прокурор, то есть я, подозревали, что эти хождения были связаны со вторым преступлением и свидетельствовали о том, что второе преступление было подготовлено с тщательной и болезненной последовательностью, а в самом моменте убийства словно сконденсировалось все то время — дни, часы, минуты и секунды, — которое вело Войцеха к преступлению. Обвиняемый терпеливо готовил убийство, поэтому так часто ходил на реку уже со второй половины сентября 1960 года, хотя преступление было им совершено только 29 декабря 1960 года, когда река покрылась льдом, то есть эти частые прогулки к берегу реки продолжались свыше трех месяцев.

Суд и я, прокурор, попытались, конечно, мысленно сопровождать обвиняемого Войцеха Трепу в его — пользуясь этим слащавым словом — прогулках сначала к мутно-коричневой реке, а потом к реке, покрытой неровным, бугристым, в полыньях льдом. Нам необходимо было выяснить, что обвиняемый делал в кустах у реки уже после того, как принял необдуманное и нелепое решение спросить перевозчика Стефана Дурая, знает ли он, кто убил Кароля Котулю. Стефана Дурая, того самого Стефана Дурая, который тридцать с лишним или, может, даже сорок лет назад вместе с обвиняемым Войцехом возил песок и щебень на дорогу, а с 1929 года без перерыва был перевозчиком в течение более чем тридцати лет, до декабря 1960 года, и провел на воде почти всю свою жизнь. Стефан Дурай был перевозчиком и в 1930 году, когда Войцех Трепа совершил свое первое преступление. Суд, конечно, интересовало, почему только через тридцать с лишним лет обвиняемый вдруг решил задать нелепый и бессмысленный вопрос перевозчику, по своей нелепости и неосторожности напоминавший другой вопрос — тот, ко-

торый задал Войцеху красавец кавалер за несколько минут до смерти: «Как поживает Ядвига?»

Суд удивило, почему обвиняемый спустя тридцать лет вдруг спросил Стефана Дурая, не известно ли ему, кто убил красавца кавалера; ведь обвиняемый знал, что на следствии, которое велось в 1930 году после его первого преступления, Стефан Дурай показал, что ни на берегу, ни в лодке он не видел Войцеха вместе с Котулей. Показания перевозчика подтвердили свидетели, но даже без них было совершенно очевидно, что Дурай сказал только это, потому что Войцеха Трепу освободили из-под ареста за отсутствием улик.

Условия, в каких Войцех Трепа убил Кароля Котулю, суд признал смягчающими для человека, который уже самым стечением жизненных обстоятельств, отсутствием силы воли и самообладания был как бы подготовлен к совершению преступления. О том, что обстоятельства способствовали совершению преступления, говорит и еще один факт. Деревня, где люди умеют пронюхать обо всем, даже о мелочах, на этот раз так ничего и не узнала и могла лишь кое-что подозревать, но о своих подозрениях, естественно, не болтала — слишком уж серьезным было дело.

Суд учел все это, и вопрос обвиняемого, заданный Стефану Дураю тридцать лет спустя, показался тем более лишненным смысла. На помощь суду пришел эксперт-психиатр, его заключением на последней стадии процесса суд воспользовался по предложению защиты.

Я, конечно, не отклонил предложения защиты, хотя как прокурор, пожалуй, и должен был это сделать. Эксперт заключил, что вопрос, заданный обвиняемым перевозчику, был вызван, как он выразился, состоянием усилившегося страха и болезненной подозрительности, вполне понятной у человека, совершившего убийство, и в принципе вовсе не свидетельствует о его невменяемости, как пыталась представить дело защита. На второе преступление обвиняемого толкнуло естественное опасение, что кто-нибудь может узнать о первом убийстве, тем более что такие опасения усилились после 1945 года, когда он зажил лучше, превратился в настоящего хозяина и перестал играть роль шута, перестал, словно баба, ходить с холстиной за травой и

чувствовать себя бессильной мухой, запутавшейся, как в паутине, среди межей, отделяющих его участки от огромных господских угодий; на новое преступление его толкнула постоянная мысль о первом убийстве, самобичевание, вечное единоборство со своей тайной и болезненно развившаяся неестественная подозрительность.

Эксперт подчеркнул, что эта неестественная подозрительность, усилившаяся, конечно, из-за постоянных опасений, что кто-то может проникнуть в его тайну, во многом объясняется тем, что после войны он стал солидным хозяином и хлебопашцем, пользующимся в деревне уважением.

Он, как и другие, начал сносить старые подгнившие постройки, сбрасывать с крыш прелую солому, поставил кирпичный дом и новый коровник, покрыл все строения красной, хорошего качества черепицей, завел трех коров и двух лошадей. Так Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, стал наконец настоящим хозяином; в коровнике — цементированный желоб, у колодца — насос, в дом ведут каменные ступеньки, выкрашенная коричневой краской дверь — на веранду, оттуда белая дверь — в сени, еще одна белая дверь — в комнату и тоже белая дверь в кухне, а из кухни еще одна дверь в комнату. И все это делал Войцех Трепа, солидный хозяин и убийца в одном лице. И Войцеху Трепе, солидному хозяину, каким он стал в течение пятнадцати послевоенных лет, было гораздо труднее хранить свою тайну, чем Войцеху Трепе, каким он был до войны, — нелепому шуту, который, как баба, ходит с холстиной за травой на межу и лишь разыгрывает из себя хозяина.

Эксперт так охарактеризовал состояние обвиняемого, и я с ним согласился, когда позднее обдумывал дело, соглашаюсь и сейчас, сидя в своем кабинете. Мне тоже казалось, что именно после войны, обновив свое хозяйство, он начал подозрительнее относиться к людям. Конечно, ему было очень тяжело, когда его выбрали в комитет по строительству школы и он выступал на заседаниях этого комитета и говорил о том, что деревне нужна школа. Солидный хозяин Войцех Трепа говорит о том, что в деревне нужно построить новую школу, современную, двухэтажную школу; говорит об

этом солидный хозяин — его с уважением слушают все присутствующие. Оставшись один, он, солидный хозяин и убийца, спрашивает себя: может ли убийца строить школу, а если он может возводить стены, то имеет ли на это право, имеет ли право тот, кто убил отца ребенка своей сестры, спокойно обмерять участок, где будет выстроена школа, возить кирпич и разговаривать с каменщиками, которые будут строить школу?

Так суд, эксперт и я, прокурор, опираясь на крайне лаконичные показания обвиняемого, пытались понять смысл этого нелепого решения задать вопрос перевозчику Стефану Дураю, знает ли он, кто убил Кароля Котулю. Обвиняемый задал этот вопрос, потому что — как довольно примитивно, на мой взгляд, объяснил эксперт — в нем зародилось сомнение, действительно ли Стефан Дурай не знает, кто убил Кароля Котулю. Чрезмерная и уже болезненная подозрительность подсказала ему, что перевозчик Стефан Дурай мог в тот вечер стоять в тальнике у реки, когда они оттолкнулись от берега; перевозчик мог заподозрить неладное, он мог услышать сильный всплеск и привычным ухом человека, прожившего на реке почти весь свой век, отличить этот всплеск от других всплесков, например, от удара веслом по воде или от падения большого камня. И хотя у Войцеха Трепы были все основания верить тому, что сказал Стефан Дурай тогда на следствии, его продолжала преследовать мысль, что перевозчик не все рассказал и знает правду или, во всяком случае, догадывается о ней.

Подозрения Войцеха особенно усилились осенью 1960 года, когда на первом заседании комитета по строительству школы Стефан Дурай один выступил против избрания Войцеха Трепы председателем; и хотя он объяснил свое возражение тем, что Войцех холост и у него нет детей школьного возраста, тем не менее обвиняемый еще больше утвердился в своем подозрении, что перевозчику известна его тайна.

Суд нашел, что причина частых прогулок Войцеха к перевозу достаточно понятна, и перешел к заслушиванию показаний о том дне и часе, когда произошел разговор Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, со Стефаном Дураем, начавшийся, как потом выяснилось, не только нелепым, но

и трагическим по своим последствиям вопросом обвиняемого: «Скажи, Стефан, ты не знаешь, кто убил Кароля Котулю?» Так примерно звучал вопрос, заданный обвиняемым солнечным днем в конце октября 1960 года, если, конечно, обвиняемого не подвела память, когда он давал показания. Войцех воспользовался затишьем предполуденного часа, когда движение на перевозе прекращается, потому что все желающие уже переправились утром, а возвратятся только под вечер. Редко кто-нибудь переправляется через реку в полдень. Перевозчик Стефан Дурай сидел на доске, положенной поперек лодки, когда Войцех вышел из тальника и направился к нему. Перевозчик заговорил о чем-то, но разговор не клеился — обвиняемый торопился задать свой никчемный и даже бессмысленный вопрос; он торопился, ведь каждую минуту мог кто-нибудь подойти, и хотя в полдень, особенно по воскресеньям, люди почти не приходили к перевозу, на берегу царила тишина и очень редко раздавался напевный крик «перев-о-оз!», словно напоминающий, что вода течет и время уходит, — все-таки мог кто-нибудь помешать. И, подгоняемый болезненной подозрительностью и много лет преследовавшей его мыслью, Войцех задал свой вопрос.

Все это произошло октябрьским днем 1960 года, который в моей жизни был одним из дней, как это банально называют, медового месяца. В тот день я, может быть, ехал в машине своего тестя, профессора, на воскресную загородную прогулку, а обвиняемый Войцех Трепа был вынужден задать этот решающий вопрос, ибо окончательно изнемог под бременем тайны своего преступления, совершенного в июне 1930 года, совершенного непреднамеренно и все-таки тщательно подготовленного обстоятельствами жизни его семьи, семьи Котули и всей деревни. И в ту минуту, когда он был уже рядом с перевозчиком и собирался задать роковой вопрос: «Знаешь ли ты, кто убил Кароля Котулю?» — я мог сидеть на поляне в лесу и смотреть на мою молодую жену, бегающую по траве, и видеть прорывающиеся сквозь платье очертания ее стройных ног; а в ту минуту, когда Войцех уже задал Дураю вопрос, я мог думать о том, что ночью увижу эти ноги обнаженными и буду прикасаться к ним.

Значит, я должен упрекнуть себя, разгуливавшего по живописной поляне, упрекнуть в том, что слишком рано отправился на беззаботную прогулку в лес, и уж совсем излишней роскошью была мысль о стройных обнаженных ногах моей жены. Значит, нельзя сбросить с себя груз прошлого, как сбрасывают тяжелый мешок с зерном, — заученным движением плеча вниз и немного в сторону; я должен еще влачить за собой прошлое — и свое, и обвиняемого Войцеха Трепы, и прошлое всех деревень; и если я не хочу потерять к себе уважение, следует не только влачить за собой это прошлое, но и стараться понять его — ведь там коренилось преступление Войцеха Трепы, который в детстве тоже стерег гусей и уток, потом погонял во время пахоты лошадь, потом молотил цепом. Разница между нами в одном — он делал все это двадцатью тремя годами раньше меня, и в этом его несчастье.

Суд проявил большую гибкость, задавая обвиняемому вопросы о его разговоре со Стефаном Дураем. Этот разговор сейчас особенно интересовал суд, поскольку суммировались последние факты и причины, толкнувшие обвиняемого на второе преступление, — судебное разбирательство подходило к заключительному этапу, то есть к периоду, который непосредственно предшествовал убийству. Стефан Дурай на вопрос обвиняемого: «Знаешь ли ты, кто убил Кароля Котулю?» — ответил, что не знает, он ничего подозрительного на реке в июне 1930 года не видел, и, видимо, Котуля утонул, когда его на берегу не было. Дурай, конечно, удивился, почему Войцех спросил его об этом; он удивился и пристально взглянул на Войцеха, и тогда Войцех понял, что задал никчемный, бессмысленный и опасный вопрос. Обвиняемый понял это и решил убить Стефана Дурая, иначе Стефан Дурай, когда пройдет удивление, спокойно обдумает этот нелепый вопрос и придет к выводу, что Кароля Котулю убил Войцех; тем более, что, спрашивая, Войцех употребил слово «убил», перевозчик же сказал: «Котуля утонул». Он сначала сказал: «Котуля утонул», — и только потом испытующе посмотрел на Войцеха, и в этом взгляде уже мелькнуло подозрение, что Котуля не просто утонул, ибо в вопросе Войцеха было слово «убил». Правда, в этом разговоре обвиняемый не сказал

прямо о том, что он убил Котулю, но его подозрительный вопрос, как и весь этот неожиданный и странный разговор, натолкнул перевозчика на мысль, которой Войцех боялся.

Суду было ясно, что обвиняемый не выдержал тридцатилетней борьбы за свою тайну и допустил ошибку, обратившись к перевозчику с таким щекотливым и откровенным вопросом; он попытался исправить эту ошибку, а исправить ее можно было, лишь убив перевозчика Стефана Дурая, то есть совершив второе преступление.

Теперь уже все было ясно, и суд, разобравшись, почему был задан этот нелепый и нелогичный вопрос, подошел к концу целого пятидесятилетия, в котором старательно разместил события жизни обвиняемого Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны.

До второго преступления, которое совершил обвиняемый, осталось два с лишним месяца — оно было совершено 29 декабря 1960 года. Эти два месяца, как выяснилось из показаний, были потрачены на лихорадочные поиски благоприятного момента, чтобы проще и незаметнее убить Стефана Дурая. В тот период, как показали свидетели и сам обвиняемый, его паломничества к реке участились. Он мало занимался тогда своим хозяйством. Скотину на клеверное поле выгонял старый отец, с которым обвиняемый уже несколько лет жил в большом новом доме.

IX

Тишина царила в этом просторном новом доме, ибо нынешний обвиняемый Войцех Трепа был занят своими мыслями, самыми сокровенными и, разумеется, не мог сказать о них отцу, впрочем, и старик думал только о своем и не испытывал никакой потребности делиться своей горькой мудростью с сыном; Юзеф словно понимал, что, поговори он с кем-нибудь, даже с сыном, о своих думах, исчезнут величие, почти святость, которую придает молчание этой горькой мудрости. Поэтому в горницах, а вернее, в комнатах нового дома чаще раздавались тяжелые шаги, чем слова.

А если отец с сыном и разговаривали, то о хозяйстве, особенно когда ими овладела неведомая до 1945 года страсть к истреблению на своей усадьбе гнили, плесени и тлена, унаследованных от предыдущих поколений и навязанных этим поколениям, необходимостью есть хлеб, спать и снова есть хлеб. А если на лицах старого Юзефа и его сына Войцеха появлялась улыбка, то какая-то вымученная и словно ущербная; пожалуй, и улыбались они с горечью, понимая, что радость пришла к ним слишком поздно. Порой отец говаривал своему сыну, старому холостяку: «Женись, ведь годы-то твои уходят...» Он говорил так, думая, что раз уж к Войцеху перешло все отцовское наследство и земля, нарезанная из господских угодий, надо, чтобы он женился и обзавелся семьей. А сын, уже с поредевшими и седеющими волосами, отвечал ворчливо и неискренне: «Никогда не поздно», — или: «Еще успею», — или попросту махал рукой. Чувствовалось, что в такие минуты его охватывало какое-то нервное возбуждение; ему наверняка хотелось жениться, иметь семью, жену и детей, ведь он не прочь был бы сказать жене: «Пойдем сбросим снопы с фуры». Он предпочел бы сказать это жене, а не всяким родственникам, помогавшим ему по хозяйству; конечно, ему хотелось бы принести своим детям зайчонка, который порой запутается в высоком клевере, или перепелку, или маленькое яичко жаворонка. Но приходилось отпускать на свободу зайцев и перепелок, так как он не женился и у него не было детей; он считал, что так и должно быть, и все откладывал решение, наверняка лелеемое втайне, откладывал, словно боясь достигнуть желаемого, чтобы то, что совершилось в июне 1930 года на широкой реке, не стало угнетать его еще пуще.

Так много лет и жили они вдвоем в большом новом доме — Юзеф Трепа и его уже немолодой сын Войцех, обвиняемый в совершении двух убийств, и дом постепенно перестал быть домом, он напоминал скорее некий храм, возведенный для того, чтобы оберегать глухие тяжелые шаги двух молчаливых людей, их горечь, и с силой вспыхнувшую страсть к уничтожению всяческой наследственной гнили и тления, и минуты счастья, ущербного счастья, ибо слишком поздно

пришло для них время, которое принесло им в дар право на радость.

Новый дом Трепов совсем опустел, когда в декабре 1960 года Войцех был арестован и в просторных комнатах остался один Юзеф, восьмидесятилетний старец, этот осиротевший патриарх рода, рассеянного по кладбищам, городам, весям и тюрьмам. Большой новый дом, где обитал и готовился к смерти восьмидесятилетний старец, стал роскошным надгробным памятником в центре деревни. Если старик умрет, что может случиться в любую минуту, и если в доме не поселится никто из его родных, то новым просторным и пустынным домом завладеет прошлое. Даже сейчас, хотя старый Юзеф еще жив, в этот вполне современный дом и обновленную усадьбу настойчиво вторгается прошлое — времена молодости старого Юзефа и тех, что были до него и ходили по земле, потому что в хатах вместо пола была плотно утоптанная земля. Старший сын Юзефа не приедет сюда — ведь у него есть свой кирпичный дом где-то у западной границы. Ядвига тоже не приедет — у нее квартира и работа в городе, куда она уехала вместе со своей внебрачной дочерью; домом младшего сына, обвиняемого в двух убийствах, старого холостяка Войцеха, стала камера предварительного заключения, а в будущем, вероятнее всего, станет тюрьма — ведь суд должен придерживаться законов. У родственников старого Юзефа свои дома, и они тоже не захотят поселяться здесь. В этом новом доме будет жить одинокий старик, будет жить до тех пор, пока у него хватит сил передвигаться; когда же силы иссякнут, он переберется или к сыну Станиславу, или к дочери Ядвиге. Но пока он еще живет в своем новом доме, еще слышны его шаги, покашливание, стук посуды и скрип дверей, на которых теперь медные ручки, а не железные скобы с засовом, как прежде.

Суд не сомневался относительно того, что после разговора со Стефаном Дураем обвиняемый только искал случая, чтобы убить его, ибо тот невольно стал человеком, которого Войцех так глупо навел на след своего первого преступления. Суду было ясно и то, что бессмысленный вопрос, заданный Стефану Дураку Войцехом Трепой, был вызван не случайностью или фа-

тальным стечением обстоятельств, а порожден всем его прошлым. Я твердо знаю, что в деле Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, виноват не случай и не судьба — все зависело от условий, которые его окружали в молодости и дважды привели в такое возбужденное состояние, когда рассудок вдруг теряется и действует лишь правая рука, сжимающая предмет, которым можно убить.

Периодом, прошедшим с момента разговора обвиняемого со Стефаном Дураем до второго преступления, суд занимался недолго; период этот длился целых два месяца только потому, что обвиняемый Войцех Трепа не находил удобного случая, которого обычно ждет убийца.

Такой удобный случай для обвиняемого представился вечером 29 декабря 1960 года, когда река уже покрылась толстым слоем льда, в котором рыбаки сделали проруби.

Когда река покрывается льдом, роль перевозчика меняется, — он следит за тем, чтобы пешеходная тропа с одного берега на другой была проложена по безопасным местам.

Судья несколько патетически, словно радуясь возможности сообщить собравшимся обстоятельства второго преступления Войцеха Трепы, зачитал ту часть протокола следствия, которая непосредственно относилась к происшедшему вечером 29 декабря 1960 года:

«Обвиняемый Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, пришел на берег реки поздним вечером 29 декабря 1960 года; в это время перевозчик Стефан Дурай, сын Казимежа и Малгожаты, урожденной Зарембской, находился на льду в нескольких метрах от берега и расчищал от снега тропинку, ведущую через реку. Обвиняемый Войцех Трепа быстро подошел к нему и ударил по голове железным болтом, а когда Стефан Дурай упал, сбросил его в находившуюся поблизости прорубь, сделанную рыбаками».

Зачитав этот отрывок, судья спросил обвиняемого, так ли все действительно было в тот декабрьский вечер, и обвиняемый ответил: «Да». Потом судья спрашивал обвиняемого о следах крови на снегу, о которых тоже упоминалось во время следствия. Обвиняемый,

несмотря на темноту, заметил на снегу пятна крови, — он собрал снег и сделал из него ком.

Второе убийство не удалось сохранить в тайне, ибо, когда Войцех Трепа был еще на льду и собирал в комок окровавленный снег, к реке спустились рыбаки, отправлявшиеся на ночной лов, и, хотя Войцех быстро ушел, унося в руках ком окровавленного снега, один из рыбаков узнал его и окликнул: «Войтек!..» Войцех, разумеется, не ответил и скрылся в темноте. Сначала он шел по льду, затем свернул в оголенные заросли тальника, все еще держа в руках окровавленный ком, только где-то глубоко в зарослях он носком сапога вырыл ямку, положил туда красный ком, забросал мерзлыми листьями и снегом и заровнял сверху.

Торопливый уход Войцеха и то, что он не отозвался на оклик, удивило рыбаков; они осветили фонариками место, где стоял Войцех, заметили следы между тропинкой и ближайшей прорубью, увидели черные пятна, оказавшиеся каплями крови, и поняли, что здесь, на льду, что-то произошло. А потом забросили в воду сеть и начали выбирать ее из проруби.

О том, как рыбаки выловили сетью тело Стефана Дурая, на суде говорилось мало, ибо все это подробно разбиралось во время следствия. Суд ограничился лишь констатацией факта, что подозрения пали на Войцеха Трепу и он был арестован вторично спустя тридцать лет. Во время следствия обвиняемый во всем признался, он рассказал о двух преступлениях с удивительной правдивостью, которая приносила ему явное облегчение и, может быть, даже какое-то удовлетворение, ибо он сбросил наконец с себя бремя тридцать лет оберегаемой тайны; и признание в преступлениях, подлежащих суровому наказанию, впервые за все эти годы ослабило нервное напряжение, хотя, признаваясь, он уготовил себе суровую кару.

Пожалуй, через два дня закончится судебное разбирательство по делу Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, ведь остается совсем немного: показания какого-то свидетеля, речь защитника и моя обвинительная речь. Потом последнее слово обвиняемого, и суд удалится на совещание, но приговор, наверно, в этот день не будет оглашен. Его огласят на следующий день, а может быть, приговор будет

объявлен в тот же день, когда прозвучат моя обвинительная речь и последнее слово обвиняемого.

Сейчас я как раз просматриваю протоколы допросов и готовлю свою обвинительную речь. Я начну традиционным обращением: «Высокий суд...» Потом мне полагается произнести: «Я обвиняю». Обвиняю... Кто обвиняет? Я, обязанный выступить обвинителем по делу Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, задаю себе этот вопрос, ибо сомневаюсь, могу ли быть обвинителем, сомневаюсь в моем праве на эту должность, на положение, которое дало мне мое время, завоеванное и созданное героизмом других; время, сквозь которое в ходе этого процесса я научился проникать, словно сквозь глыбу льда, и становиться современником обвиняемого, и страшиться того, что у нас было так много общего с Войцехом Трепой, сыном Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны. И он и я подолгу просиживали на берегу канавы или пруда, вдыхая застойный запах низины, караулили от ворон перепачканных в грязи утят и испытывали ужас при появлении серой вороны, медленно и плавно скользящей в воздухе, чтобы похитить утенка.

И вот я задал себе этот короткий и, как мне подсказывает карауливший уток и гусей парнишка, которым я был, здравый вопрос: «Кто обвиняет?» Во время процесса Войцеха Трепы я научился не только чувствовать себя во многом современником обвиняемого, представлять себя на его месте, я научился дерзко обращаться с самим временем: углубляться в прошлое, подменять мое время тем временем, когда жил обвиняемый, чувствовать себя на месте Войцеха Трепы, то есть на широкой скамье подсудимых между двумя милиционерами, а его, обвиняемого, представлять на возвышении, на месте общественного обвинителя.

Признаюсь, что этот вопрос: «Кто обвиняет?» — был вызван воспоминаниями моего детства и ранней юности, этот вопрос мне задал деревенский паренек, которым я был; в течение всего процесса я находился во власти воспоминаний детства, и мое детство домогалось права голоса у того взрослого человека, которым я стал. Позже, вернувшись из этого грустного путешествия в минувшее, я добрался и до того времени,

когда мне исполнилось пятнадцать лет и произошел этот внезапный скачок из худших времен в лучшие; с сожалением я вынужден был оставить Войцеха Трепу, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, далеко позади, ибо он опоздал и уже навсегда лишен возможности спокойно и радостно принять дары этого лучшего времени, потому что он убил.

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, я мимо поросшего камышом болота поехал в город учиться, а ты, Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, когда тебе было пятнадцать лет, позабытый своим временем, ехал этой дорогой на плотину в надежде немного подработать, а может быть, просто шагал здесь мимо камышей, не зная, к чему приложить щедрые силы своей юности, которая влекла тебя куда-то из того крохотного мирка с его малыми делами, где ты жил.

Я подумал о том, что слишком уж поддаюсь этим неподобающим прокурору мыслям, ибо они мешают мне четко выполнять установленные обязанности, мешают сохранить юридическую логику, которая требует придерживаться прежде всего виденного, услышанного и осязаемого. Я не могу не упрекнуть себя как прокурор, даю себе нагоняй и снова произношу: «Я обвиняю... — Хочу продолжить: — Войцеха Трепу, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, который совершил два преступления». Но не могу заставить себя продолжать и после слов «я обвиняю» задаю себе вопрос: «Кого я обвиняю?» Этот вопрос задают мне тот мальчонка и тот подросток, которыми я был когда-то.

И вот опять фантазия рисует возможные ситуации, которые, пожалуй, не должны занимать воображение прокурора, ибо может получиться, что я, прокурор, подумаю: обвиняя Войцеха Трепу, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, я в чем-то обвиняю и себя. Не хочу так думать и все-таки думаю, разрешаю себе так думать, а замечания в свой адрес, упреки и попытки чувствовать себя прокурором дают обратный результат, толкают меня к таким размышлениям, которые, может быть, и не лишены смысла.

Но потом я снова ограничиваю себя рамками уголовного дела Войцеха Трепы, — он совершил два пре-

ступления, убил двоих людей, и на деревенском кладбище возвышаются два лишних могильных холмика: один, некогда буйно заросший цветами, а теперь травой, чьи геометрические четкие линии уже исчезли, — могила Кароля Котули, и другой — еще не успевшая порости травой могила Стефана Дурая; на кладбище среди других крестов стоят и эти два креста: уже покосившийся, растрескавшийся, которого коснулось тление, — на могиле красавца кавалера, и новый, прямой, коричневый крест — на могиле перевозчика.

Чего же я хочу, что мне еще нужно, ведь есть эти две могилы и есть убийца? Что нужно мне, прокурору? Я все ищу того подростка, а вернее, это он ищет меня, ищут оба подростка, те дети, которыми мы были и которые стерегли утят от вороны у пруда, — я и Войцех, обвинитель и обвиняемый. Оба подростка вместе и каждый в отдельности ищут меня и находят на прокурорском месте в зале суда, или в удобном пружинящем кресле в прокуратуре, или в теплой квартире возле молодой жены, или на прогулке в лесу. И один говорит мне: «Ты обвиняешь меня в том, что я засмотрелся на ветку ивы, на ивовый листок, который понравился мне, и, пока я смотрел, ворона унесла утенка: почему ты обвиняешь меня, а не ворону?...»

А второй говорит: «Ты предаешь меня, когда обвиняешь этого мальчонку, караулившего утят и гусей, в том, что ворона унесла у него утенка».

Я пытаюсь отделаться от этих мыслей и возникших в воображении картин, чтобы все-таки подготовить обвинительную речь. Но смогу ли я? Хватит ли у меня сил? Смогу ли я устоять и не поддаться воспоминаниям? И что я скажу после этого процесса: «Я устоял...» — или: «Воспоминания о прошлом сильнее меня...»

РОМАН БРАТНЫЙ

ЗАГОНЩИК

I

Я не верил ни во что. А во что было верить? В бога, с его сожженными храмами?.. Странно, когда я об этом думал, мне виделись не развалины костелов, а дети. Серые, покрытые толстым слоем мучнистой, коричневой пыли, они лежали в доме без стен. Ступать там надо было широко и осторожно. Да, дети походили на фигурки святых, сбитые с алтарей.

Мне просто хотелось выжить. Переждать, пока не кончится это безумие, сеющее смерть. Трупы стали уже чем-то привычным, вроде валявшихся повсюду кусков штукатурки.

Может, надо было верить в людей? В Галонзку, который решил сдаться после первого же воззвания фон дем Баха¹, оставив умирать беременную жену? Живот у нее был вспорот осколком гранаты; она уже гнила, но еще дышала. В Алека? Пожалуй, в Алека, который сгорел на улице Фрета. Он прикрывал отход своим пулеметом, хоть видел, что этаж вот-вот займется огнем. В него? А ведь за два дня до восстания он сказал: «Это безумие!» И сгорел заживо ради того лишь, чтобы тех пятерых из отряда укопили несколькими днями позже. Но я-то, я уцелел и

¹ Фон дем Бах — Бах-Желевский, гитлеровский генерал, руководивший подавлением Варшавского восстания в сентябре 1944 года. Предлагал гражданскому населению восставшего города сдаваться в плен.

хотел пожить еще малость. И никому больше не удастся меня одурачить.

Я верил в котелок горячей картошки, которую старуха варила мне на ужин, в сыр, в яйца, а то и в кусок говядины. Фотоаппарат мне очень пригодился. Я делал фотографии для «кеннкарт» — фальшивых пропусков, дающих право на проезд в Варшаву, как именовалась груда битого кирпича, из которой еще извлекали разную требуху. Фотографировались даже «ко дню первого причастия», ибо все вокруг шло своим чередом, и я тоже твердо решил жить отныне такой вот обычной нормальной жизнью. Во всяком случае, хотя бы дождаться пресловутой «весны».

А пока было холодно. Осень, поначалу мягкая и ровная, становилась злой. Жилье у меня было знатное. Конура под крышей барака с отдельным ходом. Наверх вела железная лесенка, громыхающая при каждом шаге. Имелась «печь». Точнее, несколько кирпичей, сложенных каким-то умельцем, и два листа жести, мгновенно раскалявшихся докрасна. К этому диковинному сооружению была приделана труба.

Что там было еще? До события, о котором пойдет речь, в памяти не удержалось ничего. Лишь теперь я припоминаю огромные скирды свекольной ботвы, чудовищные холмы, куда и этой осенью (все шло своим чередом) работники с фольварка умудрялись добавить еще, верша высоченные стога. Тогда я их не замечал, как не замечал и больших торфяников, бурыми пятнами разбросанных до березняка на горизонте. Я помнил только наезженную дорогу, по которой ходил в деревню, где у меня завелись «клиенты». Неизвестно почему (видно, ослабили в башке винтики), я не любил глазеть по сторонам, не желал любоваться чем-нибудь бескорыстно. Смотрел себе под ноги, видел комковатую землю, навоз. А между тем все мне здесь нравилось. Нравилось, что вокруг нет стен, готовых тебя придавить. Что безлюдно. Или взять хотя бы это болото, где не пройти человеку — пусто и пусто.

Надо сказать, что раньше я очень любил фотографировать. И у меня была забавная привычка серьезно относиться к своим увлечениям. Ни разу, к примеру, я не сфотографировал тетку или дядю, от знакомых, просивших «карточку», умел отделаться заученными

шутками. Теперь пленки было мало, приходилось экономить. Все же порой взгляд приковывала одинокая березка у края болота или печальный силуэт птицы на фоне неба, и я хитрил, как, бывало, мальчишкой, когда хотел избавиться от назойливых просьб — нажимал на невзведенный спуск. Я несколько одичал здесь, в этой пустыне. Однажды меня глубоко потрясла мысль, что независимо от разных событий, происходящих с нами (с людьми вообще), вороны вот так же будут чертить подожженное зимним закатом небо. Мне становилось легче, словно подобная гарантия продолжения жизни была надежной. Таким образом я довольно прочно забыл о брате и обо всех остальных. Сейчас гораздо важнее было украсть со склада винокуренного завода полведра угля: сырая акация, срубленная в парке, горела плохо, сквозь незаделанное окно дуло, вот-вот должен был выпасть снег.

Еще засветло я успел выйти на грунтовую дорогу, которую здесь называли дамбой. Дальше я шел уже спокойно. Самым неприятным местом была тропа, которую коровье стадо размесило до ширины большого тракта и которая терялась между мутных окон торфяных болот. От деревни, где я добывал себе приварок, этой самой тропинкой я выбрался напрямик на дорогу, ведущую к фольварку. Хотя накануне ночью болото подмерзло, я с облегчением ступил на твердую землю. Только теперь я заметил, что уже довольно ярко светит молодой месяц. До дома оставалось километра три. Смешно, но именно так я подумал о восьми квадратных метрах покособившихся досок, огороженных стенами, где сквозь трещины в штукатурке скалился кирпич. Страсть, до чего необходим человеку «свой дом».

Я не прошел и пятисот метров, когда заметил, или, вернее, почувствовал, что я не один. Собственно — услышал, остановившись на минуту. Нет, у меня не развязался ботинок и на тесемку от кальсон я не наступил. Просто-напросто люблю постоять, когда вокруг совершенно тихо. Но именно полной тишины и не было. Сбоку чавкнуло, словно бы кто вытаскивал ногу из

болота. Я обернулся — и все затихло опять. Однако опять это была не та желанная тишина, тут кто-то был. Напрягая взгляд до того, что слезы выступили на глазах, я различил в сплошной темноте справа от себя две карликовые сосенки и еще то ли кучу хвороста, то ли приземистую елку.

Наконец я осознал, что все равно не увижу это, если оно не хочет быть замеченным. Слишком темно. Я долго стоял на одном месте, затем осторожно двинулся дальше. Но теперь каждый шаг отдавался во мне страхом. Стук моих ботинок, хруст подмерзшей земли сливались со звуками шагов другого существа, тайно следовавшего за мной. Я внезапно остановился и снова услышал как бы вздох торфяного болота. Но на этот раз я засек момент. Кто-то действительно вытаскивал ноги из болота. Мне даже показалось, будто я слышу, как булькает вода. И тут я побежал. Не знаю, чем это объяснить, но именно в ту минуту, убегая от неведомой опасности, с фотоаппаратом, бьющим меня по животу, с пустыми по-идиотски руками, я вдруг отчетливо осознал, что так отныне будет всегда, что без оружия я всегда буду убежать, ибо ничего мне не надо, только бы жить. Возле карликовых сосенок я остановился. Обернулся назад. Передо мной светлел под месяцем замшелый кожух болота, по которому черт налепил торфяных заплат. Оттуда кто-то шел. Сперва я подумал, что это кабан. Потом увидел, что это человек. Потом — что это женщина. Она упала на четвереньки, и опять стала темным, похожим на зверя, шевелящимся пятном, но теперь я все знал. Я стоял, укрывшись в тени, и снова обрел уверенность. Она меня боялась. Шла за мной молча, не смела окликнуть, когда я вдруг побежал. Здесь никогда не стреляли, раненой она не могла быть. И не могла скрываться от облавы, здесь ничего такого не происходило. Уже явственно слышалось, как хрустит у нее под ногами смерзшийся мох. Прежде чем я успел на что-то решиться, она оказалась совсем рядом. Опасаясь напугать ее внезапным появлением из укрытия, я не шевельнулся. Она прошла мимо, очень близко от меня. Смотрела прямо перед собой. На ней было только платье, а поверх него одеяло, так набрасывают теплую шаль деревенские бабы, когда идут осенью

в костел. Я шел за ней по дамбе, а она, к моему удивлению, трусила, спотыкаясь, поодаль по заиндевелым болотным кочкам. Мы прошли с полкилометра, впереди на фоне неба уже вырисовывались очертания стогов. Тут она обернулась. Я замер на месте. Некоторое время она смотрела на меня. Сделала несколько шагов навстречу, остановилась. Потом медленно подошла ближе. Не взглянула мне в лицо, просто стояла, и все. Так, случается, встанет смертельно загнанный конь в двух шагах от воза, из которого его слишком поздно выпрягли. Я видел такую картину в сентябре.

— Добрый вечер, — сказал я, как последний крестин.

Она подняла голову, но не произнесла ни слова, отчего вопиющая неуместность этой фразы стала еще более очевидной. В самом деле, что можно сказать в ответ, когда идешь чуть ли не босиком по мерзлой земле, дрожа от холода, а может, и голода? Чтобы замять неловкость, я торопливо пробормотал, что на фольварке можно обогреться. И поесть.

Она не отвечала. Точно глухая, вглядывалась в движение моих губ, силясь отгадать смысл слов, и неожиданно улыбнулась. Тут до меня дошло, что она еврейка, словно до сих пор я обитал на другой планете. Я повторил: не надо бояться и поесть что-нибудь найдется. Она быстро заговорила на непонятном языке. «Венгерский», — промелькнуло у меня в голове. Вспомнилось, как перед восстанием я торговал пистолет у одного мадьяра. А она все твердила свое и показывала рукой в ту сторону, откуда пришла. Ей необходимо было согреться, поэтому я только кивнул головой, будто бы понял ее и направился к фольварку, задами, через поваленные изгороди. Она спотыкалась о невыкорчеванные пни — люди рубили по ночам на дрова парковые липы. Я взял ее за руку. Рука была маленькая и горячая.

Я знал, что везде уже спят. Экономии керосин, спать ложились рано, едва стемнеет. У меня, наверно, должен стоять котелок. Когда мне случалось запоздать, бабка, у которой я «столовался», оставляла ужин в моей странной печке. Печка держала тепло целый час. Наконец мы добрались до железной лест-

ницы. Выпустив ее руку, я коснулся перил и тут же отдернул ладонь, как ошпаренный. Только теперь я почувствовал, насколько было холодно. У нее, наверно, температура. Быстрее, быстрее в комнату. Я опустил бумажные шторы, зажег керосиновую лампу. При свете я разглядел ее. Маленькое худое лицо с потрескавшейся от ветра и холода кожей. Огромные глаза. Глаза смотрели на печку, на котелок. Крышка у котелка сдвинулась. Там была картошка с крупой.

Я снял крышку и подал ей котелок. Она взяла его обеими руками, склонилась над ним, ноздри ее трепетали, она была прекрасна. Такая жалкая — и прекрасная, с вдохновенным лицом. Я протянул ей ложку, но она засунула ее в котелок, взяла крышку, закрыла плотно и принялась что-то взволнованно мне объяснять, то и дело показывая рукой в ту сторону, откуда пришла. Я понял — там были еще люди.

Жизнь свою я не выиграл в лотерею. Мне чудом удалось выбраться из растерзанного города. И у меня не было желания окончить свой путь в торфяных болотах. Да и что я мог для них сделать?

Она ушла. Загромыхали железные ступеньки. В ней и весу-то было, наверно, не больше, чем в тринадцатилетнем ребенке, но ведь тут все содрогалось даже от слабого ветра. Я снял куртку, швырнул на кровать — куртка и дырявое одеяло были моей постелью — и решил растопить печку, но как-то все не ладилось. Два раза падала проклятая задняя стенка, огонь то и дело затухал. Я злился, но в душе был рад, что есть чем заняться. Тошно лежать без сна. Вдруг железная лестница закрипела громче. Я замер, сидя на корточках у временки, не сводя глаз с двери. Накладка дрогнула, но дверь еще оставалась закрытой. Я выпрямился и хотел уже шагнуть, но тут под напором ветра дверь с грохотом распахнулась настежь. Это была она. На лице ее отражалась такая мука, страх и униженность, что я кинулся к ней и рывком втащил в комнату, решив, что она, теряя последние силы, уходит от погони. Я бы ничуть не удивился, если бы в комнату ворвался не ветер, а жандармская ищейка. И тут я увидел у нее в руках котелок. Теперь он был пустой. Она судорожно прижимала его к груди, и я понял, что произошло. Не донесла. По дороге, которой мы шли сюда

вместе, она остановилась передохнуть и не выдержала — взяла в руки ложку. А где-то ждали голодные люди. Я был уверен, что там у нее ребенок.

Я засуетился, пытаюсь скрыть замешательство. Схватил полбуханки хлеба, в куче дырявых носков и обрывков пленки отыскал кусочек грудинки, сухой и тощий, как свиное ухо. Все это я запихивал в тот несчастный котелок. Она молча смотрела на меня. После того как я нашел грудинку, моя суетливая деятельность иссякла, съестного ничего больше не было. Тогда я, в свою очередь, посмотрел на нее. Она плакала. Думаю, от стыда.

Потом мы стали разговаривать. Она объяснила знаками, что их там десять человек. И двое детей: два пальца она сгибала и поглаживала рукой воздух на уровне колен. Должно быть, ее дети. Это угадывалось по движениям неестественно худых пальцев.

Короче, я разбудил бабу и попросил сварить картошки. В мундире, чтобы поскорей. Я вообще не был многословен, а люди нынче отучились задавать вопросы. Когда я вернулся, она спала, сидя на полу, у стены. Моя постель с грязным одеялом и потрепанной курткой стояла нетронутой. Мне вспомнилось, как она шла по кромке подмерзшего болота, не решаясь ступить на дамбу. Я вытащил из печки чугунок горячей картошки (это был уже не «ее» котелок, а чугунок, в котором старуха варила свиньям). Дно чугуна заскрежетало по каменному поду, у ней дрогнули веки. Я понял, что она проснулась, но не открывает глаза, боясь увидеть такое, от чего надо опять спасаться бегством; затем — это длилось секунду — разглядывала меня. И улыбнулась, во второй раз. Наверно, заметила чугунок, и, хотя все было понятно, меня это как-то задело. Она поспешно поднялась, опираясь рукой о стену — видно, была слаба и собиралась с силами, прежде чем наклониться за тяжелым чугуном. Я отвел ее руки. Пошарил в своем кармане и вытащил варежки. Старые варежки, которые давно пора бы выбросить. Когда я натягивал их на ее негнущиеся пальцы, она пристально, без улыбки смотрела на меня.

Дело кончилось, разумеется, тем, что я сам должен был тащить им эту проклятую жратву. По дороге я несколько раз останавливался. Сперва в полсотне

метров от забора. На зайндевелой траве отпечатались ее следы — здесь она уже сошла с дамбы. Я видел в тридцать девятом году, как еврей получил от немца пощечину за то, что шел по тротуару. Тогда меня это потрясло. И помнилось дольше, чем все увиденное потом и к чему я в конце концов сумел привыкнуть.

Я запомнил место, откуда она стала тайком сопровождать меня. До него было еще с километр ходу. Там мы свернули с дороги и довольно долго тащились по болоту, пока не напали на ее старые следы. Кое-где их было натоптано много. Я догадался, что это все она. Первый раз шла за мной к фольварку, потом несла туда котелок и, наконец, бежала обратно ко мне. Значит, она не съела все сама, а вернулась, чтобы принести побольше остальным?

Чугун оттягивал мне руки. Я на время отвлекся, подумав, не прячутся ли они за обвалившимися штабелями торфа, сложенными, видимо, еще до войны. И вдруг заметил, что передо мной снова только один след. Не знаю почему, но у меня на душе полегчало (даже чугун показался не столь уж тяжелым). Значит, она не отдала им, а где-то здесь накинулась на еду и съела все без остатка.

Я оглянулся — она брела следом. Руки в драных моих варежках держала чудно, накрест прижав их к груди. Старалась согреться. И лишь совсем близко подойдя ко мне, подняла голову. Верно, взгляд мой был странным, она словно бы споткнулась об него — в безграничном изумлении и растерянности, будто увидела вдруг нечто, давно уже похороненное в заколоченной земле. С минуту она стояла недвижимо, потом вытянула руку в ту сторону, куда мы направлялись, и проговорила несколько непонятных слов. Подумав, сказала «шон», то есть «уже». Но из-за ее мягкого говора получилось «шен» — «прекрасно». Я остановился в недоумении. «Шон зинд да», — повторила она, и я наконец понял правильно. Там, над ковшом старого торфяного карьера с темными, нависшими краями, рассеивался слабый отсвет. Она пошла впереди, показав жестом, чтобы я следовал за ней.

Они лежали на куче срезанного ивняка, ногами к едва тлеющему костру, который давал немного тепла

и, вероятно, спали, когда она окликнула их. Я не заметил, как они поднялись, потому что в тот момент ставил на землю чугунок, и тут вдруг кто-то бросился мне под ноги. Я отскочил — двое мужчин, загородив собой чугунок, горстями таскали оттуда картошку. Они ели до тех пор, пока их не оторвали от чугуна женщины. Женщин было много. Трое или четверо ребятишек подошли и в ожидании присели на корточки, а один даже не пошевелился. Потом ребятишки скулили над пустым чугуном. Мужчины, женщины, дети — такова была очередность.

На какой-то момент она повернулась в мою сторону. Я всматривался в ее лицо, мне хотелось угадать, который ребенок ее — я был уверен, что он тут. Но похоже, своих детей у нее все-таки не было. Пожалуй, только она одна — это чувствовалось — осознавала всю горечь падения. Ведь и она несколько часов тому назад вступила с ним в схватку, в темноте, без свидетелей, крепко зажав мой выщербленный котелок между худых колен. И одержала более решительную победу, чем эти двое мужчин, которые сейчас по-собачьи преданно смотрели на меня. Я был единственным, кто знал, что ее победа стала ее поражением. Я чувствовал себя связанным с нею этой тайной, как исповедник.

Им нельзя было оставаться тут. Наступала зима. Большой лес был отсюда в пятнадцати километрах. Может, в бункерах, если бы кто-нибудь снабжал их едой, им удалось бы продержаться до весны...

Было ясно, что в данный момент они не в состоянии сделать переход и вообще принять какое-либо решение. Я не знал немецкого, тех нескольких слов, которые известны каждому жителю оккупированной Европы, хватило лишь, чтобы разобрать, что вчера они бежали из эшелона. Значит, все по-прежнему. Даже эшелоны. Разве не мудро поступил я, забившись в свою нору после всего, чего насмотрелся во время восстания? События развивались своим чередом. Надо продержаться. А значит, ни к чему рисковать. Я поднял с земли чугунок.

Но, подходя к фольварку и посмотрев на высокие стога, подумал, что она, пожалуй, могла бы тут спрятаться. А пустые ямы из-под картофеля? Я мог устро-

ить в одной из них «фотолабораторию» и запереть ее на замок. Мужики приняли бы все за чистую монету. Однако, узнай об этом ротмистрша... Она кое-что смыслила в фотографии. Я видел у нее в альбоме целые вороха любительских снимков.

Дошло до того, что, забравшись в свою берлогу, я никак не мог заснуть и, что еще смешнее, рисовал в воображении разные сцены, отводя себе роль благородного защитника. Когда-то, тринадцатилетним сопляком, начитавшись Майна Рида и Купера, я любил вот так помечтать. Перебывал я, разумеется, и Пятницей, и Робинзоном, и индейским вождем Виннету. Однако был уверен, что это давно прошло.

Итак, ясно — в бараках никто ничего не должен знать.

Яворек... За те двадцать лет, что Яворек служил в лесниках у ротмистра, он затвердил только два слова: «так точно». «Пан Яворек, чтобы выбраться к развилке, надо свернуть у сосны налево или направо?» — «Так точно», — ответил мне Яворек при первой нашей встрече. Немцы разрешили ему оставить двустволку. Может, и права старуха, которая называет его не иначе как сукиным сыном? Особенно если учесть, что она ему родная мать... Нет, Яворек исключается. Хотя неизвестно почему, но я питаю к нему слабость. Мать выгнал, что правда, то правда. Теперь она живет одна, в бараке, в угловой комнате, которая насквозь продувается ветром. Так ведь и старуха немало ему крови попортила из-за жены.

Да. В отдельности каждый из них подошел бы. Я уверен, что ни Томашик, ни Будыта не выдали бы их. Но если бы Томашик узнал, что здесь замешан Яворек, он донес бы незамедлительно. Посадил бы Яворека в отместку за сына. Лесник, исполнявший на фольварке также обязанности старосты, назначил младшего Томашика на принудительные работы в Германию. Поэтому Томашик выдаст хоть десять человек, если вслед за ними угодит в газовую камеру Яворек. «Человек?» А считает ли их за людей тот же Томашик? Надо бы его спросить.

Я озяб. Ложась спать, я обычно нахлобучивал на голову свою повстанческую фуражку, а сегодня забыл. Укрылся с головой одеялом, но спалось все равно

плохо. Стоило задремать — и я моментально оказывался возле ротмистрши. От нее исходило приятное тепло, пахучее, как от сдобы. Но едва что-то там наклеивалось — холод уже начинал трясти меня за плечо, и надо было просыпаться.

Ротмистрша. Бабенка еще в самом соку. Жил бы себе в усадьбе... Война все спишет. Прошлый раз она делала прозрачные намеки. Подумаешь, морщинистая шея — лучше губить свое здоровье? Но я не мог. Слишком еще жива была в моей памяти Марийка. Значит, так: на Яворека донес бы Томашик в отместку за сына, и Яворек не стал бы долго раздумывать, если при этом засыплется Томашик. Ни тот, ни другой не подходят. Это все равно, что предложить кому-нибудь спасти евреев на глазах у взвода полицейских. Да, два остервеневших мужика стоят десятка жандармов. Ротмистрша, должно быть, теплая и чистая. Опрятная. Мысль о ней мешала заснуть, я ворочался, натягивал одеяло. В полудреме позабыл о моих евреях. Все тревоги ушли. Сон.

Надо было нарубить дров. Несколько дней подряд я возвращался домой слишком поздно — где уж там махать топором в темноте. Сегодня я решил никуда не ходить. За ночь сильно похолодало, руки у меня сразу задеревенели. Варежек не было, и, таская дрова наверх, я занозил руки. Одна занозина, угодившая под ноготь, донимала меня ужасно. Без иголки ни за что не вынуть. Я решил было сходить к старой Яворихе, но меня уже заранее мучило от жуткой вони, бьющей в нос прямо с порога комнаты. К тому же она принялась бы выпрашивать, как там вчера было — когда я просил ее сварить картошку, то сказал, что у Будыты собрались мужики и нечем закусывать.

Если же старуха спросит Будыту и тот ответит, что никакой выпивки не было, она не поверит и только посмеется. Будыта всегда отрицал, что прикладывается к рюмке, хотя вот уж лет десять никто его трезвым не видел. На фольварке его прозвали «Семь бед». Году, кажется, в тридцать седьмом, при вырубке леса, он уложил сосну прямехонько на какого-то своего врага и в уверенности, что пришиб его насмерть, дунул в

город. Там упился до бесчувствия, хотел изнасиловать буфетчицу, хозяину ресторана двинул по голове стулом, а тем, кто пытался его урезонить, твердил: «Семь бед — один ответ». Наверно, он имел в виду приговор, к которому эта выходка уже мало что добавила бы. Между тем враг вылез из-под сосны цел и невредим, до суда дело не дошло, но с тех пор как Будыта, отсидев под арестом неделю, вернулся из города, на фольварке и в деревне стали звать его «Семь бед».

К бабке, стало быть, совать нос не стоит. Я вытер сапоги шапкой. А почему бы не пойти к ротмистрше? У входа в усадьбу одноколка, которой правил Будыта, обдала меня грязью. «Семь бед», сидевший на козлах, даже не повернул головы. Деревянно выпрямившись, со взором, прикованным к конскому заду, Будыта всем своим видом показывал, что он трезв. Я поздоровался, по привычке небрежно вскинув руку к фуражке. Ротмистрша высунулась в окно, спросила, к кому я — не к ней ли. Я отрицательно покачал головой. Повозка укатила, я постоял минуту на разъезженной парковой дорожке и повернул назад. Смешно вспомнить — когда я поселился на фольварке, она предложила мне перебраться в усадьбу. Я смущенно отказался. Муж в плену, а я, жеребчик, даже не задетый пулей, в его постели... Я заранее знал, чем это кончится. Когда тут ко мне попривыкли, я наслушался разного про нее и управляющего-немца, жившего у них в усадьбе. Но еще в конце ноября я был щепетилен. «Жена офицера, который в немецком плену...»

Рассказ Будыты за бутылкой самогонки о том, «как мы отвозили пана ротмистра в плен», я услышал позднее. «Мы» — это он, Будыта, и ротмистрша. Оказывается, ротмистр добровольно сдался в плен. Когда немецкие власти объявили, что офицерам запаса надлежит явиться такого-то числа на Гданьский вокзал, ротмистрша снарядила супруга, и «Семь бед» отвез его на станцию.

С занозой под ногтем, кляня на чем свет ротмистршу и свою судьбу, я потащился обратно. Минуя старые, пустовавшие с прошлого года ямы из-под картофеля, я снова подумал о той женщине. Помощи ждать им неоткуда. Если у них нет денег или драгоценностей, неоткуда ждать помощи.

Я опять принялся колоть дрова. Все равно придется варить эту проклятую картошку. И чтоб никто не узнал для кого. На дворе не было ни души, я пошел к колодцу. Пальцы свело от холода. Нечего злобиться, в рукавицах картошку все равно ведь мыть не стал бы.

Дрова были сырые и не желали гореть. Печка дымила. Сухой былинки не осталось тут, на этих окаянных болотах! Хорошо, если бы ударил крепкий мороз. Кажется, к тому идет. Картошка сварилась. От нечего делать я вышел на улицу и остановился возле старой, раскрытой картофельной ямы. Ее выкопали еще в ту пору, когда ротмистрша крепко держала в своих руках вожжи от хозяйства. Здесь хранили лучший сорт для господского стола, яма была обшита досками, что твоя землянка. Когда в тусклых предвечерних сумерках я начал таскать туда сено, пошел первый снег. А я носил и носил, чуть не до седьмого пота.

Поднявшись к себе, я присел на кровать, стараясь собраться с мыслями. Ясно, что впутываться в эту дурацкую историю нет никакого резона и, оставшись в живых после восстания, сложить за них голову. Разве только отнести им сваренную картошку. А затея с ямой из-под картофеля — чистое ребячество. Тем не менее если сказать, что у меня там «фотолаборатория» и приладить замок... «Фотолаборатория!» Черта мужики в этом смыслят.

Чугунок, прижатый к боку, становился тяжелей с каждым шагом. Вчера он был легче, бабка не доложила картошки, хотя я несколько раз просил ее сварить полный. Снег мокрыми хлопьями ложился на воротник, руки заоченели. Я проклинал свою дурость. Даже в темноте мои следы выделялись на влажном снегу. Чего меня понесло? Ведь они обречены.

На этот раз все было иначе. Они уже не вырывали друг у друга чугунок, как вчера. При колеблющемся свете костра, горевшего у входа в шалаш, который они, вероятно, соорудили днем, я заметил, что их стало меньше. Но она была здесь. Я заранее положил отдельно в карман несколько картофелин и отдал ей. Она взяла — и таким взглядом посмотрела на мои руки, что я спрятал их в карманы. Сняла рукавицы, повернулась ко мне спиной и лишь тогда стала есть.

Зачем я все-таки заговорил об этом на ломаном немецком — с мужчиной, который был у них вроде за старшего? Он, конечно, спросил меня, как им быть дальше. А я ответил, что разумнее перебраться пока на осушенный луг за ручьем, где ольшаник подходит к самым стогам. В стогах можно сделать себе норы. Да и фронт уже недалеко. Правильно ли он меня понял, не знаю, но когда я собрался уходить, за мной потянулся длинный хвост. Она шла рядом с другой женщиной, много старше ее, которая вела за руку девочку лет шести. Еще одна женщина несла на руках второго ребенка. Я думал, задохнусь от злости: они брели нестройной толпой, вытаптывая широкую тропу, даже сейчас, ночью, отчетливо заметную на светлом снежном покрове. Хорошо еще, что хоть снег все шел.

А что я с ними буду делать дальше, когда они спрячутся в стогах? Надо уезжать. Другого выхода нет. Если они сумели что-нибудь прихватить с собой, может, кто и выживет. Отсюда до деревни через мостик не больше двух километров, если у них есть драгоценности, золото, часы — можно выменять у мужиков на продукты. Но я должен уехать, это ясно. Моя каморка на чердаке с шаткой железной лестницей сейчас представилась мне желанным, дорогим домом, которому угрожает нашествие этих непонятных, чужих людей. Надо отсюда уходить. Я оглянулся. Она шла немного в стороне. Теперь она вела девочку. Мне показалось, будто она улыбнулась. Снег все падал. Мы выбрались на дамбу.

У стогов они вдруг засуетились с такой энергией, какой я от них не ожидал. Техника пробуравливания нор в сене была им знакома. Развиднелось, выглянул робкий месяц. На белой скатерти, покрывавшей поле, там и сям отпечатались свежие заячьи следы. Наверно, это мы спугнули их в темноте. По дороге она обесилела, начала отставать — я взял ее за руку. Мы подошли к тому мужчине, их вожаку. Я сказал ему, что она пойдет со мной, ей надо запомнить дорогу. Будет носить им еду.

Когда мы с ней шли к фольварку, она несколько раз оглянулась назад. Может, та девочка все-таки ее дочь? Я показал на осушительную канаву, на карликовые березки — все, что следовало запомнить, если

ей придется возвращаться одной. За несколько метров до парковой изгороди она, словно учуявший знакомую дорогу конь, повернула к невидимому в темноте моему барaku. Я предостерегающе зашипел и повел ее к «фотолаборатории».

Постоял с минуту, прислушиваясь, как она копошится в наваленном почти доверху сене.

История вышла глупейшая: посадил я их себе на шею. Утром, еще затемно, надо сварить им еду, отнести и оставить у стогов.

И я буду для них единственным знакомым человеком, к которому они непременно явятся, прежде чем умереть голодной смертью. Я на это сам напросился. Столько говорят о шантажистах, которые наживаются на них. А они кем оказались? Разве не шантажистами? Ведь теперь я обязан им помогать. В потемках я наткнулся на Будыту. Он сидел на моей лесенке, привалясь к поручням, и, похоже, вздремнул, потому что вскочил от неожиданности и забормотал со сна.

«Видел», — испугался я. Но потом сообразил, что Будыта шел к баракам со стороны усадьбы, ведь он живет там при конюшне. Значит, не мог нас видеть.

— Чего надо? — спросил я не слишком любезно.

Знал я, чего ему надо, но самогонки у меня не было, а если бы даже была, сегодня я не намеревался с ним пить. Но он сам вытащил бутылку. Делать нечего, придется выпить. Раз уж «Семь бед» надумал, не отвертись. Будыта подчинялся только одному человеку на свете — ротмистрше. И я полез наверх, по гулким железным ступенькам, отпер скрипучую дверь, у которой петли смазывали, наверно, еще до войны, нашарил спички. Когда «Семь бед» поставил на стол бутылку, я присвистнул от удивления. Французский коньяк! Три звездочки.

— Трофейный, — сказал Будыта.

Ротмистрша вернулась из города. Управляющий, живший здесь в сороковом году, был теперь крейсланд-виртом¹. Но каким образом коньяк попал к Будыте?

— Хочешь, дам тебе за нее четыре поллитровки самогону? — сказал я.

¹ Уполномоченный оккупационных властей, чиновник, ведающий сельским хозяйством округа.

Хорошо бы отнести немного ей, в «фотолабораторию». Но если «Семь бед» распечатает бутылку, пиши пропало. Однако Будыта не склонен был заниматься товарообменом. Благородным в своей простоте жестом он выбил пробку.

Опрокинув неизвестно сколько рюмок, я решил пойти в усадьбу к этой шлюхе. Да и как сосчитать рюмки, если пьешь стаканом? Впрочем, не помню, решал ли я что заранее. Скорей всего просто вышел с Будытой на улицу, а потом мне захотелось, чтобы он меня обязательно уважал. Ладно, пусть я не могу сам поставить ему угощение, но зато я знаюсь с господами, с хозяйкой имения, где он, Будыта, всего лишь конюх. И, стоя у дверей конюшни, он смотрел, как я гордо вышагиваю к темной молчаливой усадьбе. Особого задора уже не было, шел я единственно из желания утереть нос этому мужику, который выдул полбутылки — и не в одном глазу. Помню вкус холодной посоленной картошки, которой мы закусывали, и приступ какой-то злобной тоски. Чем больше я пьянел, тем явственнее вставало передо мной ее лицо, иссушенное печалью и горем. «Притаилась в своем закутке, а может, ни о чем не думает, спит», — рассуждал я, преодолевая клумбы и пытаюсь добраться до главного входа. Я не мог понять, который теперь час и куда это подевались ступеньки, ведущие к двери. А «Семь бед» наверняка стоял и следил за мной. В конце концов я постучал в окно.

— Это я, — ответил я, когда она спросила, кто тут.

Что я постучал именно в окно ротмистрши, а не кухарки или администратора, живущего в том же крыле, — чистая случайность. А что она открыла мне сразу, без страха и без обычных по тем временам распросов, — это уж ее мудрая бабья глупость.

Никому бы не признался и даже про себя стыжусь вспоминать, но это правда: все время стояло у меня перед глазами лицо той — худое, иссушенное печалью лицо.

Все эти годы я не знал женщин. А бывший ротмистршин управляющий, видно, не слишком докучал ей любовью. Известно, каковы они в подобных делах — изголодавшиеся, зрелые и очень опытные дамы. Я бесился от злобы на нее, на себя, на этот коньяк. Ее, шлюхин коньяк.

Хуже всего было засыпать возле разгоряченного, слишком громоздкого для общей кровати тела. Зато было тепло. Лежа в теплой постели, я решил, что больше к себе не вернусь. И тут в какой-то связи — ветер бешено выл за окнами, напомнив о моей скрипучей железной лестнице, — снова возникла передо мной та, с ее горестным и скорбным взглядом. На душе было мутно. Помаявшись, кое-как заснул.

Я слышал сквозь сон, что ротмистрша вставала, озабоченно сутилась. Мгновение видел даже свет керосиновой лампы в соседней комнате. Но я не встретился. В конечном счете стоило сюда идти, раз после этого самого, а может, от тепла, а может, от чего-то еще возникает чувство безопасности, ощущение — пусть обманное — прочного спокойствия, сон, какой редко меня навещал.

Но пробуждение было ужасным. Наверно, любовь и заключается в том, что не испытываешь неловкости, лежа рядом с женщиной, хотя уже не хочешь или не можешь заниматься этим. Я проснулся первым, но не шевелился, боясь разбудить ее, и сквозь полуоткрытые веки оглядывал комнату. На противоположной стене висела акварель, очевидно, кисти самой хозяйки. Красивенькие березки, ослепительно-белые на фоне рыжего вереска и трав. Небо, как положено, в черточках «птиц». Да, наверняка рисовала ротмистрша. Внезапно от этих березок мысль повела меня к деревьям у припорошенного первым снегом болота и дальше — к «фотолаборатории». Заскрипела железная лесенка... Скрип слышался совсем рядом, и я понял, что это под проснувшейся ротмистршей отозвались пружины. Она поворачивалась ко мне спиной. Хотя минуту назад я испытывал к ней скорее отвращение, я стиснул ее плечо. Пухлое тело уступчиво подалось, она замычала призывно, но не обернулась. Было мерзко.

Неожиданно пришло спасение: кто-то громко постучал в окно.

— Пани, а пани! — монотонно выкрикивал «Семь бед». Я оцепенел.

— Пани, немцы! — Теперь в его голосе слышалась тревога.

Когда я вскочил, она задержала меня и повернулась ко мне лицом, расплывшимся в идиотской счастливой улыбке. Приподняла губу.

— Да не бойся! Погляди-ка, что ты со мной сделал...

Спереди у нее не хватало двух зубов. Страх и отвращение, свившись в один жгут, захлестнули мне горло. Но страх был сильнее, я выскочил из постели.

— Не бойся, — засмеялась она. — Одевайся побыстрей. Это так... Охотники. — Она стыдливо прикрыла рот ладонью.

Значит, ночью я выдавил ей гнилые зубы! И не заметил, до такой степени был пьян. Налакался коньяку ее управляющего.

Приехали сам староста, штурмбаннфюрер СС Грамс, крейсландвирт Борк, бецирксландвирт¹ Баде, какой-то «герр Турм» — всех мне шепотом представил «Семь бед». Частенько, должно быть, видел их в городе, возя ротмистршу. Яворек сгонял людей для облавы. Докладывал он только лесничему — в его глазах лесничий Керинг был главным начальником и наивысшим авторитетом. Именно к нему он помчался докладывать, когда, отправившись за Томашиком, ткнулся в запертую дверь.

Томашика вскоре выволокли из хлева, надавали по морде и втолкнули к нам. Я стоял с загонщиками. Это было моей мезтью шлюхе. Я слышал, как ее бывший управляющий передавал извинения — дескать, по причине внезапного недомогания хозяйка не может присоединиться к гостям.

Выходит, она стыдилась не меня, а своей дырявой пасти. С этого момента я почувствовал себя оодрей. Уже представлял, как понесу еду в «фотолабораторию». Ни о чем плохом я больше не думал и никаких недобрых предчувствий у меня не было. Что ж, зверя я научился бить давно, раньше, чем стрелять в людей. С тринадцати лет носил за отцом запасное ружье, в четырнадцать убил своего первого зайца. Я знал, что немцев угостят хорошей охотой, отведут просторные

¹ Уполномоченный оккупационных властей, чиновник, ведающий сельским хозяйством района.

угодья, наверно, прихватят и лес. Я ведь был переводчиком, Яворек дважды подзывал меня. «А ну, скажи господину лесничему, что лучшую дичь возьмем, обогнем болота и прочедем большой лес, да захватим еще те поля, посередке».

Не успел я перевести до конца, как «Семь бед» и еще двое конюхов бросились запрягать. Немец что-то крикнул.

— Сани, сани! — закричал я вслед Будыте.

Будыта в нерешительности остановился. Снег едва-едва припорошил землю. Чтобы скатать снежок и запустить в дружка, один парень из загонщиков оголил полквadratного метра дерну. Порешили на том, что сани заложат только для «пана старосты», а остальные охотники отправятся на подводах. Мы, облава, двинулись пешком. Шли беспорядочной толпой по широкой дороге к лесу.

Налево стояли стога с моими евреями. Я немного побаивался, как бы кто из них не вылез наружу, но вокруг все было бело, тихо и спокойно. Вчера мы подошли к стогам с другой стороны, значит, отсюда ничего не заметят, да и снегу еще подсыпало. На белом поле лишь кое-где обозначились заячьи следы. Тишина. Ничего не должно случиться. Мы брели кучкой, потешаясь над Томашиком, который плелся в саперских сапогах, обрезанных так коротко, что они стали похожи на голландские сабо. Голенища он употребил на подметки, и теперь зачерпывал даже этот неглубокий снежок.

Послышался звон колокольцев. «Семь бед» вез старосту с шиком.

Я обернулся на крики немцев и вдруг увидел лису, которая, петляя вдоль осушительной канавы, неслась к ольшанику. Немцы загомонили, сани остановились, а я заметил, что лиса шмыгнула в кусты. Они уже махали руками, подзывая облаву; Яворек, топя солдатскими сапогами, бежал к нам. Я осмотрелся: белый, пушистый снег кругом, только островерхие стога темнеют, словно ворота в неведомый мир. Лиса не показывалась. Наверно, залегла в кустах, норы у нее тут, в сырой низине, не могло быть.

Немцы заряжали ружья, а у меня сердце ушло в пятки. Яворек инструктировал загонщиков. Я встал

впереди той группы, что была ближе к стогам. За мной шел крейсландвирт, потом Томашик, Яворек, потом еще двое наших и опять кто-то из немцев. Охотились «котлами». Это когда загонщики и охотники двумя цепочками расходятся в стороны, чтобы, охватив круг, сойтись в условленном месте. Цепь замкнута, образуется «котел». Но знают ли они об этом? Смогут ли спокойно переждать облаву, которая пока еще далеко? Я перебежал вперед, стремясь увести цепочку подальше от стогов, чтобы никто не заметил разворошенного сена, человеческих следов...

До стогов было еще метров двести. Я оставил их справа. Тогда немец крикнул, что я слишком отдаляюсь. «Der Fuchs ist schon da»¹. Я сделал шагов десять в направлении к стогам. Немец орал, требуя подойти ближе. Я шел. Сердце колотилось так, словно я тащил мешок с цементом. Не знаю, как у них там было. Может, услышав немецкую речь, кто-нибудь не удержался, выглянул и увидел впереди всех меня. Они могли подумать, что это я привел немцев. Не знаю.

Первой выбежала женщина. Все происходило в полной тишине. Она бежала молча, спотыкаясь, что-то несла на руках — я увидел, что это ребенок. Загонщики остановились в растерянности. Немец ругался, не понимая ничего, пришел в бешенство. «Verfluchtes Weib wird den Fuchs erschrecken»². Сено вдруг зашевелилось. Когда десять или двенадцать человек внезапно забарахтаются на снегу, кажется, что их очень много.

Кто крикнул «Juden!»³, я не разобрал. Стоявший к ним ближе других немец выстрелил сразу. Но они были далеко, метров за сто. Трехмиллиметровая дробь «на зайца» с такого расстояния для человека не опасна. Но что с того — они бежали туда, к тем жалким кустикам, где притаилась лиса, а именно там должна замкнуться цепь стрелков. Беглецы спугнули русака, он неся впереди, словно в авангарде. Крики «Juden, Juden!» уже слышали и на той стороне. Охотники

¹ Лиса уже здесь (нем.).

² Чертова баба спугнет лису (нем.).

³ Евреи! (нем.)

из нашей цепочки не стреляли, бежавшие были слишком далеко. Хотя я и видел, как заяц перевернулся через голову, звук выстрела, долетевший с опозданием, стегнул по натянутым нервам. Убитый заяц дал мне секундную передышку: произошло нечто вполне естественное, и, может, все остальное тоже кончится как-нибудь нестрашно.

Но там от кустов уже стреляли. Беглецы заматались. Цепочка искривилась, некоторые загонщики остановились. Первый убитый упал не скоро, стреляли издалика, к тому же мелкой дробью. Это была та женщина с ребенком на руках. Когда стрелок стал подходить к ней, она закричала. Крик тот забыть невозможно, казалось, он не оборвется никогда.

Охотник шел, наведя на нее ружье. Лучше бы он бежал, лучше бы скорей... Я зажмурился. Когда прозвучал выстрел, я открыл глаза и увидел, что, отвернувшись от лежащей женщины, немец целится в зайца. Женщина все кричала. Тогда он выстрелил в упор из другого ствола. И тут из-под нее вылез ребенок... Я наклонился, меня рвало. Подняв голову, я увидел, что из фольварка на пригорок высыпали люди. У меня помутился разум. Я решил, что они спешат на помощь, что можно еще кого-то спасти. Вдруг я вспомнил о ней, представил себе, как она бежит туда, к своим, и судорожно обернулся в сторону котла. Большинство уже лежало. Охотники травили еще нескольких ошалевших зайцев, кто-то падал на колени, вставал и падал опять.

В этот миг справа от себя я увидел Томашика, который, нагибаясь поминутно, чтобы всунуть ногу в спадающий сапог, гнался за человеком, бежавшим назад к фольварку. Мне сделалось нехорошо. Я хотел крикнуть, бросился вдогонку и успел заметить, что у беглеца в руках ружье.

— Герр немец, герр немец! — надрывался Томашик, показывая рукой на бегущего Яворека. Один из охотников бросил на землю двустволку и, отвернув полу кожуха, вытянул из кармана пистолет. Эти парабеллумы здорово бьют, уже после второго выстрела Яворек споткнулся, повернулся к нам и, высоко взмахнув рукой с ружьем, упал лицом вниз. Томашик, ковыляя, вернулся к цепочке.

«Vorwärts!»¹ — заорал охотник.

Я шел медленно. Кто-нибудь из них, еще живой, мог узнать меня и сказать, что я помогал им.

Кроме людей, в этом котле убили двенадцать зайцев.

II

А что делала она, заслышав стрельбу? Подобралась к выходу и смотрела? Если так, значит, видела все. Ведь она находилась как бы в ложе, высоко над сценой. Хотя, в любом случае, она не могла видеть того, что увидела та женщина, которая первой кинулась бежать: как я веду к ним вооруженную толпу. Нет, скорее всего зарылась глубже в сено и сидела там, не дыша. Охота продолжалась до позднего вечера. Мы убили больше семидесяти зайцев и одну лису. Я говорю «мы», потому что стрелки и загонщики на охоте составляют одно целое.

Было уже темно. Вопреки приказам о затемнении, на веранду вынесли лампы, чтобы рассчитаться с загонщиками.

Все правильно, никто нас не принуждал, мы работали. Лишь очень немногие не явились за платой. Томашик стоял в своих куцых сапогах, постукивая ногой об ногу. Я тоже стоял тут. Старой Яворики, наверно, в бараке нет. Сын выгнал ее из дома, но она, конечно, пришла его хоронить. Те двенадцать трупов лежат в поле. Крейсгауптман², разумеется, прикажет их закопать. Теперь уж и вправду надо было отсюда смыться. Но я хотел получить деньги. Бабки нет, никто не даст мне даром даже картошки, а я должен накормить ее, ведь не просить же у ротмистрши. «Погляди, что ты со мной сделал». Внезапно меня осенило: пейзаж с березками, это же то самое место. Рошица неподалеку от стогов, оттуда вынырнула лиса. У меня, наверно, был жар, знобило, сапоги промокли насквозь.

Картошки дал мне «Семь бед». Он был трезвый и не заводил речи о выпивке. Когда я уже собрался уходить, он сказал:

¹ Вперед! (нем.)

² Начальник военного округа (нем.).

— А одна в яме осталась. Живая. Видели ее. В той, что ближе к тебе.

Не знаю, кто, кроме меня, видел тогда Томашика. Как он гнался за убегавшим Явореком. Может, только я. Пожалуй, я один, остальным было на что глядеть, а Яворек и Томашик оказались между мной и немцем, который его уложил. У бабки было темно.

На дворе, в затишном месте возле окон Яворека, сгрудился народ. Кто-то громко проклинал евреев, из-за которых, мол, и погиб Яворек.

Придумать что-нибудь было нелегко. Варшава — единственное место, где сосредоточилось все, что я знал, умел, мог. Кроме, как в Варшаве, у меня не было никого на всей территории генерального губернаторства¹. Знал я, правда, про одну мельницу. Вернее, слышал. Во время восстания прибил к моему взводу паренек, просто с улицы. Он придумал себе кличку «Смелый», но мы его звали «Мельником». Ему было семнадцать лет, и отец у него был мельник. Как же называлось это место? Когда он узнал, что я не собираюсь сдаваться в плен, он принес письмо для отца. Я сказал, чтобы он катился подальше со своим письмом, не хватает мне еще разносить почту. Но адрес запомнил.

Она не откликалась. Чугунок жег руки, а крикнуть громче было нельзя. Я еще раз позвал:

— Алло!

Ни звука.

— Я принес поесть, — сказал я спокойно.

Она не понимала по-польски, это я знал, но мне хотелось, чтобы она привыкала к моему голосу. Посветить тоже было опасно: во дворе перед бараками стояли люди. Я поставил чугунок, ввинтил его в землю, мягкую и податливую, хоть снаружи крепко подморозило. Расставив руки, я двинулся в тот угол, куда вчера натаскал сена. Пусто. Присел, пошарил в темноте — ее не было. Я выпрямился и пошел обратно. К тоскливому чувству потери примешивалось облегчение. Вдруг кто-то схватил меня за руку.словно от неожиданного удара по затылку, я упал на колени.

¹ Центральная часть оккупированной гитлеровцами Польши.

Она обхватила меня ищущими руками. Мы молча стояли рядом на коленях. Когда я поднялся, чтобы принести чугунок, она меня не отпустила. Уцепившись за куртку, пошла со мной в другой угол. Я кормил ее с рук. Ощущая теплое дыхание на своей ладони, я решил, что должен спасти ее.

Мы поселились на мельнице. Мельница бездействовала вот уже два года, как сказал хозяин, отец Смелого (не Мельника, боже упаси!).

Ему не надо было от меня ни денег, ни помощи по дому, лишь бы каждый вечер слушать рассказы о героических подвигах дорогого сыночка. Сыночек писал из плена. Судя по тому, сколько посылок отправлял отец, он там не бедствовал.

Я уже провел его через все боевые испытания, выпавшие на долю моих живых и погибших товарищей, щедро добавил кое-что из собственной биографии. Потом начал сначала. Старик был доволен.

На жену мою он не обращал особого внимания. Когда я сказал, что во время восстания она потеряла речь, а может, и рассудок, он не удивился. На всякий случай я пристроил ее к своему взводу санитаркой — пусть старик с благодарностью думает, что случись беда с его сыном, она перевязывала бы ему раны.

Я заделался колесником. У нашего мельника нашлись несложные инструменты, и я стал чинить желоба, табуреты, и, конечно, рассохшиеся колеса.

Она спала в лотке, который я принес снизу, из пустой конторки мельника. Лоток набили сеном, получилась просторная колыбель. Я спал сначала в углу на соломе, а потом в большой водопойной колоде, принесенной для починки, но уже совсем никуда не годной. Продуктов хватало. Если мне не удавалось заработать, снабжал мельник.

Между собой мы не разговаривали. Я объяснил ей, что надо, дескать, прикинуться помешанной и немой. Однако уговор этот она восприняла буквально и молчала все время, даже когда мы были одни. Выходило, что и я попадал в число тех, перед кем следует притворяться. Но это было к лучшему. Ведь она могла спросить про облаву. Наверняка сразу спросила бы.

А я? Я должен бы спросить, что же она видела, видела ли меня, когда я шел к стогам впереди вооруженных людей? Напрасно я внушал себе, что она могла выглянуть только после первых выстрелов. А почему бы ей, собственно, не оказаться у лаза в любой другой момент? Но мы молчали.

Я пришел к ней, в ее лоток, как-то ночью, когда мне уже в четвертый раз начинало сниться то поле и страшно было заснуть. Лежать одному тоже было страшно. Сукин сын Яворек, как архангел, парил с ружьем над полями, а ниже, теряя свои несчастные опорки, бежал Томашик, втапывая в снег головы убитых. Я стоял с моим автоматом и бил по черепам, так что мозги кипели в грязи. Потом Яворек исчез где-то в кустах с картинки над кроватью ротмистрши. Показывая на зубы, ротмистрша свисала вниз головой, тянула меня к себе... «Погляди-ка, что ты со мной сделал».

...Она молча подвинулась и обхватила руками мою голову. Как хорошо, что мы не должны были разговаривать. Я сказал бы ей, может, эти страшные, всегда неверные слова. Сколько раз говорил я Марийке, что люблю ее. Повторял даже мертвой, среди руин на Медовой. Это было четыре месяца назад... Октябрь, ноябрь, декабрь... Три. И еще те две недели января.

Но ей я не сказал ничего. Мы были немые. Этой ночью я заснул, однако часто просыпался, стараясь не потеснить ее на нашем ложе из старого, сгнившего лотка, набитого сеном. Я думал о прошедшем рождестве. Она не догадывалась ни о чем, и ладно. Я даже не знал, отмечают ли евреи этот праздник. Я не знал, кто она и помнит ли еврейские обычаи. Только однажды из дома мельника донесся искаженный ветром обрывок коляды.

Сон про то, как Яворек со своей служебной, дозволенной немцами двустволкой идет на небо, повторялся часто. Когда я лежал возле нее, мне было спокойно. Что-то горькое породнило нас. После той охоты я усомнился в правильности спасительного выхода, который придумал для себя. А именно — что в стороне от политики я обрету покой. Покоя нет, ибо ворочаются еще в оснеженных стогах заснувшие люди.

Оккупация кончилась как-то очень буднично. Просто однажды утром меня разбудили голоса людей, говорящих по-русски. Я увидел, что и она вслушивается, широко раскрыв глаза. Наверно, догадалась. К хаосу непонятных для нее звуков прибавились новые — чужая, напевная речь. Даже орудия не выдали положенного вступительного концерта. События, забросившие нас сюда, в эту берлогу с сеном, подошли к своему неизбежному концу, который подтвердил мою мысль, что лишь пассивное ожидание может быть вознаграждено.

На мельнице расположились связисты. В нашу уговорную тишину внезапно вторглись команды, шифры, позывные частей, выкликаемые по двадцать раз. И, конечно же, радио. Громкие боевые марши, сообщения о победах. Вечером мы слушали вальсы. Она плакала.

На другой день связисты ушли, а вместо них вкатилась батарея известных мне только по подпольным листовкам «катюш». Солдаты заняли весь дом мельника, а сама мельница превратилась в огромный сеновал. К нам наверх тоже пришли пятеро солдат, распространяя махорочный дух и густой запах пота. С ними был сержант. Я объяснил ему, наполовину польски, наполовину по-белорусски (перед окончанием школы я охотился на Припяти), что со мной больная жена. «Ранена во время восстания...»

Помыванцев — так звали сержанта — выслушал, кивнул головой и увел своих людей. Через десять минут он вернулся, состроил ей смешную гримасу и стоял у лотка до тех пор, пока она не улыбнулась. Тогда он подошел ко мне и шепотом озабоченно спросил, можно ли больной выпить.

Вопрос имел практический смысл, что Помыванцев и доказал, вытащив бутылку из бездонного кармана полушубка. Она отказалась. Мы выпили вдвоем, беседа пошла непринужденней и веселее, я начал понимать, что война кончается, что для меня она фактически кончилась. Здесь, где меня знал только мельник, и то как командира своего сына, опасаться было нечего. Помыванцев снял полушубок и предстал одетым не по-фронтовому парадно. Сапоги блестели, мундир в обтяжку, как у гвардейца с плаката, даже

бляха, видимо, была недавно надраена порошком. Разговаривая со мной, он часто оборачивался к ней с виноватой улыбкой, как бы извиняясь, что не умеет говорить на ее языке. От версии «помешанной» теперь можно было отказаться. Мне стало удивительно легко, но пока еще не проходило ощущение чего-то нереального. Я вспомнил, как во время восстания, обороняя дома на Повислье, я смотрел с высоты этажей на восток и гадал, что придет к нам оттуда. В тогдашних моих раздумьях Помыванцев еще не возникал. Но вот он сидит передо мной. И рассуждает. Не о войне — она уже кончается, — а о том, как он вернется в Минск.

— И вот иду я, понимаешь, по бульвару, светло, девушки, а на мне костюмчик-бостон... — Помыванцев еще не раз в этот вечер упоминал про «костюмчик-бостон», ставший для него, видимо, символом мира.

Было уже очень поздно, когда я заметил, что она спит. Сегодня она не кашляла, и мне показалось, будто она прислушивается к разговору. Но она уснула, подложив, по своему обыкновению, руку под щеку. Когда я приходил к ней, она тоже так засыпала, щекой на моей руке. Однажды я проснулся — рука была мокрой от слез. Я ведь не знал, кого она потеряла в тот день. Меня ужаснула мысль, что она все же оставила кого-то из близких в стогах, спрятавшись в «фотолаборатории». Кого? Ребенка, мужчину, сестру? Может, думала обо всех двенадцати, с которыми не разделила последних мук. Я понимал, что никогда ее не спрошу об этом, и не хотел, чтобы когда-нибудь, научившись говорить по-польски, она мне сказала сама.

А пока она спала, положив руку под щеку. Удивительно — первым это заметил Помыванцев. От резкого света карбидной лампы на ее молодом, осунувшемся лице пролегли глубокие тени.

— Дetyна... — сказал Помыванцев и, слегка пошатываясь (очевидно, бутылка, которую мы с ним распили, была не первой), подошел к лотку. Сдернул брошенный на плечи полушубок и осторожно укрыл ее.

— Ничего, ничего, — отмахнулся он, когда я спросил, под чем же он будет спать сам. Наступила полночь. Первый день свободы миновал.

Помыванцев пришел утром, с бритвой в руках.

— Побриться надо, — пояснил он с такой блаженной улыбкой, будто ему предстояло искупаться в ослином молоке.

По его словам, внизу вода замерзает на бороде. В нашей комнате сразу посветлело, словно своей широкой кисточкой он намыливал не щеки, а стены. Он прислонил зеркальце к фрамуге, оно сползло раз, другой, он поправил, оно сползло опять. Тогда она взяла зеркало в руки и держала перед его покрасневшей физиономией. Капляя, отворачивала лицо. Полушубок Помыванцева, отряхнутый от сена, лежал на ящике, заменявшем нам стол.

Мы крепко подружились с Помыванцевым. Он приносил тушенку, я иногда доставал водку. Он часто пел. Для нее же, видимо, было интересно все: и когда Помыванцев говорил, и когда пел. Она вслушивалась в голос, в интонации незнакомого языка. Ей уже трудно было вставать, кашель становился все сильнее. Помыванцев каждое утро приходил бриться, хоть у нас стало так же холодно, как и внизу. Я сжег все: наш «стол», табуретку... Кашель усиливался.

Однажды утром Помыванцев привел какого-то человека.

— Это, понимаешь, врач. Встретил вчера, и думаю — надо ловить момент, — весело говорил он, расстегивая медицинскую сумку.

Вынул оттуда стетоскоп и, ребячась, воткнул трубочки себе в уши, чтобы показать ей, зачем здесь доктор.

Мы оба вышли за дверь. Я плохо понимал по-русски и скорее по выражению лица Помыванцева, чем со слов врача, догадался, как обстоит дело.

На следующий день он не пришел бриться. Мы не обменялись с ней ни словом, но оба ждали его. Помыванцев не пришел и вечером; внизу я увидел незнакомые лица. Он оставил мне как-то номер полевой почты, но где эта часть, я побоялся спросить. В тридцать девятом году я был свидетелем, как расстреляли на месте «шпиона», имевшего неосторожность разыскивать часть, в которой служил его сын. Сына он не нашел, сын нашел его на полчаса позже. Вечерело, багровый закат окрашивал снега неживым

светом. В это время на дороге показалась колонна. Люди разбрелись по двору. Я заметил знакомого солдата.

Спустившись вниз, я чуть не наткнулся на Помыванцева. Он сидел ко мне спиной. Вся его фигура выражала напряженное внимание и сосредоточенность, он что-то делал короткими ритмичными движениями. Я зашел сбоку. Помыванцев чистил орден.

Стоявшая рядом бутылочка добытого где-то «си-дола» подтвердила мою догадку. Трудно сказать, что меня удержало, но я молча тихонько отошел от него. С порога еще раз поглядел на его широкую спину, на склоненный, заросший затылок. Среди лежавших на соломе усталых, грязных людей он казался существом из другого мира.

Она кашляла всю ночь. Я чувствовал, что у нее поднялась температура. Мне приснилось, будто я увез ее в горы. Мы бродили среди облаков, и опять возник, будь он не ладен, Яворек со своей немецкой двустволкой. В те часы, когда не спалось, я трезво размышлял: как знать, может, в другое время он бы и сам выдал их со спокойной душой, а тут просто не выдержали нервы. И все же только он один из нас, загонщиков, в некоем смысле получил отпущение грехов. Она что-то говорила во сне, металась. Среди ночи я перебрался к себе на соломенную подстилку, у стены. Легкий стук — и я сразу открыл глаза. Такой чуткий сон у меня еще с подполья. И она бы спала чутко, если бы не болезнь.

Я встал и босиком подошел к двери.

— Помыванцев, — слышался шепот еще раньше, чем я успел спросить, кто там. — На фронт уезжаем, — объявил он с порога и жестами показал, чтобы я шел за ним. Не понимая, в чем дело, я торопливо оделся. Уже рассвело.

Он сбегал вниз, под полушубком у него что-то брякнуло. Когда он втолкнул меня в кабину тягача и дал знак шоферу трогать, мне стало не по себе. Тягач с рычанием преодолевал ухаб за ухабом. Я спросил, куда мы едем, но Помыванцев только посмотрел на меня задумчиво и ничего не ответил.

Он показал шоферу на аллею росших у дороги берез, остаток порушенного леса. Резко крутанув баранку, водитель повернул машину. Помыванцев выскочил первым. Я одурело глядел, как он вытаскивает из-под сиденья длинный, обернутый тряпками предмет.

— Давай скорей! — Он размотал пилу и поспешил к ближайшей березке. Водитель, здоровенный парень, взялся за топор. Еще не все понимая, я дернул ручку пилы. Тогда Помыванцев объяснил: это, мол, все, что он для нас еще может сделать.

— На фронт, брат, на фронт. Пусть вам хоть немного теплей станет, как вспомните Помыванцева, — добавил он, ритмично потягивая на себя пилу.

Потом они оба с водителем бросились к поваленной березе, и через несколько минут я уже грузил на тягач дрова.

Я засмотрелся на березки, белой стайкой бегущие навстречу своей гибели, и странное чувство охватило меня. Но надо было пилить дальше. Шофер разрубал стволы вдоль. На тягаче уже возвышалась приличная поленница, когда мы подступили к большой березе, предводительнице стаи. Я пилил ее в полном смятении от кольнувшего меня вдруг злого предчувствия, зыбкого, но неотвратимого. Когда береза упала и Помыванцев примерился распилить ее пополам, я отвел пилу.

— Эту оставим. Повезем целой.

Он хотел что-то сказать. И вдруг, могу поклясться, понял, прикинул на глаз ее длину.

— Еще одну надо, — сказал он тихо.

Назад мы ехали медленно, чтобы не растряссти груз, с березой наверху, словно с белым гробом, плывущим на лафете.

Она лежала в своем лотке. Перед уходом я укутал ее всем, что нашлось. Помыванцев снял полушубок, сверкнул надраенными медалями, смущенно улыбнувшись, накрыл ее полушубком и заторопился во двор, где шофер уже рубил дрова. Она прислушивалась, но слышала, наверно, лишь шум автоколонн, с рассвета двигавшихся по дороге. Помыванцев быстро вернулся, наложил в печку дров, пустив на растопку мою соломенную подстилку. Пламя полыхало, потом огонь

начал в раздумье отступать, пока наконец не загнуло в трубе. Помыванцев встал и торжественно подошел ко мне.

— Ну, прощай, колесник, — негромко сказал он и стиснул меня так, что хрустнули кости.

В эту минуту кто-то толкнул дверь, на пороге стоял незнакомый офицер.

— Ну, как? — спросил он строго. Помыванцев со своим тягачом, видимо, опаздывал на поверку, внизу нетерпеливо урчал заведенный командирский «газик». Помыванцев по-военному четко шагнул к двери.

— А это что? — Офицер показал на укрывавший ее солдатский полушубок. Помыванцев хотел что-то пояснить.

— Теперь уже тепло, — убеждал я его, стараясь не замечать пар, шедший из рта. — Забирай, спасибо тебе. — Я стряхнул сено с полушубка и отдал ему.

Он вышел. Офицер вышел следом за ним.

«Газик» внизу фыркнул выхлопными газами. Я стоял в опустевшей внезапно комнате, смотрел на большой лоток, почти порожний, таким маленьким казалось ее лицо там, в верхнем углу. С дороги доносился ровный гул моторов.

Привычка молчать — наша заповедь, или «закон», как говорят русские, — сейчас мне пригодилась. Мы разыграли то, что, может, и называется любовью, в полной тайне от слов. Теперь надвигалось другое, наверно, еще более трудное. В комнате стало теплей. Я даже раздобыл у мельника кое-какое постельное белье. Безмолвно лежащую в своем огромном, несуразном лотке — такой я ее запомнил.

В тот вечер — прошло уже дня три с тех пор, как ушла часть Помыванцева, с тех пор как у нас стало тепло, — я заговорил с ней. Я говорил о будущем. О том, что мы вернемся в город, где можно жить, где я хотел бы жить.

— Краков, — повторял я. — Краков.

Я никогда не жил в Кракове, но я там родился, и это значится в моем паспорте. Я описывал ей город, в котором мы поселимся. Город, не разрушенный войной. Она молча улыбалась — как в то утро, когда держала зеркало перед небритой физиономией Помыванцева.

Уснула она тихо, как всегда, — я понял это по ее ровному дыханию. Иногда она просто лежала с закрытыми глазами. Я ушел в свой угол, на солому. Утром она была мертва.

Сначала я машинально делал все, что полагается в подобных случаях. Жизнь требует больше энергии, когда надо хоронить умершего. Нахлынуло множество разных забот. Сперва я повез на одноколке лежащую в глубине двора березу, чтобы распилить ее на доски. Но у плотника нашелся готовый гроб. Кого-то не успели в него положить — придвинулся фронт, половина жителей сгорела, в том числе и покойник. Я отдал взамен свою березку, деньги, а сам с грубо сколоченным ящиком потащился обратно. Выезжая со двора, оглянулся. Березка белела возле разрытой картофельной ямы.

Умерла она, очевидно, во сне. Потому что лежала, положив обе руки под щеку. Я долго ничего не замечал, ходил на цыпочках. А теперь погонял худую клячу, хотя спешить было некуда. По обеим сторонам дороги двигалась пехота. Солдаты шли нестройными рядами, словно утомленные долгой службой богомольцы, с вещмешками за спиной, в расстегнутых шинелях. Солнце пригревало, февраль был на исходе, чувствовалось приближение весны. Мне не хотелось идти наверх. Мельник с женой и работницей взяли гроб.

Я сидел внизу, где недавно квартировал взвод Помыванцева. Мельник поставил передо мной литровый горшок молока, полбуханки хлеба и три яблока. Румяные, краснобокие, они были страшней всего.

Лишь теперь, перед наглым, бесстыдным лицом жизни, я осознал, что ее нет. Эти яблоки жили. Разная разность жила. У стены лежала табуретка с отломанной ножкой. Почему я не стащил ее раньше, до того как Помыванцев поехал со мной в березняк? Наверху что-то стукнуло. Наверно, переносили гроб. Я хотел было пойти туда, но вместо этого взял яблоки и выбросил их прямо в грязь. Почувствовал внезапный голод и выпил молоко.

Столько людей погибло. Отдавали жизнь за родину, за человечество. Она умерла за себя. И вдруг все во мне взбунтовалось. Смерть от руки человека, даже

смерть на том заснеженном поле была естественной. А такая смерть — от воспаления легких или от чего-то еще — совершенно бессмысленна. Если бы ее убили — я мог бы понять, но не мог смириться с тем, что она умерла от болезни. Насильственная смерть все же естественна, понятна, она результат действий человека, пусть даже преступных. Это укладывалось в мои представления о жизни, а принять то, другое, я не был готов.

Я жевал оставленный мельником хлеб, когда во дворе зарокотал мотор. Тягач Помыванцева дрожал, как загнанный конь. Из кабины вылез шофер, его друг, с которым мы вместе те березы... и направился к дому, волоча что-то по земле.

— Здравствуйте, — сказал он, и бросил мне большой теплый полушубок. — Помыванцев, — пояснил он.

— Где Помыванцев? — спросил я.

— Помыванцев... Ему он больше не нужен.

Он постоял на пороге и повернул назад. Я двинулся за ним. О чем-то спрашивал, он что-то отвечал. В живот попало. Велел отвезти.

Тягач зафырчал и отъехал. Я помахал вдогонку рукой.

— Ему больше не нужен... И мне тоже ни к чему, — добавил я, обращаясь к полушубку, расprostертому на полу. Я поднял его. Наверху послышались чьи-то шаги.

Таща за собой полушубок, я вышел во двор. На фоне подожженного закатом неба двигались один за другим темные силуэты с горбом на спине, с посохами карабинов, поднятыми к небу. Не оглянувшись на мельницу, я пошел к ним. В хвосте колонны, припадая на ногу, шел невысокий молодой солдат. Я выбрался на дорогу и медленно зашагал рядом. Мне слышалось, что на западе грохочет фронт.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Зофья Налковская (1884—1954) — прозаик. Лауреат Государственной премии. Родилась в Варшаве. Изучала философию, историю, языковедение. Дебютировала как поэтесса в 1898 году. В 30-е годы входила в объединение прогрессивных писателей «Предместье». З. Налковская — автор романов «Женщины» (1906), «Роман Терезы Геннерт» (1924, переведен на русский язык), «Дом над лугами» (1925), «Недобрая любовь» (1928), «Граница» (1935, переведен на русский язык), «Нетерпеливые» (1938), «Узлы жизни» (1948) и других, сборников рассказов, пьес.

Повесть «Медальоны» (издана в 1946 году) публикуется на русском языке впервые.

Густав Морцинек (1891—1963) — прозаик, публицист. Лауреат Государственной премии. Родился в Карвине в Силезии. В 1907—1910 годах работал шахтером. Окончил учительскую семинарию. Первая книга — сборник рассказов из шахтерской жизни «Сердце за преградой» издана в 1929 году. В 1939—1945 годах писатель находился в гитлеровских концлагерях. Г. Морцинеку принадлежат романы: «Вырубленный штрек» (1931), «Пласт Иоанны» (1950), исторический роман «Ондрашек» (1953), «Семь удивительных историй Иоахима Рыбки» (1960, переведен на русский язык), «Горняцкий закон» (1964) и другие, многие повести и рассказы.

Повесть «Виктория» (1954), имеющая разные авторские редакции, публикуется по одному тому изобранных произведений писателя «Мед в сердце и другие повеллы» (1971).

Казимеж Брандыс — прозаик, эссеист. Лауреат Государственной премии. Родился в 1916 году в Лодзи. Окончил юридический факультет Варшавского университета. В 1946 году опубликовал романы «Деревянный конь» и «Непокоренный город». К. Брандыс — автор тетралогии «Между войнами» (1947—1951, издана на русском языке), романа «Граждане» (1954, издан на русском языке); сборников рассказов: «Красная шапочка. Воспоминания о современности» (1956), «Романтика» (1960); эссе: «Письма к пани Зет» (тт. 1—3, 1958—1961), «Джокер» (1966), «Рынок» (1968), «Малая книга» (1970); повестей «Способ существования» (1963), «Почтовые вариации» (1972) и других произведений.

По повести «Как быть любимой» режиссером В. Хасом был поставлен одноименный фильм, получивший широкую известность. Повесть публиковалась на русском языке.

Витольд Залевский — прозаик. Лауреат Государственной премии. Родился в 1921 году в Седльцах. Изучал историю в Варшавском университете. Участник Варшавского восстания 1944 года, был в гитлеровском лагере для пленных. Дебютировал в 1944 году рассказом на страницах конспиративного журнала. В. Залевский — автор сборников рассказов: «Герои смертны» (1946), «Тракторы завоюют весну» (1949, книга переведена на русский язык), «На вираже» (1953), «Ночи и рассвет и другие произведения» (1965); очерков и репортажей: «Урожай» (1951), «В поисках сегодняшнего дня» (1958), «Полусезон в большом свете» (1963), «Виды надежды» (1968); романов и повестей: «Оружие» (1949), «Земля без неба» (1957), «Раненый в лесу» (1960), «Прусская стена» (1964), «Солнечное сплетение» (1972).

Повесть «Раненый в лесу» публикуется на русском языке впервые.

Яцек Бохенский — прозаик, эссеист и публицист. Родился в 1926 году во Львове. Дебютировал как поэт в 1944 году. Я. Бохенский — автор сборников рассказов «Фиалки приносят несчастье» (1949) и «Согласно закону» (1952); путевых заметок о поездках в ГДР («Из жизни ГДР», 1951) и Советский Союз («О путешествии и чуть-чуть философии», 1956); сборника фельетонов «Факты и признания» (1957), беллетризованного репортажа о поездке в Африку «Прощание с панной Сынгилю,

или Слон и польский вопрос» (1960); повестей: «Божественный Юлий» (1961), «Табу» (1965), «Назон — поэт» (1969).

Повесть «Божественный Юлий» на русский язык переводится впервые.

Юлиан Кавалец — прозаик. Родился в 1916 году в деревне Вжавы, возле Тарнобжега. Окончил филологический факультет Ягеллонского университета в Кракове. Ю. Кавальцу принадлежат сборники рассказов: «Тропинки среди улиц» (1957), «Шрамы» (1960), «Поваленный вяз» (1962), «Черный свет» (1965), «Свадебный марш» (1966); романы и повести: «К земле приписанный» (1962), «На солнце» (1963), «Танцующий ястреб» (1964), «Зов» (1968), «Ищу дом» (1968), «Переплывешь реку» (1973).

Ю. Кавалец — лауреат премии министерства культуры и искусства ПНР. На русском языке издавались повести: «К земле приписанный», «На солнце», «Танцующий ястреб», «Ищу дом».

Роман Братный — прозаик, поэт, драматург, публицист, автор киносценариев. Лауреат Государственной премии. Родился в 1921 году в Кракове. Участник Варшавского восстания 1944 года, узник гитлеровских лагерей. В 1950 году окончил Академию политических наук в Варшаве. Дебютировал в 1944 году сборником стихов «Презрение». Р. Братный — автор известной трилогии «Колумбы — год рождения двадцатый» (1957), романов и повестей: «Счастливые подвергаются пыткам» (1959), «Черновик» (1962), «Умение ходить» (1965), «Жизнь еще раз» (1967), «Трое на прямой линии» (1970) и других; сборников рассказов: «След» (1946), «Прогулка в зоопарк» (1961), «Избранные рассказы» (1963), «Все еще вчера» (1968) и другие. По многим произведениям Братного сняты кинофильмы,

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Виктор Хорев. <i>Предисловие</i>	5
--	---

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛЬСКИЕ ПОВЕСТИ

Зофья Налковская. <i>Медальоны. Перевод Г. Языковой</i>	35
Густав Морцинек. <i>«Виктория». Перевод А. Мельникова</i> . . .	80
Казимеж Брандыс. <i>Как быть любимой. Перевод Ю. Мирской</i>	113
Витольд Залевский. <i>Раненый в лесу. Перевод Г. Гудимовой</i> и В. Перельман	150
Яцек Бохенский. <i>Божественный Юлий. Перевод Е. Лысенко</i>	
Жестокость. Часть первая	224
Милосердие. Часть вторая	283
Любовь. Часть третья	336
Ненависть. Часть четвертая	352
Окончание, согласно Плутарху	373
Юлиан Кавалец. <i>К земле приписанный. Перевод И. Колта-</i> <i>шевой</i>	386
Роман Братный. <i>Загонщик. Перевод Р. Белло</i>	466
Коротко об авторах	499

С56

Современные польские повести.

Т. I. Пер. в польск. Составители В. Борисов и В. Хорев. Предисл. и справки об авторах В. Хорева. Худ. В. Медведев. М. «Худож. лит.», 1974

504 с. (Б-ка польской литературы)

В настоящий том вошли широкоизвестные повести современных польских писателей, посвященные войне, мирному труду в социалистической Польше, проблемам морали в современности и далеком прошлом.

С $\frac{70304-166}{028(01)-74}$ 151—74

С(Пол)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛЬСКИЕ ПОВЕСТИ

Т О М I

Редактор

Н. Подольская

Художественный редактор

Г. Масляненко

Технический редактор

С. Журбицкая

Корректоры *А. Новикович*

и В. Широкова

Сдано в набор 18/X 1973 г. Подписано
в печать 27/III 1974 г. Бум. типогр. № 1.
Формат 84 × 108^{1/32} 15,75 печ. л.
26,46 усл. печ. л. 28,348 уч.-изд. л.
Тираж 50 000 экз. Заказ 831.
Цена 1 р. 81 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-78, Ново-Басманный, 19

**Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой Союзполи-
графпрома при Государственном ко-
митете Совета Министров СССР по
делам издательства, полиграфии и
книжной торговли, 198052 Ленинград,
Л-52, Измайловский проспект, 29**